

И. А.  
БУНИН

# И. А. БУНИН



2

# И.А. БУНИН

---

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ПЯТИ ТОМАХ



ТОМ ВТОРОЙ



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»  
МОСКВА 1956

Собрание сочинений  
осуществляется под наблюдением  
Л. В. Никулина

Подготовка текста и примечания  
П. Л. Вячеславова

# ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

1909 — 1912



## ПОДТОРЖЬЕ

Конец мая, и в поле еще прохладно, дует ветер, то и дело прячется в облака солнце, идут тени и свет.

Ехали, тряслись на тележке часа четыре. Устали, и все надоело. Но вот наконец открылась в широкой дали картина города, забелела полоса шоссе, бегущего к нему,— и веселее шевельнули вожжами, покатали вдоль него рысью, обгоняя прочих едущих на ярмарку. Повеселела и погода, ветер стих, и все приближающийся город, его монастырь, острог, кресты церквей и стекла домов уже видны ясно, блестят против вечернего солнца.

И воздух стал меняться. Он еще прохладный, миндальный, полевой, но уже мешается со множеством прочих запахов. За телегами идут привязанные к ним лошади и коровы. На рогах коров тоже блестит низкое солнце, коровы идут медленно, с женственной неловкостью. Молодые кобылки и жеребчики, когда их объезжаешь рысью, красиво и гневно горячатся, ша-рахаются. И пахнет и конским навозом, и коровами, и дегтем, и сеном, которым набиты тележные задки, больше же всего — городом и ярмарочным станом, уже раскинувшимся на громадном выгоне перед монастырем. Там, на этом выгоне, белеют балаганы, дымят собранные на скорую руку походные печки, набралось порядочное количество скотины и телег с поднятыми оглоблями, расставленных однако еще довольно просторно...

Через несколько минут тележка, с непривычной для деревенского уха грубостью, вдруг загремела по мостовой.— Город!

Остановились, как всегда, на Острожной улице, на той, что прямоком вводит в город между острогом и монастырем.

На большой двор подворья едва въехали — так тесно. Все заняли цыгане, которые навели целый табун лошадей: и дон-

ских, и киргизов, и кровных, породистых, крытых попонами. Посреди двора — огромный фургон с кожаным верхом, весь изукрашенный медными драконами. Рядом разбита полосатая палатка. Под ее поднятыми полами постлана прямо на земле необъятная постель, — навалено несколько перин, кое-как прикрытых лохмотьями ситцевых одеял, и множество сальных красных подушек. На подушках высоко лежит навзничь, как мертвый, спит мальчик лет пятнадцати, босой, в коротких порточках, необыкновенной красоты. У ног его густо и пахуче дымит самовар и сидит, пристально смотрит молодая цыганка. На шее сургучные нити кораллов, навешены старые серебряные кресты. Смотрит, курит трубку и сплевывает.

Зато в горницах ни души. «Да и ночуете одни, все при лошадях, на дворе», — сказала большая гнутая старуха, мать хозяина. — «А это и того лучше, — ответили ей. — Распорядитесь-ка, матушка, насчет самоварчика да позвольте руки немножко помыть».

К чаю купили калачей, колбасы. Потом сидели, курили на крылечке, разговаривали с подходящими барышниками и цыганами о том, как идет подторжье, каковы намечаются цены. Барышники твердят:

— Что господь даст! Что господь даст! Он цены строит...

Вечером из-за крыш города — золотой свет большой низкой луны. Свет и тени лежат во дворе, который кажется красивым, а от фургона, от палатки даже несколько сказочным. Как тепло, что значит город! И оттого, что по этой прямой и широкой Острожной улице все едут и едут, скрипя телегами, а по выбитому тротуару идут и переговариваются, ночь весела, празднична.

Утром говорливая толпа идет, валит в другую сторону, — вон из города, по направлению к монастырю. Туда же несутся, ныряя по пыльным ухабам, извозчики.

Ветрено, но солнечно. И все время праздничный кавардак колоколов, не смолкающий ни на минуту, не дающий говорить и слушать.

Какое многолюдство и как все растет оно!

Густая толпа теснится возле ворот монастыря, — бородатые, волосатые и загорелые мужики, все чужие, новые для глаза, из дальних, задонских деревень, и великая пестрота нарядных баб и девок, тоже чужих, кажущихся красивее, чем свои. Ворота монастыря, по бокам которых во весь рост написаны два длиннородых старца в зеленых рясах и черных эпитрахлях, с развернутыми хартиями в руках, широко раскрыты, и из них выезжают купеческие коляски.

Против монастыря — большой желтый острог, и из всех решетчатых окон его смотрят, прильнув к решеткам, широкие бледные лица под серыми бескозырками. У ворот острога тоже толпа, — сердобольные души принесли острожникам праздничного калачика.

В канаве возле шоссе спит молодой босьяк с маленькой стриженной головой. Какое-то своеобразное изящество, какое-то щегольство есть во всей его легкой, не деревенской фигуре, в его короткой ситцевой рубаше и рваных дырявых брючках. Проходящие смеются, острят:

— Кто праздничку рад, тот до свету пьян!

А на шоссе одиноко стоит распряженная телега, а на телеге, на возу, сидит пожилая девица в драповом дипломате. На крыльях носа пыль. Дует жаркий ветерок, несет шум и гомон ярмарки, и лицо у девицы оступело от сидения, от обиды, что ее посадили и ушли, что все идут и смотрят на нее.

А вот уже и пыльная, истоптанная трава выгона. Тут, на отлете, на самом ходу, пристроился со своим столиком квасник. Толпа валит и валит мимо, многие на ходу пьют у него. И он потен, красен, с расстегнутым воротом, с картузом на затылок, радостно замучен своим призывным криком и бойкой торговлей. Не прекращая кричать, он то и дело с треском раскупоривает бутылки, озабоченно отсчитывает сдачу медяками, а сам бьет сапогом двух красных петухов, сцепившихся под его столиком.

И с каждым шагом вперед все растет теснота — от народа, от телег, от скотины: поминутно спотыкаешься на связанных овец, лежащих на земле среди пыли и навоза, опасно пробираешься между рогатой скотиной, жмешься возле лошадиных задов.

Вот даже и совсем надо остановиться, — ходу дальше нет: в расступившемся кругу тесной толпы идет бешеный торг. Торгуют всего-навсего мужицкую лошаденку с легким дрожащим хвостом. Но какая горячка, сколько крику! Как яростно носится, держа эту лошаденку за повод и поминутно с диким и вызывающим видом оборачиваясь на зрителей, цыган со смольной бородкой, с черно-золотыми глазами!

Он в расстегнутой жилетке поверх лиловой рубашки, в пливсовых шароварах, одна штанина выпала из-за голенища.

— По душам сказал — бери! — кричит он.

На него смотрят: пузатый седой барышник с серебряными брелоками на часах, затягивающийся из серебряного мундштука, и мелкопоместный барин в белом картузе, в черной поддевке и серых штанах навыпуск.



— По душам сказал, душевно говорю! — сипло кричит цыган, круто заворачивая и осаживая сразу на все ноги лошаденку.— По душам сказал — бери! Ну, сто монет — и пойдем жижку пить! Зимой приеду, угощать станешь, хлеб-соль дашь!

— Вот что,— кричит барышник,— по-божьему, по-хорошему, по-любовному, с веселым сердцем: шесть красных — и кончайте! Лошадь работница! Не сопата, не горбата, животом не надорвата!

— Я лошадь не корю,— кричит барин.— Я лошадь принимаю!

— Лошадь дурить нельзя! — подхватывают в толпе.

— Дай бог дитё такое! — кричит цыган.

— Ну, и молитесь! Его святая воля!

— Ну, была б жива-здорова!

— Господи благослови! Кончайте!

Крестясь, яростно бьют по рукам, но барин кричит:

— Пять красных и могоарыч мой!

И цыган бешено плюет:

— Тьфу! Сахаром тебе в уста, огнем из заду, этот могоарыч твой! Что с тобой говорить, только кровь гадить!

Спешно подходит с высокой палкой в руке старый цыган, лицо которого точно со старой медной медали.

— Стой! Что за шум, а драки нету? — кричит он.— Стой, я вас помирю!

И торг начинается опять сначала, закипает с новым ожесточением.

*Васильевское. 1909*

## ДЕРЕВНЯ

### 1

Прадеда Красовых, прозванного на дворе Цыганом, за-  
травил борзыми барин Дурново. Цыган отбил у него, у своего  
господина, любовницу. Дурново приказал вывести Цыгана в по-  
ле, за Дурновку, и посадить на бугре. Сам же выехал со сворой  
и крикнул: «Ату его!» Цыган, сидевший в оцепенении, кинулся  
бежать. А бегать от борзых не следует.

Деду Красовых удалось получить вольную. Он ушел с  
семьей в город — и скоро прославился: стал знаменитым во-  
ром. Нанял в Черной Слободе хибарку для жены, посадил  
ее плести на продажу кружево, а сам, с каким-то мещанином  
Белокопытовым, поехал по губернии грабить церкви. Когда  
его поймали, он вел себя так, что им долго восхищались по  
всему уезду: стоит себе будто бы в плисовом кафтане и в коз-  
ловых сапожках, нахально играет скулами, глазами и почти-  
тельнейше сознается даже в самом малейшем из своих не-  
сметных дел:

— Так точно-с. Так точно-с.

А родитель Красовых был мелким шибаем. Ездил по  
уезду, жил одно время в родной Дурновке, завел было там  
лавчонку, но прогорел, запил, воротился в город и помер. По-  
служив по лавкам, торгашили и сыновья его, Тихон и Кузьма.  
Тянутся, бывало, в телеге с рундуком посередке и заунывно  
орут:

— Ба-абы, това-ару! Ба-абы, това-ару!

Товар — зеркальца, мыльца, перстни, нитки, платки, иголки,  
крендели — в рундуке. А в телеге все, что добыто в обмен на  
товар: дохлые кошки, яйца, холсты, тряпки...

Но, проездив несколько лет, братья однажды чуть ножами не порезались — и разошлись от греха. Кузьма нанялся к гуртовщику, Тихон снял постоялый дворишко на шоссе при станции Воргол, верстах в пяти от Дурновки, и открыл кабак и «черную» лавочку: «торговля мелочного товару чаю сахару табаку сигар и протчего».

Годам к сорока борода Тихона уже кое-где серебрилась. Но красив, высок, строен был он попрежнему; лицом строг, смугл, чуть-чуть ряб, в плечах широк и сух, в разговоре властен и резок, в движениях быстр и ловок. Только брови стали сдвигаться все чаще да глаза блестеть еще острей, чем прежде.

Неутомимо гонял он за станowymi — в те глухие осенние поры, когда взыскивают подати и идут по деревне торги за торгами. Неутомимо скупал у помещиков хлеб на корню, снимал за бесценюк землю... Жил он долго с немою кухаркой, — «не плохо, ничего не разберет!» — имел от нее ребенка, которого она приспала, задавила во сне, потом женился на пожилой горничной старухи-княжны Шаховой. А женившись, взяв приданого, «доконал» потомка обнищавших Дурново, полного, ласкового барчука, лысого на двадцать пятом году, но с великолепной каштановой бородой. И мужики так и ахнули от гордости, когда взял он дурновское имение: ведь чуть не вся Дурновка состоит из Красовых!

Ахали они и на то, как это ухитрялся он не разорваться: торговать, покупать, чуть не каждый день бывать в именье, ястребом следить за каждой пядью земли... Ахали и говорили:

— Лют! Зато и хозяин!

Убеждал их в этом и сам Тихон Ильич. Часто наставлял:

— Живем — не мотаем, попадешься — обротаем. Но — по справедливости. Я, брат, человек русский. Мне твоего даром не надо, но имей в виду: своего я тебе тринки не отдам! Баловать, — нет, заметь, не побалую!

А Настасья Петровна (ходившая по-утиному, носками внутрь, переваливаясь, — от постоянной беременности, все кончавшейся мертвыми девочками, — желтая, опухшая, с редкими белесыми волосами) стонала, слушая:

— Ох, и прост же ты, посмотрю я на тебя! Что ты с ним, глупым, трудишься? Ты его уму-разуму учишь, а ему и горя мало. Ишь, ноги-то расставил, — эмирский бухар какой!

Осенью возле постоялого двора, стоявшего одним боком к шоссе, другим к станции и элеватору, стоном стонал скрип колес: обозы с хлебом сворачивали и сверху и снизу. И поминутно визжал блок то на двери в кабак, где отпускала Настасья Петровна, то на двери в лавку, — темную, грязную,

крепко пахнущую мылом, сельдями, махоркой, мятным пряником, керосином. И поминутно раздавалось в кабаке:

— У-ух! И здоровá же водка у тебя, Петровна! Аж в лоб стукнула, пропади она пропадом.

— Сахаром в уста, любезный!

— Либо она у тебя с нюхательным табаком?

— Вот и вышел дураком!

А в лавке было еще люднее:

— Ильич! Хунтик ветчинки не отвесишь?

— Ветчинкой я, брат, нынешний год, благодаря богу, так обеспечен, так обеспечен!

— А почему?

— Дешевка!

— Хозяин! Деготь у вас хороший есть?

— Такого дегтю, любезный, у твоего деда на свадьбе не было!

— А почему?

Потеря надежды на детей и закрытие кабаков были крупными событиями в жизни Тихона Ильича. Он явно постарел, когда уже не осталось сомнений, что не быть ему отцом. Сперва он пошучивал:

— Нет-с, уж я своего добыюсь,— говорил он знакомым.— Без детей человек — не человек. Так, обсевок какой-то...

Потом даже страх стал нападать на него: что же это,— одна приспала, другая все мертвых рождает! И время последней беременности Настасьи Петровны было особенно тяжким временем. Тихон Ильич томился, злился; Настасья Петровна тайком молилась, тайком плакала и была жалка, когда потихоньку слезала по ночам, при свете лампадки, с постели, думая, что муж спит, и начинала с трудом становиться на колени, с шопотом припадать к полу, с тоской смотреть на иконы и старчески, мучительно подниматься с колен. С детства, не решаясь даже самому себе признаться, не любил Тихон Ильич лампадок, их неверного церковного света: на всю жизнь осталась в памяти та ноябрьская ночь, когда в крохотной, кособокой хибарке в Черной Слободе тоже горела лампадка,— так смиренно и ласково-грустно,— темнели тени от цепей ее, было мертвенно-тихо, на лавке, под святыми, неподвижно лежал отец, закрыв глаза, подняв острый нос и сложив на груди восковые руки, а возле него, за окошечком, завешенным красной тряпкой, с буйно-тоскливыми песнями, с воплями и не в лад орущими гармоньями, проходили годные... Теперь лампадка горела постоянно.

Кормили на постоялом дворе лошадей владимирские коробочники — и в доме появился «Новый полный оракул и чародей, предсказывающий будущее по предложенным вопросам

с присовокуплением легчайшего способа гадать на картах, бобах и кофе». И Настасья Петровна надевала по вечерам очки, катала из воска шарик и начинала кидать его на круги оракула. А Тихон Ильич искоса поглядывал. Но ответы получались все грубые, зловещие или бессмысленные.

— «Любит ли меня мой муж?» — спрашивала Настасья Петровна.

И оракул отвечал:

— «Любит, как собака палку».

— «Сколько детей будет у меня?»

— «Судьбой назначено тебе умереть, худая трава из поля вон».

Тогда Тихон Ильич говорил:

— Дай-ка я кину...

И загадывал.

— «Затевать ли мне тяжбу с известною мне особою?»

Но и ему выходила чепуха:

— «Считай во рту зубы».

Раз, заглянув в пустую кухню, Тихон Ильич увидел жену возле люльки кухаркина ребенка. Пестренький цыпленок, попискивая, бродил по подоконнику, стучал клювом в стекла, ловя мух, а она сидела на нарах, качала люльку и жалким, дрожащим голосом пела старинную колыбельную песню:

Где мой дитяtko лежит?  
Где постелюшка его?  
Он в высоком терему.  
В колыбельке расписной.  
Не ходите к нам никто,  
Не стучите в терему!  
Он уснул, започивал.  
Темным пологом покрыт,  
Расцветеною тафтой...

И так изменилось лицо Тихона Ильича в эту минуту, что, взглянув на него, Настасья Петровна не смутилась, не оробела, — только заплакала и, сморкаясь, тихо сказала:

— Отвези ты меня, Христа ради, к угоднику...

И Тихон Ильич повез ее в Задонок. Но дорогой думал, что все равно бог должен наказать его за то, что он, в суете и хлопотах, только под Светлый день бывает в церкви. Да и лезли в голову кощунственные мысли: он все сравнивал себя с родителями святых, тоже долго не имевшими детей. Это было не умно, но он уже давно заметил, что есть в нем еще кто-то — глупей его. Перед отъездом он получил письмо с Афона: «Боголюбивейший благодетель Тихон Ильич! Мир вам и спасение, благословение господне и честный покров всепетой богоматери от земного ее жребия, св. горы Афонской! Я имел

счастье слышать о ваших добрых делах и о том, что вы с любовью уделяете лепты на созидание и украшение храмов божиих, на келии иноческие. Ныне хижина моя пришла от времени в такое ветхое состояние...» И Тихон Ильич послал на поправку этой хижины красненькую. Давно прошло то время, когда он с наивной гордостью верил, что и впрямь до самого Афона дошли слухи о нем, хорошо знал, что уж слишком много афонских хижин пришло в ветхость,— и все-таки послал. Но не помогло и это, кончилась беременность прямо мукою: перед тем, как родить последнего мертвого ребенка, стала Настасья Петровна, засыпая, вздрагивать, стонать, взвизгивать... Ею, по ее словам, мгновенно овладевала во сне какая-то дикая веселость, соединенная с невыразимым страхом: то видела она, что идет к ней по полям, вся сияя золотыми ризами, царица небесная и несетя откуда-то стройное, все растущее пение; то выскакивал из-под кровати чертенок, неотличимый от темноты, но ясно видимый зрением внутренним, и так-то звонко, лихо, с перехватами начинал отжаривать на губной гармонии! Легче было бы спать не в духоте, на перинах, а на воздухе, под навесом амбаров. Но Настасья Петровна боялась:

— Подойдут собаки и голову наноухают...

Когда пропала надежда на детей, стало все чаще приходиться в голову: «Да для кого же вся эта каторга, пропади она пропадом?» Монополия же была солью на рану. Стали трястись руки, болезненно сдвигаться и подниматься брови, стало косить губу,— особенно при фразе, не сходившей с языка: «имейте в виду». Попрежнему он молодился — носил щеголеватые опойковые сапоги и расшитую косоворотку под двубортным пиджаком. Но борода седела, редела, путалась...

А лето, как нарочно, выдалось жаркое, засушливое. Совсем пропала рожь. И наслаждением стало жаловаться покупателям.

— Прекращаем-с, прекращаем-с! — с радостью, отчеканивая каждый слог, говорил Тихон Ильич о своей винной торговле.— Как же-с! Монополия! Министру финансов самому захстелось поторговать!

— Ох, посмотрю я на тебя! — стонала Настасья Петровна.— Договоришься ты! Загонят тебя, куда ворон костей не таскал!

— Не испугаете-с! — отсекал Тихон Ильич, вскидывая бровями.— Нет-с! На всякий роток не накинешь платок!

И опять, еще резче чеканя слова, обращался к покупателю:

— И ржица-с радует! Имейте в виду: всех радует! Ночью-с — и то видать. Выйдешь на порог, глянешь по месяцу в поле: сквозит-с, как лысина! Выйдешь, глянешь: блистает!

В Петровки в тот год Тихон Ильич пробыл четверо суток в городе на ярмарке и расстроился еще больше — от дум, от жары, от бессонных ночей. Обычно отправлялся он на ярмарку с большой охотой. В сумерки подмазывали телеги, набивали их сеном; в ту, в которой ехал сам хозяин с работником-стариком, клали подушки, чуйку. Выезжали поздно и, поскрипывая, тянулись до рассвета. Сперва вели дружественные разговоры, курили, рассказывали друг другу страшные старинные истории о купцах, убитых в дороге и на ночевках; потом Тихон Ильич укладывался спать — и так приятно было слышать сквозь сон голоса встречных, чувствовать, как зыбко покачивается и как будто все под гору едет телега, ерзает щека по подушке, сваливается картуз и холодит голову ночная свежесть; хорошо было и проснуться до солнца, розовым росистым утром, среди матово-зеленых хлебов, увидеть вдаль, в голубой низменности, весело белеющий город, блеск его церквей, крепко зевнуть, перекреститься на отдаленный звон и взять вожжи из рук полусонного старика, по-детски ослабевшего на утреннем холодке, бледного, как мел, при свете зари... Теперь Тихон Ильич отослал телеги со старостой, а сам поехал один, на бегунках. Ночь была теплая, светлая, но ничто не радовало; за дорогу он устал; огоньки на ярмарке, в остроге и больнице, что при въезде в город, видны в степи верст за десять, и казалось, что до них никогда не доедешь, до этих дальних, сонных огоньков. А на постоялом дворе на Щенной площади было так жарко, так кусали блохи и так часто раздавались голоса у ворот, так гремели въезжавшие на каменный двор телеги и так рано заорали петухи, заворковали голуби и побелело за открытыми окнами, что он и глаз не сомкнул. Мало спал и вторую ночь, которую попробовал провести на ярмарке, в телеге: ржали лошади, горели огни в палатках, кругом ходили и разговаривали, а на рассвете, когда так и слипались глаза, зазвонили в остроге, в больнице — и над самой головой подняла ужасный рев корова...

— Каторга! — поминутно приходило в голову за эти дни и ночи.

Ярмарка, раскинувшаяся по выгону на целую версту, была, как всегда, шумна, бестолкова. Стоял нестройный гомон, ржание лошадей, трели детских свистулек, марши и польки гремящих на каруселях оркестрионов. Говорливая толпа мужиков и баб валом валила с утра до вечера по пыльным, унавоженным переулкам между телегами и палатками, лошадьми и коровами, балаганами и съестными, откуда несло вонючим чадом сальных жаровен. Как всегда, была пропасть барышников, придававших страшный азарт всем спорам и сделкам; бесконечными вереницами, с гнусавыми напевами тянулись слепые и убогие, нищие и калеки, на костылях и в тележках; медленно двигалась среди

толпы гремющая бубенчиками тройка исправника, сдерживаемая кучером в плисовой безрукавке и в шапочке с павлиньими перьями... Покупателей у Тихона Ильича было много. Подходили сизые цыгане, рыжие польские евреи в парусиновых балахонах и сбитых сапогах, загорелые мелкопоместные дворяне в поддевках и картузах; подходил красавец-гусар князь Бахтин с женой в английском костюме, дряхлый сева­стопольский герой Хвостов, — высокий и костистый, с удивительно крупными чертами темного, морщинистого лица, в длинном мундире и обвислых штанах, в сапогах с широкими носками и в большом картузе с желтым околышем, из-под которого были начесаны на виски крашенные волосы мертвого бурого цвета... Бахтин откидывался назад, глядя на лошадь, сдержанно улыбался в усы с подусниками, поигрывая ногой в рейтузе вишневого цвета. Хвостов, до­шаркав до лошади, косившей на него огненным глазом, останав­ливался так, что казалось, что он падает, поднимал костыль и в десятый раз спрашивал глухим, ничего не выражающим голосом:

— Сколько просишь?

И всем надо было отвечать. И Тихон Ильич отвечал, но че­рез силу, стискивая челюсти, и ломил такую цену, что все отхо­дили ни с чем.

Он очень загорел, похудел и побледнел, запылится, чувство­вал смертельную тоску и слабость во всем теле. Он расстроил желудок, да так, что начались корчи. Пришлось сходить в боль­ницу. Но там он часа два ждал очереди, сидел в гулком кори­доре, нюхая противный запах карболки, и чувствовал себя не Тихоном Ильичом, а так, как будто он был в прихожей хозяина или начальника. И когда доктор, похожий на дьякона, красный, светлоглазый, в кургузом черном скюртуке, пахнущем медью, со­пя, приложил холодное ухо к его груди, он поспешил сказать, что «живот почти прошел», и только по робости не отказался от касторки. А воротясь на ярмарку, проглотил стакан водки с пер­цем и с солью и опять стал есть колбасу и подрукавный хлеб, пить чай, сырую воду, кислые щи — и все не мог утолить жажды. Звали знакомые «пивком освежиться» — и он шел. Орал квасник:

— Вот квасок, попыривает в носок! По копейке бокал, са­мый главный лимонад!

И он останавливал квасника.

— Вот-от морожено! — тенором кричал лысый потный моро­женщик, брюхатый старик в красной рубахе.

И он ел с костяной ложечки мороженое, почти снег, от ко­торого жестоко ломило в висках.

Пыльный, истолченный ногами, колесами и копытами, засо­ренный и унавоженный выгон уже пустел, — ярмарка развезжа-



лась. Но Тихон Ильич, точно назло кому-то, все держал и держал на жаре и в пыли непроданных лошадей, все сидел на телеге. Господи боже, что за край! Чернозем на полтора аршина, да какой! А пяти лет не проходит без голода. Город на всю Россию славен хлебной торговлей,— ест же этот хлеб досыта сто человек во всем городе. А ярмарка? Нищих, дурачков, слепых и калек,— да все таких, что смотреть страшно и тошно,— прямо полк целый!

Домой Тихон Ильич ехал в солнечное жаркое утро по Старой большой дороге. Ехал сперва городом, базаром, потом через мелкую и кислую от кожевенных заводов речку, а за речкой — в гору, через Черную Слободу. На базаре он когда-то служил вместе с братом в лавке Маторина. Теперь на базаре все кланялись ему. В Слободу прошло его детство,— на этой полугоре, среди вросших в землю мазанок с прогнившими и почерневшими крышами, среди навоза, который сушат перед ними для топки, среди мусора, золы и тряпок... Теперь и следа не было той мазанки, где родился и рос Тихон Ильич. На ее месте стоял новый тесовый домик с ржавой вывеской над входом: «Духовный портной Соболев». Все прочее было в Слободу по-старому: свиньи и куры возле порогов; высокие шесты у ворот, а на шестах — бараньи рога; белые большие лица кружевниц, выглядывающих из-за горшков с цветами из крохотных окошечек; босые мальчишки с одной помочей через плечо, запускающие бумажного змея с мочальным хвостом; белобрысые тихие девочки, играющие возле завалинок в любимую игру — похороны кукол... На горе, в поле, он перекрестился на кладбище, за оградой которого, среди старых деревьев, была когда-то страшная могила богача и скряги Зыкова, провалившаяся в ту же минуту, как только засыпали ее. И, подумав, повернул лошадь к воротам кладбища.

У этих больших белых ворот сидела и вязала чулок старуха, похожая на старуху из сказки,— в очках, с клювом, с провалившимися губами — одна из вдов, живущих в приюте при кладбище.

— Здорово, бабка! — крикнул Тихон Ильич, привязывая лошадь к столбу у ворот.— Можешь мою лошадь постеречь?

Старуха встала, низко поклонилась и прошамкала:

— Могу, батюшка.

Тихон Ильич снял картуз, еще раз, подкатывая глаза под лоб, перекрестился на картину Успения богородицы над воротами и прибавил:

— Много вас тут теперь?

— Целых двенадцать старушек, батюшка.

— Что ж, часто ругаетесь?

— Часто, батюшка...

И Тихон Ильич не спеша пошел среди деревьев и крестов, по аллее, ведущей к старой деревянной церкви. На ярмарке он постриг волосы, подровнял и укоротил бороду — и очень помолодел. Молодила его и худоба после болезни. Молодил загар, — белели нежной кожей только выстриженные треугольники на висках. Молодили воспоминания детства и молодости, новый парусиновый картуз. Он шел и глядел по сторонам... Как коротка и бестолкова жизнь! И какой мир и покой вокруг, в этом солнечном затишье, в ограде старого погоста! Горячий ветер проносился по верхушкам светлых деревьев, сквозившим на безоблачном небе, до времени поредевшим от зноя, волновал по камням, памятникам их прозрачную, легкую тень. А когда затахал, жарко пригревало солнце цветы и травы, сладко пели птицы в кустах, в сладкой истоме замирали на горячих дорожках бабочки... На одном кресте Тихон Ильич прочел:

Какие страшные оброки  
Смерть собирает от людей!

Но ничего страшного не было вокруг. Он шел, даже как бы с удовольствием замечая, что кладбище растет, что появилось много новых мавзолеев среди тех старинных камней в виде гробов на ножках, тяжелых чугунных плит и огромных, грубых и уже гниющих крестов, которыми полно оно. «Скончалась 1819 года Ноября 7 в 5 часов утра» — такие надписи было жутко читать, нехороша смерть на рассвете ненастного осеннего дня, в старом уездном городе! Но рядом светил среди деревьев своей белизной гипсовый ангел с очами, устремленными в небо, и на цоколе под ним были выбиты золотые буквы: «Блаженны мертвые, умирающие в господе!» На железном, радужном от непогоды и времени, памятнике какого-то коллежского асессора можно было разобрать стихи:

Царю он честно послужил,  
Сердечно ближнего любил,  
Был уважаем от людей...

Стихи эти показались Тихону Ильичу лживыми. Но — где правда? Вот в кустах валяется человеческая челюсть, точно сделанная из грязного воска, — все, что осталось от человека... Но все ли? Гниют цветы, ленты, кресты, гробы и кости в земле, — все смерть и тлен! Но шел далее Тихон Ильич и читал: «Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении».

Все надписи трогательно говорили о покое и отдыхе, о нежности, о любви, которой как будто нет и не будет на земле, о той преданности друг другу и покорности богу, о тех горячих упованиях на жизнь будущую и свидание в иной, блаженной стране, которым веришь только здесь, и о том равенстве,

что дает только смерть, — те минуты, когда мертвого нищего целуют в уста последним целованием, как брата, сравнивают его с царями и владыками... А там, в дальнем углу ограды, в кустах бузины, дремлющих на припеке, увидал Тихон Ильич свежую детскую могилку, крест, а на кресте — двустиишие:

тише, листья, не шумите,  
мово Костю не будите! —

и, вспомнив своего ребенка, задавленного во сне немой кухаркой, заморгал от наворачнувшихся слез.

По шоссе, идущему мимо кладбища и пропадающему среди волнистых полей, никто никогда не ездит. Ездят по пыльному проселку, рядом. По проселку поехал и Тихон Ильич. Навстречу ему пронеслась ободранная извозчичья пролетка, — лихо носятся уездные извозчики! — а в пролетке — городской охотник: у ног — пегая легавая собака, на коленях — ружье в чехле, на ногах — высокие болотные сапоги, хотя болот в уезде и не бывало. И Тихон Ильич сердито стиснул зубы: в работники бы этого лодаря! Полдненное солнце палило, ветер дул горячий, безоблачное небо становилось грифельным. И все сердитее отвертывался Тихон Ильич от пыли, летевшей по дороге, все озабоченнее косился на тощие, до времени подсыхающие хлеба.

Мерным шагом, с высокими посошками, шли толпы замученных усталостью и зноем богомолков. Они отвешивали Тихону Ильичу низкие смиренные поклоны, но теперь ему уже опять все казалось жульничеством.

— Смирenniцы! А грызутся, небось, на ночевках, как собаки!

Подымая тучи пыли, гнали лошадемок пьяные мужики, возвращавшиеся с ярмарки, — рыжие, сивые, черные, но все одинаково безобразные, тощие и лохматые. И, обгоняя их гремящие телеги, Тихон Ильич мотал головой:

— У, нишеброды, пропади вы пропадом!

Один, в изорванной на ленты ситцевой рубашке, спал, колотился, как мертвый, лежа на спине, закинув голову, задрав окровавленную бороду и распухший, в засохшей крови нос. Другой бежал, догонял сорванную ветром шапку, споткнулся — и Тихон Ильич с злобным наслаждением вытянул его кнутом. Попалась телега, полная решет, лопат и баб; сидя к лошади спинами, они тряслись и подпрыгивали; у одной на голове был новый детский картузик козырьком назад, другая пела, третья махала руками и с хохотом орала вдогонку Тихону Ильичу:

— Дядя! Чеку потерял!

За заставой, где свернуло шоссе в сторону, где отстали гремящие телеги и охватила тишина, простор и зной степи, опять почувствовал он, что все-таки самое главное на свете — «де-

ло». Эх, и нищета же кругом! Дотла разорились мужики, тринки не осталось в оскудевших усадьбишках, раскиданных по уезду... Хозяина бы сюда, хозяина!

На полпути было большое село Ровное. Суховой пронеслся вдоль пустых улиц, по лозинкам, спаленным жарою. У порогов ерошились, зарывались в золу куры. Грубо торчала на голом выгоне церковь дикого цвета. За церковью блестел на солнце мелкий глинистый пруд под навозной плотиной — густая желтая вода, в которой стояло стадо коров, поминутно отправлявшее свои нужды, и намыливал голову голый мужик. Он по пояс вошел в воду, на груди его блестел медный крестик, шея и лицо были черны от загара, а тело поразительно бледно и бело.

— Разнуздай-ка лошадь-то, — сказал Тихон Ильич, въезжая в пруд, пахнувший стадом.

Мужик кинул мраморно-синеватый обмылок на черный от коровьего помета берег и, с серой, намыленной головой, стыдливо закрываясь, поспешил исполнить приказание. Лошадь жадно припала к воде, но вода была так тепла и противна, что она подняла морду и отвернулась. Посвистывая ей, Тихон Ильич покачал картузом:

— Ну, и водица у вас! Ужли пьете?

— А у вас-то ай сахарная? — ласково и весело возразил мужик. — Тыщу лет пьем! Да вода что — вот хлебушка нетути...

За Ровным дорога пошла среди сплошных ржей, опять тощих, слабых, переполненных васильками... А возле Выселок, под Дурновкой, тучей сидели на дуплистой корявой раките грачи с раскрытыми серебристыми клювами, — любят они почему-то пожарища: от Выселок осталось в эти дни только одно звание — только черные остовы изб среди мусора. Мусор курился молочно-синеватым дымком, кисло воняло гарью... И мысль о пожаре молнией пронзила Тихона Ильича. «Беда!» — подумал он, бледнея. Ничего-то у него не застраховано, все может в один час слететь...

С этих Петровок, с этой памятной поездки на ярмарку, Тихон Ильич начал попивать — и таки частенько, не допьяну, но до порядочной красноты лица. Однако это ничуть не мешало делам, да не мешало, по его словам, и здоровью. «Водка кровь полирует», — говорил он. Жизнь свою он и теперь нередко называл каторгой, петлей, золотою клеткой. Но шагал он по своей дороге все увереннее, и несколько лет прошло так однообразно, что все слилось в один рабочий день. А новыми крупными событиями оказалось то, чего и не чаяли, — война с Японией и революция.

Разговоры о войне начались, конечно, бахвальством. «Ка-

зак желтую-то шкуру скоро спустит, брат!» Но скоро слышались иные речи.

— Своей земли девать некуда! — строгим хозяйственным тоном говорил и Тихон Ильич. — Не война-с, а прямо бессмыслица!

И в злорадное восхищение приводили его вести о страшных разгромах русской армии:

— Ух, здорово! Так их, мать их так!

Восхищала сперва и революция, восхищали убийства:

— Как дал этому самому министру под жилу, — говорил иногда Тихон Ильич в пылу восторга, — как дал — праху от него не осталось!

Но как только заговорили об отчуждении земель, стала просыпаться в нем злорадия. «Все жиды работают! Все жиды-с, да вот еще лохмачи эти — студенты!» И непонятно было: все говорят — революция, революция, а вокруг — все прежнее, будничное: солнце светит, в поле ржи цветут, подводы тянутся на станцию... Непонятен был в своем молчании, в своих уклончивых речах народ.

— Скрытень он стал, народ-то! Прямо жуть, как скрытен! — говорил Тихон Ильич.

И, забыв о «жидах», прибавлял:

— Положим, что и музыка-то вся эта нехитрая-с. Правительству сменить да земелькой поровнять — это ведь и младенец поймет-с. И, значит, дело ясно, за кого он гнет, народ-то. Но, конечно, помалкивает. И надо, значит, следить, да так норовить, чтоб помалкивал. Не давать ему ходу! Не то держись: почует удачу, почует шлею под хвостом — вдребезги расшибет-с!

Когда он читал или слышал, что будут отнимать землю только у тех, у кого больше пятисот десятин, он и сам становился «смутьяном». Даже в спор с мужиками пускался. Случалось — стоит возле его лавки мужик и говорит:

— Нет, это ты, Ильич, не толкуй. По справедливой оценке — это можно, взять-то ее. А так — нет, не хорошо...

Жарко, пахнет сосновым тесом, сваленным возле амбаров, напротив двора. Слышно, как за деревьями и за постройками станции сипит, разводит пары горячий паровоз товарного поезда. Без шапки стоит, щурясь и хитро улыбаясь, Тихон Ильич. Улыбается и отвечает:

— Так. А если он не хозяин, а лодарь?

— Кто? Барин-то? Ну, это дело особая. У такого-то и со всеми потрохами отнять не грех!

— Ну вот то-то и оно-то!

Но приходила другая весть — будут и меньше пятисот братья! — и сразу овладевала душой рассеянность, придиричи-

вость. Все, что делается по дому, начинало казаться отвратительным.

Выносил из лавки Егорка, подручный, мучные мешки и начинал вытрясать их. Макушка клином, волосы жестки и густы — «и отчего это так густы они у дураков?» — лоб вдавленный, лицо как яйцо косое, глаза рыбы, выпуклые, а веки с белыми, телячьими ресницами точно натянуты на них: кажется, что не хватило кожи, что, если малый сомкнет их, нужно будет рот разинуть, если закроет рот — придется широко раскрыть веки. И Тихон Ильич злобно кричал:

— Далдон! Дулеб! Что ж ты на меня-то трясешь?

Горницы его, кухня, лавка и амбар, где прежде была винная торговля, — все это составляло один сруб, под одной железной крышей. С трех сторон вплотную примыкали к нему навесы скотного варка, крытые соломой, — и получался уютный квадрат. Амбары стояли против дома, через дорогу. Направо была станция, налево шоссе. За шоссе — березовый лесок. И когда Тихону Ильичу было не по себе, он выходил на шоссе. Белой лентой, с перевала на перевал, убегало оно к югу, все понижаясь вместе с полями и снова поднимаясь к горизонту только от далекой будки, где его пересекала идущая с юго-востока чугунка. И если случалось, что ехал кто-нибудь из дурновских мужиков, — конечно, кто поделнее, поразумнее, например, Яков, которого все зовут Яковом Микитичем за то, что он «богат» и жаден, — Тихон Ильич останавливал его.

— Хоть бы картузишко-то купил себе! — кричал он с усмешкой.

Яков, в шапке, в замашной рубахе, в коротких тяжелых портках и босой, сидел на грядке телеги. Он натягивал веревочные вожжи, останавливая сытую кобылу.

— Здорово, Тихон Ильич, — сдержанно говорил он.

— Здорово! Шапку-то, говорю, пора пожертвовать на галчинные гнезда!

Яков, с хитрой усмешкой в землю, кивал головой.

— Это... как сказать?.. не плохо бы. Да капитал-то, к примеру, не позволяет.

— Будет толковать-то! Знаем мы вас, казанских сирот! Девку отдал, малого женил, деньги есть... Чего тебе еще от господа бога желать?

Это льстило Якову, но сдерживало еще более.

— О, господи! — вздыхал, бормотал он дрожащим голосом. — Деньги... У меня их, к примеру, и в заведеньи-то не было... А малый... что ж малый? Малый не радуется... Прямо надо сказать — не радуется!

Был Яков, как многие мужики, очень нервен и особенно тогда, когда доходило дело до его семьи, хозяйства. Был очень

скрытен, но тут нервность одолевала, хотя избобличала ее только отрывистая, дрожащая речь. И, чтобы уже совсем растревожить его, Тихон Ильич участливо спрашивал:

— Не радуется? Скажи, пожалуйста! И все из-за бабы?

Яков, озираясь, скреб ногтями грудь:

— Из-за бабы, родимец ее расшиби...

— Ревнует?

— Ревнует... В снохачи меня записала...

И у Якова бегали глаза:

— Там нажалилась мужу, нам нажалилась! Да что — отравить хотела! Иной раз, к примеру, остудишься... покуришь маленько, чтоб на груди полегчало... Ну, и сунула мне под подушку цыгарку... Кабы не глянул — препал бы!

— Что ж за цыгарка такая?

— Костей мертвых натолкла да заместо табаку и всыпала...

— То-то малый-то дурак! Поучил бы ее по-русски!

— Куда тебе! Мне же, к примеру, на грудь полез! А сам как змей вьется!.. Ухвачу за голову, ан голова-то стриженная... Ухвачу за пельки — рубаху драть жалко!

Тихон Ильич качал головой, молчал минуту и наконец решил:

— Ну, а как у вас там? Все бунту ждете?

Но тут скрытность сразу возвращалась к Якову. Он усмехался и махал рукой.

— Ну! — скороговоркой бормотал он. — Какого там рожна — бунту! У нас народ смиренный... Смиренный народ...

И натягивал вожжи, будто не стоит лошадь.

— А сходка-то зачем в воскресенье была? — вдруг злобно кидал Тихон Ильич.

— Сходка-то? А чума их знает! Погалдели, к примеру...

— Знаю, о чем галдели-то!

— Да что ж, я не таюсь... Болтали, к примеру, что вышла, мол, распоряжение... вышла будто распоряжение — никак не работать у господ по прежней цене...

Очень обидно было думать, что из-за какой-то Дурновки руки отваливаются от дела. И дворов-то в этой Дурновке всего три десятка. И лежит-то она в чортовой яруге: широкий овраг, на одном боку — избы, на другом — усадьбишка. И переглядывается эта усадьбишка с избами и со дня на день ждет какого-то «распоряжения»... Эх, взять бы несколько казаков с плетьюми!

Но «распоряжение» таки вышло. Пронесся в одно из воскресений слух, что в Дурновке — сходка, вырабатывается план наступления на усадьбу. С злобно-радостными глазами, с ощущением необычной силы и дерзости, с готовностью «самоу чорту рога сломать», Тихон Ильич крикнул «запречь в бегунки

жеребчика» и через десять минут уже гнал его вдоль шоссе к Дурновке. Солнце садилось после дождливого дня в серо-красные тучи, стволы в березовом лесочке были алые, проселок, резко выделявшийся черно-фиолетовой грязью среди свежей зелени, был тяжел. С ляжек жеребчика, со шлеи, ерзавшей по ним, падала розовая пена. Крепко щелкая вожжами, Тихон Ильич свернул от чугунки, взял направо полевой дорогой и, увидав Дурновку, на минуту усомнился в правдивости слухов о бунте. Мирная тишина была вокруг, мирно пели свои вечерние песни жаворонки, просто и спокойно пахло влажной землей и сладостью полевых цветов... Но вдруг взгляд упал на пары возле усадьбы, густо усеянные желтым донником: на его парах пасся мужицкий табун! Началось, значит! И, передернув вожжи, Тихон Ильич пролетел мимо табуна, мимо риги, заросшей лопухами и крапивой, мимо низкорослого сада, полного воробьями, мимо конюшни и людской избы и вскочил во двор...

А потом творилось что-то несуразное: в сумерках, замирая от злобы, обиды и страха, Тихон Ильич сидел в поле на бегунках. Сердце колотилось, руки дрожали, лицо горело, слух был чуток, как у зверя. Он сидел, слушал крики, доносившиеся из Дурновки, и вспоминал, как толпа, показавшаяся огромной, повалила, завидя его, через овраг к усадьбе, наполнила двор галдой и бранью, сгрудилась у крыльца и прижала его к двери. В руках у него был только кнут. И он махал им, то отступая, то отчаянно кидаясь в толпу. Но еще шире и смелее махал палкой наступавший шорник, — злой, поджарый, с провалившимся животом, востроносый, в сапогах и лиловой ситцевой рубахе. Он, от лица всей толпы, орал, что вышло распоряжение «пошабашить это дело» — пошабашить в один и тот же день и час по всей губернии: согнать из всех экономий посторонних батраков, заступить на их работу местным, — по целковому на день! И Тихон Ильич орал еще неистовее, стараясь заглушить шорника:

— А-а! Вот как! Навострился, бродяга, у агитаторов? Насобачился?

И шорник цепко, на лету, ловил его слова.

— Ты бродяга-то! — вопил он, наливаясь кровью. — Ты, дурак седой! Ай я сам не знаю, сколько земли-то у тебя? Сколько, кошкодер? Двести? А у меня — чорт! — у меня ее и всей-то с твое крыльцо! А почему? Кто ты такой? Кто ты такой есть, спрашиваю я тебя? Из каких таких квасов?

— Ну, помни-и, Митька! — крикнул наконец Тихон Ильич беспомощно и, чувствуя, что голова его мутится, кинулся сквозь толпу к бегункам. — Помни ты это себе!

Но никто не боялся угроз — и дружный гогот, рев и свист понеслись ему вслед... А потом он колесил вокруг усадьбы, за-



мирал, слушал. Он выезжал на дорогу, на перекресток и становился лицом к заре, к станции, готовый каждую минуту ударить по лошади. Было тихо, тепло, сыро и темно. Земля, поднимаясь к горизонту, где еще тлел красноватый слабый свет, была черна, как пропасть.

— С-стой, стерва! — сквозь зубы шептал Тихон Ильич шевелившейся лошади. — Сто-ой!

А издали доносились голоса, крики. И изо всех голосов выделялся голос Ваньки Красного, уже два раза побывавшего на донецких шахтах. А потом над усадьбой вдруг поднялся темноогненный столб: мужики зажгли в саду шалаш — и пистолет, забытый в шалаше сбежавшим мещанином-садовником, стал сам собой палить из огня...

Впоследствии узнали, что, и правда, совершилось чудо: в один и тот же день взбунтовались мужики чуть не по всему уезду. И гостиницы города долго были переполнены помещиками, искавшими защиты у властей. Но впоследствии Тихон Ильич с великим стыдом вспоминал, что искал и он ее: со стыдом потому, что весь бунт кончился тем, что поорали по уезду мужики, сожгли и разгромили несколько усадеб, да и смолкли. Шорник вскоре, как ни в чем не бывало, опять стал появляться в лавке на Воргле и почтительно снимал шапку на пороге, точно не замечая, что Тихон Ильич в лице темнеет при его появлении. Однако еще ходили слухи, что собираются дурновцы убить Тихона Ильича. И он побаивался запаздывать на пути из Дурновки, ощупывал в кармане бульдог, надоедливо оттягивавший карман шаровар, давал себе клятву сжечь дотла Дурновку в одну прекрасную ночь... отравить воду в дурновских прудах... Потом прекратились и слухи. Но Тихон Ильич стал твердо подумывать развязаться с Дурновкой. «Не те деньги, что у бабушки, а те, что в пазушке!»

В этот год Тихону Ильичу сровнялось уже пятьдесят. Но мечта стать отцом не покидала его. И вот она-то и столкнула его с Родькой.

Родька, долговязый, хмурый малый из Ульяновки, пошел назад тому два года во двор ко вдовому брату Якова, Федоту; женился, схоронил Федота, умершего с перепоя на свадьбе, и ушел в солдаты. А молодая, — стройная, с очень белой, нежной кожей, с тонким румянцем, с вечно опущенными ресницами, — стала работать в усадьбе, на поденщине. И эти ресницы волновали Тихона Ильича страшно. Носят дурновские бабы «рога» на голове: как только из-под венца, косы кладутся на макушке, покрываются платком и образуют нечто дикое, коровье. Носят старинные темнолиловые паневы с позументом, белый передник вроде сарафана и лапти. Но Молодая, — за ней так и осталась эта кличка, — была и в этом наряде хороша. И однаж-

ды вечером, в темной риге, где Молодая одна дометала колос, Тихон Ильич, оглянувшись, быстро подошел к ней и быстро сказал:

— В полсапожках ходить будешь, в платках шелковых... Четвертного не пожалею!

Но Молодая молчала, как убитая.

— Слышишь, что ли? — шопотом крикнул Тихон Ильич.

Но Молодая точно окаменела, склонив голову и кидая граблями.

И так он и не добился ничего. Как вдруг явился Родька: раньше срока, кривой. Было это вскоре после бунта дурновцев, и Тихон Ильич тотчас же нанял Родьку вместе с женой в дурновскую усадьбу, ссылаясь на то, что «без солдата теперь не обойдешься». Под Ильин день Родька уехал в город за новыми метлами и лопатами, а Молодая мыла полы в доме. Шагая через лужи, Тихон Ильич вошел в комнату, глянул на склонившуюся к полу Молодую, на ее белые икры, забрызганные грязной водой, на все ее раздавленное в замужестве тело... И вдруг, как-то особенно ловко владея своей силой и желанием, шагнул к Молодой. Она быстро выпрямилась, подняла возбужденное, раскрасневшееся лицо и, держа в руке мокрую ветошку, странно крикнула:

— Так и смажу тебя, малый!

Пахло горячими помоями, горячим телом, потом... И, схватив руку Молодой, зверски стиснув ее, тряхнув и выбив ветошку, Тихон Ильич правой рукой поймал Молодую за талию, прижал к себе, да так, что хрустнули кости,— и понес в другую комнату, где была постель. И, откинув голову, расширив глаза, Молодая уже не билась, не противилась...

Стало после этого мучительно видеть жену, Родьку, зная, что он спит с Молодой, что он свирепо бьет ее — ежедневно и еженощно. А вскоре стало и жутко. Неисповедимы пути, по которым доходит до правды ревнующий человек. И Родька дошел. Худой, кривой, длиннорукий и сильный, как обезьяна, с маленькой, коротко стриженной черной головой, которую он всегда гнул, глядя глубоко запавшим блестящим глазом исподлобья, он стал страшен. В солдатах он нахватался хохлацких слов и ударений. И если Молодая осмеливалась возражать ему на его краткие, жесткие речи, он спокойно брал ременный кнут, подходил к ней с злой усмешкой и, сквозь зубы, спокойно спрашивал, ударяя на «во»:

— Вы шо говорите?

И так вытягивал ее, что у нее в глазах темнело.

Раз наткнулся на эту расправу Тихон Ильич и, не выдержав, крикнул:

— Что ты делаешь, мерзавец ты этакий?

Но Родька спокойно сел на лавку и только глянул на него.

— Вы шо говорите? — спросил он.

И Тихон Ильич поспешил хлопнуть дверью...

Стали мелькать уже дикие мысли: подстроить так, например, чтобы Родьку где-нибудь придавило крышей или землей... Но прошел месяц, прошел другой, — и надежда, та надежда, которая и опьянила-то этими мыслями, жестоко обманула: Молодая не забеременела! Из-за чего же было после этого продолжать играть с огнем? Надо было разделаться с Родькой, как можно скорее прогнать его.

Но кем было его заменить?

Выручил случай. Неожиданно Тихон Ильич помирился с братом и уговорил его взять на себя управление Дурновкой.

Узнал он от знакомого в городе, что Кузьма долго служил конторщиком у помещика Касаткина и, что всего удивительнее, — стал «автором». Да, напечатали будто бы целую книжку его стихов и на обороте обозначили: «склад у автора».

— Та-ак-с! — протянул Тихон Ильич, услышавши это. — Он Кузьма, а ничего! И что же, позвольте спросить, так и напечатали: сочинение Кузьмы Красова?

— Все честь-честью, — ответил знакомый, твердо веривший, впрочем, — как и многие в городе, — что стихи свои Кузьма «сдирает» из книг, из журналов.

Тогда Тихон Ильич, не сходя с места, за столом в трактире Даева, написал брату твердую и краткую записку: пора старикам помириться, покаяться. А на другой день и примирение и деловой разговор у Даева.

Было утро, в трактире еще пусто. Солнце светило в запыленные окна, озаряло столики, покрытые сыроватыми красными скатертями, темный, только что вымытый отрубями пол, пахнувший конюшней, половых в белых рубашках и белых штанах. В клетке на все лады, как неживая, как заведенная, заливалась канарейка. Тихон Ильич, с нервным и серьезным лицом, сел за стол и, как только потребовал пару чаю, над его ухом раздался давно знакомый голос:

— Ну, здравствуй.

Был Кузьма ниже его ростом, костистее, суше. Было у него большое, худое, слегка скуластое лицо, насупленные серые брови, небольшие зеленоватые глаза. Начал он не просто.

— Спервоначалу изложу я тебе, Тихон Ильич, — начал он, как только Тихон Ильич налил ему чаю, — изложу тебе, кто я такой, чтоб ты знал... — Он усмехнулся: — с кем ты связываешься...

И у него была манера отчеканивать слоги, поднимать брови,

расстегивать и застегивать при разговоре пиджак на верхнюю пуговицу. И, застегнувшись, он продолжал:

— Я, видишь ли,— анархист...

Тихон Ильич вскинул бровями.

— Не бойся. Политикой я не занимаюсь. А думать никому не закажешь. И вреда тебе тут — никакого. Буду хозяйствовать исправно, но, прямо говорю,— драть шкур не буду.

— Да и времена не те,— вздохнул Тихон Ильич.

— Ну, времена-то все те же. Можно еще,— драть-то. Да нет, не годится. Буду хозяйствовать, свободное же время отдам саморазвитию... чтению, то есть.

— Ох, имей в виду: считаешься — в кармане не досчитаешься! — сказал, тряхнув головой и дернув кончиком губы, Тихон Ильич.— Да, пожалуй, и не наше это дело.

— Ну, я так не думаю,— возразил Кузьма.— Я, брат,— как бы это тебе сказать? — странный русский тип.

— Я и сам русский человек, имей в виду,— вставил Тихон Ильич.

— Да иной. Не хочу сказать, что я лучше тебя, но — иной. Ты вот, вижу, гордишься, что ты русский, а я, брат, ох, далеко не славянофил! Много баять не подобает, но скажу одно: не хвалитесь вы, за ради бога, что вы — русские. Дикий мы народ!

Тихон Ильич, нахмуриваясь, побарабанил пальцами по столу.

— Это-то, пожалуй, правильно,— сказал он.— Дикий народ. Шальной.

— Ну, вот то-то и есть. Я, могу сказать, довольно-таки пошатался по свету,— ну и что ж? — прямо нигде не видал скучнее и ленивее типов. А кто и не ленив,— покосился Кузьма на брата,— так и в том толку нет. Рвет, гандобит себе гнездо, а толку что?

— Как же так — толку что? — спросил Тихон Ильич.

— Да так. Вить его, гнездо-то, тоже надо со смыслом. Совью, мол, да и поживу по-человечески. Вот этим-то да вот этим-то.

И Кузьма постучал себе пальцем в грудь и в лоб.

— Нам, брат, видно, не до этого,— сказал Тихон Ильич.— «Поживи-ка у деревни, похлебай-ка серых щей, поноси худых лаптей!»

— Лаптей! — едко отозвался Кузьма.— Вторую тыщу лет, брат, таскаем их, будь они трижды прокляты! А кто виноват? Татары, видишь ли, задавили! Мы, видишь ли, народ молодой! Да ведь авось и там-то, в Европе-то, тоже давили не мало — монголы-то всякие. Авось и германцы-то не старше... Ну, да это разговор особый!

— Верно! — сказал Тихон Ильич.— Давай-ка лучше об деле поговорим!

Кузьма, однако, стал договаривать:

— В церковь я не хожу...

— Значит, ты молокан? — спросил Тихон Ильич и подумал: «Пропал я! Видно, надо развязываться с Дурновкой!»

— Вроде молокана,— усмехнулся Кузьма.— Да а ты-то ходишь? Кабы не страх да не нуждишка,— и совсем забыл бы.

— Ну, это не я первый, не я последний,— возразил Тихон Ильич, нахмуриваясь.— Все грешны. Да ведь сказано: за один вздох все прощается.

Кузьма покачал головою.

— Говоришь привычное! — сказал он строго.— А ты остановись да подумай: как же это так? Жил-жил свиньей всю жизнь, вздохнул,— и все как рукой сняло! Есть тут смысл, ай нет?

Разговор становился тяжелым. «Правильно и это»,— подумал Тихон Ильич, глядя в стол блестящими глазами. Но, как всегда, хотелось уклониться от дум и разговора о боге, о жизни, и он сказал первое, что подвернулось на язык:

— И рад бы в рай, да грехи не пускают.

— Вот, вот, вот! — подхватил Кузьма, стуча ногтем по столу.— Самое что ни на есть любимое наше, самая погибельная наша черта: слово — одно, а дело — другое! Русская, брат, музыка: жить по-свинячьи скверно, а все-таки живу и буду жить по-свинячьи! Ну, а засим говори дело...

Канарейка стихла. В трактир набирался народ. Теперь было слышно с базара, как где-то в лавке удивительно четко и звонко бил перепел. И, пока шел деловой разговор, Кузьма все прислушивался к нему и порою вполголоса подхватывал: «Ловко!» А договорившись, хлопнул по столу ладонью, энергично сказал:

— Ну, значит, так,— не стать перетакивать! — и, запустив руку в боковой карман пиджака, вынул целую кипу бумаг и бумажек, нашел среди них в мраморно-серой обложке книжечку и положил ее перед братом.

— Вот! — сказал он.— Уступаю твоей просьбе да своей слабости. Книжонка плохая, стихи необдуманные, давнишние... Но делать нечего. На, бери и прячь.

И опять Тихона Ильича взволновало, что брат его — автор, что на этой мраморно-серой обложке напечатано: «Стихотворения К. И. Красова». Он повертел книжку в руках и несмело сказал:

— А то бы прочитал что-нибудь... А? Уж сделай милость, прочти стишка три-четыре!

И, опустив голову, напев пенсне, далеко отставив от себя книжку и строго глядя на нее сквозь стекла, Кузьма стал читать

то, что обычно читают самоучки: подражания Кольцову, Никитину, жалобы на судьбу и нужду, вызовы заходящей туче-непогоде. Но на худых скулах выступали розовые пятна, голос порою дрожал. Блестели глаза и у Тихона Ильича. Не важно было, хороши или дурны стихи,— важно то, что сочинил их его родной брат, простой человек, от которого пахло махоркой и старыми сапогами...

— А у нас, Кузьма Ильич,— сказал он, когда Кузьма смолк и, сняв пенсне, потупился,— а у нас одна песня...

И неприятно, горько дернул губою:

— У нас одна песня: что́ почем?

Водворив брата в Дурновке, он, однако, принялся за эту песню еще охотнее, чем прежде. Перед тем, как сдать брату на руки Дурновку, он придрался к Родьке из-за новых гужей, съеденных собаками, и отказал ему. Родька дерзко усмехнулся в ответ и спокойно пошел в избу собирать свое добро. Молодая выслушала отказ тоже как будто спокойно,— она, разойдясь с Тихоном Ильичом, опять взяла манеру бесстрастно молчать, не глядеть ему в глаза. Но через полчаса, уже собравшись, Родька пришел вместе с ней просить прощения. Молодая стояла на пороге, бледная, с опухшими от слез веками, и молчала; Родька гнул голову, мял картуз и тоже пытался плакать,— противно гримасничал, а Тихон Ильич сидел да косил бровями, шелкал на счетах. Смилоствовался он только в одном — не вычел за гужи.

Теперь он был тверд. Отделяясь от Родьки и передавая дела брату, он чувствовал себя бодро, ладно. «Ненадежен брат, пустой, кажись, человек, ну, да куда сойдет!» И, возвратясь на Воргол, без устали хлопотал весь октябрь. И, как бы в лад с его настроением, весь октябрь стояла чудесная погода. Но вдруг она переломилась,— сменилась бурей, ливнями, а в Дурновке случилось нечто совершенно неожиданное.

Родька работал в октябре на линии чугушки, а Молодая без дела жила дома, только изредка зарабатывала пятиалтынный, двугривенный в саду при усадьбе. Вела она себя странно: дома молчала, плакала, а в саду была резко-весела, хохотала, пела песни с Донькой Козой, очень глупой и красивой девкой, похожей на египтянку. Коза жила с мещанином, снимавшим сад, а Молодая, почему-то подружившаяся с ней, вызывающе поглядывала на его брата, нахального мальчишку, и, поглядывая, намекала в песнях, что она по ком-то сохнет. Было ли у нее с ним что-нибудь, неизвестно, но только кончилось все это большой бедой: уезжая под Казанскую в город, мещане устроили у себя в шалаше «вечерок»,— пригласили Козу и Молодую, всю ночь играли на двух ливенках, кормили подруг жамками, поили чаем и водкой, а на рассвете, когда уже запрягали телегу,

внезапно, с хохотом, повалили пьяную Молодую наземь, связали ей руки, подняли юбки, собрали их в жгут над головою и стали закручивать веревкой. Коза кинулась бежать, забилась со страху в мокрые бурьяны, а когда выглянула из них,— после того, как телега с мешанами шибко покатила вон из сада,— то увидела, что Молодая, по пояс голая, висит на дереве. Был печальный туманный рассвет, по саду шептал мелкий дождик. Коза плакала в три ручья, зуб на зуб не попадала, развязывая Молодую, клялась отцом-матерью, что скорее ее, Козу, громом убьет, чем узнают на деревне, что случилось в саду... Но не сровнялось и недели, как пошли по Дурновке слухи о позоре Молодой.

Проверить эти слухи было, конечно, невозможно: «видеть — никто не видал, ну, а Коза-то и сбрехать недорого возьмет». Однако разговоры, вызванные слухами, не прекращались, и все с великим нетерпением ожидали прихода Родьки и его расправы с женой. Волнуясь,— опять выбившись из колеи! — ожидал этой расправы и Тихон Ильич, узнавший историю в саду от своих работников: ведь история-то могла кончиться убийством! Но кончилась она так, что еще неизвестно, что поразило бы Дурновку сильнее,— убийство или такой конец: в ночь на Михайлов день Родька, пришедший домой «рубашу сменить», умер «от живота»! На Воргле стало известно об этом поздно вечером, но Тихон Ильич тотчас же приказал запрячь лошадь и в темноте, под дождем, понесся к брату. И сгоряча, выпив за чаем бутылку наливки, в страстных выражениях, с бегающими глазами, покаялся ему:

— Мой грех, брат, мой грех!

Кузьма долго молчал, выслушав его, долго ходил по комнате, перебирая пальцы, ломая их и хрустя суставами. Наконец ни с того ни с сего сказал:

— Вот ты и подумай: есть ли кто лютее нашего народа? В городе за воришкой, схватившим с лотка лепешку грошовую, весь обжорный ряд гонится, а нагонит, мылом его кормит. На пожар, на драку весь город бежит, да ведь как жалеет-то, что пожар али драка скоро кончились! Не мотай, не мотай головой-то: жалеет! А как наслаждаются, когда кто-нибудь жену бьет смертным боем, али мальчишку дерет, как сидорову козу, али потешается над ним? Это-то уж самая что ни на есть веселая тема.

— Имей в виду,— горячо перебил Тихон Ильич,— охальников всегда и везде было много.

— Так. А ты сам не привозил этого... ну, как его? Дурочка-то этого?

— Мотю-Утиную-Головку, что ли? — спросил Тихон Ильич.

— Ну, вот, вот... Не привозил ты его к себе на потеху?

И Тихон Ильич усмехнулся: привозил. Раз даже по чугунке доставили к нему Мотю — в бочке сахарной. Начальство знакомое — ну, и доставили. А на бочке написали: «Осторожно. Дурак битый».

— И учат этих самых дураков для потехи рукоблудству! — горько продолжал Кузьма. — Мажут бедным невестам ворота дегтем! Травят нищих собаками! Для забавы голубей сшибают с крыш камнями! А есть этих голубей, видите ли, — грех великий. Сам дух святой, видите ли, голубиный образ принимает!

Самовар давно остыл, свечка оплыла, в комнате тускло синел дым, вся полоскательница полна была вонючими размокшими окурками. Вентилятор, — жестяная труба в верхнем углу окна, — был открыт, и порою в нем что-то начинало визжать, кружиться и скучно-скучно ныть — «как в волостном правлении», — думал Тихон Ильич. Но накурено было так, что не помогли бы и десять вентиляторов. А по крыше шумел дождь, а Кузьма ходил, как маятник, из угла в угол и говорил:

— Да-а, хороши, нечего сказать! Доброта неописанная! Историю считаешь — волосы дыбом станут: брат на брата, сват на свата, сын на отца, вероломство да убийство, убийство да вероломство... Былины — тоже одно удовольствие: «распорол ему груди белые», «выпускал черева на землю»... Илья, так тот своей собственной родной дочери «ступил на леву ногу и подернул за праву ногу»... А песни? Все одно, все одно: мачеха — «лихая да алчная», свекор — «лютый да придиричивый», «сидит на палате, ровно кобель на канате», свекровь опять-таки «лютая», «сидит на печи, ровно сука на цепи», золовки — непременно «псовки да клязницы», деверья — «злые насмешники», муж — «либо дурак, либо пьяница», ему «свекор-батюшка вялит жану больней бить, шкуру до пят спустить», а невестушка этому самому батюшке «полы мыла — во щи вылила, порог скребла — пирог спекла», к муженьку же обращается с такой речью: «встань, постылый, пробудися, вот тебе помой — умойся, вот тебе онучи — утрися, вот тебе обрывок — удавися»... А прибаутки наши, Тихон Ильич! Можно ли выдумать грязней и похабнее! А пословицы! «За битого двух не битых дают»... «Простота хуже воровства»...

— Значит, по-твоему, нищим-то лучше жить? — насмешливо спросил Тихон Ильич.

И Кузьма радостно подхватил его слова:

— Ну, вот, вот! Нету во всем свете голее нас, да зато и нету охальнее на эту самую голь. Чем позлей уязвить? Бедностью! «Чорт! Тебе лопать нечего...» Да вот тебе пример: Дениска... ну, этот... сын Серого-то... сапожник... на днях и говорит мне...

— Стой, — перебил Тихон Ильич, — а как поживает сам Серый?



— Дениска говорит — «с голоду околеваает».

— Стерва мужик! — сказал Тихон Ильич убежденно. — И ты мне про него песен не пой.

— Я и не пою, — сердито ответил Кузьма. — Слушай лучше про Дениску-то. Вот он и рассказывает мне: «Бывало, в голодный год, выйдем мы, подмастерья, на Черную Слободу, а там этих приституток — видимо-невидимо. И голодные, шкуры, преголодные! Дашь ей полхунта хлеба за всю работу, а она и сожрет его весь под тобой... То-то смеху было!..» Заметь! — строго крикнул Кузьма, останавливаясь: — «То-то смеху было!»

— Да постой ты, Христа ради, — опять перебил Тихон Ильич, — дай мне про дело-то слово сказать!

Кузьма остановился.

— Ну, говори, — сказал он. — Только что говорить-то? Как быть тебе? Да никак! Денег дать — вот и вся недолга. Ведь ты подумай: топить нечем, есть нечего, хоронить не на что! А потом опять ее нанять. Ко мне, в кухарки...

Домой уехал Тихон Ильич чем свет, холодным туманным утром, когда еще пахло мокрыми гумнами и дымом, сонно пели петухи на деревне, скрытой туманом, спали собаки у крыльца, спала старая индюшка, взгромоздясь на сук полуголой, расцвеченной мертвыми осенними листьями яблони возле дома. В поле в двух шагах ничего не было видно за густой серой мглой, гонимой ветром. Спать Тихону Ильичу не хотелось, но чувствовал он себя измученным и, как всегда, шибко гнал лошадь, большую гнедую кобылу с подвязанным хвостом, намокшую и казавшуюся худей, щеголеватей, чернее. Он отвернулся от ветра, поднял справа холодный и влажный воротник чуйки, серебрившейся от мельчайшего дождевого бисера, сплошь покрывшего ее, глядел сквозь холодные капельки, висевшие на ресницах, как все толще наворачивается липкий черпозем на бегущее колесо, как стоит перед ним и не проходит целый фонтан высоко толкущихся комьев грязи, уже залепивших его голенища, косился на работающую ляжку лошади, на ее прижатые затуманенные уши... А когда он, с пестрым от грязи лицом, подлетел наконец к дому, первое, что кинулось ему в глаза, была лошадь Якова у коновязки. Быстро замотав вожжи на передок, он соскочил с бегунков, подбежал к отворенной двери лавки — и в испуге остановился.

— Далдо-он! — говорила за стойкой Настасья Петровна, видимо подражая ему, Тихону Ильичу, но большим, ласковым голосом, и все ниже склонялась к ящику с деньгами, роясь в гремящих медяках и не находя в темноте монеты для сдачи. — Далдон! Где он, керосин-то, нынче дешевле продается?

И, не найдя, разогнулась, поглядела на стоящего перед ней в шапке и армяке, но босого Якова, на его косую бороду неопределенного цвета и прибавила:

— А не отравила она его?

И Яков поспешно забормотал:

— Не наша дело, Петровна... Чума ее знает... Наша дело — сторона... Сторона, к примеру...

И весь день у Тихона Ильича дрожали руки при воспоминании об этом бормотанье. Все, все думают, что отравила!

К счастью, тайна так и осталась тайной: Родьку схоронили. Молодая голосила, провожая гроб, так искренно, что была даже неприлична, — ведь эта голосьба должна быть не выражением чувств, а исполнением обряда, — и мало-помалу тревога Тихона Ильича улеглась.

Хлопот к тому же было по горло, а помощников — нет. От Настасьи Петровны помощи было мало. В батраки Тихон Ильич нанимал только «полетчиков» — до осенних заговен. И они уже разошлись. Остались только годовые, — кухарка, старик-караульщик, прозванный Жмыхом, да малый Оська, «олух царя небесного». А сколько заботы требовала одна скотина! Зимовало двадцать штук овец. В закуте сидело шесть черных, вечно угрюмых и чем-то недовольных кабанов. На варке стояло три коровы, бычок, красная телушка. На дворе — одиннадцать лошадей, а на стойле — сивый жеребец, злой, тяжелый, гривастый, грудастый, — мужик, но рублей в четыреста: отец аттестат имел, полторы тысячи стоил. И все это требовало глаза да глаза.

Настасья Петровна давно собиралась поехать погостить к знакомым в город. И наконец собралась и уехала. Проводив ее, Тихон Ильич бесцельно побрел в поле. По шоссе проходил с ружьем за плечами начальник почтового отделения в Ульяновке Сахаров, известный таким свирепым обращением с мужиками, что они говорили: «Подаешь письмо — руки-ноги трясутся!» Тихон Ильич вышел к нему под дорогу. Приподняв бровь, он глянул на него и подумал:

«Дурак старик. Ишь, слоны слоняет по грязи».

И дружелюбно крикнул:

— С полем, что ли, Антон Маркыч?

Почтарь остановился. Тихон Ильич подошел и поздоровался.

— Ну, какое там поле! — сумрачно ответил почтарь, огромный, сутулый, с густыми серыми волосами, торчавшими из ушей и ноздрей, с большими бровными дугами и глубоко запавшими глазами. — Так, прошелся ради геморроя, — сказал он, особенно старательно выговаривая последнее слово.

— А имейте в виду,— с неожиданной горячностью отозвался Тихон Ильич, протягивая руку с растопыренными пальцами,— имейте в виду: совсем опустели наши палестины! Звания не осталось — что птицы, что зверя-с!

— Леса везде вырубил, — сказал почтарь.

— Да еще как-с! Как вырубил-то-с! Под гребеночку! — подхватил Тихон Ильич.

И неожиданно прибавил:

— Линяет-с! Все линяет-с!

Почему сорвалось с языка это слово, Тихон Ильич и сам не знал, но чувствовал, что сказано оно все-таки недаром. «Все линяет,— думал он,— вот, как скотина после долгой и трудной зимы...» И, протрившись с почтарем, долго стоял на шоссе, недовольно поглядывая кругом. Опять накрапывал дождь, дул неприятный мокрый ветер. Над волнистыми полями — озимями, пашнями, жнивьями и коричневыми перелесками — темнело. Сумрачное небо все ниже спускалось к земле. Оловом поблескивали залитые дождем дороги. На станции ждали почтового поезда в Москву, оттуда пахло самоваром, и это будило тоскливое желание уюта, теплой, чистой комнаты, семьи...

Ночью опять лил дождь, темь была, хоть глаза выколи. Спал Тихон Ильич плохо, мучительно скрипел зубами. Его знобило,— верно, простыл, стоя вечером на шоссе,— чуйка, которой он прикрылся, сползала на пол, и тогда снилось то, что преследовало с самого детства, когда по ночам зябла спина: сумерки, какие-то узкие переулки, бегущая толпа, скачущие на тяжелых телегах, на злых вороних битюгах пожарные... Раз он очнулся, зажег спичку, глянул на будильник,— он показывал три,— поднял чуйку и, опять засыпая, стал тревожиться: обворуют лавку, сведут лошадей...

Иногда казалось, что он на постоялом дворе в Данкове, что ночной дождь шумит по навесу ворот и поминутно дергается, звонит колоколец над ними,— приехали воры, привели в эту непроглядную темь его жеребца, и если узнают, что он тут, убьют его... Иногда же возвращалось сознание действительности. Но и действительность была тревожна. Старик ходил под окнами с колотушкой, но то казалось, что он где-то далеко-далеко, то Буян, захлебываясь, рвал кого-то, с бурным лаем убежал в поле и вдруг снова появлялся под окнами и будил, упорно брехал, стоя на одном месте. Тогда Тихон Ильич собирался выйти, глянуть,— что такое, все ли в порядке. Но как только доходило до того, чтобы решиться, встать, как гуще и чаще начинал стрекотать в темные окошечки крупный косой дождь, гонимый ветром из темных беспредельных полей, и милей отца-матери казался сон...

Наконец стукнула дверь, понесло сырým холодом,— и карульщик, Жмых, шурша, втащил в прихожую вязанку соломы. Тихон Ильич открыл глаза: мутно, водянисто светало, окошечки были потные.

— Протопи, протопи, братуша,— сказал Тихон Ильич сиплым со сна голосом.— Да пойдем кормочку скотине дадим, и иди себе спать.

Старик, похудевший за ночь, весь синий от холода, сырости и усталости, глянул на него провалившимися мертвыми глазами. В мокрой шапке, в мокром коротком чекменишке и растрепанных лаптях, насыщенных водой и грязью, он что-то глухо заворчал, с трудом становясь на колени перед печкой, набивая ее холодной пахучей старновкой и вздувая серник.

— Ай язык-то корова отжевала? — сипло крикнул Тихон Ильич, слезая с постели.— Что под нос-то бубнишь?

— Цельную ночь шатался, теперь — кормочку давай,— пробормотал старик, не поднимая головы, как бы сам с собою.

Тихон Ильич покосился на него:

— Видел я, как ты шатался!

Он надел поддевку и, пересиливая мелкую дрожь в животе, вышел на истоптанное крылечко, на ледяную свежесть бледного ненастного утра. Всюду налило свинцовых луж, все стены потемнели от дождя. Чуть моросило, «но, верно, к обеду опять польет», — подумал он. И с удивлением глянул на лохматого Буяна, кинувшегося к нему из-за угла: глаза блестят, язык свеж и красен, как огонь, горячее дыхание так и пышет псиной... И это после целой ночи беготни и лая!

Он взял Буяна за ошейник и, шлепая по грязи, обошел, оглядел все замки. Потом привязал его на цепь под амбаром, вернулся в сени и заглянул в большую кухню, в избу. В избе противно и тепло воняло; кухарка спала на голом конике, закрыв лицо фартуком, выставив костреч и подогнув к животу ноги в старых больших ваденках с толсто натоптанными по земляному полу подошвами; Оська лежал на нарах, в полушубке, в лаптях, уткнув голову в сальную тяжелую подушку.

«Связался чорт с младенцем! — подумал Тихон Ильич с отвращением.— Ишь, всю ночь распутничала, а под утро — на лавочку!»

И, оглянув черные стены, маленькие окошечки, лохань с помоями, громадную плечистую печь, громко и строго крикнул:

— Эй! Господа-бояре! Пора и честь знать!

Пока кухарка затапливала печку, варила кабанам картошки и раздувала самовар, Оська, без шапки, спотыкаясь от дремоты, таскал хоботе лошадам и коровам. Тихон Ильич сам отпер скрипучие ворота варка и первый вошел в его теплый и грязный уют, обнесенный навесами, денниками и закутами.

Выше щиколки был унавожен варок. Навоз, моча, дождь — все слилось и образовало густую коричневую жижу. Лошади, уже темнея бархатной зимней шерстью, бродили под навесами. Овцы грязно-серой массой сбились в один угол. Старый бурый мерин одиноко дремал возле пустых яслей, измазанных тестом. С неприветливого ненастного неба над квадратом двора моросило и моросило. Кабаны болезненно, настойчиво ныли, урчали в закуте.

«Скука!» — подумал Тихон Ильич и тотчас же свирепо гаркнул на старика, тащившего вязанку старновки:

— Что ж по грязи-то тащишь, старая транда?

Старик бросил старновку наземь, поглядел на него и вдруг спокойно сказал:

— От транды слышу.

Тихон Ильич быстро оглянулся, — вышел ли малый, — и, убедившись, что вышел, быстро и тоже как будто спокойно подошел к старику, дал ему в зубы, да так, что тот головой мотнул, схватил его за шиворот и изо всей силы пустил к воротам.

— Вон! — крикнул он, задохнувшись и побледнев, как мел. — Чтоб твоего и духу здесь не пахло больше, рвань ты этакая!

Старик вылетел за ворота — и через пять минут, с мешком за плечами и с палкой в руке, уже шагал по шоссе, домой. Тихон Ильич трясущимися руками напоил жеребца, засыпал ему свежего овса, — вчерашний он только перерыл, переслюнявил, — и, широко шагая, утопая в жиже и навозе, пошел в избу.

— Готово, что ли? — крикнул он, приотворив дверь.

— Поспеешь! — огрызнулась кухарка.

Избу застилало теплым пресным паром, валившим из чугуна от картошек. Кухарка, вместе с малым, яростно толкла их толкачами, посыпая мукой, и за стуком Тихон Ильич не слышал ответа. Хлопнув дверью, он пошел пить чай.

В маленькой прихожей он поддал ногой грязную тяжелую попону, лежавшую у порога, и направился в угол, где, над табуреткой с оловянным тазом, был прибит медный рукомоиник и на полочке лежал обмызганный кусочек кокосового мыла. Гремя рукомоиником, он косил, двигал бровями, раздувал ноздри, не мог остановить злого, бегающего взгляда и с особенной отчетливостью говорил:

— Вот так работнички! Скажи ты ему слово — он тебе десять! Скажи ему десять — он тебе сто! Да нет, брешешь! Авось не к лету, авось вас, чертей, много! К зиме-то, брат, жрать захочешь, — придешь, сукин сын, приде-ешь, покло-о-нишься!

Утирка висела возле рукомоиника с Михайлова дня. Она была так затерта, что, взглянув на нее, Тихон Ильич стиснул челюсти.

— Ох! — сказал он, закрывая глаза и трясая головой.— Ох, мати царица небесная!

Две двери вели из прихожей. Одна, налево,— в комнату для приезжающих, длинную, полутемную, окошечками на варок; стояли в ней два больших дивана, жестких, как камень, обитых черной клеенкой, переполненных и живыми и раздавленными, высохшими клопами, а на простенке висел портрет генерала с лихими бобровыми бакенбардами; портрет окаймляли маленькие портреты героев русско-турецкой войны, а внизу была подпись: «Долго будут дети наши и славянские братушки помнить славные дела, как отец наш, воин смелый, Сулейман-пашу разбил, победил врагов неверных и прошел с детьми своими по таким крутизнам, где носились лишь туманы да пернатые цари». Другая дверь вела в комнату хозяев. Там, направо, возле двери, блестела стеклами горка, налево белела печка-лежанка; печь когда-то треснула, ее, по белому, замазали глиной — и получились очертания чего-то вроде изломанного худого человека, крепко надоевшего Тихону Ильичу. За печью виселась двуспальная постель; над постелью был прибит ковер мутно-зеленых и кирпичных шерстей с изображением тигра, усатого, с торчащими кошачьими ушами. Против двери, у стены, стоял комод, крытый вязаной скатертью, на нем — венчальная шкапулка Настасьи Петровны...

— В лавку! — крикнула, приотворив дверь, кухарка.

Дали затянуло водянистым туманом, опять становилось похоже на сумерки, моросил дождь, но ветер повернул, дул с севера — и воздух посвежел. Веселее и звончей, чем за все последние дни, крикнул на станции отходивший товарный поезд.

— Здорово, Ильич,— сказал, кивая мокрой манджурской папай, трегубый мужик, державший у крыльца мокрую пегую лошадь.

— Здорово,— кинул Тихон Ильич, косо глянув на белый крепкий зуб, блестящий из-за раздвоенной губы мужика.— Что надо?

И, торопливо отпустив соли и керосину, торопливо вернулся в горницы.

— Лба не дадут перекрестить, собаки! — бормотал он на ходу.

Самовар, стоявший на столе возле простенка, бурлил, хлопал, зеркала, висевшее над столом, подернулось налетом белого пара. Отпотели окна и олеография, прибитая под зеркалом,— великан в желтом кафтане и красных сафьяновых сапогах, с российский стягом в руках, из-за которого глядел башнями и главами московский кремль. Фотографические карточки в рамках из раковин окружали эту картину. На самом почет-

ном месте висел портрет знаменитого иерея в муаровой рясе, с реденькой бородкой, с припухшими щеками и маленькими пронзительными глазками. И, взглянув на него, Тихон Ильич истово перекрестился на икону в углу. Потом снял с самовара закопченный чайник, налил стакан чаю, крепко пахнущего распаренным венником.

«Лба не дадут перекрестить,— думал он, страдальчески морщась.— Зарезали, будь они прокляты!»

Казалось, что нужно что-то вспомнить, сообразить или просто лечь и выспаться как следует. Хотелось тепла, покоя, ясности, твердости мысли. Он встал, подошел к горке, задребезжавшей стеклами и посудой, взял с полки бутылку рябиновки, кубастенький стаканчик, на котором было написано: «его же и монаси приемлют»...

— Ай не надо? — сказал он вслух.

И налил и выпил, еще налил и еще выпил. И, закусывая толстым кренделем, сел за стол.

Он жадно хлебал с блюдечка горячий чай, сосал, держа на языке, кусочек сахару. Он рассеянно и подозрительно покосился, хлебая чай, на простенок, на мужика в желтом кафтане, на карточки в рамках из раковин и даже на иерея в муаровой рясе.

«Не до леригии нам, свиньям!» — подумал он и, как бы оправдываясь перед кем-то, грубо прибавил: — Поживи-ка у деревни, похлебай-ка кислых щей!

Косясь на иерея, он чувствовал, что все сомнительно... даже, кажется, и обычное благоговение его к этому иерею... сомнительно и не продумано. Если подумать хорошенько... Но тут он поспешил перевести взгляд на московский кремль.

— Страм сказать! — пробормотал он.— В Москве сроду не бывал!

Да, не бывал. А почему? Кабаны не велят! То торгашество не пускало, то постоялый двор, то кабак. Теперь вот не пускают жеребец, кабаны. Да что — Москва! В березовый лесишко, что за шоссе, и то десять лет напрасно прособирался. Все надеялся как-нибудь урвать свободный вечерок, захватить с собой ковер, самовар, посидеть на траве, в прохладе, в зелени, — да так и не урвал... Как вода меж пальцев, скользят дни, опомниться не успел — пятьдесят стукнуло, вот-вот и конец всему, а давно ли, кажись, без порток бегал? Прямо вчера!

Неподвижно смотрели лица из рамок-раковинок. Вот на полу (но среди густой ржи) лежат двое — сам Тихон Ильич и молодой купец Ростовцев — и держат в руках стаканы, ровно до половины налитые темным пивом... Какая дружба завязалась было между Ростовцевым и Тихоном Ильичом! Как запомнился тот серый масленичный день, когда снимались! Но

в каком году это было? Куда исчез Ростовцев? Теперь нет даже уверенности, жив он или нет... А вот стоят, вытянувшись во фронт и окаменев, три мещанина, гладко причесанные на прямой ряд, в вышитых косоворотках, в длинных сюртуках, в расчищенных сапогах,— Бучнев, Выставкин и Богомоллов. Выставкин, тот, что посредине, держит перед грудью хлеб-соль на деревянной тарелке, прикрытой полотенцем, расшитым петухами, Бучнев и Богомоллов — по иконе. Эти снимались в пыльный, ветреный день, когда освящали элеватор,— когда приезжали архиерей и губернатор, когда Тихон Ильич так горд был тем, что попал в число публики, приветствовавшей начальство. Но что осталось в памяти от этого дня? Только то, что часов пять ждали возле элеватора, что тучей летела белая пыль по ветру, что губернатор, длинный и чистый покойник в белых штанах с золотыми лампасами, в шитом золотом мундире и треуголке, шел к депутации необыкновенно медленно... что было очень страшно, когда он заговорил, принимая хлеб-соль, что всех поразили необыкновенной худобой и белизной его руки, их кожа, тончайшая и блестящая, как снятая со змеи шкурка, блестящие, размытые перстни и кольца на сухих тонких пальцах с прозрачными длинными ногтями... Теперь губернатора этого уже нет в живых, нет в живых и Выставкина.... А через пять, десять лет так же будут говорить и про Тихона Ильича:

— Покойный Тихон Ильич...

В горнице стало теплей и уютней от нагретой печи, зеркальце прояснилось, но за окнами ничего не было видно, стекла белели матовым паром,— значит, на дворе свежело. Все слышнее доносился нудный стон голодных кабанов,— и вдруг этот стон превратился в дружный и мощный рев: верно, кабаны слышали голоса кухарки и Оськи, тащивших к ним тяжелую лоханку с месивом. И, не кончив дум о смерти, Тихон Ильич кинул папиросу в полоскательницу, надернул поддевку и поспешил на варок. Широко и глубоко шагая по хлюпающему навозу, он сам отворил закуту — и долго не сводил жадных и тоскливых глаз с кабанов, кинувшихся к корыту, в которое с паром вывалили месиво.

Думу о смерти перебивала другая: покойный-то покойный, а этого покойного, может быть, в пример будут ставить. Кто он был? Сирота, нищий, в детстве не жравший по два дня куска хлеба... А теперь?

— Твою биографию жизни описать следует,— насмешливо сказал однажды Кузьма.

А насмехаться-то, пожалуй, и не над чем. Значит, была башка на плечах, если из нищего, едва умевшего читать мальчишки вышел не Тишка, а Тихон Ильич...



Но вдруг кухарка, тоже пристально глядевшая на кабанов, теснивших друг друга и залезавших в корыто передними ножками, икнула и сказала:

— Ох, господи! Кабы у нас какой беды нынче не было! Вижу нынче во сне — нагнали к нам будто бы скотины на двор, нагнали овец, коров, свиней всяких... Да все черных, все черных!

И опять засосало сердце. Да, вот скотина эта самая! От одной скотины удавиться можно. Трех часов не прошло, — опять берись за ключи, опять таскай корм всему двору. В общем деннике — три дойных коровы, в отдельных — красная телушка, бык Бисмарк: им теперь подавай сена. Лошадям, овцам в обед полагается хоботье, а жеребцу — и сам чорт не придумает, что! Жеребец просунул морду в решетчатый верх двери, поднял верхнюю губу, обнажил розовые десны и белые зубы, искажил ноздри... И Тихон Ильич, с неожиданным для самого себя бешенством, вдруг гаркнул на него:

— Балуй, анафема, разрази тебя громом!

Опять он промочил ноги, прозяб — шла крупа — и опять выпил рябиновки. Ел картошки с подсолнечным маслом и солеными огурцами, щи с грибной подбивкой, пшеничную кашу... Лицо покраснелось, голова отяжелела.

Не раздеваясь, — только ставив нога об ногу грязные сапоги, — он лег на постель. Но тревожило то, что придется вот-вот опять вставать: лошадям, коровам и овцам надо к вечеру задать овсяной соломы, жеребцу — тоже... или нет, лучше перебить ее с сеном, а потом полить и посолить хорошенько... Только ведь непременно проспшишь, если дашь себе волю. И Тихон Ильич потянулся к комоду, взял будильник и стал заводить его. И будильник ожил, застучал — и в горнице стало как будто покойнее под его бегущий мерный стук. Мысли спутались...

Но только что спутались, как внезапно раздалось грубое и громкое церковное пение. В испуге открыв глаза, Тихон Ильич сперва разобрал только одно: орут в нос два мужика, а из прихожей несет холодом и запахом мокрых чекменей. Потом вскочил, сел и разглядел, что это за мужики: один был слепец, рябой, с маленьким носом, длинной верхней губой и большим круглым черепом, а другой — сам Макар Иванович!

Был Макар Иванович когда-то просто Макашкой — так и звали все: «Макарка-Странник» — и зашел однажды в кабак к Тихону Ильичу. Брел куда-то по шоссе, — в лаптях, скуфье и засаленном подряснике, — и зашел. В руках — высокая палка, выкрашенная медянкой, с крестом на верхнем конце и с копьём на нижнем, за плечами — ранец и солдатская манерка; волосы длинные, желтые; лицо — широкое, цвета замазки,

ноздри — как два ружейных дула, нос — переломленный, вроде седельного арчака, а глаза, как это часто бывает при таких носах, светлые, остро-блестящие. Бесстыжий, сметливый, жадно куривший цыгарку за цыгаркой и пускавший дым в ноздри, говоривший грубо и отрывисто, тоном, совершенно исключаящим возражения, он очень понравился Тихону Ильичу и как раз за этот тон, — за то, что сразу было видно: «прожженный сукин сын».

И Тихон Ильич оставил его у себя — за подручного. Скинул с него бродяжью одежду и оставил. Но вором Макарка оказался таким, что пришлось жестоко избить его и прогнать. А через год Макарка на весь уезд прославился прорицаниями, — настолько зловещими, что его посещения стали бояться, как огня. Подойдет к кому-нибудь под окно, заунывно затянет «со святыми упокой» или подаст кусочек ладану, щепотку пыли — и уж не обойтись тому дому без покойника.

Теперь Макарка, в своей прежней одежде и с палкой в руке, стоял у порога и пел. Слепой подхватывал, закатывая молочные глаза под лоб, и по той несоразмерности, которая была в его чертах, Тихон Ильич сразу определил его, как беглого каторжника, страшного и беспощадного зверя. Но еще страшнее было то, что пели эти бродяги. Слепой, сумрачно шевеля поднятыми бровями, смело заливался мерзким гнусавым тенором. Макарка, остро блестя неподвижными глазами, гудел свирепым басом. Выходило что-то не в меру громкое, грубо-стройное, древнецерковное, властное и грозящее:

Расплачется мать сыра-земля, разрыдается! —  
заливался слепой.

Ра-спла-че-тся, раз-ры-да-ется! —  
убежденно вторил Макарка.

Перед Спасом, перед образом, —  
вопил слепой.

Авось грешники покаются! —  
угрожал Макарка, раскрывая нахальные ноздри. И, сливая свой бас с тенором слепого, твердо выговаривал:

Не минуют суда божьего!  
Не минуют огня вечного!

И вдруг оборвал, — в лад со слепым, — крикнул и просто, своим обычным дерзким тоном, приказал:

— Пожалуйте, купец, рюмочкой погреться.

И, не дождавшись ответа, шагнул через порог, подошел к постели и сунул Тихону Ильичу в руки какую-то картинку.

Это была простая вырезка из иллюстрированного журнала, но, взглянув на нее, Тихон Ильич почувствовал внезапный

холод под ложечкой. Под картинкой, изображавшей гнущиеся от бури деревья, белый зигзаг по тучам и падающего человека, была подпись: «Жан-Поль Рихтер, убитый молнией».

И Тихон Ильич опешил.

Но тотчас же медленно изорвал картинку на мелкие клочки. Потом слез с постели и, натягивая сапоги, сказал:

— Ты напугивай кого подурее меня. Я-то, брат, хорошо знаком с тобою! Получи, что следует, и — с богом.

Потом пошел в лавку, вынес Макарке, стоявшему со слепым возле крыльца, два фунта кренделей, пару селедок и повторил еще строже:

— С господом!

— А табачку? — нагло спросил Макарка.

— Табачку у самого к одному бочку,— отрезал Тихон Ильич.— Меня, брат, не перебрешешь!

И, помолчав, прибавил:

— Удавить тебя, Макарка, мало за твои шашни!

Макарка поглядел на слепого, стоявшего прямо, твердо, с высоко поднятыми бровями, и спросил его:

— Человек божий, как по-твоему? Удавить, ай расстрелять?

— Расстрелять вернее,— ответил слепой серьезно.— Тут, по крайности, прямая сообщение.

Смеркалось, гряды сплошных облаков синели, холодели, дышали зимою. Грязь густела. Спровадив Макарку, Тихон Ильич потопал озябшими ногами по крыльцу и пошел в горницу. Там он, не раздеваясь, сел на стул возле окошка, закурил и опять задумался. Вспомнились лето, бунт, Молодая, брат, жена... и то, что еще до сих пор не платил по квиткам за рабочую пору. Был у него обычай затягивать платежи. Девки и ребята, ходившие к нему на поденщину, по целым дням стояли осенью у его порога, жаловались на самые крайние нужды, раздражались, говорили иногда дерзости. Но он был непреклонен. Он кричал, призывая бога во свидетели, что у него «во всем доме две тряпки, хоть обыщи!» — и вывертывал карманы, кошелек, в притворном бешенстве плевал, как бы пораженный недоверием, «бессовестностью» просителей... И нехорошим показался ему этот обычай теперь. Беспощадно-строг, холоден был он с женой, чужд ей на редкость. И вдруг и это поразило его: боже мой, да ведь он даже понятия не имеет, что она за человек! Чем она жила, что думала, что чувствовала все эти долгие годы, прожитые с ним в непрестанных заботах?

Он кинул папиросу, закурил другую... Ух, и умен, эта бестия, Макарка! А раз умен, разве не может он предугадать — кого, что и когда ждет? Его же, Тихона Ильича, ждет непре-

менно что-нибудь скверное. Ведь уж и не молодецкий! Сколько его сверстников на том свете! А от смерти да старости — спасенья нет. Не спасли бы и дети. И детей бы он не знал, и детям был бы чужой, как чужд он всем близким — и живым и умершим. Народу на свете — как звезд на небе; но так коротка жизнь, так быстро растут, мужают и умирают люди, так мало знают друг друга и так быстро забывают все пережитое, что с ума сойдешь, если вдуматься хорошенько! Вот он давеча про себя сказал:

— Мою жизнь описать следует...

А что описывать-то? Нечего. Нечего или не стоит. Ведь он сам почти ничего не помнит из этой жизни. Совсем, например, забыл детство: так, мерещится порой день какой-нибудь летний, какой-нибудь случай, какой-нибудь сверстник... Кошку чью-то опалил однажды — секли. Плеточку со свистулькой подарили — и несказанно обрадовали. Пьяный отец подозвал как-то, — ласково, с грустью в голосе:

— Поди ко мне, Тиша, поди, родной!

И неожиданно сгреб за волосы...

Если б жив был теперь шибай Илья Миронов, Тихон Ильич кормил бы старика из милости и не знал бы, едва замечал его. Ведь было же так с матерью, спроси его теперь: помнишь мать? — и он ответит: помню какую-то гнутую старуху... навоз сушила, печку топила, тайком пила, ворчала... И больше ничего. Чуть не десять лет служил он у Маторина, но и эти десять лет слились в один-два дня: апрельский дождик накрапывает и пятнит железные листы, которые, грохоча и звеня, кидают на телегу возле соседней лавки... серый морозный полдень, голуби шумной стаей падают на снег возле лавки другого соседа, торгующего мукой, крупой, халуем, — гуртуют, воркуют, трепещут крыльями, — а они с братом бычьим хвостом подхлестывают жужжащий у порога кубарь... Маторин был тогда молод, крепок, сизо-красен, с чисто выбритым подбородком, с рыжими бачками, срезанными до половины. Теперь он обеднел, шмыгает старческой походкой в своей выгоревшей на солнце чуйке и глубоком картузе от лавки к лавке, от знакомого к знакомому, играет в шашки, сидит в трактире Даева, пьет понемножку, хмелеет и приговаривает:

— Мы — люди маленькие: выпили, закусили, расплатились — и домой!

А встречая Тихона Ильича, не узнает его, жалко улыбается:

— Никак ты, Тиша?

А сам Тихон Ильич не узнал при первой встрече, нынешней осенью, — брата родного: «да неужели это Кузьма, с которым столько лет скитались по полям, деревням и проселкам?»

— Постарел ты, брат!

— Есть малость.

— А раненько!

— На то я и русский. У нас это — живо!

Закуривая третью папиросу, Тихон Ильич упорно и вопросительно глядел в окошко:

— Да неужели так и в других странах?

Нет, не может того быть. Бывали знакомые за границей,— например, купец Рукавишников,— рассказывали... Да и без Рукавишникова можно сообразить. Взять хоть русских немцев или жидов: все ведут себя дельно, аккуратно, все друг друга знают, все приятели,— и не только по пьяному делу,— все помогают друг другу; если разъезжаются — переписываются, портреты отцов, матерей, знакомых из семьи в семью передают; детей учат, любят, гуляют с ними, разговаривают, как с равными,— вот вспомнить-то ребенку и будет что. А у нас все враги друг другу, завистники, сплетники, друг у друга раз в год бывают, мечутся, как угорелые, когда нечаянно заедет кто, кидаются комнаты прибираться... Да что! Ложки варенья жалуют гостю! Без упрасиваний гость лишнего стакана не выпьет...

Мимо окон прошла чья-то тройка. Тихон Ильич внимательно оглядел ее. Лошади поджарые, но, видно, резвые. Тарантас в исправности. За кем бы это? Поблизости ни у кого нет такой тройки. Поблизости помещики такая голь, что без хлеба по три дня сидят, последние ризы с икон продали, разбитого стекла вставить, крышу поправить не на что; окна подушками затыкают, а по полу, как дождь, лотки и ведра расставляют,— сквозь потолки как сквозь решета льет... Потом прошел Дениска-сапожник. Куда это? И с чем? Никак с чемоданом? Ох, и дурак же, прости ты, господи, мое согрешение!

Тихон Ильич сунул ноги в калоши и вышел на крыльцо. Выйдя и глубоко дохнув свежим воздухом предзимних синеватых сумерок, опять остановился, сел на лавочку... Да, вот тоже семейка — Серый с сынком! Мысленно Тихон Ильич сделал ту дорогу, которую одолел Дениска по грязи, с чемоданом в руке. Увидал Дурновку, свою усадьбу, овраг, избы, сумерки, огонек у брата, огоньки по дворам... Кузьма сидит, небось, и читает. Молодая стоит в темной и холодной прихожей, возле чуть теплой печки, греет руки, спину, ждет, когда скажут — «ужинать!» — и, поджав постаревшие, подсохшие губы, думает... О чем? О Родьке? Брехня все это, будто она его отравила, брехня! А если отравила... Господи боже! Если отравила,— что должна она чувствовать? Какой могильный камень лежит на ее скрытой душе!

Мысленно он взглянул с крыльца своего дурновского дома на Дурновку, на черные избы по косогору за оврагом, на риги

и лозинки на задворках... За полями влево, на горизонте, — железнодорожная будка. В сумерки мимо нее проходит поезд — бежит цепь огненных глаз. А потом загораются глаза по избам. Темнеет, становится уютней — и неприятное чувство шевельнется каждый раз, когда взглянешь на избы Молодой и Серого, что стоят почти среди Дурновки, через три двора друг от друга: ни в той, ни в другой нет огня. Детишки Серого, как кроты, слепнут, шалеют от радости и удивления, когда удастся в какой-нибудь счастливый вечер осветить избу...

— Нет, грешно! — твердо сказал Тихон Ильич и поднялся с места. — Нет, безбожно! Надо хоть маленько помочь делу, — сказал он, направляясь к станции.

Морозило, душестее тянуло от вокзала запахом самовара. Чище блестели там огни, звучно гроыхали бубенчики на тройке. Хоть куда троечка! Зато лошаденки мужиков-извозчиков, их крохотные тележки на полурассыпавшихся, косых колесах, облепленных грязью, — смотреть жалко! Визжала и глухо хлопала за палисадником вокзальная дверь. Обогнув его, Тихон Ильич поднялся на высокое каменное крыльцо, на котором шумел двухведерный медный самовар, краснея, как огненными зубами, своей решеткой, и столкнулся как раз с кем и нужно было, — с Дениской.

Дениска, в раздумье опустив голову, стоял на крыльце и держал в правой руке дешевый серый чемоданишко, щедро усеянный жестяными шляпками и перевязанный веревкой. Был Дениска в поддевке, старой и, видимо, очень тяжелой, с обвисшими плечами и очень низкой талией, в новом картузе и разбитых сапогах. Ростом он не вышел, ноги его, сравнительно с туловищем, были очень коротки. Теперь, при низкой талии и сбитых сапогах, ноги казались еще короче.

— Денис? — окликнул Тихон Ильич. — Ты зачем здесь, архаровец?

Никогда и ничему не удивлявшийся Дениска спокойно поднял на него свои темные и томные, с грустной усмешкой, с большими ресницами глаза и стащил с волос картуз. Волосы у него были мышинного цвета и не в меру густы, лицо землистое и как будто промасленное, но глаза красивые.

— Здравствуйте, Тихон Ильич, — ответил он певучим городским тенорком и, как всегда, как будто застенчиво. — Еду... в эту самую... в Тулу.

— Это зачем же, позвольте спросить?

— Може, место какая выйдет...

Тихон Ильич оглядел его. В руке — чемодан, из кармана поддевки торчат какие-то зеленые и красные книжечки, свернутые в трубку. Поддевка...

— А щеголь-то ты не тульский!

Дениска тоже оглядел себя.

— Поддевка-то? — скромно спросил он. — Что ж, вот наживу в Туле денег, вендерку себе куплю, — сказал он, называя венгерку вендеркой. — Я летом как было справился! Газетами торговал.

Тихон Ильич кивнул на чемодан:

— А это что ж за штука такая?

Дениска опустил ресницы:

— Чумадан себе купил.

— Да уж в венгерке без чемодана никак нельзя! — насмешливо сказал Тихон Ильич. — А в кармане что?

— Так, кляповинка разная...

— Покажь-ка.

Дениска поставил чемодан на крыльцо и вытащил из кармана книжечки. Тихон Ильич взял и внимательно переглядел их. Песенник «Маруся», «Жена-развратница», «Невинная девушка в цепях насилия», «Поздравительные стихотворения родителям, воспитателям и благодетелям», «Роль...»

Тут Тихон Ильич запнулся, но Дениска, следивший за ним, бойко и скромно подсказал:

— Роль проталерията в России.

Тихон Ильич качнул головой.

— Новости! Жрать нечего, а чемоданы да книжки покупаешь. Да еще какие! Верно, недаром тебя смутьяном-то зовут. Ты, говорят, все царя ругаешь? Смотри, брат!

— Да авось не имение купил, — ответил Дениска с грустной усмешкой. — А царя я не трогал. На меня брешут, как на мертвого. А я и в мыслях того не держал. Ай я лунатик какой?

Завизжал блок на двери, показался станционный сторож, — седой отставной солдат с свистящей и хрипящей одышкой, — и буфетчик, толстый, с заплывшими глазками, с сальными волосами.

— Посторонитесь-ка, господа купцы, позвольте самоварчик взять...

Дениска посторонился и опять взялся за ручку чемодана.

— Спер, верно, где-нибудь? — спросил Тихон Ильич, кивая на чемодан и думая о деле, по которому пошел на станцию.

Дениска промолчал, нагнув голову.

— И пустой ведь?

Дениска рассмеялся.

— Пустой...

— С места-то прогнали?

— Я сам ушел.

Тихон Ильич вздохнул.

— Живой отец! — сказал он. — Тот тоже всегда так-то: наладят его в шею, а он — «я сам ушел».

- Глаза лопни, не брешу.
- Ну, хорошо, хорошо... Дома-то был?
- Был две недели.
- Отец-то опять без дела?
- Таперь без дела.

— Таперь! — передразнил Тихон Ильич. — Деревия стоеросовая! А еще революцанер. Лезешь в волки, а хвост собачий. «Авось и ты-то из тех же квасов», — с усмешечкой подумал Дениска, не поднимая головы.

— Значит, сидит себе Серый да покуривает?

— Пустой малый! — убежденно сказал Дениска.

Тихон Ильич постучал ему в голову костяшками.

— Хоть бы дурь-то свою не выказывал! Кто ж так-то про отца говорит?

— Стар кобель, да не батькой звать, — ответил Дениска спокойно. — Отец — так корми. А он дюже меня кормил?

Но Тихон Ильич не дослушал. Он выбирал удобную минуту, чтобы начать деловой разговор. И, не слушая, перебил:

— А на билет-то до Тулы есть?

— А на кой он мне, билет-то? — ответил Дениска. — Приду в вагон, — прямо, господи благослови, под лавку.

— А книжечки-то где рассчитывать? Под лавкой-то не считаешься.

Дениска подумал.

— Вона! — сказал он. — Не все ж под лавкой. Залезу в нужник, — читай хошь до свету.

Тихон Ильич сдвинул брови.

— Ну вот что, — начал он. — Вот что: всю эту музыку пора тебе бросать. Не маленький, дурак. Вали-ка назад, на Дурновку, — пора к делу прибиваться. А то ведь на вас смотреть тошно. У меня вон... надворные советники лучше живут, — сказал он, разумея дворовых собак. — Помогу, уж так и быть... на первое время. Ну, на товаришко там, на струмент... И будешь и сам кормиться и отцу хоть немного подавать...

«К чему это он гнет?» — подумал Дениска.

А Тихон Ильич решил и докончил:

— Да и жениться пора.

«Та-ак!» — подумал Дениска и не спеша стал завертывать цыгарку.

— Что ж, — спокойно и чуть-чуть печально отозвался он, не поднимая ресниц. — Я каляниться не стану. Жениться можно. По приституткам-то хуже ходить.

— Ну вот то-то и оно-то, — подхватил Тихон Ильич. — Только, брат, имей в виду, — жениться с умом надо. Их, детей-то, с капиталом хорошо водить.

Дениска захохотал.



— Чего гогочешь-то?

— Да как же! Водить! Вроде кур али свиней.

— Не меньше кур и свиней есть просят.

— А на ком? — с печальной усмешкой спросил Дениска.

— Да на ком? Да... на ком хочешь.

— Это на Молодой, что ли?

Тихон Ильич густо покраснел.

— Дурак! А Молодая чем плоха! Баба смирная, работающая...

Дениска помолчал, ковыряя ногтем жестяную шляпку на чемодане. Потом прикинулся дураком.

— Их, молодых-то, много,— сказал он протяжно.— Не знаю, про какую вы балакаете... Про эту, что ль, с какой вы жили?

Но Тихон Ильич уже оправился.

— Жил я, ай нет,— это не твоего, свинья, ума дело,— ответил он и так быстро и внушительно, что Дениска покорно проворботал:

— Да мне одна честь... Я ведь это так... к слову...

— Ну, значит, и не брешу попусту. Людьями сделаю. Понял? Приданого дам... Понял?

Дениска задумался.

— Вот съезжу в Тулу...— начал он.

— Нашел петух земчужное зерно! На кой ляд тебе Тула-то?

— Дюже дома оголодал...

Тихон Ильич распахнул чуйку, сунул руку в карман поддевки,— решил было дать Дениске двугривенный. Но спохватился,— глупо деньги швырять, да еще и зазнается этот толкач, подкупают, мол,— и сделал вид, что ищет что-то.

— Эх, папиросы забыл! Дай-ка свернуть.

Дениска подал ему кисет. Над крыльцом уже зажгли фонарь, и при его тусклом свете Тихон Ильич вслух прочел крупно вышитое белыми нитками на кисете:

«Каво люблю таму дарю люблю сердечна дарю кисет на вечно».

— Ловко! — сказал он, прочитав.

Дениска застенчиво потупился.

— Значит, уж есть краля-то?

— Мало ли их, сук, шатается! — ответил Дениска беспечно.— А жениться я не отказываюсь. Ворочусь к мясоеду и господи благослови...

Из-за палисадника загремела и с грохотом подкатила к крыльцу телега, вся закиданная грязью, с мужиком на грядке и ульяновским дьяконом Говоровым посредине, в соломе.

— Ушел? — тревожно крикнул дьякон, выкидывая из соломы ногу в новой калоше.

Каждый волос его красно-рыжей лохматой головы буйно вился, шапка съехала на затылок, лицо разорделось от ветра и волнения.

— Поезд-то? — спросил Тихон Ильич. — Нет-с, еще и не выходил-с.

— Ага! Ну, слава богу! — радостно воскликнул дьякон и все-таки, выскочив из телеги, стремглав кинулся к дверям.

— Ну, стало быть, так, — сказал Тихон Ильич. — Стало быть — до мясоеда.

В вокзале пахло мокрыми полушубками, самоваром, махоркой, керосином. Накурено было так, что точило горло, еле светила лампы в дыму, в полумраке, сырости и холоде. Визжали и хлопали двери, толпились и галдели мужики с кнутами в руках — извозчики из Ульяновки, дожидавшиеся седока иногда по целой неделе. Среди них, подняв брови, ходил еврей-хлеботорговец, в котелке, в пальто с капюшоном. Возле кассы мужики тащили на весы чьи-то господские чемоданы и корзины, обшитые клеенкой, на мужиков кричал телеграфист, исполнявший должность помощника начальника станции, — молодой коротконогий малый с большой головой, с кудрявым желтым коком, по-казацки взбитым из-под картуза на левом виске, — и крупный дрожью дрожал сидевший на грязном полу пойнтер, пятнистый, как лягушка, с печальными глазами.

Протолкавшись среди мужиков, Тихон Ильич подошел к буфетной стойке, поболтал с буфетчиком. Потом пошел назад домой. На крыльце все еще стоял Дениска.

— Что я вас хотел попросить, Тихон Ильич, — сказал он еще застенчивее, чем всегда.

— Что еще такое? — сердито спросил Тихон Ильич. — Денег? Не дам.

— Нет, каких денег! Письмо мое прочитать.

— Письмо? К кому?

— К вам. Хотел давеча отдать, да не насмелился.

— Да об чем?

— Так... жите свое описал...

Тихон Ильич взял из рук Дениски клочок бумажки, сунул его в карман и зашагал домой по упругой, застывшей грязи.

Теперь он настроен был мужественно. Хотелось работы, и он с удовольствием подумал, что опять надо корм скотине задавать. Вот жалко — погорячился, Жмыха прогнал, придется теперь самому ночь не спать. На Оську надежда плохая. Небось, спит уже. А не то сидит с кухаркой и ругает хозяина... И, пройдя мимо освещенных окон избы, Тихон Ильич прокрался в сени и прильнул ухом к двери. За дверью слышался смех, потом голос Оськи:

— А то вот еще история была. Жил на селе мужик, — бедный-пребедный, беднее во всем селе не было. И выехал раз, братцы мои, этот самый мужик пахать. И увяжись за ним кобель рябый. Мужик пашет, а кобель сычует по полю и все что-то роет. Рыл-рыл, да как заво-оет! Что за притча такая? Кинулся мужик к нему, глядь в яму, а там — чугун...

— Чугу-ун? — спросила кухарка.

— Да ты слушай. Чугун-то чугун, да в чугуне-то золото! Видимо-невидимо... Ну и забогател мужик...

«Ах, пустоболты!» — подумал Тихон Ильич и жадно стал слушать, что дальше будет с мужиком.

— Забогател мужик, расстроился, как купец какой...

— Не хуже нашего Тугоногого, — вставила кухарка.

Тихон Ильич усмехнулся: он знал, что его уже давно зовут Тугоногим... Нет человека без прозвища!

А Оська продолжал:

— Еще побогаче... Да... А кобель-то возьми да околей. Как тут быть? Мочи нет — жалко кобеля, надо его честь-честью хоронить...

Раздался взрыв хохота. Захохотал и сам рассказчик и еще кто-то — со старческим кашлем.

— Никак Жмых? — встрепенулся Тихон Ильич. — Ну, слава богу. Ведь говорил дураку: верне-ешься!

— Пошел мужик к попу, — продолжал Оська, — пошел к попу: так и так, батюшка, кобель околеет, — надо хоронить...

Кухарка опять не выдержала и радостно крикнула:

— У, пропасти на тебя нету!

— Да дай досказать-то! — крикнул и Оська и опять перешел на повествовательный тон, изображая то попа, то мужика.

— Так и так, батюшка, — надо кобеля хоронить. Как затапает поп ногами: «Как хоронить? Кобеля на кладбище хоронить? Да я тебя в остроге сгною, да я тебя в кандалы забью!» — «Батюшка, да ведь это не простой кобель: он, как околевал, вам пятьсот целковых отказал!» Как ускочит поп с места: «Дурак! Да разве я тебя за то браню, что хоронить? За то браню — где хоронить? Его в церковной ограде надо хоронить!»

Тихон Ильич громко кашлянул и отворил дверь. За столом, возле коптящей лампочки, разбитое стекло которой было заклеено с одного боку почерневшей бумажкой, сидела, наклонив голову и завесив все лицо мокрыми волосами, кухарка. Она чесалась деревянным гребнем и сквозь волосы рассматривала гребень на свет. Оська, с цыгаркой в зубах, хохотал, откинувшись назад и болтая лаптями. Возле печки, в полутемноте, краснел огонек — трубка. Когда Тихон Ильич дернул дверь и показался на пороге, хохот сразу оборвался, и куривший трубку

робко поднялся с места, вынул ее изо рта и сунул в карман... Да, Жмых! Но, как будто и ничего не было утром, Тихон Ильич бодро и дружелюбно крикнул:

— Ребят! Корм задавать...

С фонарем бродили по варку, освещая застывший навоз, рассыпанную солому, ясли, столбы, кидая огромные тени, будя кур на переметах под навесами. Куры слетали, падали и, наклоняясь вперед, засыпая на бегу, бежали куда попало. Большие лиловые глаза лошадей, поворачивавших на свет головы, блестя и глядели странно и великолепно. От дыхания шел пар, — точно все курили. И когда Тихон Ильич опускал фонарь и взглядывал вверх, он с радостью видел над квадратом двора, в глубоком чистом небе, яркие разноцветные звезды. Слышно было, как сухо шуршал по крышам и морозной свежестью дул в щели северный ветер... Слава тебе, господи, зима!

Отделавшись и заказав самовар, Тихон Ильич с фонарем сходил в холодную пахучую лавку, выбрал маринованную селедку получше: — не плохо перед чаем-то подсолонцевать! — и за чаем съел ее, выпил несколько стаканчиков горько-сладкой, желто-красной рябиновки, налил чашку чаю, нашел в кармане письмо Дениски и стал разбирать его каракули.

«Деня получил 40 рублей деняг патом собрал вещи...»

«Сорок! — подумал Тихон Ильич. — Ах, голоштаный!»

«Пашел Деня на станцию Тула и как раз ево обабрали выташили Все докопеки детца некуда и Взяла ево тоска...»

Разбирать эту брехню было трудно и скучно, но вечер длинен, делать нечего... Самовар хлопотливо бурлил, спокойным светом светила лампа — и была в тишине и покое вечера грусть. Мерно ходила колотушка под окнами, звонко выделявала на морозном воздухе плясовую...

«Патом соскучился я как ехоть домой дуже отец грозен...»

«Ну и дурак же, прости, господи! — подумал Тихон Ильич. — Это Серый-то грозен!»

«Пайду В дремучай лес выбрать повыше ель и взять от сахарной головы бечевычку определится на ней навечную жизнь вновых брюках но безапах...»

— Без сапог, что ли? — сказал Тихон Ильич, отставляя от уставших глаз бумажку. — Вот что правда, то правда...

Кинув письмо в полоскательницу, он поставил локти на стол, глядя на лампу... Чудной мы народ! Пестрая душа! То чистая собака человек, то грустит, жалкует, нежничает, сам над собою плачет... вот вроде Дениски или его самого, Тихона Ильича... Стекла запотели, четко и бойко, по-зимнему, выговаривала колотушка что-то ладное... Эх, если бы дети! Если бы — ну, любовница, что ли, хорошая вместо этой пухлой старухи, которая осточертела одними своими рассказами о княжне и о какой-то

благочестивой монахине Поликарпии, что зовут в городе Полукарпией! Да поздно, поздно...

Расстегнув шитый ворот рубахи, Тихон Ильич с горькой усмешкой ощупал шею, впадины по шее за ушами... Первый знак старости эти впадины, — лошадиной становится голова! Да и прочее недурно. Он нагнул голову, запустил пальцы в бороду... И борода седая, сухая, путаная. Нет, шабаш, шабаш, Тихон Ильич!

Он пил, хмелел, все плотнее стискивал челюсти, все пристальнее, щуря глаза, глядел на горящий ровным огнем фитиль лампы... Вы подумайте: к брату родному нельзя съездить, — кабаны не пускают, свиньи! А и пустили бы, — тоже радости мало. Читал бы ему Кузьма нотации, стояла бы с поджатыми губами, с опущенными ресницами Молодая... Да от одних этих опущенных глаз сбежишь!

Сердце ныло, голову туманило... Где это слышал он эту песню?

Пришел мой скучный вечер,  
Не знаю, что начать,  
Пришел мой друг любезный,  
Он стал меня ласкать...

Ах, да, это в Лебедяни, на постоялом дворе. Сидят в зимний вечер девки-кружевницы и поют... Сидят, плетут и, не поднимая ресниц, звонкими грудными голосами выводят:

Целует, обнимает,  
Прощается со мной...

Голову туманило, — то казалось, что все еще впереди — и радость, и воля, и беззаботность, — то опять начинало безнадежно ныть сердце. То он бодрился:

— Были б денежки в кармане, — будет тетушка в торгу!

То зло глядел на лампу и бормотал, разумея брата:

— Учитель! Проповедник! Филарет милосливый... Голоштаннный чорт!

Он допил рябиновку, накурил так, что потемнело... Неверными шагами, по зыбкому полу, вышел он в одном пиджаке в темные сени, ощутил крепкую свежесть воздуха, запах соломы, запах псины, увидел два зеленоватых огня, мелькнувших на пороге...

— Буян! — позвал он.

Изо всей силы ударил Буяна сапогом в голову и стал мочиться на порог.

Мертвая тишина стояла над землей, мягко черневшей в звездном свете. Блистали разноцветные узоры звезд. Слабо белело шоссе, пропадая в сумраке. Вдали глухо, точно из-под земли, слышался все возрастающий грохот. И вдруг вырвался

наружу и загудел окрест: бело блистая цепью окон, освещенных электричеством, разметав, как летящая ведьма, дымные косы, ало озаренные из-под низу, несся вдаль, пересекая шоссе, юго-восточный экспресс.

— Это мимо Дурновки-то! — сказал Тихон Ильич, икая и возвращаясь в горницу.

Сонная кухарка вошла в нее, тускло освещенную выгорающей лампой и провонявшую табаком, внесла сальный чугуничек со щами, захватив его в черные от сала и сажи ветошки. Тихон Ильич покосился и сказал:

— Сию минуту выйди вон.

Кухарка повернулась, толкнула ногой дверь и скрылась.

Уже хотелось в постель, но он еще долго сидел, стискивая зубы и сонно, мрачно глядя в стол.

## II

Кузьма всю жизнь мечтал учиться и писать.

Что стихи! Стихами он только «баловался». Ему хотелось рассказать, как погибал он, с небывалой беспощадностью изобразить свою нищету и тот страшный в своей обыденности быт, что калечил его, делал «бесплодной смоковницей».

Обдумывая свою жизнь, он и казнил себя и оправдывал.

Что ж, его история — история всех русских самоучек. Он родился в стране, имеющей более ста миллионов безграмотных. Он рос в Черной Слободе, где еще до сих пор насмерть убивают в кулачных боях, среди великой дикости и глубочайшего невежества. Буквам и цифрам выучил его и Тихона сосед, залищик калош Белкин; но и то только потому, что работы у него никогда не было, — уж какие там калоши в Слободе! — что драть кого-нибудь за «виски» всегда приятно и что не все же сидеть на завалинке распояской, наклонив и подставив солнцу лохматую голову, поплеывая на пыль между босыми ногами. В базарной лавке Маторина братья постигли письмо, чтение, стал Кузьма и книжками увлекаться, которые дарил ему базарный вольнодумец и чудака, старик-гармонист Балашкин. Но до чтения ли в лавке! Маторин очень часто кричал: «Я тебе уши оболтаю за твоих Гуаков, дьяволенок ты этакий!»

Там Кузьма и писать стал, — начал рассказом о том, как один купец ехал в страшную грозу, ночью, по Муромским лесам, попал на ночлег к разбойникам и был зарезан. Кузьма горячо изложил его предсмертные мольбы, думы, его скорбь о своей несправедливой и «так рано пресекающейся жизни...» Но базар без пощады окатил его холодной водой:

— Ну и дурак же ты, прости господи! «Рано!» Давно пора

чорту пузатому! Да и как же это ты узнал-то, что он думал? Ведь его же зарезали?

Тогда Кузьма написал кольцовским ладом песню престарелого витязя, завещающего сыну своего верного коня.— «Он носил меня в моей младости!» — восклицал в песне витязь.

— Так! — сказали ему.— Сколько же лет было этому самому коню? Ах, Кузьма, Кузьма! Ты бы лучше дельное-то что-нибудь сочинил,— ну, хоть про войну, к примеру...

И Кузьма, подделываясь под базарный вкус, стал писать о том, о чем толковал тогда базар,— о русско-турецкой войне: о том, как —

В семьдесят седьмом году  
Вздумал турка воевать,  
Подвигал свою орду  
И хотел Россию взять,—

и как эта орда —

В безобразных колпаках  
Подкрадалась под Царь-Пушку...

С большой болью сознавал он потом, сколько тупости, невежества было в таких виршах и чего стоит этот хамский язык, это русское презрение к чужим колпакам!

Бросив лавку и продав, что осталось после умершей матери, стали они торгашить. В родном городе бывать случалось часто, и с Балашкиным Кузьма дружил попрежнему, книги, которые ему давал или указывал Балашкин, читал жадно. Однако, беседуя с Балашкиным о Шиллере, страстно мечтал он в то же время выпросить у него в долг «ливенку». Восторгаясь «Дымом», он, однако, твердил, что «кто умен, да не учен, в том без ученья много света». Побывав на могиле Кольцова, с восхищением записал безграмотную надпись на плите ее: «Подсим памятником погребено тело мещанина и поэта воронежского аласея василевича Калцова награжденного монаршаю милостию *просвещеннаго безнаук природою...*»

Старый, огромный, худой, зиму и лето не снимавший позеленевшей чуйки и теплого картуза, большелицкий, бритый и корсоротый, Балашкин бывал почти страшен своими злыми речами, своим глубоким стариковским басом, колючей серебристой щетиной на серых щеках и зеленым левым глазом, выпученным, сверкавшим и косившим в ту сторону, куда был скошен и рот его. И как рявкнул он однажды, выслушав речь Кузьмы «о просвещении без наук», как сверкнул этим глазом, отшвырнув цыгарку, которую насыпал махоркой над коробкой из-под килек!

— Ослиная челюсть! Что мелешь? Обдумал ли, что значит это наше «без наук просвещение»?.

И опять схватил цыгарку и стал глухо реветь:

— Боже милосливый! Пушкина убили, Лермонтова убили, Писарева утопили, Рылеева удавили... Достоевского к расстрелу таскали, Гоголя с ума свели... А Шевченко? А Полежаев? Скажешь, — правительство виновато? Да ведь по холопу и барин, по Сеньке и шапка. Ох, да есть ли еще такая сторона в мире, такой народ, будь он трижды проклят?

Тревожно теребя пуговицы длиннополого сюртука, то застегиваясь, то расстегиваясь, хмурясь и ухмыляясь, смущенный Кузьма сказал в ответ:

— Такой народ! Величайший народ, а не «такой», позвольте вам заметить.

— Не смей призы раздавать! — опять крикнул Балашкин.

— Нет-с, посмею! Ведь писатели-то эти — дети этого самого народа. Платон Каратаев — вот признанный тип этого народа!

— А почему же не Ерошка, почему не Лукашка? Я, брат, ежели литературу-то захочу потрянуть, всем богам по сапогам найду! Почему Каратаев, а не Разуваев с Колупаевым, не мироед-паук, не поп-лихоимец, не дьяк продажный, не Салтычиха какая-нибудь, не Карамазов с Обломовым, не Хлестаков с Ноздревым али, чтобы не далеко ходить, не твой негодяй-братец?

— Платон Каратаев...

— Вши съели твоего Каратаева! Не вижу тут идеала!

— А русские мученики, подвижники, угодники, Христа ради юродивые, раскольники?

— Что-о? А Колизеи, хрестовые походы, войны леригиозные, секты несметные? Лютер, наконец, того? Нет, шалишь! Мне-то сразу клык не сломишь!

Да, нужно было одно — учиться. Но когда, где?

Целых пять лет торгашества — и это в самую лучшую пору жизни! Великим счастьем казался даже приезд в город. Отдых, знакомые, запах пекарен и железных крыш, мостовая на Торговой улице, чай, булки и персидский марш в трактире «Карс»... Политые из чайников полы в лавках, бой знаменитого перепела у дверей Рудакова, запах рыбного ряда, укропа, романовской махорки... Добрая и страшная улыбка Балашкина при виде подходящего Кузьмы... Потом — громы и проклятия славянофилам, Белинский и скверная брань, бессвязное и страстное забрасывание друг друга именами, цитатами... И самые безнадежные выводы — в конце концов. «Теперь-то уж и впрямь шабаш, — во весь дух ломим назад, в Азию!» — гудел старик и вдруг, понижая голос, озирался: «Слышал? Салтыков, говорят, помирает. Последний! Отравили, говорят...» А наутро — опять телега, степь, зной или грязь, напряженно-мучительное чтение под толчки бегущих колес... Долгое созерцание степной дали,



сладко-тоскливый напев стихов в душе, перебиваемый думами о выручке или перебранкой с Тихоном... Волнующий запах дороги — пыли и дегтя... Запах мятных пряников и удушливая вонь кошачьих шкур из тележного ящика... Поистине изнурили эти годы,— по две недели не снимаемые рубахи, еда всухомятку, хромота от кривых сапог, от сбитых в кровь пяток, ночевки в чужих избах и сенцах!

Широко перекрестился Кузьма, когда наконец выскочил из этой кабалы. Но опять нужно было добывать как-нибудь кусок хлеба. Послужив без году неделю у гуртовщика под Ельцом, подался он на Воронеж. В Воронеже давно началась у него любовь, связь с чужой женой — туда и потянуло. И почти десять лет околачивался он в Воронеже — возле ссыпки хлеба, маклерствуя и пописывая в газетах статейки по хлебному делу, отводя или, вернее, растрawляя душу статьями Толстого, сатирами Щедрина. И все томился неотступной думой, что пропадает, пропала его жизнь.

В начале девяностых годов умер от грыжи Балашкин, а незадолго до того видел его Кузьма в последний раз. И что это за свидание было!

— Писать надо,— хмуро и зло жаловался один.— Вянешь, как лопух в поле...

— Да, да,— гудел другой, уже сонно кося своим помертвевшим глазом, с трудом ворочая челюстью и не попадая махоркой в цыгарку.— Сказано: каждый час учись, каждый час мысли... гляди кругом-то — на все беды и убожества наши...

Потом застенчиво ухмыльнулся, отложил цыгарку и полез в столик.

— Вот,— забормотал он, роясь в пачке каких-то истершихся бумаг и вырезок из газет.— Вот тут, друг, куча добра... Я все почитывал, да вырезывал, да записывал... Помру,— годится тебе, матерьял о русской жизни дьявольский. Да вот постой, я тебе найду сейчас одну историйку...

Но рылся, рылся — и не нашел, стал искать очки, стал тревожно шарить по карманам — и махнул рукой. И, махнув, насупился и замотал головой:

— Да нет, нет,— этого ты пока и касаться не смей. Ты еще неуч слабоумный. Руби дерево по себе. На эту тему, что давал-то я тебе, про Сухоносова-то, написал? Нет еще? Ну, и вышел ослиная челюсть. Какая тема-то!

— Про деревню бы надо, про народ,— сказал Кузьма.— Вот, сами же говорите: Россия, Россия...

— А Сухоносый не народ, не Россия? Да она вся — деревня, на носу заруби себе это! Глянь кругом-то: город это, потвоему? Стадо каждый вечер по улицам прет — от пыли соседа не видать... А ты — «город»!

Сухоносый... Много лет не выходил из головы Кузьмы этот гнусный слободской старик, все имущество которого заключалось в загаженном клопами тюфяке и съеденном молью сало-пе,— в наследстве после жены. Он побирался, болел, голодал, ютился за полтинник в месяц в углу у торговки из «обжорного ряда» и, по мнению ее, мог отлично поправить свои обстоятельства продажей наследства. Но он дорожил им как зеницей ока — и, конечно, совсем не в силу нежных чувств к покойной: оно давало ему сознание, что у него есть, не в пример прочим, имущество. Ему казалось, что стоит оно дьявольски дорого: «Нынче таких салопов-то уж нетути!» Он не прочь, совсем не прочь был продать его. Но ломил такие нелепые цены, что в столбняк приводил покупателей... И Кузьма очень хорошо понимал эту слободскую трагедию. Но, начиная обдумывать, как изложить ее, начинал жить всем сложным бытом слободы, воспоминаниями детства, молодости — и запутывался, топил Сухоносова в обилии картин, осаждавших воображение, опускал руки, подавленный потребностью высказать свою собственную душу, выложить все, что калечило его собственную жизнь. А в этой жизни страшней всего было то, что она проста, обыденна, с непонятной быстротой разменивается на мелочи...

С тех пор прошло еще не мало бесплодных лет. Он маклерствовал в Воронеже, а потом, когда умерла в родильной горячке женщина, с которой он жил, маклерствовал в Ельце, торговал в свечной лавке в Липецке, был конторщиком в экономии Касаткина. Стал он было страстным приверженцем Толстого: с год не курил, в рот не брал водки, не ел мяса, не расставался с «Исповедью», хотел переселиться на Кавказ, к духоборам... Но вот поручили ему побывать по делам в Киеве. Был ясный конец сентября, все было весело, прекрасно: и чистый воздух, и нежаркое солнце, и бег поезда, и открытые окна, и цветистые леса, мелькавшие вдоль них... Вдруг, на останке в Нежине, увидел Кузьма большую толпу у дверей вокзала. Толпа окружала кого-то и кричала, волновалась, спорила. У Кузьмы застучало сердце, и он побежал к ней. Быстро протолкался — и увидал красную фуражку начальника станции и серую шинель рослого жандарма, который распекал трех покорно, но упрямо стоявших перед ним хохлов в коротких толстых свитках, в несокрушимых сапогах, в коричневых бараньих шапках. Шапки эти едва держались на чем-то страшном — на круглых головах, увязанных жесткой от засохшей сукровицы марлей, над запухшими глазами, над вздутыми и остекленевшими лицами в зелено-желтых кровоподтеках, в запекшихся и почерневших ранах: хохлы были искусаны бешеным волком, отправлены в Киев в лечебницу и по суткам сидели чуть не на каждой большой станции без хлеба и без копейки денег. И, узнав, что

их не пускают теперь только потому, что поезд называется скорым, Кузьма внезапно пришел в ярость и, под одобрительные крики евреев из толпы, заорал, затопал ногами на жандарма. Его задержали, составили протокол, и, ожидая следующего поезда, напился он до беспамятства.

Хохлы были из Черниговской губернии. Всегда она представлялась ему глухим краем, с тусклой, пасмурной синью над лесами. О временах Владимира, о давней жизни, боровой, древне-мужицкой, напоминали эти люди, испытывавшие рукопашную схватку с бешеным зверем. И, напиваясь, наливая рюмку трясущимися после скандала руками, Кузьма восторгался: «Ах, и время же было!» Он захохотался от злости и на жандарма и на этих покорных скотов в свитках. Тупые, дикие, будь они прокляты... Но — Русь, древняя Русь! И слезы пьяной радости и силы, искажающей всякую картину до противоестественных размеров, застилали глаза Кузьмы. «А непротивление?» — вспоминал он порою и качал головой, ухмыляясь. Спиной к нему, за общим столом, обедал молоденький чистенький офицер; и Кузьма ласково-нагло смотрел на его белый китель, такой короткий, с такой высокой талией, что хотелось подойти, одернуть его. «И подойду! — думал Кузьма. — А вскочит, крикнет — в рыло! Вот тебе и непротивление»... Затем поехал в Киев и, махнув рукой на дела, три дня проходил, хмельной и радостно возбужденный, по городу, по обрывам над Днепром. И в Софийском соборе, за обедней, многие с удивлением оглядывали худого кацапа, стоявшего перед саркофагом Ярослава. Вид имел он странный: обедня кончалась, народ выходил, сторожа тушили свечи, он же, сжав зубы, опустив на грудь редкую сереющую бородку и страдальчески-счастливо закрыв глубоко запавшие глаза, слушал звон, певуче и глухо гудевший над собором... А вечером видели его у лавры. Он сидел возле калек-мальчишки, с мутной и грустной усмешкой глядя на ее белые стены, на золото мелких куполов в осеннем небе. Мальчишка был без шапки, с холщовой сумой через плечо, в грязной рвани на тощем теле, в одной руке держал он деревянную чашечку, с копейкой на дне, а другой все перекладывал, как чужую, как вещь, свою уродливую, обнаженную до колена правую ногу, вялую, неестественно-тонкую, дочерна загорелую и поросшую золотистой шерстью. Никого не было кругом, но, сонно и болезненно откинув стриженую, жесткую от солнца и пыли голову, показывая тонкие детские ключицы и не обращая внимания на мух, точивших его сонли, мальчишка непрестанно тянул:

Взгляните, мамыши,  
какие мы есть несчастные, страдащие!  
Ах, не дай господь, мамыши,  
таким страдащим быть!

И Кузьма поддакивал: «Так, так! Правильно!»

В Киеве он ясно понял, что у Касаткина держаться ему осталось теперь недолго, и что впереди — нищета, потеря лика человеческого. Так и случилось. Продержался он еще некоторое время, но в положении очень постыдном и тяжком: вечно полупьяный, неопрятный, охрипший, насквозь пропитанный махоркой, через силу скрывающий свою непригодность к делу... Затем пал еще ниже: вернулся в родной город, проживал последние гроши; ночевал целую зиму в общем номере на подворье Ходова, дни убивал в трактире Авдеича на Бабьем базаре. Из этих грошей много ушло на глупую затею — на издание книжки стихов, и пришлось потом шататься среди посетителей Авдеича и навязывать им книжку за полцены... Да мало того: он шутом стал! Раз стоял он на базаре возле мучных лавок и глядел на босяка, который кривлялся перед купцом Мозжухиным, вышедшим на порог. Мозжухин, сонно-насмешливый, похожий лицом на отражение в самоваре, занят был больше котом, который лизал его расчищенный сапог. Но босяк не унимался. Он ударил себя кулаком в грудь, стал, поднимая плечи и хрипя, декламировать:

Кто пьянствует с похмелья,  
Тот действует умно...

И Кузьма, блестя запухшими глазами, внезапно подхватил:

Да здравствует веселье,  
Да здравствует вино!

А проходившая мимо старуха-мещанка, похожая лицом на старую львицу, остановилась, исподлобья поглядела на него и, подняв костыль, раздельно, зло сказала:

— Небось, молитву-то не заучил так-то!

Ниже падать стало некуда. Но это-то и спасло его. Он пережил несколько страшных сердечных припадков — и сразу оборвал пьянство, твердо решив начать самую простую, трудовую жизнь, снимать, например, сады, огороды...

Мысль эта радовала его. «Да, да, — думал он, — давно пора!» И правда, нужен был отдых, нищая, но чистая жизнь. Стал он уже стареть. Совсем посерела его бородка, поредели, приобрели железный цвет его причесанные на прямой ряд, завивавшиеся на концах волосы, потемнело и еще худее стало широкое в скулах лицо...

Весной, за несколько месяцев до мира с Тихоном, Кузьма прослышал, что сдается сад в селе Казакове, в родном уезде, и поспешил туда.

Было начало мая; после жары завернули холода, дожди, шли над городом осенние мрачные тучи. Кузьма, в старой чуйке и старом картузе, в сбитых сапогах, шагал на вокзал, за Пуш-

карную Слободу, и, качая головой, морщась от цыгарки в зубах, заложив руки назад, под чуйку, иронически улыбался: на встречу ему только что пробежал босоногий мальчишка с кипой газет и на бегу бойко крикнул привычную фразу:

— Всяобщая забастовка!

— Опоздал, малый,— сказал Кузьма.— Поновой-то чего нету?

Мальчишка, блестя глазами, приостановился.

— Новые городской на вокзале отнял,— ответил он.

— Ай да конституция! — едко сказал Кузьма и двинулся дальше, прыгая среди грязи под темными от дождей, гнилыми заборами, под ветвями мокрых садов и окнами косых хибарок, сходявших под гору, в конец городской улицы. «Чудеса в решете!» — думал он, прыгая. Прежде в такую погоду по лавкам, трактирам зевали, еле перекидывались словами. Теперь по всему городу — толки о Думе, о бунтах и пожарах, о том, как «Муромцев отбрил примьер-министра»... Ну, да не надолго лягушке хвост! В городском саду играет оркестр стражников... Казаков прислали целую сотню... И третьего дня на Торговой улице один из них, пьяный, подошел к открытому окну общественной библиотеки и, расстегивая штаны, предложил барышне-библиотекарше купить «арихметику». Старик-извозчик, стоявший подле, стал стыдить его, а казак выхватил шашку, рассек ему плечо и с матерной бранью кинулся по улице за летящими куда попало, ошалевшими от страха прохожими и проезжими...

— Кошкодер, кошкодер, завалился под забор! — тонкими голосами завопили за Кузьмой девочки, прыгавшие по камням мелкого слободского ручья.— Там кошек дерут, ему лапку дадут!

— У, паршивые! — цыкнул на них шедший впереди Кузьмы кондуктор в страшно тяжелой даже на вид шинели.— Ровесника нашли!

Но по голосу можно было понять, что он сдерживает смех. Старые глубокие калоши кондуктора были в засохшей грязи, хлястик шинели висел на одной пуговице. Бревенчатый мостик, по которому он шел, лежал косо. Дальше, возле рвов, промытых внешней водой, росли чахлые лозинки. И Кузьма невесело взглянул и на них, и на соломенные крыши по слободской горе, на дымчатые и синеватые тучи над ними, и на рыжую собаку, грызшую во рву кость...

«Да, да,— думал он, поднимаясь на гору.— Не надолго лягушке хвост!». Поднявшись, увидав среди пустых зеленых полей красные вокзальные постройки, он опять ухмыльнулся. Парламент, депутаты! Вчера воротился он из сада, где, по случаю праздника, была иллюминация, взвивались ракеты, а стражни-

ки играли «Тореадора» и «Возле речки, возле моста», «Матчиш» и «Тройку», вскрикивая среди галопы: «Эй, мила-и!» — вернулся и стал звонить у ворот своего подворья. Дергал, дергал гремящую проволоку — ни души. Ни души и кругом, тишина, сумерки, холодное зеленоватое небо на закате за площадью в конце улицы, над головой — тучи... Наконец плетется кто-то за воротами, кряхтит. Гремит ключами и бормочет:

— В отделку охромел...

— Отчего это? — спросил Кузьма.

— Лошадь убила, — ответил отворявший и, распахнув калитку, прибавил: — Ну, теперь еще двое осталось.

— Это судейские, что ли?

— Судейские.

— А не знаешь, зачем суд приехал?

— Депутата судить... Говорят, реку хотел отравить.

— Депутата? Дурак, да разве депутаты этим занимаются?

— А чума их знает...

На окраине слободы, возле порога глиняной мазанки, стоял высокий старик в опорках. В руке у старика была длинная ореховая палка, и, увидав проходящего, он поспешил притвориться гораздо более старым, чем был, — взял палку в обе руки, поднял плечи, сделал усталое, грустное лицо. Сырой, холодный ветер, дувший с поля, трепал космы его серых волос. И Кузьма вспомнил отца, детство... «Русь, Русь! Куда мчишься ты?» — пришло ему в голову восклицание Гоголя. — «Русь, Русь!.. Ах, пустоболты, пропасти на вас нету! Вот это будет почише — «депутат хотел реку отравить»... Да, но с кого и взыскивать-то? Несчастный народ, прежде всего — несчастный!..» И на маленькие зеленые глаза Кузьмы навернулись слезы — внезапно, как это стало часто случаться с ним последнее время. Забрел он недавно в трактир Авдеича на Бабьем базаре. Вошел во двор, утопая по шиколку в грязи, и со двора поднялся во второй этаж по такой вонючей, насквозь сгнившей деревянной лестнице, что даже его, человека, видавшего виды, затошнило; с трудом отворил тяжелую, сальную дверь в клоках войлока, в рваных ветошках вместо обивки, с блоком из веревки и кирпича, — и ослеп от табачного дыма, оглох от звона посуды на стойке, от топота бегущих во все стороны половых и гнусавого крика граммофона. Затем прошел в дальнюю комнату, где народу было меньше, сел за столик, спросил бутылку меду... Под ногами, на затоптанном и заплыванном полу — ломтики высушенного лимона, яичная скорлупа, окурки... А у стены напротив сидит длинный мужик в лаптях и блаженно улыбается, мотает лохматой головой, прислушиваясь к кричащему граммофону. На столике сотка водки, стаканчик, крендели. Но мужик не пьет, а только мотает головой, смотрит себе на лапти и вдруг,

почувствовав на себе взгляд Кузьмы, открывает радостные глаза, поднимает чудесное доброе лицо в рыжей вьющейся бороде. «Ну, залетел!» — восклицает он радостно и изумленно. И спешит добавить — в оправдание: «У меня, господин, брат тут служа... Брат родной...» И, сморгнув слезы, Кузьма стиснул зубы. У, анафемы, до чего затоптали, забили народ! «Залетел!» Это к Авдеичу-то! Да мало того: когда Кузьма поднялся и сказал: «Ну, прощай!» — поспешно поднялся и мужик и от полноты счастливого сердца, с глубокой благодарностью и за роскошь обстановки и за то, что поговорили с ним по-человечески, поспешно ответил: «Не прогневайтесь...»

В вагонах прежде разговаривали только о дождях и засухах, о том, что «цены на хлеб бог строит». Теперь у многих в руках шуршали газетные листы, а толк шел опять-таки о Думе, о свободах, отчуждении земель — никто и не замечал проливного дождя, шумевшего по крышам, хотя ехал народ все жадный до весенних дождей — хлеботорговцы, мужики, мещане с хуторов. Прошел молодой солдат с отрезанной ногой, в желтухе, с черными печальными глазами, ковыляя, стуча деревяшкой, снимая манджурскую папаху и, как нищий, крестясь при каждом подаении. И поднялся шумный негодующий говор о правительстве, о министре Дурново и каком-то казенном овсе... Издеваясь, вспоминали то, чем прежде восхищались: как «Витя», чтобы напугать японцев в Портсмуте, призывал свои чмодапы увязывать... Сидевший против Кузьмы молодой человек, стриженный бобриком, покраснел, заволновался и поспешил вмешаться:

— Позвольте, господа! Вот вы говорите — свобода... Вот я служу письмоводителем у податного инспектора и посылаю статьи в столичные газеты... Разве это его касается? Он уверяет, что он тоже за свободу, а между тем узнал, что я написал о ненормальной постановке нашего пожарного дела, призывает меня и говорит: «Если ты будешь, сукин сын, писать эти штуки, я тебе голову отмотаю!» Позвольте: если мои взгляды левее его...

— Взгляды? — альтом карлика вдруг крикнул сосед молодого человека, толстый сконец в сапогах бутылками, мучник Черняев, все время косивший на него свинными глазками. И, не дав ему опомниться, завопил:

— Взгляды? Это у тебя-то взгляды? Это ты-то левее? Да я тебя еще без порток видал! Да ты с голоду околевал, не хуже отца своего, побирушки! Ты у инспектора-то ноги должен мыть да юшку пить!

— Кон-сти-ту-у-ция, — тонким голосом, перебивая скопца, запел Кузьма и, поднявшись с места, задевая колени сидящих, пошел по вагону к дверям.

Ступни у скопца были маленькие, полные и противные, как у какой-нибудь старой ключницы, лицо тоже бабье, большое, желтое, плотное, губы тонкие... Да хорош был и Полозов, — учитель прогимназии, тот, что так ласково кивал головой, слушая скопца и опираясь на трость, коренастый человек в серой шляпе и серой крылатке, ясноглазый, с круглым носом и роскошной русой бородой во всю грудь... Отворив дверь на площадку вагона, Кузьма с отрадой вздохнул холодной и душистой дождевой свежестью. Дождь глухо гудел по навесу над площадкой, лил с него ручьями, летел брызгами. Вагоны, раскачиваясь, грохотали среди шума телег, навстречу, опускаясь и подымаясь, плыли проволоки телеграфа, по бокам бежали густые свежее-зеленые опушки орешника. Пестрая куча мальчишек вдруг выскочила из-под насыпи и звонко, хором закричала что-то. Кузьма умиленно улыбнулся, и все лицо его покрылось мелкими морщинами. А подняв глаза, он увидел на противоположной площадке странника: доброе, измученное крестьянское лицо, седую бороду, широкополую шляпу, драповое пальто, подпоясанное веревкой, мешок и жестяной чайник за плечами, на тонких ногах — бахилки. И крикнул сквозь грохот и шум:

— С богомолья?

— Из Воронежа, — с милой готовностью ответил слабым криком странник.

— Жгут там помещиков?

— Жгут...

— И чудесно!

— Ась?

— Чудесно, говорю! — крикнул Кузьма.

И, отвернувшись, дрожащими руками, смаргивая набежавшие слезы умиления, стал свертывать цыгарку... Но мысли опять спутались. «Странник — народ, а скопец и учитель — не народ? Рабство отменили всего сорок пять лет назад, — что ж и взъискивать с этого народа? Да, но кто виноват в этом? Сам же народ!» И лицо Кузьмы опять потемнело и осунулось.

На четвертой станции он слез и нанял подводу. Мужики-извозчики просили сперва семь рублей — до Казакова было двенадцать верст, — потом пять с полтиной. Наконец один сказал: «Трояк отдашь — повезу, а то и язык трепать нечего. Нынче вам не прежнее...» Но не выдержал тона и прибавил привычную фразу: «Опять же корма дорогие...» И повез за полтора. Грязь была непролазная, телега маленькая, еле живая лошаденка ушастая, как осел, слабосильная. Медленно потянулись со двора станции, мужик, сидевший на грядке, стал томиться, дергая веревочные вожжи, как бы желая всем своим существом помочь лошади. Он на станции хвастался, что ее «не удержишь», и теперь, видимо, стыдился. Но что было хуже всего, так это



он сам. Молодой, огромный, полный, в лаптях и белых онучах, в коротком чекмене, подпоясанном оборкой, и в старом картузе на прямых, желтых волосах. Пахнет курной избой, коноплей, — пахарь времен царя Гороха! — лицо белое, безусое, а горло распухшее, голос сиплый.

— Как тебя зовут? — спросил Кузьма.

— Звали Ахванасьем...

«Ахванасьем!» — подумал Кузьма с сердцем.

— А дальше?

— Меньшов... Н-но, анчихрист!

— Дурная, что ль? — кивнул Кузьма на горло.

— Ну, уж и дурная, — пробормотал Меньшов, отводя глаза в сторону. — Квасу холодного напился...

— Да глотать-то больно?

— Глотать — нет, не больно...

— Ну, значит, и не болтай попусту, — сказал Кузьма строго. — Налаживай-ка лучше в больницу поскорее. Женатый, небось?

— Женатый...

— Ну, вот видишь. Пойдут дети — и наградишь ты их всех в лучшем виде.

— Уж это как пить дать, — согласился Меньшов.

И, томясь, стал дергать вожжи. «Но-но... Сладу с тобой нету, анчихрист!» Наконец бросил это бесполезное занятие и успокоился. Долго молчал и вдруг спросил:

— Собрали, купец, Думу-то, ай нет?

— Собрали.

— А Макаров-то, говорят, жив, — только не велел сказывать...

Кузьма даже плечами вздернул: чорт знает что в этих степных головах! «А богатство-то какое!» — думал он, мучительно сидя с поднятыми коленями на голом дне телеги, на клоке соломы, крытом веретьем, и оглядывая улицу. Чернозем-то какой! Грязь на дорогах — синяя, жирная, зелень деревьев, трав, огородов — темная, густая... Но избы — глиняные, маленькие, с навозными крышами. Возле изб — разошедшиеся водовозки. Вода в них, конечно, с головастиками... Вот богатый двор. Старая рига на гумне. Барок, ворота, изба — все под одной крышей, под старновкой в начес. Изба кирпичная, в две связи, простенки разрисованы мелом: на одном — палочка и по ней вверх — рогульки, — елка, на другом что-то вроде петуха; окошечки тоже окаймлены мелом — зубцами. «Творчество! — ухмыльнулся Кузьма. — Пещерные времена, накажи бог, пещерные!» На дверях пунек — кресты, написанные углем, у крыльца — большой могильный камень, — видно, дед или бабка про смерть приготовили... Да, двор богатый. Но грязь кругом по колено, на

крыльце лежит свинья. Окошечки — крохотные, и в жилой половине избы, небось, темнота, вечная теснота: полати, ткацкий стан, здоровенная печь, лохань с помоями... А семья большая, детей много, зимой — ягнята, телята... И сырость, угар такой, что зеленый пар стоит. А дети хнычут — и орут, получая подзатыльники; невестки ругаются — «чтоб тебя громом расшибло, сука подворотная!» — желают друг другу «подавиться куском на велик день»; старушонка-свекровь поминутно швыряет ухваты, миски, кидается на невесток, засучивая темные жилистые руки, надрывается от визгливой брани, брызжет слюной и проклятиями то на одну, то на другую... Зол, болен и старик, изурлил всех наставлениями...

Дальше повернули на выгон. На выгоне налаживалась ярмарка. Уже кое-где торчали остовы палаток, навалены были колеса, глиняная посуда; дымилась смазанная на живую руку печь, пахло оладьями; серела походная кибитка цыган, и возле колес ее сидели овчарки на цепях. Дальше, возле казенного кабака, стояла тесная толпа девок, мужиков, и раздавались вскрикивания.

— Гуляет народ,— задумчиво сказал Меньшов.

— Это с какой радости? — спросил Кузьма.

— Надеется...

— На что?

— Известно, на что... На домового!

— И-их! — крикнул кто-то в толпе под крепкий глухой топот:

Не пахать, не косить —  
Девкам жамки носить!

И невысокий мужик, стоявший сзади толпы, вдруг взмахнул руками. Все на нем было домовито, чисто, прочно — и лапти, и онучи, и новые тяжевые портки, и очень коротко, кургузо подрезанная сборчатая юбка поддевки из толстого сивого сукна. Он вдруг мягко и ловко топнул лаптем, взмахнул руками, тенором крикнул: «Расступись, дай купцу глянуть!» — и, вскочив в разомкнувшийся круг, отчаянно затряс портками перед молодым высоким малым, который, склонив картуз, дьявольски вывертывал сапогами и, вывертывая, сбрасывал с себя, с новой ситцевой рубахи, черную поддевку. Лицо малого было мрачно, бледно и потно.

— Сынок! Желанный! — вопила, среди гама и дробного топота, старушка в паневе, протягивая руки.— Будя тебе за ради Христа! Желанный, будя — помреш!

И сынок вдруг вскинул голову, сжал кулаки и зубы и с яростным лицом и топотом выкрикнул:

Цыц, бабка, не кукуй...

— А она и так последние холсты для него продала,— говорил Меньшов, тащась по выгону.— Любит она его без памяти,— дело вдове,— а он почесть каждый день мордует ее, пьяный... Знать, того стбит.

— Это каким же манером — «того стбит»? — спросил Кузьма.

— А таким... Не потакай...

У одной избы сидел на скамейке длинный мужик — краше в гроб кладут: ноги стоят в валенках, как палки, большие мертвые руки ровно лежат на острых коленях, на протертых портках. На лоб по-стариковски надвинута шапка, глаза замученные, просящие, нечеловечески-худое лицо вытянуто, губы пельные, полураскрытые...

— Это Чучень,— сказал Меньшов, кивая на больного.— От живота второй год помирает.

— Чучень? Это что ж — прозвище?

— Прозвишша...

— Глупо! — сказал Кузьма.

И отвернулся, чтобы не видеть девчонки возле следующей избы: она, перевалившись назад, держала на руках ребенка в чепчике, пристально гладела на проезжих и, высовывая язык, нажевывала, готовила для ребенка соску из черного хлеба... А на крайнем гумне гудели от ветра лозинки, трепалось покосившееся пугало пустыми рукавами. Гумно, что выходит в степь, всегда неуютно, скучно, а тут еще это пугало, осенние тучки, от которых лежит на всем синеватый тон, и гудит ветер с поля, раздувает хвосты кур, бродящих по току, заросшему лебедой и чернобыльником, возле риги с раскрытым хребтом...

Лесок, синевший на горизонте,— две длинных лощины, заросших дубняком,— назывался Порточками. И около этих Порточек захватил Кузьму проливной дождь с градом до самого Казакова. Лошаденку Меньшов гнал под селом вскачь, а Кузьма, зажмурясь, сидел под мокрым холодным веретьем. Руки костенели от стужи, за ворот чуйки текли ледяные струйки, отжелевшее под дождем веретье воняло прелым закромом. В голову стучали градины, летели лепешки грязи, в коленях, под колесами, шумела вода, где-то бляели ягнята... Наконец стало так душно, что Кузьма отшвырнул веретье с головы назад. Дождь редел, вечерело, мимо телеги по зеленому выгону бежало к избам стадо. Тонконогая черная овца отбилась в сторону, и за ней гонялась, накрывшись мокрой юбкой, блестя белыми икрами, босая баба. На западе, за селом, светлело, на востоке, на сизо-пыльной туче, над хлебами, стояли две зелено-фиолетовых дуги. Густо и влажно пахло зеленью полей и тепло—жильем.

— Где тут господский двор? — крикнул Кузьма плечистой бабе в белой рубашке и красной шерстяной юбке.

Баба стояла на каменном пороге избы и держала за руку голосившую девочку. Девочка голосила с невероятной пронзительностью.

— Двор? — повторила баба. — Чей?

— Господский.

— Чей? Ничего не слышать... А, да захлебнись ты, родимец те росшиби! — крикнула баба, дернув девочку за руку так сильно, что та перевернулась.

Расспросили в другом дворе. Проехали широкую улицу, взяли влево, потом вправо и мимо чьей-то старосветской усадьбы с забитым наглухо домом стали спускаться под крутую гору, к мосту через речку. С лица, с волос, с чекменя Меньшова падали капли. Умытое толстое лицо его с белыми крупными ресницами казалось еще тупее. Он с любопытством заглядывал куда-то вперед. Глянул и Кузьма. На том боку, на покато выгоне — темный казаковский сад, широкий двор, обнесенный разрушающимися службами и развалинами каменной ограды; среди двора, за тремя засохшими елками — обшитый серым тесом дом под ржаво-красной крышей. Внизу, у моста — кучка мужиков. А впереди, на крутой размытой дороге, бьется в грязи, вытягивается вверх тройка худых рабочих лошадей, запряженных в тарантас. Оборванный, но красивый батрак, бледный, с красноватой бородкой, с умными глазами, стоял возле тройки, дергал вожжи и, надсаживаясь, кричал: «Н-но! Н-но-о!» А мужики с гоготом и свистом подхватывали: «Тпру! Тпру!» И отчаянно простирала вперед руки сидевшая в тарантасе молодая женщина в трауре, с крупными слезами на длинных ресницах. Отчаяние было и в бирюзовых глазах толстого рыжеусого человека, сидевшего с ней рядом. Обручальное кольцо блестело на его правой руке, сжимавшей револьвер; левой он все махал, и, верно, ему было очень жарко в верблюжьей поддевке и суконном картузе, съехавшем на затылок. А со скамеечки против сиденья с кротким любопытством озирались дети — мальчик и девочка, бледные, закутанные в шали.

— Это Мишка Сиверский, — громко и сипло сказал Меньшов, объезжая тройку и равнодушно глядя на детей. — Его сожгли вчерась... Видно, стбит того.

Делами господ Казаковых правил староста, бывший солдат-кавалерист, человек рослый и грубый. К нему, в людскую, и надо было обратиться, как сказал Кузьме работник, въезжавший на двор в телеге с накошенной крупной мокро-зеленой травой. У старосты случилось в этот день несчастье — умер ребенок — и встречен был Кузьма неласково. Когда он, оставив Меньшова за воротами, подошел к людской, заплаканная, серьезная

старостиha несла от сада рябую курицу, смиpно сидевшую у нее подмышкой. Среди колонок на ветхом крыльце стоял высокий молодой человек в высоких сапогах и ситцевой косоворотке и, увидав старостиhu, крикнул:

— Агафья, куда-й-то ты ее несешь?

— Резать,— ответила старостиha серьезно и печально.

— Дай-ка я зарежу.

И молодой человек направился к леднику, не обращая внимания на дождь, снова начавший накрапывать с насупившегося неба. Отворив дверь ледника, он взял с порога топор — и через минуту раздался короткий стук, и безголовая курица, с красным обрубочком шеи, побежала по траве, спотыкнулась и завертелась, трепыхая крыльями и разбрасывая во все стороны перья и брызги крови. Молодой человек кинул топор и направился к саду, а старостиha, поймав курицу, подошла к Кузьме:

— Тебе что?

— Насчет сада,— сказал Кузьма.

— Федор Иваныча подожди.

— А где он?

— Сейчас с поля приедет.

И Кузьма стал ждать у открытого окна людской. Он заглянул туда, увидел в полутьме печь, нары, стол, корытце на лавке у окна — гробик корытцем, где лежал мертвый ребенок с большой, почти голый головкой, с синеватым личиком... За столом сидела толстая слепая девка и большой деревянной ложкой ловила из миски молоко с кусками хлеба. Мухи, как пчелы в улье, гудели над ней, ползали по мертвому личику, потом падали в молоко, но слепая, сидя прямо, как истукан, и уставив в сумрак бельма, ела и ела. Кузьме стало страшно, и он отвернулся. Порывами дул холодный ветер, от туч становилось все темнее. Среди двора возвышались два столба с перекладиной, на перекладине, как икона, висела большая чугунная доска: значит, по ночам боялись, били в нее. По двору валялись худые борзые собаки. Мальчик лет восьми бегал среди них, возил на тележке белоголового бурдастого братишку в большом черном картузе — и тележка неистово визжала. Дом был сер, грузен и, должно быть, чертовски скучен в эти сумерки. «Хоть бы огонь зажгли!» — подумал Кузьма. Он смертельно устал, ему казалось, что он выехал из города чуть не год тому назад...

А вечер и ночь он провел в саду. Староста, приехав верхом с поля, сердито сказал, что «сад давно сраден», а на просьбу о ночлеге только нагло изумился: «Однако ты умен! — крикнул он.— Постоялый двор какой нашел! Много вас теперь таких шатается...» Но смилостивился — разрешил ночевать в саду, в бане. Кузьма расчелся с Меньшовым и пошел мимо дома к воротам липовой аллеи. Из темных раскрытых окон, из-за же-

лезных сеток от мух, гремел рояль, покрываемый великолепным голосом, затейливыми вокализмами, совершенно не идущими ни к вечеру, ни к усадьбе. По грязному песку покато́й аллеи, в конце которой, как на краю света, тускло белело облачное небо, не спеша двигался навстречу Кузьме темнорыжий мужичок с ведром в руке, распоясанный, без шапки и в тяжелых сапогах.

— Ишь, ишь! — насмешливо говорил он на ходу, прислушиваясь к вокализмам. — Ишь, раздолеваается!

— Кто раздолеваается? — спросил Кузьма.

Мужичок поднял голову и приостановился.

— Да баггчук-то, — весело сказал он, сильно картавя. — Говорят, семьей год так-то!

— Это какой же, — что курицу рубил?

— Н-нет, другой... Да это еще что! Иной раз как примется кричать: «Нонче ты, завтра я» — прямо бяда-а!

— Учится, верно?

— Хороша ученье!

Все это было рассказано как будто небрежно, вскользь, с передышками, но с такой едкой усмешкой и картавостью, что Кузьма внимательно глянул на встречного. Похож на дурачка. Волосы прямые, в скобку. Лицо небольшое, незначительное, старинно-русское, суздальское. Сапоги огромные, тело тощее и какое-то деревянное. Глаза под большими сонными веками — ястребиные. Опустит веки — обыкновенный дурачок, поднимет — даже жутко немного.

— Ты в саду сидишь? — спросил Кузьма.

— В саду. А то где же?

— А как тебя зовут?

— Меня-то? Аким... А тебя?

— Я сад хотел снять.

— Вона... хватился!

И Аким, насмешливо мотнув головой, пошел своей дорогой.

Ветер дул все порывистее, сыпля брызги с яркозеленых деревьев; за садом, где-то низко, гремел тугой гром, бледно-голубые сполохи озаряли аллею, и повсюду пели соловьи. Совершенно непонятно было, как могут они так старательно, в таком упорном забвении, так сладко и сильно цокать, щелкать и рассыпаться под этим тяжким свинцово-облачным небом, среди гнущихся от ветра деревьев, в густых мокрых кустах. Но еще непонятнее было, как проводят караульщики на этом ветру ночи, как спят они на сырой соломе под навесом гнилого шалаша!

Их было трое. И все были больны. Один, молодой, бывший пекарь, теперь босяк, жаловался на лихорадку; у другого, Митрофана, тоже босяка, была чахотка, хоть он говорил, что ему ничего, «только промеж крыльев холодит»; Аким страдал «куриной слепотой» — от худосочия плохо видел в сумерках.

Пекарь, бледный и ласковый, сидел, когда подошел Кузьма, возле шалаша на корточках и, засучив на худых, слабых руках рукава ватной кофты, промывал в деревянной чашке пшено. Чухоточный Митрофан, человек небольшого роста, широкий и темнолицый, весь в мокром отрепье и опорках, сбитых и жестких, как старое лошадиное копыто, стоял возле пекаря и, подняв плечи, карими блестящими глазами, расширенными и ничего не выражающими, глядел на его работу. Аким притащил ведро и разводил, поддувал в земляной печурке против шалаша сгонь. Он входил в шалаш, выбирал там пуки соломы посуше и опять шел к пахуче дымившему под чугуном костру, все бормоча что-то, дыша со свистом и насмешливо-загадочно, небрежно улыбаясь на подтруниванья сотоварищей, зло и ловко срезая их порою. А Кузьма закрывал глаза и слушал то разговор, то соловьев, сидя на сырой скамейке возле шалаша, осыпаемый ледяными брызгами, когда по аллее под сумрачным, вздрагивавшим от бледных зарниц и рокочущим небом пронесся сырой ветер. Под ложечкой сосало от голода и тютюна. Кулеш, казалось, никогда не поспеет, из головы не выходила мысль, что, может, и самому придется жить такой же звериной жизнью, как эти караульщики... И раздражали порывы ветра, дальний однообразный гром, соловьи и медлительная, небрежно-едкая картавость Акима, его скрипучий голос.

— Ты бы, Акимушка, хотя поясок-то купил,— притворно просто говорил пекарь, труня и поглядывая на Кузьму,— приглашая и его послушать Акима.

— Вот погоди,— рассеянно-насмешливо отвечал Аким, снимая длинной ложкой из закипевшего котелка пенистую жижу.— Вот отживем у хозяина лето — сапоги тебе со скрипом куплю.

— «Со скггипом!» Да я у тебя не прошу.

— А сам в опорках!

И Аким стал заботливо пробовать с ложки жижу.

Пекарь смутился и вздохнул:

— Уж где нам сапоги носить!

— Да будет вам,— сказал Кузьма,— вы вот лучше скажите, как вы тут коштуетесь. Небось, каждый день все кулеш да кулеш?

— А тебе что ж — рыбки, ветчинки захотелось? — спросил Аким, не оборачиваясь и облизывая ложку.— Она бы ничего так-то: водочки осьмушку, сомовинки хунтика три, хвостик ветчинки, чайку хруктового... А это не кулеш, а называется реденькая кашка.

— А щи, похлебку варите?

— У нас, брат, были они, щи-то, да какие еще! На кобеля плеснешь — шерсть соскочит!

Кузьма покачал головой:

— А ведь это ты от болезни так зол! Полечился бы, что ли, маленько...

Аким не ответил. Огонь уже потухал, под чугуном краснела горка угольков; сад темнел и темнел, и голубые сполохи при порывах ветра, раздувавших рубаху Акима, стали бледно озарять лица. Митрофан сидел рядом с Кузьмой, опершись на палку, пекарь — на пне под липой. Услышав последние слова Кузьмы, пекарь стал серьезен.

— А я так полагаю,— сказал он покорно и грустно,— что не иначе, как все господь. Не даст господь здоровья, так никакие доктора тебе не помогут. Вон Аким правду говорит: раньше смерти не помрешь.

— Доктора! — подхватил Аким, глядя на угли и особенно едко выговаривая это слово: дохтогга!..— Доктора, брат, свой карман блюдут. Я б ему, доктору-то энтому, кишки за его дела выпустил!

— Не все блюдут,— сказал Кузьма.

— Я всех не видал.

— Ну, и не брешь, если не видал,— строго сказал Митрофан.

Но тут насмешливое спокойствие внезапно покинуло Акима. И, выкатив свои ястребиные глаза, он вдруг вскочил и закричал с запальчивостью идиота:

— Что? Это я-то не брешь? Ты был в больнице-то? Был? А я был! Я в ней семь дён сидел,— много он мне булок-то давал, доктор-то твой? Много?

— Да дурак,— перебил Митрофан,— булки не всем же полагаются: это по болезни.

— А! По болезни! Ну, и подавись он ими, пузо его лопни! — крикнул Аким.

И, бешено озираясь, шваркнул длинную ложку в «реденькую кашку» и пошел в шалаш.

Там он, со свистом дыша, зажег лампочку, и в шалаше стало уютно. Потом достал откуда-то из-под крыши ложки, кинул их на стол и крикнул: «Несите, что ль, кулеш-то!» Пекарь встал и пошел за чугуном. «Милости просим»,— сказал он, проходя мимо Кузьмы. Но Кузьма попросил только хлеба, посолил его и, с наслаждением жуя, опять вернулся к скамейке. Стало совсем темно. Бледно-голубой свет все шире, быстрее и ярче озарял шумящие деревья, точно раздуваемый ветром, и при каждом сполохе мертвенно-зеленая листва становилась на мгновение видна, как днем, после чего все заливалось могильной чернотой. Соловьи смолкли,— сладко и сильно цокал и рассыпался только один — над самым шалашом. «Даже и не



спросили, кто я, откуда? — думал Кузьма. — Народ, пропади он пропадом!» И шутливо крикнул в шалаш:

— Аким! А ты и не спросил даже: кто я, откуда?

— А на что ты мне нужен-то? — ответил Аким.

— Я вот его о другом спрашиваю, — слышался голос пекаря: — сколько он от Думы земли чаёт получить? Как думаешь, Акимушка? А?

— Я не письмённый, — сказал Аким. — Тебе из навозу видней.

И пекарь, должно быть, опять смутился: на минуту наступило молчание.

— Это он насчет нашего брата, — заговорил Митрофан. — Я рассказывал как-то, что в Ростове бедный народ, пролетариат то есть, зимой в навозе спасается...

— Выйдет за город, — радостно подхватил Аким, — и — в навоз! Зароется не хуже свиньи, и горя мало.

— Дурак! — отрезал Митрофан. — Чего гогочешь? Застигнет бедность — зароешься!

Аким, опустив ложку, сонно посмотрел на него. И снова с внезапной запальчивостью раскрыл свои пустые ястребиные глаза и бешено крикнул:

— А-а! Бедность! По часам захотел работать?

— А как же? — бешено крикнул и Митрофан, раздувая свои дагомейские ноздри и в упор глядя на Акима блестящими глазами. — Двадцать часов за двугривенный?

— А-а! А тебе бы час за целковый? Дюже жаден, пузо твое лопни!

Но ссора столь же быстро и потухла, как разгорелась. Через минуту Митрофан уже спокойно говорил, обжигаясь кулешом:

— Это он-то не жаден! Да он, дьявол слепой, за копейку в алтаре удавится. Верите ли — жену за пятиалтынный продал! Ей-богу, не шучу. Там у нас в Липецке есть такой старичок, Панков прозывается, тоже прежде садовничал, ну, а теперь на покое и очень любит это дело...

— Аким, значит, тоже липецкий? — спросил Кузьма.

— Из деревни Студенки, — равнодушно сказал Аким, точно и не про него шел толк.

— При брате живет, — подтвердил Митрофан. — Землей, двором сообча владеет с ним, но только все-таки вроде как за место дурачка, и жена от него, конечно, уж сбежала; а отчего сбежала — как раз от этого от самого: сторговался с Панковым за пятиалтынный, чтоб пустить его, за место себя, ночью в клеть — и пустил.

Аким молчал, постукивая ложкой по столу и глядя на лампочку. Он уже наелся, утерся и теперь что-то думал.

— Брехать, малый, не пахать,— сказал он наконец.— А хоть бы и пустил: ай она слиняет?

И, прислушиваясь, ослабилась, поднял брови, и его суздальское личико стало радостно-грустно, покрылось крупными деревянными морщинами.

— Вот бы из ружья-то его! — сказал он особенно скрипуче и картаво.— Так бы и кувыркнулся!

— Это ты про кого же? — спросил Кузьма.

— Да про соловья-то этого...

Кузьма сжал зубы и, подумав, сказал:

— А стерва ты мужик. Зверь.

— Поцелуй меня в ж... теперь,— отозвался Аким. И, икнув, поднялся:

— Ну, что ж даггом огонь-то жець?

Митрофан стал завертывать цыгарку, пекарь — убирать ложки, а он вылез из-за стола, повернулся к лампочке спиной и, поспешно перекрестившись три раза, с размаху поклонился в темный угол шалаша, встряхнул мочальными прямыми волосами и, подняв лицо, зашептал молитву. От него пала на какие-то тесовые ящики и переломилась большая тень. Он опять торопливо перекрестился и опять с размаху поклонился — и Кузьма уже с ненавистью взглянул на него. Вот Аким молится — и попробуй-ка спросить его, верит ли он в бога! Из орбит выскочат его ястребиные глаза! Разве он татарин какой!

Казалось, что год тому назад выехал он из города и что никогда-то теперь не доберешься до него. Тяготил мокрый картуз, ныли холодные ноги, сжатые грязными сапогами. Лицо за день обветрилось, горело. Поднявшись со скамьи, Кузьма пошел навстречу сырому ветру, к воротам в поле, к пустоши давно упраздненного погоста. Из шалаша падал на грязь слабый свет, но, как только Кузьма отошел, Аким дунул на лампочку, свет исчез, и сразу наступила ночь. Голубоватая зарница блеснула смелее, неожиданней, раскрыла все небо, всю глубину сада до самых отдаленных елок, где стояла баня, и вдруг залила все такой чернотой, что закужилась голова. И опять где-то низко загредел дальний гром. Постояв и различив тусклый просвет в воротах, Кузьма вышел на дорогу, пролежавшую вдоль вала, мимо шумящих старых лип и кленов, и стал медленно ходить взад и вперед. На картуз, на руки опять посыпался дождь. И опять глубоко распахнулась черная тьма, засверкали капли дождя, и на пустоши, в мертвенно-голубом свете, вырезалась фигура мокрой тонкошеей лошади. Бледное, металлически-зеленое поле овсов мелькнуло за пустошью на чернильном фоне, а лошадь подняла голову — и Кузьме стало жутко. Он повернул назад, к воротам. Когда же ощупью добрался до бани, стоявшей в ельнике, дождь обрушился на землю с такой силой,

что, как в детстве, стали мелькать страшные мысли о потопе. Он дернул спичкой, увидел широкие нары возле окошечка и, свернув чуйку, кинул ее в изголовье. В темноте влез на нары и с глубоким вздохом растянулся на них, лег по-стариковски, на спину, и закрыл усталые глаза. Боже мой, какая нелепая и тяжкая поездка! И как это он попал сюда? В барском доме теперь тоже тьма, и зарницы, на лету, украдкой отражаются в зеркалах... В шалаше, под проливным дождем, спит Аким... Вот в этой бане не раз, конечно, видали чертей: верит ли Аким хоть в чорта как следует? Нет. А все-таки с уверенностью рассказывает о том, как его покойник-дед — непременно дед и непременно покойник — пошел раз в ригу за хоботьем, а чорт сидит себе на водиле, ножки переплел, лохматый, как собака... И, выставив одно колено, Кузьма положил кисть руки на лоб и стал, вздыхая и тоскуя, задремывать...

Лето он провел в ожидании места. Мечты о садах оказались очень глупы. Возвратясь в город и хорошенько обдумав свое положение, начал он искать места приказчика, конторщика; потом стал соглашаться на любое — лишь бы был кусок хлеба. Но поиски, хлопоты, просьбы пропадали даром. В городе он давным-давно слыл за большого чудака. Пьянство и безделье превратили его в посмешище. Жизнь его сперва изумляла город, потом стала казаться подозрительной. Да и правда: где это видано, чтобы мещанин в его годы жил на подворье, был холост и нищ, как шарманщик: всего имущества — сундучок да тяжелый старый зонт! И Кузьма стал посматривать в зеркало: что это, в самом деле, за человек перед ним? Ночует в «общем номере», среди чужих, приезжающих и уезжающих людей, утром плетется по жаре на базар, в трактиры, где ловит слухи о местах; после обеда спит, потом сидит у окна и читает, глядит на пыльную белую улицу и бледно-голубое от жары небо... Для кого и для чего живет на свете этот худой и уже седой от голода и строгих дум мещанин, называющий себя анархистом и не умеющий толком объяснить, что значит — анархист? Сидит, читает; вздохнет, пройдетя по комнате; опустится на корточки, отомкнет свой сундучок; переложит поаккуратнее истрепанные книжки и рукописи, две — три линючих косоворотки, старый длиннополый сюртук, жилетку, истершееся метрическое свидетельство... А что дальше делать?

И лето тянулось бесконечно долго. Теперь в городе стояла адская сушь. Угловой дом подворья жарился на солнце. По ночам от духоты кровь стучала в голову, и будил каждый звук за открытыми окнами. А на сеновале нельзя было спать от блох, крика петухов и вони навозного двора. Все лето не покидала Кузьму мечта съездить в Воронеж. Хоть бы от поезда до поезда побродить по воронежским улицам, посмотреть на зна-

комые тополя, на тот голубенький домик за городом... Да зачем? Истратить десять, пятнадцать рублей, а потом отказывать себе в свечке, в булке? Да и стыдно старику предаваться любовным воспоминаниям. А что до Клаши, так его ли еще дочь-то она? Видел он ее года два тому назад: сидит у окна, плетет кружево, облик милый и скромный, но похожа только на мать...

К осени Кузьма убедился, что необходимо или по святым местам уйти, в монастырь какой-нибудь, или — просто дернуть по горлу бритвой. Наступала осень. Уже пахло на базаре яблоками, сливами. Навезли гимназистов. Стало солнце садиться за Щепной площадью: выйдешь из ворот вечером и, переходя перекресток, ослепнешь: налево вся улица, упирающаяся вдаль в площадь, залита низким скучным блеском. Сады за заборами — в пыли, паутине. Идет Полозов навстречу — на нем крылатка, но шляпу уже сменил картуз с кокардой. В городском саду ни души. Забита раковина музыкантов, забит киоск, где продавали летом кумыс и лимонад, закрыт дощатый буфет. И однажды, сидя возле этой раковины, Кузьма так затосковал, что уже не шутя задумался о самоубийстве. Солнце садилось, свет его был красноватый, летела мелкая розовая листва по аллее, дул холодный ветер. В соборе звонили ко всеобщей, и под этот мерный, густой звон, уездный, субботний, душа ныла нестерпимо. Вдруг под раковиной послышался кашель, крик-тене... «Мотья», — подумал Кузьма. И правда: вылез из-под лестницы Мотя-Утиная-Головка. Был он в рыжих солдатских сапогах, в очень длинном гимназическом мундире, обсыпанном мукой, — видно, базар позабавился, — и в соломенной шляпе, много раз попадавшей под колеса. Не раскрывая глаз, отплевываясь и шатаясь с похмелья, он прошел мимо... Кузьма, сдерживая слезы, сам окликнул его:

— Моть! Иди потолкуем, покурим...

И Мотя вернулся, сел на скамью, стал сонно, шевеля бровями, закручивать цыгарку, но, кажется, плохо соображал, кто это рядом с ним, кто это жалуется ему на свою судьбу...

А на другой день тот же Мотя принес Кузьме записку Тихона.

В конце сентября Кузьма переехал в Дурновку.

### III

В ту давнюю пору, когда Илья Миронов года два жил в Дурновке, был Кузьма совсем ребенок, и остались у него в памяти только темнозеленые пахучие конопляники, в которых тонула Дурновка, да еще одна темная летняя ночь: ни единого огня не было в деревне, а мимо избы Ильи шли, белея в темноте рубахами, «девять девок, девять баб, десятая удова», все

босые, простоволосые, с метлами, дубинами, вилами, и стоял оглушительный звон и стук в заслонки, в сковороды, покрываемый дикой хоровой песнью: вдова тащила соху, рядом с ней шла дедка с большой иконой, а прочие звонили, стучали и, когда вдова низким голосом выводила:

Ты, коровья смерть,  
Не ходи в наше село! —

хор, на погребальный лад, протяжно вторил:

Мы опахиваем —

и, тоскуя, резкими горловыми голосами подхватывал:

Со ладаном, со крестом...

Теперь вид дурновских полей был будничным. Ехал Кузьма с Воргла веселый и слегка хмельной, — Тихон Ильич угощал за обедом наливкой, был очень добр в этот день, — и с удовольствием смотрел на равнины сухих бурых пашен, расстилавшихся вокруг него. Почти летнее солнце, прозрачный воздух, бледно-голубое ясное небо, — все радовало и обещало долгий покой. Седой, корявый полныи, вывороченной с корнем сохами, было так много, что ее возили возами. Под самой усадьбой стояла на пашне лошаденка, с репьями в холке, и телега, высоко нагруженная полынью, а подле лежал Яков, босой, в коротких запыленных портках и длинной посконной рубахе, и, придавив боком большого седого кобеля, держал его за уши. Кобель рычал и косился.

— Ай кусается? — крикнул Кузьма.

— Лют — мочи нет! — торопливо отозвался Яков, поднимая свою косую бороду. — На морды лошадям сигаает...

И Кузьма засмеялся от удовольствия. Уж мужик так мужик, степь так степь!

А дорога шла под изволок, и горизонт суживался. Впереди зеленела новая железная крыша риги, казавшаяся потонувшей в глухом низкорослом саду. За садом, на противоположном косогоре, стоял длинный ряд изб из глинобитных кирпичей, под соломой. Справа, за пашнями, тянулся большой лог, входивший в тот, что отделял усадьбу от деревни. И там, где лог сходились, торчали на мысу крылья двух раскрытых ветряков, окруженных несколькими избами однодворцев, — Мысовых, как назвал их Оська, — и белела на выгоне вымазанная мелом школа.

— Что ж, учатся ребятишки-то? — спросил Кузьма.

— Обязательно, — сказал Оська. — Ученик у них — бядовый!

— Какой ученик? Учитель, что ли?

— Ну, учитель, одна честь. Вышколил, говорю, ихнего брата — куда годишься. Солдат. Бьет не судом, да зато у него уж и прилажено все! Заехали мы как-то с Тихоном Ильичом — как вскочут все разом да как гаркнут: «Здравия желаем!» — где тебе и солдатам так-то!

И опять засмеялся Кузьма.

А когда проехали гумно, прокатили по убитой дороге мимо небольшого сада и повернули влево, на длинный двор, подсохший, золотившийся под солнцем, даже сердце заколотилось: вот он и дома наконец. И, взойдя на крыльцо, переступив порог, Кузьма низко поклонился темной иконе в углу прихожей...

Против дома, задом к Дурновке, к широкому логу, стояли амбары. С крыльца дома, чуть влево, видна была Дурновка, вправо — часть мыса: ветряк и школа. Комнаты были малы и пусты. В кабинете была ссыпана рожь, в зале и гостиной стояло только несколько стульев с продранными сиденьями. Гостиная выходила окнами в сад, и всю осень Кузьма ночевал в ней на продавленном диване, не закрывая окон. Пол никогда не мели: за кухарку первое время жила вдова Однодворка, бывшая любовница молодого Дурново, которой надо было и к ребяташкам своим бегать, и себе кое-что стряпать, и Кузьме с работником. Кузьма сам ставил по утрам самовар, потом сидел под окном в зале, пил чай с яблоками. В утреннем блеске, за логом, густо дымились крыши деревни. Сад свежо благоухал. А в полдень солнце стояло над деревней, на дворе было жарко, в саду рдели клены и липы, тихо роняя разноцветные листья. Голуби, пригретые солнцем, весь день спали на скате кухонной крыши, желтевшей новой соломой в ясном синем небе. Отдыхал после обеда работник. Однодворка уходила домой. А Кузьма бродил. Он шел на гумно, радуясь солнцу, твердой дороге, высохшим бурьянам, побуревшему подсекольнику, милому позднему цвету голубого цикория и тихо летевшему по воздуху пуху татарок. Пашни в поле блестели под солнцем шелковистыми сетями паутины, затянувшей их на необозримое пространство. По огороду на сухих репейниках сидели щеглы. На гумне, в глубокой тишине, на припеке, горячо сипели кузнечики... С гумна Кузьма перелезал через вал, возвращался в усадьбу садом, по ельнику. В саду болтал с мещанами, съемщиками сада, с Молодой и Козой, сбиравшими падальцы, залезал с ними в крапивную глушь, где лежали самые спелые. Порой он брел на деревню, в школу...

Солдат-учитель, глупый от природы, на службе сбился с толку совершенно. По виду это был самый обыкновенный мужик. Но говорил он всегда так необыкновенно и нес такую

чепуху, что приходилось только руками разводиться. Он все чему-то с величайшей хитростью улыбался, глядел на собеседника снисходительно, щурясь, на вопросы никогда не отвечал сразу.

— Как величать-то тебя? — спросил его Кузьма, в первый раз зайдя в школу.

Солдат прищурился, подумал.

— Без имени и овца баран, — сказал он наконец не спеша. — Но спрошу и я вас: Адам — это имя ай нет?

— Имя.

— Так. А сколько же, к примеру, народу померло с тех пор?

— Не знаю, — сказал Кузьма. — Да ты это к чему?

— А к тому самому, что нам этого отроду не понять! Я, к примеру, солдат и коновал. Иду недавно по ярмарке — глядь, лошадь в сапе. Сейчас к становому: так и так, ваше высокоблагородие. «А можешь ты эту лошадь пером зарезать?» — «С великим удовольствием!»

— Каким пером? — спросил Кузьма.

— А гусиным. Взял, очинил, в жилу становую чкнул, дунул маленько, в перо-то, — и готово. Дело-то, кажись, просто, ан поди-ка, ухитрись!

И солдат лукаво подмигнул и постучал себя пальцем в лоб:

— Тут еще есть смекалка-то!

Кузьма пожал плечами и смолк. И, уж проходя мимо Однодворки, от ее Сеньки узнал, как зовут солдата. Оказалось — Пармен.

— А что вам задано на завтра? — прибавил Кузьма, с любопытством глядя на огненные вихры Сеньки, на его живые зеленые глаза, конопатое лицо, щуплое тельце и потрескавшиеся от грязи и цыпок руки и ноги.

— Задачи, стихи, — сказал Сенька, подхватив правой рукой поднятую назад ногу и прыгая на одном месте.

— Какие задачи?

— Гусей сосчитать. Летело стадо гусей...

— А, знаю, — сказал Кузьма. — А еще что?

— Еще мышей...

— Тоже сосчитать?

— Да. Шли шесть мышей, несли по шесть грошей, — быстро забормотал Сенька, косясь на серебряную часовую цепочку Кузьмы. — Одна мышь поплоче несла два гроша... Сколько выйдет всего...

— Великолепно. А стихи какие?

Сенька выпустил ногу.

— Стихи — «Кто он?»

— Выучил?

— Выучил...

— А ну-ка.

И Сенька еще быстрее забормотал — про всадника, ехавшего над Невой по лесам, где были только

Ель, сосна да мох сядой...

— Седой, — сказал Кузьма, — а не сядой.

— Ну, сидой, — согласился Сенька.

— А всадник-то этот кто же?

Сенька подумал.

— Да колдун, — сказал он.

— Так. Ну, скажи матери, чтоб она хоть виски-то тебе подстригла. Тебе же хуже, когда учитель дерет.

— А он уши найдет, — беспечно сказал Сенька, снова берясь за ногу, и запрыгал по выгону.

Мыс и Дурновка, как это всегда бывает со смежными деревнями, жили в постоянной вражде и взаимном презрении. Мысовые считали разбойниками и побирушками дурновцев, дурновцы — мысовых. Дурновка была «барская», а на Мысу обитали «галманы», однодворцы. Вне вражды, вне распрей находилась только Однодворка. Небольшая, худая, аккуратная, она была жива, ровна и приятна в обращении, наблюдательна. Она знала, как свою, каждую семью и на Мысу и в Дурновке, первая изведала усадьбу о каждом, даже малейшем деревенском событии. Да и ее жизнь знали все отлично. Она никогда и ни от кого ничего не скрывала, спокойно и просто рассказывала о муже, о Дурново.

— Что ж делать-то, — говорила она, легонько вздыхая. — Бедность была лютая, хлебушка и в новину не хватало. Мужик меня, правду надо сказать, любил, да ведь покоришься. Целых три воза ржи дал за меня барин. «Как же быть-то?» — говорю мужику. — «Видно, иди», — говорит. Поехал за рожью, таскает мерку за меркой, а у самого слезы кап-кап, кап-кап...

Днем работала она, не покладая рук, по ночам штопала, шила, воровала щиты на чугушке. Раз, поздно вечером, выехал Кузьма к Тихону Ильичу, поднялся на изволок и обмер от страха: над потонувшими во мраке пашнями, на чуть тлеющей полосе заката росло и плавно несло на Кузьму что-то черное, громадное...

— Кто это? — слабо крикнул он, натягивая вожжи.

— Ой! — слабо, в ужасе крикнуло и то, что так быстро и плавно росло в небе, и с треском рассыпалось.

Кузьма очнулся — и сразу узнал в темноте Однодворку. Это она бежала на него на своих легких босых ногах, согнувшись, взгромоздив на себя два саженных щита — из тех, что ставят зимой вдоль чугушки от заносов. И, оправившись, с тихим смехом зашептала:



— Напугали вы меня до смерти. Бежишь так-то ночью — дрожишь вся, а что ж делать-то? Вся деревня топится ими, только тем и спасаемся...

Зато совершенно неинтересный человек был работник Кошель. Говорить с ним было не о чем, да он и не словоохотлив был. Как большинство дурновцев, он все только повторял старые немудреные изречения, подтверждал то, что давным-давно известно. Погода портилась — и он посматривал на небо:

— Портится погодка. Дождик теперь для зелёной первое дело.

Двоили пар — и он замечал:

— Не передвоишь — без хлеба посидишь. Так-то старички-то говаривали.

Он служил в свое время, был на Кавказе, но солдатчина не оставила на нем никаких следов. Он ничего не мог рассказать о Кавказе, кроме того только, что там гора на горе, что из земли бьют там страшно горячие и странные воды: «положишь баранину — в одну минуту сварится, а не вынешь вовремя — опять сырая станет...» И несколько не гордился тем, что повидал свет; он даже с презрением относился к людям бывалым: ведь «шатаются» люди только поневоле или по бедности. Ни одному слуху не верил — «все брешут!» — но верил, божился, что недавно под сельцом Басовым катилось в сумерки тележное колесо — ведьма, а один мужик, не будь дурак, взял да и поймал это колесо, всунул во втулок подпояску и завязал ее.

— Ну, и что же? — спрашивал Кузьма.

— Да что? — отвечал Кошель. — Проснулась эта ведьма на-рани, глядь — а у ней подпояска из рота и из заду торчит, на животе завязана...

— А чего ж она не развязала-то ее?

— Видно, узел закрещен был.

— И тебе не стыдно такой чепухе верить?

— А мне что ж стыдиться? Люди ложь, и я тож.

И любил Кузьма только напевы его слушать. Сидишь в темноте у открытого окна, нигде ни огонька, деревня чуть чернеет за логом, тихо так, что слышно падение яблок с лесовки за углом дома, а он медленно похаживает по двору с колотушкой и заунывно-мирно напевает себе фальцетом: «Смолкни, пташка-канарейка»... До утра он караулил усадьбу, днем спал, — дела почти не было: с дурновскими делами Тихон Ильич поспешил в этот год управиться рано, из скотины оставил всего лошадь да корову.

Ясные дни сменились холодными, синевато-серенькими, беззвучными. Стали щеглы и синицы посвистывать в голом саду, цыкать в елках клесты, появились свиристели, снегири и еще

какие-то неторопливые крохотные птички, стайками перелетавшие с места на место по гумну, па́дрины которого уже проросли яркозелеными всходами; иногда такая молчаливая легонькая птичка одиноко сидела где-нибудь на былинке в поле... На огородах за Дурновкой докапывали последние картошки. Стало рано темнеть, и в усадьбе говорили: «Как поздно машина-то теперь проходит!» — хотя расписание поездов ничуть не изменилось... Кузьма, сидя под окном, целый день читал газеты; он записал свою весеннюю поездку в Казаково и разговоры с Акимом, делал заметки в старой счетоводной книге,— то, что видел и слышал в деревне... Больше всех занимал его Серый.

Серый был самый нищий и бездельный мужик во всей деревне. Землю он сдавал, на местах не жил. Дома сидел в голоде и холоде, но думал только о том, как бы разжиться покурить. На всех сходках бывал он, не пропускал ни одной свадьбы, ни одних крестин, ни одних похорон. Могарычи никогда не обходились без него: он встречал не только во все мирские, но и во все соседские — после купли, продажи, мены. Наружность Серого оправдывала его кличку: сер, худ, росту среднего, плечи обвислые, полушубочек короткий, рваный, замызганный, валенки разбиты и подшиты бечевой, о шапке и говорить нечего. Сидя в избе, никогда не снимая этой шапки, не выпуская изо рта трубки, вид он имел такой, будто все ждал чего-то. Но ему, по его мнению, чертовски не везло. Не подпадало дела настоящего, да и только! Ну, а в бирюльки играть был он не охотник. Всякий, конечно, норовил охаять...

— Да ведь язык-то без костей,— говорил Серый.— Ты сперва дело в руки дай, а потом уж и брещи.

Земли у него было порядочно — три десятины. Но податей зашло — на десятерых. И отвалились от земли руки у Серого: «Поневоле сдашь ее, землю-то: ее, матушку, в порядке надо держать, а уж какой тут порядок!» Сам он сеял не больше полнивы, но и ту продавал на корню,— «милое за немилое сбывал». И опять с резонном: дождись-ка ее, попробуй! — «Все, к примеру, дожждаться-то лучше...» — бормотал Яков, глядя в сторону и зло усмехаясь. Но усмехался и Серый — печально и прерывительно.

— Лучше! — хмыкал он.— Тебе хорошо брехать: девку отдал, малого женил. А у меня — глянь, угол-то сидит... ребятишек-то. Не чужие ведь. Я вон козу для них держу, поросенка выкармливаю... Тоже, небось, пить-есть просят.

— Ну, коза, к примеру, в этом деле не повинна,— возражал, раздражаясь, Яков.— Это у нас, к примеру, все водочки да трубочки на уме... трубочки да водочки...

И, чтоб не поругаться с соседом без толку, спешил отойти от Серого. А Серый спокойно и дельно замечал ему вслед:

— Пьяница, брат, проспится, дурак никогда.

Разделившись с братом, долго скитался Серый по квартирам, нанимался и в городе и по имениям. Ходил и на клеверá. И вот на клеверах-то и повезло ему однажды. Нанялась артель, к какой пристрял Серый, отделать большую партию по восьми гривен с пуда, а клевер возьми и дай больше двух пудов. Вытрясли его — Серый подрядился машонку бить. Нагнал в азадки зерна и купил их. И забогател: в ту же осень поставил кирпичную избу. Но не рассчитал: оказалось, что избу нужно топить. А чем, спрашивается? Да нечем было и кормиться. И пришлось сжечь верх избы, и простояла она без крыши год, почернела вся. А труба пошла на хомут. Правда, лошади еще не было; да ведь надо же когда-нибудь начинать обзаведение... И Серый махнул рукой: решил продать избу, поставить или купить подешевле, глинобитную. Рассуждал он так: будет в избе — ну, на худой конец, десять тысяч кирпичей, за тысячу дают пять, а то и шесть рублей; выходит, значит, больше полсотни... Но кирпичей оказалось три с половиной тысячи, за матицу пришлось взять не пять целковых, а два с половиной... Озабоченно приглядывая себе новую избу, целый год приторговывался он только к тем, что были совсем не по деньгам ему. И примирился с теперешней только в твердой надежде на будущую — крепкую, просторную, теплую.

— В этой я, прямо говорю, не жилец! — отрезал он однажды.

Яков внимательно посмотрел на него, тряхнул шапкой.

— Так. Знать, ждешь, корабли приплывут?

— И приплывут,— ответил Серый загадочно.

— Ой, брось дурь,— сказал Яков,— наймись куда ни на есть, да зубами, к примеру, держись за место...

Но мысль о хорошем дворе, о порядке, о какой-то ладной настоящей работе отравляла всю жизнь Серому. Скучал он на местах.

— Она, видно, работа-то, не мед,— говорили соседи.

— Небось, была бы мед, кабы хозяин попался путный!

И Серый, вдруг оживившись, вынимал изо рта холодную трубку и начинал любимую историю: как он, будучи холостым, целых два года честно-благородно отжил у попа под Ельцом.

— Да я и сейчас поди туда — с руками оторвут! — восклицал он.— Только слово сказать: пришел, мол, папаша, поработать на вас.

— Ну, к примеру, и шел бы...

— Шел бы! Когда у меня детей цельный угол сидит! Вестимо: чужую беду — руками разведу. А тут человек без толку пропадает...

Без толку пропадал Серый и нынешний год. Всю зиму с

озабоченным видом просидел дома, без огня, в холоде, в голоде. Великим постом пристроился каким-то манером к Русановым под Тулой: в своих-то местах его уж не брали. Но не прошло и месяца, как осточертела ему русановская экономия хуже горькой редьки.

— Ой, малый! — сказал раз приказчик. — Наскрозь тебя вижу: придираешься ты лыжи наладить. Забираете, сукины дети, денежки вперед, да и норовите в кусты.

— Это, может, бродяга какой так-то норовит, а не мы, — отрезал Серый.

Но приказчик намека не понял. И пришлось действовать решительнее. Заставили раз Серого навозить к вечеру хоботья для скотины. Он поехал на гумно и стал навивать воз соломы. Подошел приказчик:

— Разве я тебе не русским языком сказал — хоботье накладывать?

— Не время его накладывать, — твердо ответил Серый.

— Это почему?

— Путные хозяева хоботье в обед дают, а не на ночь.

— Да ты-то что за учитель такой?

— Не люблю морить скотину. Вот и учитель весь.

— А везешь солому?

— На все время надо знать!

— Сию же минуту брось накладываты!

Серый побледнел.

— Нет, дела я не брошу. Дела мне нельзя бросать.

— Дай сюда вилы, собака, и отойди от греха.

— Я не собака, а хрещеный человек. Вот отвезу — и отойду. И совсем уйду.

— Ну, брат, навряд! Уйдешь, да вскорости и назад, в волость припрешь.

Серый соскочил с воза, бросил вилы в солому:

— Это я-то припру?

— Ты-то!

— Ой, малый, не припри ты! Авось, и за тобой знаем. Тоже, брат, не похвалит хозяин...

Толстые щеки приказчика налились сизой кровью, белки выпучились.

— А-а! Вот как! Не похвалит? Говори же, когда такое дело, — за что?

— Мне нечего говорить, — пробормотал Серый, чувствуя, что у него сразу отяжелели ноги от страха.

— Нет, брат, брешешь — скажешь!

— А куда мука девалась? — внезапно крикнул Серый.

— Мука?.. Какая такая мука? Какая?

— Сляпая. С мельницы...

Приказчик мертвой хваткой сгреб Серого за ворот, за душу — и на мгновение оба замерли.

— Ты что же это, — за пельки хватать? — спросил Серый спокойно. — Задушить хочешь?

И вдруг яростно завизжал:

— Ну, бей, бей, пока сердце кипит!

И, рванувшись, вырвался и схватил вилы.

— Ребята! — заорал приказчик, хотя кругом никого не было. — За старостой! Прислушайте: он меня заколоть хотел, сукин сын!

— Не суйся, нос сшибешь, — сказал Серый, держа вилы наперевес. — Авось, нежнее вам времечко!

Но тут приказчик размахнулся — и Серый торчмя головой полетел в солому...

Все лето Серый сидел опять дома, поджидая милостей от Думы. Всю осень шатался от двора к двору, надеясь пристроиться к кому-нибудь, едущему на клевера... Загорелся однажды новый омет на краю деревни. Серый первый явился на пожар и орал до сипоты, опалил ресницы, промок до нитки, распоряжаясь водовозами, теми, что кидались с вилами в огромное розово-золотое пламя, растаскивали во все стороны огненные шапки, и теми, что просто метались среди жара, треска, льющейся воды, гама, наваленных возле изб икон, кадушек, прялок, попон, рыдающих баб и сыплющихся с обгорелых лозин черных листьев... Как-то в октябре, когда после проливных дождей и ледяной бури застыл пруд и соседский боров соскользнул с мерзлого бугра, проломил лед и стал тонуть, Серый первый, со всего разбега, шархнул в воду — спасать... Боров все равно утонул, но это дало Серому право прибежать с пруда в людскую, потребовать водки, табаку, закуски. Сперва он был весь лиловый, зуб на зуб не попадал, еле шевелил белыми губами, переодеваясь во все чужое, в Кошелево. Потом ожил, захмелел, стал хватать — и опять рассказал о том, как он честно-благородно служил у попа и как ловко выдал прошлый год свою дочь замуж. Он сидел за столом, с жадностью жевал, заглатывал брусочки сырой ветчины и самодовольно повествовал:

— Хорошо. Снюхалась она, Матрешка-то, с Егоркой с этим... Ну, снюхалась и снюхалась. Нехай. Сижу как-то под окошечком, вижу — раз Егорка прошел мимо избе, два... а моя — все нырь да нырь к окошечку... Значит, обдумали дело, думаю себе. И говорю бабе: ты тут кормочку скотине дай, а я пойду, — на сходку повешали. Сел за избой в солому, сiju, жду. А уж снежок первый напал. Вижу — опять снизу крадетсЯ Егорка... А она и вот она. Зашли за погреб, потом — шмыг в избу в новую, в пустую, рядом. Подождал я сколько-нибудь...

— История! — сказал Кузьма и болезненно усмехнулся.

Но Серый принял это за похвалу, за восхищение его умом и хитростью. И продолжал, то возвышая голос, то едко понижая его:

— Стой, слухай, что дальше-то будет. Подождал, говорю, сколько-нибудь — да за ними... Вскочил на порог — прямо на ней и прихватил! Перепугались они — до страсти. Он, как куль, наземь с нее свалился, а она обмерла, лежит, как утка... «Ну, говорит, бей меня теперь». Это он-то. «Бить, говорю, ты мне не нужно-он...» Поддевочку его взял, пинжачок — тоже, оставил в одних подштанниках, — почесть в чем мать родила... «Ну, говорю, ступай теперь, куда хочешь...» А сам домой. Смотрю — и он сзади идет: снег белый — и он белый, идет, сопит... Деться-то некуда, — куда кинешься? А моя Матрена Миколавна, как я только из избе, — в поле! Закатилась — насилу соседка под самым Басовым за рукав поймала, ко мне привела. Дал я ей отдохнуть и говорю: «Мы люди бедные, ай нет?» Молчит. «Мать-то у тебя убогая, ай умная?» Опять молчит. «Как ты нас оконфузила? А? Ты что ж, полон угол мне их нашвыряешь, выбледков-то своих, а я глазами моргай?» Ну, и зачал ее лудить, — был у меня тут кнутик похоженький... Просто сказать, всю поясику ей изрубил! А он сидит на лавке, голосит. Взялся потом за него, за голубчика...

— И женил? — спросил Кузьма.

— Она! — воскликнул Серый и, чувствуя, что хмель одолевает его, стал сгребать с тарелки куски ветчины и пихать в карманы порток. — Еще как свадьбу-то сыграли! На расходы я, брат, жмуриться не стану...

«Ну, и рассказ!» — долго думал Кузьма после этого вечера. А погода портилась. Писать не хотелось, тоска усиливалась. Только и радости, что явится кто-нибудь с просьбой. Приезжал несколько раз Гололобый из Басова, — совершенно лысый мужик в огромной шапке, — писать прошение на свата, переломившего ему ключицу. Приходила вдова Бутылочка с Мыса — писать письма к сыну, вся в лохмотьях, вся мокрая и ледяная от дождя. Начнет диктовать, — в слезы.

— Город Серьпухов, при дворянской бане, дом Желтухин...

И заплачет.

— Ну? — спрашивает Кузьма, скорбно кося брови, по-стариковски глядя на Бутылочку — поверх пенсне. — Ну, написал. Дальше что?

— Дальше-то? — спрашивает Бутылочка шопотом и, стараясь овладеть голосом, продолжает:

— Дальше-то пиши, касатик, поскладнее... Передать, значит, Михал Назарычу Хлусову... в собственные руки...

И продолжает — то с остановками, то совсем без остановок:

— Письмо милому и дорогому сыночку нашему Мише, что же ты, Миша, про нас забыл, никакого слуху нету от вас... Ты сам знаешь, мы на хватере, а теперича нас сгоняют долой, куда ж мы теперича денемся... Дорогой наш сыночек Миша, просим мы вас за ради господа бога, чтоб вы приезжали домой как ни можно скорей...

И опять сквозь слезы шопотом:

— Мы тут с вами хоть землянку выкопаем, и то будем у своем угле...

Бури и ледяные ливни, дни, похожие на сумерки, грязь в усадьбе, усеянная мелкой желтой листвой акаций, необозримые пашни и озими вокруг Дурновки и без конца идущие над ними тучи опять томили ненавистью к этой проклятой стране, где восемь месяцев метели, а четыре — дожди, где за нуждой приходится идти на варок или в вишенник. Когда завернуло ненастье, пришлось гостиную забить наглухо и перебраться в зал, чтоб уже всю зиму и ночевать в нем, и обедать, и курить, и проводить долгие вечера за тусклой кухонной лампочкой, шагая из угла в угол в картузе и чуйке, едва спасавших от холода и ветра, дувшего в щели. Иногда оказывалось, что забыли запастись керосином, и Кузьма проводил сумерки без огня, а вечером зажигал какой-нибудь огарок только для того, чтобы поужинать картофельной похлебкой и теплой пшенной кашей, что молча, со строгим лицом подавала Молодая.

«Куда бы поехать?» — думал он порою.

Соседей поблизости было всего только трое: старуха княжна Шахова, которая не принимала даже предводителя дворянства, считая его невоспитанным; отставной жандарм Закржевский, геморроидально-злой человек, который и на порог не пустил бы к себе; и, наконец, мелкопоместный дворянин Басов, живший в избе, женившийся на простой бабе, говоривший только о хомутах и скотине. О. Петр, священник из Колодезей, куда Дурновка была приходом, посетил раз Кузьму, но вести знакомство не возымел охоты ни тот, ни другой. Кузьма угостил священника только чаем — священник резко и неловко захохотал, увидав на столе самовар. «Самоварчик? Отлично! Вы, я вижу, не тароваты на угощенье!» И хохот совсем не шел к нему: точно другой кто-то хохотал за этого высокого, худого человека с большими лопатками и черными крупными волосами, с бегающим взглядом.

Не часто бывал Кузьма и у брата. А тот приезжал только тогда, когда был чем-нибудь расстроен. И одиночество было так безнадежно, что порою Кузьма называл себя Дрейфусом на Чортовом острове. Сравнивал он себя и с Серым. Ах, ведь

и он, подобно Серому, нищ, слабovolен, всю жизнь ждал каких-то счастливых дней для работы!

По первому снегу Серый куда-то ушел и пропадал с неделю. Явился домой сумрачный.

— Ай опять к Русанову ходил? — спросили соседи.

— Ходил, — ответил Серый.

— Зачем?

— Уговаривали наняться.

— Так. Не согласился?

— Дурей их не был да до́ веку и не буду!

И Серый, не снимая шапки, опять надолго засел на лавку. И в сумерки тоскливо становилось на душе при взгляде на его избу. В сумерки за широким снежным логом скучно чернела Дурновка, ее риги и лозинки на задворках. Но темноло и — загорались огоньки, казалось, что в избах мирно, уютно. И неприятно чернела только темная изба Серого. Она была глуха, мертва. Кузьма уже знал: если войдешь в ее темные полураскрытые сени, почувствуешь себя на пороге почти звериного жилья — пахнет снегом, в дыры крыши видно сумрачное небо, ветер шуршит навозом и хворостом, кое-как накиданным на стропила; найдешь ощупью покосившуюся стену и отворишь дверь, встретишь холод, тьму, чуть мерцающее во тьме мерзлое окошечко... Никого не видно, но угадываешь: хозяин на лавке, — уголок краснеет его трубка; хозяйка, — смиренная, молчаливая, с придурью баба, — тихонько покачивает повизгивающую люльку, где болтается бледный, сонный от голода рахитик. Детишки забились на чуть теплую печку и что-то шопотом рассказывают друг другу. В гнилой соломе под нарами шуршат, возятся коза и поросенок, — большие друзья. Страшно разогнуться, чтобы не удариться головой в потолок. Повертываешься тоже с опаской: от порога до противоположной стены всего пять шагов.

— Кто-й-то? — раздается из темноты негромкий голос.

— Я.

— Никак Кузьма Ильич?

— Он самый.

Серый подвигается, опрастывает место на лавке. Кузьма садится, закуривает. Понемногу начинается разговор. Угнетенный темнотой, Серый прост, грустен, сознается в своих слабостях. Голос его порою дрожит...

Зима наступила долгая, снежная.

Бледно-белешные под синевато-сумрачным небом поля стали шире, просторней и еще пустынее. Избы, пуньки, лозины, риги резко выделялись на первых порошах. Потом завернули вьюги и намели, навалили столько снега, что деревня приняла дикий северный вид, стала чернеть только дверями да окошеч-



ками, еле выглядывающими из-под нахлобученных белых шапок, из белой толщи завалинок. За вьюгами подули по затвердевшему серому насту полей жесткие ветры, оборвали последние коричневые листья с бесприютных дубовых кустарников в логах, пошел тонуть в непролазных наносах, испещренных заячьими следами, однодворец Тарас Миляев, спокон веку приверженный охоте, превратились в мерзлые глыбы водовозки, выросли ледяные скользкие бугры вокруг прорубей, накатались дороги по сугробам — и зимние будни установились. Начались по деревне повальные болезни: оспа, горячка, скарлатина... Вокруг прорубей, из которых пила вся Дурновка, над вонючей темно-бутылочной водой, по целым дням стояли, согнувшись и подоткнув юбки выше сизых голых колен, в мокрых лаптях, с большими, закутанными головами, бабы. Они вытаскивали из чугунов с золою свои серые замашные рубахи, мужицкие тяжевые портки, детские загаженные свивальники, полоскали их, били вальками и перекликались, сообщая друг другу, что руки «зашлись с пару», что во дворе у Матютиных помирает в горячке бабка, что у снохи Якова завалило горло... Смеркалось часа в три, лохматые собаки сидели на крышах, почти сровнявшихся с сугробами. Ни единая душа не знала, чем питаются эти собаки. Однако они были живы и даже свирепы.

Просыпались в усадьбе рано. На рассвете, в синеватой темноте, когда зажигались по избам огоньки, затапливались печи и сквозь застрехи медленно шел густой молочный дым, а во флигеле с замерзшими серыми окнами становилось холодно, как в сенцах, Кузьму будил стук дверей и шуршанье мерзлой, со снегом, соломы, которую таскал из розвальней Кошель. Слышался его негромкий сиплый голос, — голос человека, проснувшегося рано, натощак озябшего. Гремела трубой самовара и строгим шопотом переговаривалась с Кошелем Молодая. Она спала не в людской, где тараканы до крови обтачивали руки и ноги, а в прихожей, и вся деревня была убеждена, что это неспроста. Деревня хорошо знала, что пережила Молодая за осень. Молчаливая Молодая была строже и печальнее схимницы. Но что с того? Кузьма уже знал от Однодворки, что говорили на деревне, и, просыпаясь, всегда вспоминал об этом со стыдом и отвращением. Он стучал кулаком в стену, давая знать, что ждет самовара, и, кряхтя, закуривал цыгарку: это успокаивало сердце, облегчало грудь. Он лежал под тулупом и, не решаясь расстаться с теплом, курил и думал: «Бесстыжий народ! Ведь у меня дочь ровесница ей...» То, что за стеной ночевала молодая женщина, волновало его только отеческой нежностью: днем она была серьезна, скупа на слова, когда спала, было в ней что-то детское, грустное, одинокое. Но разве деревня могла верить этой нежности? Не верил даже Тихон

Ильич: что-то уж очень странно усмеялся он порою. Он и всегда-то был недоверчив, подозрителен, груб в своих подозрениях, а теперь и совсем потерял ум: что ему ни скажи,— у него на все один ответ.

— Слышал, Тихон Ильич? Закржевский, говорят, от катара помирает: в Орел повезли.

— Брехня. Знаем мы этот катар!

— Да мне фельдшер говорил.

— А ты слушай его побольше...

— Хочу газетку выписать,— скажешь ему.— Дай мне, пожалуйста, в счет жалованья рублей десять.

— Гм! Охота же человеку брехней голову забивать. Да, признаться, со мной и денег-то всего пятиалтынный, не то двухгривенный...

Войдет Молодая с опущенными ресницами:

— Муки, Тихон Ильич, у нас осталось чуть...

— Это как же так — чуть? Ой, брешешь, баба!

И перекосит брови. А доказывая, что муки должно было хватить, по крайней мере, еще дня на три, все быстро поглядывает то на Кузьму, то на Молодую. Раз даже спросил, усмехнувшись:

— А как спать-то вам, ничего, тепло?

И Молодая густо покраснела и, нагнув голову, вышла, а у Кузьмы от стыда и злобы похолодели пальцы.

— Стыдно, брат, Тихон Ильич,— пробормотал он, отвертываясь к окну.— И особенно после того, что ты сам же открыл мне...

— А чего ж она покраснела? — зло, смущенно и неловко улыбаясь, спросил Тихон Ильич.

По утрам неприятнее всего было умываться. В прихожей несло морозом от соломы, плавал, как битое стекло, лед в раковинке. Кузьма порой принимался за чай, вымыв только руки, и со сна казался совсем стариком. От нечистоты и холода он сильно похудел и поседел за осень. Похудели руки, кожа на них стала тоньше, глянцевитее, покрылась какими-то мелкими лиловыми пятнышками.

Утро было серое. Под затвердевшим серым снегом серой была и деревня. Серыми мерзлыми лубками висело на перекладах под крышами пунек белье. Намерзло возле изб — лили помои, выкидывали золу. Оборванные мальчишки спешили по улице между избами и пуньками в школу, избегали на сугробы, скатывались с них на лаптях; на всех были холщовые мешки с грифельными досками и с хлебом. Навстречу им, приседая под коромыслом с двумя ушатами и неловко ступая безобразными задубевшими валенками, обшитыми свиной кожей, шел в одном армячишке старый, больной, темно-

лицей Чугунок; тянулась с бугра на бугор и, раскатываясь, расплескивалась чья-нибудь заткнутая соломой водовозка; проходили бабы, занимавшие друг у друга то соли, то пшена, то совок мучицы на лепешки или саламату. На гумнах было пусто,— только у Якова дымились ворота риги: он, подражая богатым мужикам, молотил зимою. А за гумнами, за голым лозняком на задворках, расстилалось под низким белесым небом серое снежное поле, пустыня волнообразного наста.

Порой Кузьма ходил завтракать к Кошелю в людскую — горячими, как огонь, картошками или вчерашними кислыми щами. Он вспоминал город, где прожил всю жизнь, и дивился: совсем не тянуло его туда. У Тихона город был заветной мечтой, он презирал и ненавидел деревню всей душою. Кузьма только силился ненавидеть. Он теперь с еще большим страхом, чем прежде, оглядывался на свое существование: он совсем одичал в Дурновке,— часто не умывался, весь день не снимал чуйки, хлебал из одной миски с Кошелем. Но хуже всего было то, что, страшась своего существования, которое старило его не по дням, а по часам, он чувствовал, что оно все-таки приятно ему, что он, кажется, возвратился в ту именно колею, какая, может быть, и надлежала ему от рождения: недаром, видно, текла в нем кровь дурновцев!

После завтрака он гулял иногда по усадьбе или по деревне. Бывал на гумне у Якова, в избе у Серого или Кошеля, старуха которого жила одна, слыла колдуньей, была высока и страшно худа, зубаста, как смерть, говорила грубо и решительно, как мужик курила трубку: истопит печку, сядет на нары и покуривает себе, мотая тонкой длинной ногой в тяжелом черном лапте. Раза два за весь пост Кузьма выезжал — был на почте и у брата. И поездки эти были тяжелы: промерззал Кузьма до того, что не чувствовал, есть у него тело или нет. Бараний тулуп его служил так давно, что весь пошел лысынами. А ветер в поле был свирепый. После сидения в Дурновке нельзя было надыхаться крепкой свежестью зимнего воздуха. После долгого созерцания деревни поражал снежно-серый простор, по-зимнему синеющие дали казались неоглядными, красивыми, как на картине. Бодро, отфыркиваясь, неслась против жесткого ветра лошадь, смерзшиеся глудки со стуком летели из-под кованых копыт в передок саней. Кошель, с черно-лиловой обмороженной щекой, бодро кряхтя, соскакивал с облучка на раскатах и на бегу боком вскакивал на него. Но ветер продувал насквозь, ноги, поставленные в солому, перебитую со снегом, ныли и коченели, лоб и скулы ломило... А в низенькой почтовой конторе в Ульяновке было скучно так, как может быть скучно только в захолустных казенных местах. Пахло плесенью, сургучом, оборванный почтальон стучал штемпелем,

угрюмый Сахаров орал на мужиков, сердясь, что Кузьма не догадывается прислать ему пяток кур или пуд муки. Возле дома Тихона Ильича волновал запах паровозного дыма, напоминал, что есть на свете города, люди, газеты, новости. Поговорить с братом, отдохнуть у него, согреться было бы приятно. Но разговор не налаживался. Брата поминутно отрывали в лавку, по хозяйству, говорил он тоже только о хозяйстве, о брехне, о подлости и злобе мужиков,— о необходимости поскорее, поскорее развязаться с именем. Настасья Петровна была жалка. Она, видимо, стала страшно бояться мужа; невпопад встревала в беседу, невпопад хвалила его,— его ум, зоркий хозяйский глаз, то, что он по хозяйству во все, во все вникает сам.

— Уж такой доступный до всего, такой доступный! — говорила она — и Тихон Ильич грубо обрезал ее. Через час такой беседы Кузьму начинало тянуть домой, в усадьбу. «Он рехнулся, ей-ей, рехнулся!» — бормотал Кузьма на пути домой, вспоминая угрюмое и злое лицо Тихона, его замкнутость, подозрительность и утомительное повторение одного и того же. И покрикивал на Кошеля, на лошадь, торопясь скрыть в своем домишке и тоску свою и старую холодную одежду...

На святках к Кузьме повадился Иванушка из Басова. Это был старозаветный мужик, ошалевший от долголетия, некогда славившийся медвежьей силой, коренастый, согнутый в дугу, никогда не подымавший лохматой бурой головы, ходивший носками внутрь. В холеру девяносто второго года вся огромная семья Иванушки вымерла. Уцелел только сын, солдат, служивший теперь будочником на чугунке, недалеко от Дурновки. Можно было дожить век и у сына, но Иванушка предпочел бродить, побираться. Он косолапо шел по двору с палкой и шапкой в левой руке, с мешком в правой, с раскрытой головой, на которой белел снег — и овчарки почему-то не брехали на него. Он входил в дом, бормотал: «Дай бог дому сему да хозяина в дому», — и садился у стены на пол. Кузьма отрывался от книги и с удивлением, с робостью смотрел на него поверх пенсне, как на какого-то степного зверя, присутствие которого было странно в комнате. Молча, с опущенными ресницами, с легкой ласковой улыбкой, мягко ступая лаптями, появлялась Молодая, подавала Иванушке миску вареных картошек и целую краюху хлеба, серую от соли, и становилась у притолки. Она носила лапти, в плечах была плотная, широкая, и красивое поблекшее лицо ее было так крестьянски-просто и старинно, что, казалось, иначе и не могла она называть Иванушку, как дедушкой. И она, улыбаясь, — она улыбалась только ему одному, — негромко говорила:

— Закуси, закуси, дедушка.

А он, не поднимая головы, зная ее ласку только по голосу, тихо ныл в ответ, иногда бормотал: «Спаси тебе господь, внучка», широко и неловко, точно лапой, крестился и жадно принимался за еду. На его бурых волосах, нечеловечески густых и крупных, таяло. С лаптей текло по полу. От ветхого бурого чекменя, надетого на грязную посконную рубаху, пахло курной избой. Изуродованные долголетней работой руки, корявые, негнущиеся пальцы с трудом ловили картошки.

— Небось, холодно в одном чекмене-то? — громко спрашивал Кузьма.

— Ась? — слабым нытьем отзывался Иванушка, подставляя закрытое волосами ухо.

— Холодно тебе, небось?

Иванушка думал.

— Чем холодно? — отвечал он с расстановкой. — Ничаво ня холодно... В старину куда стюдяней было.

— Подними голову-то, волосы-то поправь!

Иванушка медленно качал головою.

— Таперь, брат, не подымешь... Гнеть к земле-то...

И с тусклой улыбкой силился поднять свое страшное, заросшее волосами лицо, свои крохотные, сощуренные глазки.

Наевшись, он вздыхал, крестился, собирал и дожевывал крошки с колен; потом шарил возле себя — искал мешок, палку и шапку, а найдя и успокоившись, начинал неторопливую беседу. Он мог просидеть молча весь день, но Кузьма и Молодая расспрашивали — и он, как во сне, откуда-то издалека, отвечал. Он рассказывал своим неуклюжим старинным языком, что царь, говорят, весь из золота, что рыбу царь не может есть — «дюже солона», что пророк Илья раз проломил небо и упал на землю: «дюже был грузен»; что Иван Креститель родился лохматый, как баран, и, крестя, бил крестника костылем железным в голову, чтобы тот «очухался»; что всякая лошадь раз в году, в день Флора и Лавра, норовит человека убить; рассказывал, что в старину ржи были такие, что уж не мог проползти, что косили прежде в день по две десятины на брата; что у него был мерин, которого держали «на чеппи» — так силен и страшен был он; что однажды, лет шестьдесят тому назад, у него, у Иванушки, украли такую дугу, за которую он двух целковых не взял бы... Он был твердо убежден, что семья его вымерла не от холеры, а оттого, что перешла после пожара в новую избу, ночевала в ней, не дав сперва переночевать кочету, и что он с сыном спасся только случайно: спал в риге... Под вечер Иванушка поднимался и уходил, не обращая внимания ни на какую погоду, не склоняясь ни на какие увещания остаться до утра... И простудился насмерть —

и под Крещение скончался в будке сына. Сын уговаривал его причаститься. Иванушка не согласился: сказал, что, причастившись, помрешь, а смерти он твердо решил «не поддаваться». Он по целым дням лежал без памяти; но даже и в бреду просил невестку сказать, что его дома нет, если постучится смерть. Ночью раз пришел в себя, собрал силы, слез с печи и стал на колени перед образом, озаренным лампадкой. Он тяжело вздыхал, долго бормотал, повторял: «Господи-батюшка, прости мои прегрешения...» Потом задумался, долго молчал, прикинув головою к полу. И вдруг поднялся и твердо сказал: «Не, не поддамся!» Но утром увидал, что невестка разваливает пироги, жарко топит печь...

— Ай мне на похороны? — спросил он дрогнувшим голосом.

Невестка промолчала. Он опять собрал силы, опять слез с печи, вышел в сенцы: да, верно, — у стены стоймя стоял громадный лиловый гроб с белыми восьмиконечными крестами! Тогда он вспомнил, что было лет тридцать тому назад с соседом, стариком Лукьяном: Лукьян захворал, ему купили гроб — тоже хороший, дорогой гроб, — привезли из города муки, водки, соленого судака; а Лукьян возьми да и поправься. Куда было девать гроб? Чем оправдать траты? Лукьяна лет пять проклинали потом за них, сживали попреками со свету... Иванушка, вспомнив это, поник головой и покорно побрел в избу. А ночью, лежа на спине, без памяти, стал дрожащим, жалобным голосом петь, да все тише, тише — и вдруг затряс коленями, заикал, высоко поднял грудь вздохом и, с пеной на раскрытых губах, застыл...

Чуть не месяц Кузьма пролежал из-за Иванушки в постели. Утром на Крещение говорили, что птица мерзнет на лету, а у Кузьмы даже валенок не было. И все-таки он поехал взглянуть на мертвого. Руки его, сложенные и закоченевшие под огромной грудью на чистой посконной рубахе, уродованные мозолистыми наростами в течение целых восьмидесяти лет первобытно-тяжкой работы, были так грубы и страшны, что Кузьма поспешил отвернуться. А на волосы, на мертвое звериное лицо Иванушки он даже и покоситься не мог, — поскорее кинул белый коленкор. Чтобы согреться, он выпил водки и посидел перед жарко пылающей печкой. В будке было тепло и празднично-чисто, над возглавием широкого лилового гроба, закрытого коленкором, мерцал золотистый огонек восковой свечки, прилепленной к угловому темному образу, пестрела яркими красками лубочная картина — продажа братьями Иосифа. Приветливая солдатка легко поднимала на рогаचे и вдвигала в печь пудовые чугуны, весело говорила о казенных дровах и все упрашивала остаться до возвращения из села мужа. Но Кузьму била лихорадка; лицо горело, от водки,

отравой разлившейся по озябшему телу, стали наворачиваться на глаза беспричинные слезы... И, не согревшись, Кузьма поехал по белым крепким волнам полей к Тихону Ильичу. Заиндевший, бело-кудрявый мерин бежал шибко, екая селезенкой, кидая из ноздрей столбы серого пара; козырьки голосили, звонко визжали железными подрезами по жесткому снегу; сзади, в морозных кругах, желтело низкое солнце; спереди, с севера, несло жгучим, захватывающим дух ветром; вешки клонились в густом кудрявом инее, и крупные серые овсянки стаей летели перед меринком, рассыпались по лоснящейся дороге, клевали мерзлый навоз, опять взлетали и опять рассыпались. Кузьма глядел на них сквозь тяжелые, белые ресницы, чувствовал, что задеревеневшее лицо его с белыми кудрями усов и бороды стало похоже на святочную маску... Солнце садилось, снежные волны мертвенно зеленели в оранжевом блеске, от их хребтов и зазубрин тянулись голубые тени... Кузьма круто повернул лошадь и погнал ее назад, домой. Солнце село, в доме с запущенными серыми стеклами брезжил тусклый свет, стояли сизые сумерки, было нелюдимо и холодно. Снегирь, висевший в клетке возле окна в сад, окошел, лежал вверх лапками, распушив перья, раздув красный зобик.

— Готов! — сказал Кузьма и понес снегиря выкидывать.

Дурновка, занесенная мерзлыми снегами, такая далекая всему миру в этот печальный вечер среди степной зимы, вдруг ужаснула его. Кончено! Горящая голова мутна и тяжела, он сейчас ляжет и больше не встанет... Скрипя по снегу лаптями, к крыльцу подходила с ведром в руке Молодая.

— Заболел я, Дунюшка! — ласково сказал Кузьма, в надежде услышать от нее ласковое слово.

Но Молодая равнодушно, сухо ответила:

— Самовар, что ль, поставить?

И даже не спросила, чем заболел. Не спросила ничего и об Иванушке... Кузьма вернулся в темную комнату и, весь дрожа, со страхом соображая, как же это и куда он будет ходить теперь за нуждой, лег на диван... И вечера смешались с ночами, ночи с днями, счет их потерялся...

В первую ночь, часа в три, он очнулся и постучал в стену кулаком, чтобы попросить воды: мучила во сне жажда и мысль, выкинули ли снегиря. Но на стук никто не отозвался. Молодая ушла ночевать в людскую. И Кузьма вспомнил, почувствовал, что он смертельно болен, и его охватила такая тоска, точно он очнулся в склепе. Значит, в прихожей, пахнувшей снегом, соломой и хомутами, было пусто! Значит, он, больной и беспомощный, совсем один в этом темном ледяном домишке, где тускло сереют окна среди мертвой тишины бесконечной зимней ночи и висит ненужная клетка!

— Господи, спаси и помилуй, господи, помоги хоть сколько-нибудь,— зашептал он, поднимаясь и шаря дрожащими руками по карманам.

Он хотел зажечь спичку. Но шопот его был горячечный, в пылающей голове шумело и звенело, руки, ноги леденели... Приехала Клаша, его родная, милая дочь, быстро распахнула дверь, положила его голову на подушку, села на стул возле дивана... Одета она была барышней,— бархатная шубка, шапочка и муфта из белого меха,— руки ее пахли духами, глаза блестели, щеки с мороза покраснелись... «Ах, как хорошо распуталось все!» — шептал кто-то, но нехорошо было то, что Клаша почему-то не зажгла огня, что приехала она не к нему, а на похороны Иванушки... что она внезапно басом запела под гитару: «Хаз-Булат удалой, бедна́ сакля твоя»...

В смертельной тоске, отравлявшей душу в начале болезни, Кузьма бредил снегирем, Клашей, Воронежем, но даже в бреду не покидала его мысль — сказать кому-то, чтобы хоть в одном сжалились над ним — не хоронили в Колодезях. Но, боже мой, не безумие ли надеяться на жалость в Дурновке! Раз он пришел в себя утром, когда топили печку,— и простые, спокойные голоса Кошеля и Молодой показались ему так беспощадны, чужды и странны, как всегда кажется беспощадна, чужда и странна больным обыденная жизнь здоровых. Он хотел крикнуть, попросить поставить самовар — и онемел: услышался сердитый шопот Кошеля, говорившего, конечно, о нем, о больном, и отрывистый ответ Молодой:

— А, да ну его! Помрет — похоронят...

Потом светило в окна сквозь голые ветви акаций предвечернее солнце. Синел табачный дым. Возле постели сидел старичок-фельдшер, пахнувший лекарствами и морозной свежестью, отдиравший с усов ледяные сосульки. На столе кипел самовар, и Тихон Ильич, высокий, седой, строгий, заваривал, стоя у стола, душистый чай. Фельдшер говорил о своих коровах, ценах на муку и масло, а Тихон Ильич рассказывал, как чудесно, богато хоронили Настасью Петровну, как он рад, что нашелся наконец покупатель на Дурновку. Кузьма понимал, что Тихон Ильич только что из города, что Настасья Петровна умерла там внезапно, по дороге на вокзал; понимал, что стоили Тихону Ильичу похороны страшно дорого и что он уже взял задаток за Дурновку — и был совершенно равнодушен...

Проснувшись однажды очень поздно, чувствуя лишь слабость, он сел за самовар. День был пасмурный, теплый, навалило много свежего снега. Отпечатывая в нем следы лаптей, испещренные крестиками, прошел под окном Серый. Вокруг него, обнюхивая его рваные полы, бежали овчарки. А он тянул за повод высокую грязно-соловую лошадь, безоб-



разную от старости и худобы, с истертыми хомутом плечами, с побитой спиной, с жидким нечистым хвостом. Она ковыляла на трех ногах, четвертую, переломленную ниже колена, волочила. И Кузьма вспомнил, что третьего дня был Тихон Ильич и сказал, что велел Серому полакомить овчарок, — найти и резать старую лошадь, что Серый и прежде промышлял иногда этим делом — покупкой дохлой или негодной скотины на шкуру. С Серым, говорил Тихон Ильич, был недавно страшный случай: готовясь резать какую-то кобылу, Серый забыл ее спутать, связал и затянул на сторону только морду, — и кобыла, как только он, перекрестившись, ударил ее тонким ножичком в жилу возле ключицы, взвизгнула и с визгом, с желтыми, оскаленными от боли и ярости зубами, с бьющей на снег струей черной крови, кинулась на своего убийцу и долго, как человек, гонялась за ним — и настигла бы, да «спасибо снег был глубок»... Кузьму так поразил этот случай, что теперь, заглянув в окно, он опять почувствовал тяжесть в ногах. Он стал глотать горячий чай — и понемногу оправился. Покурил, посидел... Наконец встал, вышел в прихожую и взглянул на голый, редкий сад за оттаявшим окном: в саду, на белоснежном покрове поляны, краснела бокастая кровавая туша с длинной шеей и ободранной головою; собаки, сгорбившись и упершись лапами в мясо, жадно вырывали и растягивали кишки; два старых черно-сизых ворона боком подпрыгивали к голове, взлетали, когда собаки, рыча, кидались на них, и опять опускались на девственно-чистый снег. «Иванушка, Серый, вороны... — подумал Кузьма. — Господи, спаси и помилуй, вынеси меня отсюда!»

Недомогание не покидало Кузьму еще долго. Грустно и радостно трогала мысль о весне, хотелось поскорее вон из Дурновки. Он знал, что зиме еще и конца не предвидится; но оттепели уже начинались. Первая неделя февраля была темная, туманная. Туман скрывал поля, съедал снег. Деревня чернела, между грязными сугробами стояла вода; становой проехал однажды по деревне гуськом, весь закиданный конским пометом. Пели петухи, из вентилятора тянуло волнующей весенней сыростью... Жить еще хотелось — жить, ждать весны, переезда в город, жить, покоряясь судьбе, и делать какое угодно дело, хотя бы за один кусок хлеба... И, конечно, у брата, — какой он ни есть. Брат ведь уже предлагал ему, больному, переселиться на Воргол.

— Куда ж мне гнать-то тебя, — сказал он, подумав. — Я и лавку с двором с первого марта передаю, — поедем-ка, братуша, в город, подальше от этих живорезов!

И правда: живорезы. Была Одноворка и передавала подробности недавней истории с Серым. Дениска вернулся из

Тулы и околачивался без дела, болтая по деревне, что хочет жениться, что у него есть денежки и что скоро заживет он за первый сорт. Деревня сперва называла эти рассказы брехнею, потом, по намекам Дениски, сообразила, в чем дело, и поверила. Поверил и Серый и стал заискивать в сыне. Но, ободрив лошадь, получив целковый от Тихона Ильича и нажив полтинник на шкуре, загордел и загулял: пил два дня, потерял трубку и лег отлеживаться на печке. Голова болела, покурить было не из чего. Вот он и стал обдирать на цыгарки потолок, который Дениска оклеивал газетами и разными картинами. Обдирал он, конечно, тайком, но раз таки застал его Дениска за этим делом. Застал и заорал. Серый с похмелья тоже заорал — и Дениска стащил его с печки и бил смертным боем до тех пор, покуда не сбежались соседи... Но, думал Кузьма, не живорез ли и Тихон Ильич, с упорством сумасшедшего настаивавший на свадьбе Молодой с одним из этих живорезов!

Услыхав об этой свадьбе впервые, Кузьма твердо решил, что не допустит ее. Какой ужас, какая нелепость! Потом, приходя в себя во время болезни, он даже радовался этой нелепости. Удивило и поразило его равнодушие Молодой к нему, больному. «Зверь, дикарь! — думал он и, вспоминая о свадьбе, злобно прибавлял: — И отлично! Так ей и надо!» Теперь, после болезни, исчезли и решимость и злоба. Как-то заговорил он с Молодой о намерении Тихона Ильича — и она спокойно ответила:

— Да что ж, я уж балакала с Тихоном Ильичом об этом деле. Дай бог ему доброго здоровья, это он хорошо придумал.

— Хорошо? — изумился Кузьма.

Молодая посмотрела на него и покачала головою:

— Да как же не хорошо-то? Чудны вы, ей-богу, Кузьма Ильич! Денег сулит, свадьбу берет на себя... Опять же не вдовца какого-нибудь придумал, а малого молодого, без порока... не гнилого, не пьяницу...

— А лодыря, драчуна, дурака набитого, — прибавил Кузьма.

Молодая потупила глаза, помолчала. Вздохнула и, повернувшись, пошла к двери.

— Да как знаете, — сказала она с дрожью в голосе. — Дело ваше... Отговаривайте... Бог с вами.

Кузьма широко раскрыл глаза и крикнул:

— Стой, да ты с ума сошла! Разве я тебе зла желаю?

Молодая обернулась и остановилась.

— А разве не зла? — горячо и грубо заговорила она, краснея и блестя глазами. — Куда ж, по-вашему, мне деваться? Век чужие пороги обивать? Чужую корку глодать? Бездомной

побирушкой шататься? Ай вдовца, старика искать? Мало я слезо-то поглотала?

И голос ее сорвался. Она заплакала и вышла. Вечером Кузьма убедил ее, что он и не думал расстраивать дела, и она наконец поверила, ласково и застенчиво усмехнулась.

— Ну, спасибо вам,— сказала она тем милым тоном, каким говорила с Иванушкой.

Но и тут на ресницах ее задрожали слезы — и опять развел руками Кузьма.

— А теперь-то ты о чем? — сказал он.

И Молодая тихо ответила:

— Да авось и Дениска не радость...

Кошель привез с почты газету почти за полтора месяца. Дни стояли темные, туманные, и Кузьма с утра до вечера читал, сидя у окна. И, кончив, ошеломив себя числом новых «террористических актов» и казней, оцепенел. Косо неслась белая крупа, падая на черную нищую деревушку, на ухабистые, грязные дороги, на конский навоз, лёд и воду; сумеречный туман скрывал поля...

— Авдотья! — крикнул Кузьма, поднимаясь с места. — Скажи Кошелю — лошадь в козырьки запречь!

Тихон Ильич был дома. Он сидел за самоваром, в одной ситцевой косоворотке, смуглый, с белой бородой, с насупленными серыми бровями, большой и сильный, и заваривал чай.

— А! братуша! — приветливо воскликнул он, не раздвигая бровей. — Вылез на свет божий? Смотри, не рано ли?

— Уж очень соскучился, брат,— ответил Кузьма, целуясь с ним.

— Ну, а соскучился, давай греться и балакать...

Расспросив друг друга, нет ли новостей, стали молча пить чай, потом закурили.

— Очень ты похудел, братуша! — сказал Тихон Ильич, затачиваясь и исподлобья глядя на Кузьму.

— Похудеешь,— ответил Кузьма тихо. — Ты не читаешь газет?

Тихон Ильич усмехнулся.

— Брехню-то эту? Нет, бог милует.

— Сколько казней, если бы ты знал!

— Казней? Поделом... Ты не слыхал, что под Ельцом-то было? На хуторе братьев Быковых?.. Помнишь, небось,— картавые-то?.. Сидят эти Быковы, не хуже нас с тобою, этак вечерком, играют в шашки... Вдруг — что такое? Топот на крыльце, крик: «Отворяй!» И не успели, братец ты мой, эти самые Быковы глазом моргнуть — вваливается ихний работник, мужичишка на манер Серого, а за ним — два архаровца какие-то, золоторотцы, короче сказать... И все с ломами. Подняли

ломы да как заорут: «Руки вверх, мать вашу так!» Быковы, конечно, перепугались не на живот, а на смерть, вскочили, кричат: «Да что такое?» А мужичишка свое: вверх да вверх!

И Тихон Ильич сумрачно улыбнулся и, задумавшись, смолк.

— Да договаривай же,— сказал Кузьма.

— Да и договаривать-то нечего... Подняли, конечно, руки и спрашивают: «Да что вам надо-то?» — «Ветчину подавай! Где ключи у тебя?» — «Да сукин сын! Тебе ли не знать? Да вот они, на притолке на гвоздике висят...»

— Это с поднятыми-то руками? — перебил Кузьма.

— Конечно, с поднятыми... Ну, да и всыпят им теперь за эти руки! Удавят, конечно. Они уж в остроге, голубчики...

— Это за ветчину-то удавят?

— Нет, за транду, прости ты, господи, мое согрешение,— полусердито, полусхотливо отозвался Тихон Ильич.— Будет тебе, ей-богу, ерепениться-то, Балашкина из себя корчить! Пора бросать...

Кузьма потербил свою серенькую бородку. Измученное, худое лицо его, скорбные глаза, косо поднятая левая бровь отражались в зеркале, и, поглядев на себя, он тихо согласился:

— Ерепениться-то? Верно, что пора... давно пора...

И Тихон Ильич перевел разговор на дела. Видимо, он и задумался-то давеча, среди рассказа, только потому, что вспомнил что-то гораздо более важное, чем казни, — какое-то дело.

— Вот я уж сказал Дениске, чтобы он как ни можно скорее кончал эту музыку, — твердо, четко и строго заговорил он, из горсти подсыпая в чайник чаю.— И прошу тебя, братуша, — прими ты участие в ней, в музыке-то этой. Мне, понимаешь, неловко. А после того перебирайся сюда. Гáрно, братуша, будет! Раз мы уж порешили раскассировать все вдребезги, сидеть тебе там без толку нечего. Только расходы двойные. И, переехавши, запрягайся со мной рядом. Свалим с плеч обузу, доберемся, бог даст, до города, — за ссыпку примемся. Тут, в этой яруге, не развернешься. Отрясем от ног прах ее, — и хоть в тартарары провались она. Не погибать же в ней! У меня, имей в виду, — сказал он, сдвигая брови, протягивая руки и стискивая кулаки, — у меня еще не вывернешься, мне еще рано на печито лежать! Чорту рога сломлю!

Кузьма слушал, почти со страхом глядя в его остановившиеся, сумасшедшие глаза, в его косивший рот, хищно чеканивший слова, — слушал и молчал. Потом спросил:

— Брат, скажи ты мне за ради Христа, какая у тебя корысть в этой свадьбе? Не пойму, бог свидетель, не пойму. Дениску твоего я прямо видеть не могу. Этот новенький типик, новая Русь, почище всех старых будет. Ты не смотри, что он

стыдлив, сентиментален и дурачком прикидывается,— это такое циничное животное! Рассказывает про меня, что я с Молодой живу...

— Ну, уж ты ни в чем меры не знаешь,— нахмуриваясь, перебил Тихон Ильич.— Сам же долбишь: несчастный народ, несчастный народ! А теперь — животное!

— Да, долблю и буду долбить! — горячо подхватил Кузьма.— Но у меня ум за разум зашел! Ничего теперь не понимаю: не то несчастный, не то... Да ты послушай: ведь ты же сам его, Дениску-то, ненавидишь! Вы оба ненавидите друг друга! Он про тебя иначе и не говорит, как «живорез, в холку народу вьелся», а ты *его* живорезом ругаешь! Он нагло хвастается на деревне, что теперь он — кум королю...

— Да знаю я! — опять перебил Тихон Ильич.

— А про Молодую он, знаешь, что говорит? — продолжал Кузьма, не слушая.— У нее, понимаешь, такой нежный, белый цвет лица, а он, животное, знаешь, что говорит? «Чисто кафельная, сволочь!» Да наконец пойми ты одно: ведь он не будет жить в деревне, его, бродягу, теперь арканом в деревне не удержишь. Какой он хозяин, какой семьянин? Вчера, слышу, идет по деревне и поет блядским голоском: «Прикрасна, как андел небесный, как деман коварна и зла...»

— Знаю! — крикнул Тихон Ильич.— Не будет жить в деревне, ни за что не будет! Ну, и чорт с ним! А что он не хозяин, так и мы с тобой хороши хозяйева! Я, помню, об деле тебе говорю,— в трактире-то, помнишь? — а ты перепела слушаешь... Да дальше-то, дальше-то что?

— Как что? И при чем тут перепел? — спросил Кузьма.

Тихон Ильич побарабанил пальцами по столу и строго, раздельно отчеканил:

— Имей в виду: воду толочь — вода будет. Слово мое есть свято во веки веков. Раз я сказал — сделаю. За грех мой не свечку поставлю, а сотворю благое. Хоть и лепту одну подам, да за лепту эту попомнит мне господь.

Кузьма вскочил с места.

— Господь, господь! — воскликнул он фальшетою.— Какой там господь у нас! Какой господь может быть у Дениски, у Акимки, у Меньшова, у Серого, у тебя, у меня?

— Постой,— строго спросил Тихон Ильич.— У какого такого Акимки?

— Я вон околевал лежал,— продолжал Кузьма, не слушая,— много я о нем думал-то? Одно думал: ничего о нем не знаю и думать не умею! — крикнул Кузьма.— Не научен!

И, оглядываясь бегающими страдальческими глазами, застегиваясь и расстегиваясь, прошел по комнате и остановился перед самым лицом Тихона Ильича.

— Запомни, брат,— сказал он, и скулы его покраснели.— Запомни: наша с тобой песня слета. И никакие свечи нас с тобой не спасут. Слышишь? Мы — дурновцы!

И, не находя слов от волнения, смолк. Но Тихон Ильич уже опять думал что-то свое и внезапно согласился:

— Верно. Ни к чорту негодный народ! Ты подумай только...

И оживился, увлеченный новой мыслью:

— Ты подумай только: пашут целую тысячу лет, да что я! больше! — а пахать путем — то есть ни единая душа не умеет! Единственное свое дело не умеют делать! Не знают, когда в поле надо выезжать! Когда надо сеять, когда косить! «Как люди, так и мы», — только и всего. Заметь! — строго крикнул он, сдвигая брови, как когда-то кричал на него Кузьма. — «Как люди, так и мы!» Хлеба ни единая баба не умеет спечь, — верхняя корка вся к чорту отваливается, а под коркой — кислая вода!

И Кузьма опешил. Мысли его спутались.

«Он рехнулся!» — подумал он, бессмысленными глазами следя за братом, зажигавшим лампу.

А Тихон Ильич, не давая ему опомниться, с азартом продолжал:

— Народ! Сквернословы, лентяи, лгуны, да такие бесстыжие, что ни единая душа друг другу не верит! Заметь, — заорал он, не видя, что зажженный фитиль полыхает и чуть не до потолка бьет копотью, — не нам, а друг другу! И все они такие, все! — закричал он плачущим голосом и с треском надел стекло на лампу.

За окнами посинело. На лужи и сугробы летел молодой белый снег. Кузьма смотрел на него и молчал. Разговор принял такой неожиданный оборот, что даже горячность Кузьмы пропала. Не зная, что сказать, не решаясь взглянуть в бешеные глаза брата, он стал свертывать папиросу.

«Рехнулся, — думал он безнадежно. — Да туда и дорога. Все равно!»

Закурил, стал успокаиваться и Тихон Ильич. Сел и, глядя на огонь лампы, тихо забормотал:

— А ты — «Дениска»... Слышал, что Макар Иванович-то, странник-то, наделал? Поймали, с дружкой со своим, бабу на дороге, оттащили в караулку в Ключиках — и четыре дня ходили насиловали ее... поочередно... Ну, теперь в остроге...

— Тихон Ильич, — ласково сказал Кузьма, — что ты городишь? К чему? Ты нездоров, должно быть. Перескакиваешь с одного на другое, сейчас одно утверждаешь, а через минуту другое... Пьешь ты, что ли, много?

Тихон Ильич промолчал. Он только махнул рукою, и в глазах его, устремленных на огонь, задрожали слезы.

— Пьешь? — тихо повторил Кузьма.

— Пью,— тихо ответил Тихон Ильич.— Да запьешь! Ты думаешь, легко мне досталась эта клетка-то золотая? Думаешь, легко было кобелем цепным всю жизнь прожить, да еще со старухой? Ни к кому у меня, братуша, жалости не было... Ну, да и меня не много жалели! Ты думаешь, я не знаю, как меня ненавидят-то? Ты думаешь, не убили бы меня на смерть лютую, кабы попала им, мужичкам-то этим, шлея под хвост, как следует, кабы повезло им в этой революции-то? Погоди, погоди,— будет дело, будет! Зарезали мы их!

— А за ветчину — давить? — спросил Кузьма.

— Ну, уж и давить,— отозвался Тихон Ильич страдальчески.— Это ведь я так, к слову пришлось...

— Да ведь удавят!

— А это — не наше дело. Им отвечать всевышнему.

И, сдвинув брови, задумался, закрыл глаза.

— Ах! — сокрушенно сказал он с глубоким вздохом.— Ах, брат ты мой милый! Скоро, скоро и нам на суд перед престолом его! Читайте я вот по вечерам требник — и плачу, рыдаю над этой самой книгой. Диву даюся: как это можно было слова такие сладкие придумать! Да вот, постой...

И он быстро поднялся, достал из-за зеркала толстую книжку в церковном переплете, дрожащими руками надел очки и со слезами в голосе, торопливо, как бы боясь, что его прервут, стал читать:

— Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду в гробех лежащую по образу божию созданную нашу красоту, безобразну, безгласну, не имущую вида...

— Воистину суета человеческая, житие же — сень и соние. Ибо все мятется всяк земнородный, яко же рече писание: егда мир приобрящем, тогда во гроб вселимся, иде же в купе царие и нищие...

— Царие и нищие! — восторженно-грустно повторил Тихон Ильич и закачал головою. — Пропала жизнь, братуша! Была у меня, понимаешь, стряпуха немая, подарил я ей, дуре, платок заграничный, а она взяла да и истаскала его наизнанку... Понимаешь? От дури да от жадности. Жалко налицо по будням носить,— праздника, мол, дождусь,— а пришел праздник — лохмотья одни остались... Так вот и я... с жизнью-то своей. Истинно так!

Возвращаясь в Дурновку, Кузьма чувствовал только одно — тупую тоску. В тупой тоске прошли и все последние дни его в Дурновке.

Шел снег эти дни, а снегу только и ждали в дворе Серого, чтобы дорога поправилась к свадьбе.

Двенадцатого февраля, перед вечером, в сумраке холодной прихожей произошел негромкий разговор. У печки стояла Молодая, надвинув на лоб желтый с черным горошком платок, глядя на свои лапти. У дверей — коротконогий Дениска, без шапки, в тяжелой, с обвислыми плечами поддевке. Он тоже смотрел вниз, на полусапожки с подковками, которые вертел в руках. Полусапожки принадлежали Молодой. Дениска починил их и пришел получить пятак за работу.

— Да у меня нету,— говорила Молодая.— А Кузьма Ильич никак заснул. Ты подожди до завтра-то.

— Мне, был, ждать-то нельзя,— певуче и задумчиво ответил Дениска, ковыряя ногтем подковку.

— Ну, как же теперь быть?

Дениска подумал, вздохнул и, тряхнув своими густыми волосами, вдруг поднял голову.

— Ну, что ж язык-то даром трепать,— громко и решительно сказал он, не глядя на Молодую и пересиливая застенчивость.— Говорил с тобой Тихон Ильич?

— Говорил,— ответила Молодая.— Надоел даже.

— Так я приду сейчас с отцом. Все равно ему, Кузьме-то Ильичу, вставать сейчас, чай пить...

Молодая подумала.

— Дело твое...

Дениска поставил полусапожки на подоконник и, не напоминая больше о деньгах, ушел. А через полчаса на крыльце послышался стук обиваемых от снега лаптей: Дениска вернулся с Серым — и Серый был зачем-то подпоясан по чекменю, по кострецам красной подпояской. Кузьма вышел к ним. Дениска и Серый долго крестились в темный угол, потом тряхнули волосами и подняли лица.

— Сват, не сват, а добрый человек! — не спеша начал Серый необычно-развязным и ладным тоном.— Тебе нареченную дочь отдавать, мне сына женить. По доброму согласию, на ихнее счастье давай речь промеж себя держать.

И степенно, низко поклонился.

Сдерживая болезненную улыбку, Кузьма велел кликнуть Молодую.

— Беги, ищи,— шопотом, как в церкви, приказал Серый Дениске.

— Да я тут,— сказала Молодая, выходя из-за двери, от печки, и поклонилась Серому.

Наступило молчание. Самовар, стоявший на полу и красневший в темноте решеткой, кипел и клокотал. Лиц не было видно.

— Ну, как же, дочка, решай,— усмехаясь, сказал Кузьма. Молодая подумала.



— Я мало не корю...

— А ты, Денис?

Дениска тоже помолчал.

— Что ж, жениться все равно когда-нибудь надо... Может, бог даст, ничего...

И сваты поздравили друг друга с начатием дела. Самовар унесли в людскую. Одноворка, раньше всех узнавшая новость и прибежавшая с Мыса, зажгла в людской лампочку, послала Кошеля за водкой и подсолнухами, посадила невесту с женихом под икону, налила им чаю, сама села рядом с Серым и, чтобы нарушить неловкость, высоко и резко запела, поглядывая на Дениску, на его землистое лицо и большие ресницы:

Как у нас да по садику,  
Зеленём виноградику,  
Ходил, гулял молодец,  
Пригож, бел-белешенек...

На другой день всякий, кто слышал от Серого об этом пире, ухмылялся и советовал: «Ты бы хоть немножко-то помог молодым!» То же сказал и Кошель: «Дело их молодое, молодым помогать надо». Серый молча ушел домой и принес Молодой, которая гладила в прихожей, два чугуничка и моток черных ниток.

— Вот, невестушка,— сказал он смущенно,— на, свекровь прислала. Может, на что годится... Нету ведь ничего,— кабы было что, из рубахи выскочил бы...

Молодая поклонилась и поблагодарила. Она гладила гардину, присланную Тихоном Ильичом «заместо фаты», и глаза ее были влажны и красны. Серый хотел утешить, сказать, что и ему «не мед», но помялся, вздохнул и, поставив чугуники на подоконник, вышел.

— Нитки-то я в чугуничек положил,— пробормотал он.

— Спасибо, батюшка,— еще раз поблагодарила Молодая тем ласковым и особенным тоном, каким говорила только с Иванушкой, и, как только вышел Серый, неожиданно улыбнулась слабой насмешливой улыбкой и запела: «Как у нас да по садику...»

Кузьма высунулся из зала и строго посмотрел на нее поверх пенсне. Она смолкла.

— Слушай,— сказал Кузьма.— Может, кинуть всю эту историю?

— Теперь поздно,— негромко ответила Молодая.— Уж и так страму не оберешься... Ай не знают все, на чьи деньги пировать-то будем? Да и расход уж начали...

Кузьма пожал плечами. Правда, вместе с гардиной Тихон Ильич прислал двадцать пять рублей, мешок крупичатой муки,

пшена и худую свинью... Но не пропадать же из-за того, что свинью эту зарезали!

— Ох,— сказал Кузьма,— измучили вы меня! «Срам, расход»... Да ай ты дешевле свиньи?

— Дешевле, не дешевле,— мертвых с погоста не носят,— просто и твердо ответила Молодая и, вздохнув, аккуратно сложила выглаженную, теплую гардину.— Обедать-то сейчас будете?

Лицо ее стало спокойно. «Ну, шабаш,— тут пива не сваришь!» — подумал Кузьма и сказал:

— Ну, как знаешь, как знаешь...

Пообедав, он курил и смотрел в окно. Темнело. В людской, он знал, уже спекли ржаную витушку — «ряженный пирог». Готовились варить два чугуна студня, чугуны лапши, чугуны каш — все с убиной. И Серый хлопотал на снежном бугре между амбарами и сараем. На бугре, в синеватых сумерках, оранжевым пламенем пылала солома, которой завалили убитую свинью. Вокруг пламени, поджидая добычи, сидели овчарки, и белые морды их, груди были шелковисто-розовы. Серый, утопая в снегу, бегал, поправлял костер, замахивался на овчарок. Полы зипуна он развернул и поднял, заткнул за пояс, шапку все сдвигал на затылок кистью правой руки, в которой блестел нож. Бегло и ярко озаряемый то с той, то с другой стороны, Серый кидал на снег большую пляшущую тень, — тень язычника. Потом мимо амбара, по тропинке, на деревню, пробежала и скрылась под снежным бугром Однодворка — созывать игриц и просить у Домашки елку, сберегаемую в погребе, переходившую с девишника на девишник. А когда Кузьма, причесавшись и переменяв пиджак с продранными локтями на заветный длиннополый сюртук, оделся и вышел на побелевшее от падающего снега крыльцо, в мягкой серой темноте, у освещенных окон людской уже чернела большая толпа девок, ребят, мальчишек, стоял гам, говор, играли сразу на трех гармоньях и все разное. Кузьма, горбясь, перебирая пальцы и хрустя ими, дошел до толпы, протолкался и, нагнувшись, вошел в темь, в сени. Былолюдно, тесно и в сенях. Мальчишки шныряли между ног, их хватили за шеи и выталкивали вон, — они снова лезли...

— Да пустите, ради бога! — сказал Кузьма, сдавленный у дверей.

Его сдавили еще больше — и кто-то рванул дверь. В клубах пара он перешагнул порог и остановился у притолки. Тут теснился народ почище — девки в цветных шалях, ребята во всем новом. Пахло красным товаром, полушубками, керосином, махоркой, хвоей. Маленькое зеленое деревцо, убранные кумачными лоскутами, стояло на столе, простирая ветки над

тусклой жестяной лампочкой. Вокруг стола, под мокрыми, оттаявшими окошечками, у черных сырых стен, сидели наряженные игрицы, грубо нарумяненные и набеленные, с блестящими глазами, все в шелковых и шерстяных платочках, с радужными выющимися перьями из хвоста селезня, заткнутыми на висках в волосы. Как раз когда Кузьма вошел, Домашка, хромая девка с темным, злым и умным лицом, с черными острыми глазами и черными сросшимися бровями, затынула грубым и сильным голосом старинную величальную песню:

Как у нас при вечеру-вечеру,  
При последнем конце вечера,  
При Авдотьином девишнику...

Девки дружным и нестройным хором подхватили ее последние слова — и все обернулись к невесте: она сидела, по обычаю, возле печки, неубранная, с головой накрытая темной шалью, и должна была ответить песне громким плачем и причитаниями: «Родной мой батюшка, родимая матушка, как мне век вековать, замужем горе горевать?» Но невеста молчала. И девки, кончив песню, недовольно покосились на нее. Потом пошептались и, нахмурившись, медленно и протяжно запели «сиротскую»:

Растопися, банюшка,  
Ты ударь, звонкий колокол!

И у Кузьмы задрожали крепко сжатые челюсти, пошел мороз по голове и по голеним, сладостно заломило скулы и глаза налились, помутились слезами. Невеста завернулась в шаль и вдруг вся затряслась от рыданий.

— Будя, девки! — крикнул кто-то.

Но девки не слушали:

Ты ударь, звонкий колокол,  
Разбуди мово батюшку...

И невеста со стоном стала падать лицом на свои колени, на руки, захлебываясь от слез... Дрожащую, шатающуюся, ее увели наконец в холодную половину избы — наряжать.

А потом Кузьма благословил ее. Жених пришел с Васькой, сыном Якова. Жених надел его сапоги; волосы жениха были подстрижены, шея, окаймленная воротом голубой рубахи с кружевом, докрасна выбрита. Он умылся с мылом и очень помолодел, был даже недурен и, зная это, степенно и скромно опускал темные ресницы. Васька, дружок, в красной рубахе, в романовском полшубке нараспашку, войдя, строго покосился на игрицы.

— Будя драть-то! — грубо сказал он и прибавил, что полагалось по обряду: — Вылязайте, вылязайте.

Игрицы хором ответили:

— Без троицы дом не строится, без четырех углов — изба не кроется. Положь по рублю на каждом углу, пятый — посередке да бутылку водки.

Васька вытащил из кармана полштоф и поставил его на стол. Девки взяли — и поднялись. Стало еще теснее. Опять распахнулась дверь, опять понесло паром и холодом — вошла, расталкивая народ, Однодворка с фольговой иконкой, а за ней невеста, в голубом платье с баской, и все ахнули: так была она бледна, спокойна и красива. Васька наотмашь дал затрещину в лоб широкоплечему, головастому мальчишке на кривых, как у такса, ногах — и кинул на солому посреди избы чей-то старый полушубок. На него стали жених и невеста. Кузьма, не поднимая головы, взял икону из рук Однодворки — и стало так тихо, что слышно было свистящее дыхание любопытного головастого мальчишки. Жених и невеста разом упали на колени и поклонились в ноги Кузьме. Поднялись и опять упали. Кузьма взглянул на невесту, и в глазах их, встретившихся на мгновение, мелькнул ужас. Кузьма побледнел и с ужасом подумал: «Сейчас брошу образ на пол...» Но руки его невольно сделали иконой крест в воздухе — и Молодая, чуть приложившись к ней, поймала губами его руку. Он сунул икону кому-то в сторону, схватил голову Молодой с отцовской болью и нежностью и, целуя новый пахучий платок, горько заплакал. Потом, ничего не видя от слез, повернулся и, расталкивая народ, шагнул в сени. Снежный ветер ударил ему в лицо. Занесенный порог белел в темноте, крыша гудела. А за порогом несла непроглядная вьюга, и свет, падавший из окошечек, из толщи снежной завалинки, стоял дымными столбами...

Вьюга не стихла и утром. В серой несущейся мути не было видно ни Дурновки, ни мельницы на Мысу. Порой светлело, порой становилось похоже на сумерки. Сад побелел, гул его сливался с гулом ветра, в котором все чудился дальний колокольный звон. Острые хребты сугробов дымились. С крыльца, на котором, жмурясь, обоняя сквозь свежесть вьюги теплый вкусный запах из трубы людской, сидели облепленные снегом овчарки, с трудом различал Кузьма темные, туманные фигуры мужиков, лошадей, сани, позвякиванье колокольцев. Под жениха запрягли пару, под невесту одиночку. Сани покрыли казанскими войлоками с черными разводами на концах. Поезжане подпоясались разноцветными подпоясками. Бабы надели ватные шубки, накрылись шальями, шли к саням опасно, мелкими шажками, церемонно приговаривая: «Батюшки, свету божьего не видно!..» На невесте и шубку и голубое

платье завернули на голову — она села в сани на белую юбку, чтобы платье не измять. Голова ее, убранная венком бумажных цветов, была закутана шальями, подшальниками. Она так ослабела от слез, что как во сне видела темные фигуры среди вьюги, слышала шум ее, говор, праздничный звон колокольцев. Лошади прижимали уши, воротили морды от снежного ветра, ветер разносил говор, крик, слепил глаза, белил усы, бороды, шапки, и поезжане с трудом узнавали друг друга в тумане и сумраке.

— Ух, мать твою не замать! — бормотал Васька, нагибая голову, беря вожжи и садясь рядом с женихом.

И грубо, равнодушно крикнул на ветер:

— Господа бояре, бословите жениха по невесту ехать!

Кто-то отозвался:

— Бог бословит...

И бубенцы заныли, полозья закрипели, сугробы, разрываемые ими, задымились, завихрились, вихри, гривы и хвосты понесло в сторону...

А на селе, в церковной сторожке, где отогревались в ожидании священника, все угорели. Угарно было и в церкви, угарно, холодно и сумрачно — от вьюги, низких сводов и решеток в окошечках. Свечи горели только в руках жениха и невесты да в руке черного, с большими лопатками священника, наклонявшегося к книге, закапанной воском, и быстро читавшего сквозь очки. По полу стояли лужи — на сапогах и лаптях натаскали много снегу, — в спины дул ветер из отворяемых дверей. Священник строго поглядывал то на двери, то на жениха с невестой, на их напряженные, ко всему готовые фигуры, на лица, застывшие в покорности и смирении, золотисто освещенные снизу свечами. По привычке, он произносил некоторые слова как бы с чувством, выделяя их с трогательной мольбой, но совершенно не думая ни о словах, ни о тех, к кому они относились.

«Боже пречистый и всяя твари содетелю... — говорил он то-ропливо, то понижая, то повышая голос. — Иже раба твоего Авраама благословивый и разверзый ложесна Саррина... иже Исаака Ревекце даровавый... Иакова Рахили сочетаавый... подаждь рабом твоим сим...»

— Имя? — строгим шопотом, не меняя выражения лица, перебивал он самого себя, обращаясь к псаломщику. И, поймав ответ: «Денис, Авдотья...» — продолжал с чувством:

«Подаждь рабом твоим сим Денису и Евдокии живот мирен, долгоденствие, целомудрие... сподоби я видеть чада чадов... и даждь има от росы небесныя свыше... исполни домы их пшеницы, вина и елея... возвыси я яко кедры ливанские...»

Но окружающие, если бы даже слушали и понимали его, все же помнили бы о доме Серого, а не Авраама и Исаака, о Дениске, а не о кедре ливанском. Ему же самому, коротконогому, в чужих сапогах, в чужой поддевке, было неловко и страшно держать на неподвижной голове царский венец — медный огромный венец с крестом наверху, надетый глубоко, на уши. И рука Молодой, казавшейся в венце еще красивей и мертвее, дрожала, и воск тающей свечи капал на оборки ее голубого платья...

Выюга в сумерках была еще страшнее. И домой гнали лошадей особенно быстро, и горластая жена Ваньки Красного стояла в передних санях, плясала, как шаман, махала платочком и орала на ветер, в буйную темную муть, в снег, летевший ей в губы и заглушавший ее волчий голос:

У голубя, у сизого  
Золотая голова!

*Москва.  
1909—1910*

## СУХОДОЛ

### I

В Наталье всегда поражала нас ее привязанность к Суходолу.

Молочная сестра нашего отца, выросшая с ним в одном доме, целых восемь лет прожила она у нас в Лунево, прожила как родная, а не как бывшая раба, простая дворовая. И целых восемь лет отдыхала, по ее же собственным словам, от Суходола, от того, что заставил он ее выстрадать. Но недаром говорится, что, как волка ни корми, он все в лес смотрит: выйдя, вырастив нас, снова воротилась она в Суходол.

Помню отрывки наших детских разговоров с нею:

— Ты ведь сирота, Наталья?

— Сирота-с. Вся в господ своих. Бабушка-то ваша Анна Григорьевна куда как рано ручки белые сложила! Не хуже моего батюшки с матушкой.

— А они отчего рано померли?

— Смерть пришла, вот и померли-с.

— Нет, отчего рано?

— Так бог дал. Батюшку господа в солдаты отдали за провинности, матушка веку не дожила из-за индюшат господских. Я-то, конечно, не помню-с, где мне, а на дворе сказывали: была она птишницей, индюшат под ее начальством было несть числа, захватил их град на выгоне и заporол всех до единого... Кинулась бечь она, добежала, глянула — да и дух вон от ужаста!

— А отчего ты замуж не пошла?

— Да жених не вырос еще.

— Нет, без шуток?

— Да говорят, будто госпожа, ваша тетенька, заказывала. За то-то и меня, грешную, барышней ославили.

— Ну-у, какая же ты барышня!

— В акурат-с барышня! — отвечала Наталья с тонкой усмешечкой, морщившей ее губы, и обтирала их темной старушечьей рукой. — Я ведь молочная Аркадь Петровичу, тетенька вторая ваша...

Подрастая, все внимательнее прислушивались мы к тому, что говорилось в нашем доме о Суходоле: все понятнее становилось непонятное прежде, все резче выступали странные особенности суходольской жизни. Мы ли не чувствовали, что Наталья, полвека своего прожившая с нашим отцом почти одинаковой жизнью, — истинно родная нам, столбовым господам Хрущевым! И вот оказывается, что господа эти загнали отца ее в солдаты, а мать в такой трепет, что у нее сердце разорвалось при виде погибших индюшат!

— Да и правда, — говорила Наталья, — как было не пасть замертво от такой оказии? Господа за Можай ее загнали бы!

А потом узнали мы о Суходоле нечто еще более странное: узнали, что проще, добрей суходольских господ «во всей вселенной не было», но узнали и то, что не было и «горячее» их; узнали, что темен и сумрачен был старый суходольский дом, что сумасшедший дед наш Петр Кириллыч был убит в этом доме незаконным сыном своим, Герваськой, другом отца нашего и двоюродным братом Натальи; узнали, что давно сошла с ума — от несчастной любви — и тетя Тоня, жившая в одной из старых дворовых изб возле оскудевшей суходольской усадьбы и восторженно игравшая на гудящем и звенящем от старости фортепиано экоссесы; узнали, что сходила с ума и Наталья, что еще девчонкой на всю жизнь полюбила она покойного дядю Петра Петровича, а он сослал ее в ссылку, на хутор Сбшки... Наши страстные мечты о Суходоле были понятны. Для нас Суходол был только поэтическим памятником былого. А для Натальи? Ведь это она, как бы отвечая на какую-то свою думу, с великой горечью сказала однажды:

— Что ж! В Суходоле с татарками за стол садились! Вспомнить даже страшно.

— То есть с арапниками? — спросили мы.

— Да это все едино-с, — сказала она.

— А зачем?

— А на случай ссоры-с.

— В Суходоле все ссорились?

— Борони бог! Дня не проходило без войны! Горячие все были — чистый порох.

Мы-то млели при ее словах и восторженно переглядывались: долго представлялся нам потом огромный сад, огромная усадь-



ба, дом с дубовыми бревенчатыми стенами под тяжелой и черной от времени соломенной крышей — и обед в зале этого дома: все сидят за столом, все едят, бросая кости на пол, охотничьим собакам, косятся друг на друга — и у каждого арапник на коленях: мы мечтали о том золотом времени, когда мы вырастем и тоже будем обедать с арапниками на коленях. Но ведь хорошо понимали мы, что не Наталье доставляли радость эти арапники. И все же ушла она из Лунева в Суходол, к источнику своих темных воспоминаний. Ни своего угла, ни близких родных не было у ней там; и служила она теперь в Суходоле уже не прежней госпоже своей, не тете Тоне, а вдове покойного Петра Петровича, Клавдии Марковне. Да вот без усадьбы-то этой и не могла жить Наталья.

— Что делать-с: привычка,— скромно говорила она.— Уж куда иголка, туда, видно, и нитка. Где родился, там годился...

И не одна она страдала привязанностью к Суходолу. Боже, какими страстными любителями воспоминаний, какими горячими приверженцами Суходола были и все прочие суходольцы!

В нищете, в избе обитала тетя Тоня. И счастья, и разума, и облика человеческого лишил ее Суходол. Но она даже мысли не допускала никогда, несмотря на все уговоры нашего отца, покинуть родное гнездо, поселиться в Лунево:

— Да лучше камень в горе бить!

Отец был беззаботный человек; для него, казалось, не существовало никаких привязанностей. Но глубокая грусть слышалась и в его рассказах о Суходоле. Уже давным-давно выселился он из Суходола в Лунево, полевое поместье бабки нашей Ольги Кирилловны. Но жаловался чуть не до самой кончины своей:

— Один, один Хрущев остался теперь в свете. Да и тот не в Суходоле!

Правда, нередко случалось и то, что, вслед за такими словами, задумываясь он, глядя в окна, в поле, и вдруг насмешливо улыбался, снимая со стены гитару.

— А и Суходол хорош, пропади он пропадом! — прибавлял он с тою же искренностью, с какой говорил и за минуту перед тем.

Но душа-то и в нем была суходольская,— душа, над которой так безмерно велика власть воспоминаний, власть степи, косного ее быта, той древней семейственности, что воедино сливала и деревню, и дворню, и дом в Суходоле. Правда, столбовые мы, Хрущевы, в шестую книгу вписанные, и много было среди наших легендарных предков знатных людей вековой литовской крови да татарских князьков. Но ведь кровь Хрущевых мешалась с кровью дворни и деревни спокон веку. Кто дал жизнь

Петру Кириллычу? Разно говорят о том предания. Кто был родителем Герваськи, убийцы его? С ранних лет мы слышали, что Петр Кириллыч. Откуда истекало столь резкое несходство в характерах отца и дяди? Об этом тоже разно говорят. Молочной же сестрой отца была Наталья, с Герваськой он крестами менялся... Давно, давно пора Хрущевым посчитаться родней с своей дворней и деревней!

В тяготенье к Суходолу, в обольщении его стариною долго жили и мы с сестрой. Дворня, деревня и дом в Суходоле составляли одну семью. Правила этой семьей еще наши пращурь. А ведь и в потомстве это долго чувствуется. Жизнь семьи, рода, клана глубока, узловата, таинственна, зачастую страшна. Но темной глубиной своей да вот еще преданиями, прошлым и сильна-то она. Письменными и прочими памятниками Суходол не богаче любого улуса в башкирской степи. Их на Руси заменяет предание. А предание да песня — отрава для славянской души! Бывшие наши дворовые, страстные лентяи, мечтатели, — где они могли отвести душу, как не в нашем доме? Единственным представителем суходольских господ оставался наш отец. И первый язык, на котором мы заговорили, был суходольский. Первые повествования, первые песни, тронувшие нас, — тоже суходольские, Натальины, отцовы. Да и мог ли кто-нибудь петь так, как отец, ученик дворовых, — с такой беззаботной печалью, с таким ласковым укором, с такой слабовольной задумчивостью про «верную-манерную сударушку свою»? Мог ли кто-нибудь рассказывать так, как Наталья? И кто был роднее нам суходольских мужиков?

Распри, ссоры — вот чем спокон веку славились Хрущевы, как и всякая долго и тесно живущая в единении семья. А во времена нашего детства случилась такая ссора между Суходолом и Луневым, что чуть не десять лет не переступала нога отца родного порога. Так путем и не видали мы в детстве Суходола: были там только раз, да и то проездом в Задонск. Но ведь сны порой сильнее всякой яви. И смутно, но неизгладимо запомнили мы летний долгий день, какие-то волнистые поля и заглохшую большую дорогу, очаровавшую нас своим простором и кое-где уцелевшими дуплистыми ветлами; запомнили улей на одной из таких ветел, далеко отошедшей с дороги в хлеба, — улей, оставленный на волю божью, в полях, при заглохшей дороге; запомнили широкий поворот под изволок, громадный голый выгон, на который глядели бедные курные избы, и желтизну каменистых оврагов за избами, белизну голышей и щебня по их днищам... Первое событие, ужаснувшее нас, тоже было суходольское: убийство дедушки Герваськой. И, слушая повествования об этом убийстве, без конца грезили мы этими желтыми, куда-то уходящими оврагами: все казалось, что по ним-то и

бежал Герваська, сделав свое страшное дело и «канув как ключ на дно моря».

Мужики суходольские навещали Лунево не с теми целями, что дворовые, а насчет земельки больше; но и они как в родной входили в наш дом. Они кланялись отцу в пояс, целовали его руку, затем, тряхнув волосами, троекратно целовались и с ним, и с Натальей, и с нами в губы. Они привозили в подарок мед, яйца, полотенца. И мы, выросшие в поле, чуткие к запахам, жадные до них не менее, чем до песен, преданий, навсегда запомнили тот особый, приятный, конопляный какой-то запах, что ощущали, целуясь с суходольцами; запомнили и то, что старой степной деревней пахли их подарки: мед — цветущей гречей и дубовыми гнилыми ульями, полотенца — пуньками, курными избами времен дедушки... Мужики суходольские ничего не рассказывали. Да что им и рассказывать-то было! У них даже и преданий не существовало. Их могилы безыменны. А жизни так похожи друг на друга, так скудны и бесследны! Ибо плодами трудов и забот их был лишь хлеб, самый настоящий хлеб, что съедается. Копали они пруды в каменистом ложе давно иссякнувшей речки Каменки. Но пруды ведь ненадежны — высыхают. Строили они жилища. Но жилища их не долговечны: при малейшей искре дотла сгорают они... Так что же тянуло нас всех даже к голому выгону, к избам и оврагам, к разоренной усадьбе Суходола?

## II

В усадьбу, породившую душу Натальи, владевшую всей ее жизнью, в усадьбу, о которой так много слышали мы, довелось нам попасть уже в позднем отрочестве.

Помню так, точно вчера это было. Разразился ливень с оглушительными громовыми ударами и ослепительно-быстрыми, огненными змеями молний, когда мы под вечер подъезжали к Суходолу. Черно-лиловая туча тяжело свалилась к северо-западу, величаво заступила полнеба напротив. Плоско, четко и мертвенно-бледно зеленела равнина хлебов под ее огромным фоном, ярка и необыкновенно свежа была мелкая мокрая трава на большой дороге. Мокрые, точно сразу похудевшие лошади шлепали, блестя подковами, по синей грязи, тарантас влажно шуршал... И вдруг, у самого поворота в Суходол, увидали мы в высоких мокрых ржах высокую и престранную фигуру в халате и шлыке, фигуру не то старика, не то старухи, бьющую хворостинной пегую комолую корову. При нашем приближении хворостина заработала сильнее, и корова неуклюже, крутя хвостом, выбежала на дорогу. А старуха, что-то крича, направилась к тарантасу и, подойдя, потянулась к нам бледным лицом. Со

страхом глядя в черные безумные глаза, чувствуя прикосновение острого холодного носа и крепкий запах избы, поцеловались мы с подошедшей. Не сама ли это Баба-Яга? Но высокий шлык из какой-то грязной тряпки торчал на голове Бабы-Яги, на голое тело ее был надет рваный и по пояс мокрый халат, не закрывавший тощих грудей. И кричала она так, точно мы были глухие, точно с целью затеять яростную брань. И по крику мы поняли: это тетя Тоня.

Закричала, но весело, институтски-восторженно и Клавдия Марковна, толстая, маленькая, с седенькой бородкой, с необыкновенно живыми глазками, сидевшая у открытого окна в доме с двумя большими крыльцами, вязавшая нитяный носок и, подняв очки на лоб, глядевшая на выгон, слившийся с двором. Низко, с тихой улыбкой поклонилась стоявшая на правом крыльце Наталья — дробненькая, загорелая, в лаптях, в шерстяной красной юбке и в серой рубаше с широким вырезом вокруг темной, сморщенной шеи. Взглянув на эту шею, на худые ключицы, на устало-грустные глаза, помню, подумал я: это она росла с нашим отцом — давным-давно, но вот именно здесь, где от дедовского дубового дома, много раз горевшего, остался вот этот, невзрачный, от сада — кустарники да несколько старых берез и тополей, от служб и людских — изба, амбар, глиняный сарай да лежник, заросший польню и подсевкольниковом... Запахло самоваром, посыпались расспросы; стали появляться из столетней горки хрустальные вазочки для варенья, золотые ложечки, истончившиеся до кленового листа, сахарные сушки, сбереженные на случай гостей. И, пока разгорался разговор, усиленно дружелюбный после долгой ссоры, пошли мы бродить по темнеющим горницам, ища балкона, выхода в сад.

Все было черно от времени, просто, грубо в этих пустых, низких горницах, сохранивших то же расположение, что и при дедушке, срубленных из остатков тех самых, в которых обитал он. В углу лакейской чернел большой образ святого Меркурия Смоленского, того, чьи железные сандалии и шлем хранятся на солее в древнем соборе Смоленска. Мы слышали: был Меркурий муж знатный, призванный к спасению от татар Смоленского края гласом иконы божьей матери Одигитрии-Путеводительницы. Разбив татар, святой уснул и был обезглавлен врагами. Тогда, взяв свою главу в руки, пришел он к городским воротам, дабы поведать бывшее... И жутко было глядеть на суздальское изображение безглавого человека, держащего в одной руке мертвенно-синеватую голову в шлеме, а в другой икону Путеводительницы, — на этот, как говорили, заветный образ дедушки, переживший несколько страшных пожаров, расколовшийся в огне, толсто окованный серебром и хранивший на оборотной стороне своей родословную Хрущевых, писанную под титлами.

Точно в лад с ним, тяжелые железные задвижки и вверху и внизу висели на тяжелых половинках дверей. Доски пола в зале были непомерно широки, темны и скользки, окна малы, с подъемными рамами. По залу, уменьшенному двойнику того самого, где Хрущевы садились за стол с татарками, мы прошли в гостиную. Тут, против дверей на балкон, стояло когда-то фортепиано, на котором играла тетя Тоня, влюбленная в офицера Войткевича, товарища Петра Петровича. А дальше зияли раскрытые двери в диванную, в угольную, — туда, где были когда-то дедушкины покои...

Вечер же был сумрачный. В тучах, за окраинами вырубленного сада, за полуголой ригой и серебристыми тополями, вспыхивали зарницы, раскрывавшие на мгновение облачные розово-золотистые горы. Ливень, верно, не захватил Трошина леса, что темнел далеко за садом, на косогорах за оврагами. Оттуда доходил сухой, теплый запах дуба, мешавшийся с запахом зелени, с влажным мягким ветром, пробегавшим по верхушкам берез, уцелевших от аллеи, по высокой крапиве, бурьянам и кустарникам вокруг балкона. И глубокая тишина вечера, степи, глухой Руси царила надо всем...

— Чай кушать пожалуйста-с, — окликнул нас негромкий голос.

Это была она, участница и свидетельница всей этой жизни, главная сказительница ее, Наталья. А за ней, внимательно глядя сумасшедшими глазами, немного согнувшись, церемонно скользя по темному гладкому полу, подвигалась госпожа ее. Шлыка она не сняла, но вместо халата на ней было теперь старомодное бережевое платье, на плечи накинута блекло-золотистая шелковая шаль.

— *Où êtes-vous, mes enfants?*<sup>1</sup> — жантильно улыбаясь, кричала она, и голос ее, четкий и резкий, как голос попугая, странно раздавался в пустых черных горницах...

### III

Как в Наталье, в ее крестьянской простоте, во всей ее прекрасной и жалкой душе, порожденной Суходолом, было очарование и в суходольской разоренной усадьбе.

Пахло жасмином в старой гостиной с покосившимися полами. Сгнивший, серо-голубой от времени балкон, с которого, за отсутствием ступенек, надо было спрыгивать, тонул в крапиве, бузине, бересклете. В жаркие дни, когда его пекло солнце, когда

---

<sup>1</sup> Где вы, дети мои? (франц.)

были отворены осевшие стеклянные двери и веселый отблеск стекла передавался в тусклое овальное зеркало, висевшее на стене против двери, все вспоминалось нам фортепиано тети Тони, когда-то стоявшее под этим зеркалом. Когда-то играла она на нем, глядя на пожелтевшие ноты с заглавиями в завитушках, а он стоял сзади, крепко подпирая талию левой рукой, крепко сжимая челюсти и хмурясь. Чудесные бабочки — и в ситцевых пестренких платьицах, и в японских нарядах, и в черно-лиловых бархатных шалях — залетали в гостиную. И перед отъездом он с сердцем хлопнул однажды ладонью по одной из них, трепетно замиравшей на крышке фортепиано. Осталась только серебристая пыль. Но, когда девки, по глупости, через несколько дней стерли ее, с тетей Тоней сделалась истерика... Мы выходили из гостиной на балкон, садились на теплые доски — и думали, думали. Ветер, пробегая по саду, доносил до нас шелковистый шелест берез с атласно-белыми, испещренными чернью стволами и широко раскинутыми зелеными ветвями, ветер, шумя и шелестя, бежал с полей — и зелено-золотая иволга вскрикивала резко и радостно, колом проносясь над белыми цветами за болтливыми галками, обитавшими с многочисленным родством в развалившихся трубах и в темных чердаках, где пахнет старыми кирпичами и через слуховые окна полосами падает на бугры серо-фиолетовой золы золотой свет; ветер замирал, сонно ползали пчелы по цветам у балкона, совершая свою неспешную работу, — и в тишине слышался только ровный, струящийся, как непрерывный мелкий дождик, лепет серебристой листвы тополей... Мы бродили по саду, забирались в глушь окраин. Там, на этих окраинах, слившихся с хлебами, в прадедовской бане с провалившимся потолком, в той самой бане, где Наталья хранила украденное у Петра Петровича зеркальце, жили белые тусы. Как они мягко выпрыгивали на порог, как странно, шевеля усами и раздвоенными губами, косили свои далеко расставленные, выпученные глаза на высокие татарки, кусты белены и заросли крапивы, глушившей терн и вишеник! А в полуоткрытой риге жил филин. Он сидел на перемете, выбрав место посумрачнее, торчком подняв уши, выкатив желтые слепые зрачки — и вид у него был дикий, чортовский. Опускалось солнце далеко за садом, в море хлебов, наступал вечер, мирный и ясный, куковала кукушка в Трошином лесу, жалобно звенели где-то над лугами жалейки старика-пастуха Степы... Филин сидел и ждал ночи. Ночью все спало — и поля, и деревня, и усадьба. А филин только и делал, что ухал и плакал. Он неслышно носился вокруг риги, по саду, прилетал к избе тети Тони, легко опускаясь на крышу — и болезненно вскрикивал... Тетя просыпалась на лавке у печки.

— Исусе сладчайший, помилуй мя, — шептала она, вздыхая.

Мухи сонно и недовольно гудели по потолку жаркой, темной избы. Каждую ночь что-нибудь будило их. То корова чесалась боком о стену избы; то крыса пробегала по отрывисто звенящим клавишам фортепиано и, сорвавшись, с треском падала в черепки, заботливо складываемые тетей в угол; то старый черный кот с зелеными глазами поздно возвращался откуда-то домой и лениво просился в избу; или же прилетал вот этот филин, криками своими пророчивший беду. И тетя, пересиливая дремоту, отмахиваясь от мух, в темноте лезших в глаза, вставала, шарилла по лавкам, хлопала дверью — и, выйдя на порог, наугад запускала вверх, в звездное небо, скалку. Филин, с шорохом, задевая крыльями солому, срывался с крыши — и низко падал куда-то в темноту. Он почти касался земли, плавно доносился до риги и, взмыв, садился на ее хребет. И в усадьбу опять доносился его плач. Он сидел, как будто что-то вспоминая, — и вдруг испускал вопль изумления; смолкал — и внезапно принимался истерически ухать, хохотать и взвизгивать; опять смолкал — и раздражался стонами, всхлипываниями, рыданиями... А ночи, темные, теплые, с лиловыми тучками, были спокойны, спокойны. Сонно бежал и струился лепет сонных тополей. Зарница осторожно мелькала над темным Трошиным лесом — и тепло, сухо пахло дубом. Возле леса, над равнинами овсов, на прогалине неба среди туч, горел серебряным треугольником, могильным голубцом Скорпион...

Поздно возвращались мы в усадьбу. Надышавшись росой, свежестью степи, полевых цветов и трав, осторожно поднимались мы на крыльцо, входили в темную прихожую. И часто заставали Наталью на молитве перед образом Меркурия. Босая, маленькая, поджав руки, стояла она перед ним, шептала что-то, крестилась, низко кланялась ему, невидному в темноте, — и все это так просто, точно беседовала она с кем-то близким, тоже простым, добрым, милостивым.

— Наталья? — тихо окликали мы.

— Я-с? — тихо и просто отзывалась она, прерывая молитву.

— Что же ты не спишь до сих пор?

— Да авось еще в могиле-с наспимся...

Мы садились на коник, раскрывали окно; она стояла, поджав руки. Таинственно мелькали зарницы, озаряя темные горницы; перепел бил где-то далеко в росистой степи. Предостерегающе-тревожно крякала проснувшаяся на пруде утка...

— Гуляли-с?

— Гуляли.

— Что ж, дело молодое... Мы, бывалыча, так-то все ночи напролет прогуливали... Одна заря выгонит, другая загонит...

— Хорошо жилось прежде?

— Хорошо-с...

И наступало долгое молчание.

— Чего это, нянечка, филин кричит? — говорила сестра.

— Не судом кричит-с, пропасти на него нету. Хоть бы из ружья пострашать. А то прямо жуть, все думается: либо к беде какой? И все барышню пугает. А она ведь до смерти пуглива!

— А как захворала она?

— Да известно-с: все слезы, слезы, тоска... Потом молиться зачали... Да все лютее с нами, с девками, да все сердитей с братцами...

И, вспоминая арапники, мы спрашивали:

— Не дружно, значит, жили?

— Куда как дружно! А уж особливо после того, как заболели-то оне, как дедушка померли, как вошли в силу молодые господа и женился покойник Петр Петрович. Горячие все были — чистый порох!

— А пороли дворовых часто?

— Этого у нас и в заведении не было-с. Я как провинилась-то! А и было-то всего-навсего, что приказали Петр Петрович голову мне овечьими ножницами оболванить, затрапезную рубаху надеть да на хутор отправить...

— А чем же ты провинилась?

Но ответ далеко не всегда следовал прямой и скорый. Рассказывала Наталья порою с удивительной прямоотой и тщательностью; но порою запинаясь, что-то думала; потом легонько вздыхала, и по голосу, не видя лица в сумраке, мы понимали, что она грустно усмехается:

— Да тем и провинилась... Я ведь уж сказывала... Молода-глупа была-с. «Пел на грех, на беду соловей во саду»... А, известно, дело мое было девичье...

Сестра ласково просила ее:

— Ты уж скажи, нянечка, стихи эти до конца.

И Наталья смущалась.

— Это не стихи-с, а песня... Да я ее и не упомяну-с теперь.

— Неправда, неправда!

— Ну, извольте-с...

И скороговоркой кончала:

— «Как на грех, на беду»... То бишь: «Пел на грех, на беду соловей во саду — песню томную... Глупой спать не давал — в ночку темную...»

Пересиливая себя, сестра спрашивала:

— А ты очень была влюблена в дядю?

И Наталья тупо и кратко шептала:

— Очень-с.

— Ты всегда поминаешь его на молитве?

— Всегда-с.

— Ты, говорят, в обморок упала, когда тебя везли в Сошки?



— В омок-с. Мы, дворовые, страшные нежные были... жидки на расправу... не сравнять же с серым однодворцем! Как повез меня Евсей Бодуля, отупела я от горя и страху... В городе чуть не задвохнулась с непривычки. А как выехали в степь, таково мне нежно да жалостно стало! Метнулся офицер навстречу, похожий на них,— крикнула я, да и замертво! А пришедши в себя, лежу этак в телеге и думаю: хорошо мне теперь, ровно в царстве небесном!

— Строг он был?

— Не приведи господи!

— Ну, а все-таки своенравнее всех тетя была?

— Оне-с, оне-с. Докладываю же вам: их даже к угоднику возили. Натерпелись мы страсти с ними! Им бы жить да поживать теперь, как надобно, а оне погордились, да и тронулись... Как любил их Войткевич-то! Ну, да вот поди ж ты!

— Ну, а дедушка?

— Те что ж? Те слабы умом были. А, конечно, и с ними случалось. Все в ту пору были пылкие... Да зато прежние-то господа нашим братом не брезговали. Бывалыча, папаша ваш накажут Герваську в обед,—этого и следовало! — а вечером, глядь, уж на дворне жируют, на балалайках с ним жундят...

— А скажи,— он хорош был, Войткевич-то?

Наталья задумывалась.

— Нет-с, не хочу соврать: вроде калмыка был. А сурьезный, настойчивый. Все стихи ей читал, все напугивал: мол, помру и приду за тобой...

— Ведь и дед от любви с ума сошел?

— Те по бабушке. Это дело иное, сударыня. Да и дом у нас был сумрачен,— не веселый, бог с ним. Вот извольте послушать мои глупые слова...

И неторопливым шопотом начинала Наталья долгое, долгое повествование...

#### IV

Если верить преданиям, прадед наш, человек богатый, только под старость переселился из-под Курска в Суходол: не любил наших мест, их глуши, лесов. Да, ведь это вошло в пословицу: «В старину везде леса были»... Люди, пробиравшиеся лет двести тому назад по нашим дорогам, пробирались сквозь густые леса. В лесу терялись и речка Каменка, и те верхи, где протекала она, и деревня, и усадьба, и холмистые поля вокруг. Однако уже не то было при дедушке. При дедушке картина была иная: полустепной простор, голые косогоры, на полях — рожь, овес, греча, на большой дороге — редкие дуплистые ветлы, а по суходольскому верху — только белый голыш. От лесов

остался один Трошин лесок. Только сад был, конечно, чудесный: широкая аллея в семьдесят раскидистых берез, вишенники, тонущие в крапиве, дремучие заросли малины, акации, сирени и чуть не целая роща серебристых тополей на окраинах, сливавшихся с хлебами. Дом был под соломенной крышей, толстой, темной и плотной. И глядел он на двор, по сторонам которого шли длиннейшие службы и людские в несколько связей, а за двором расстилался бесконечный зеленый выгон и широко раскидывалась барская деревня, большая, бедная и — беззаботная.

— Вся в господ-с! — говорила Наталья. — И господа беззаботны были — не хозяйственны, не жадны. Семен Кириллыч, братец дедушки, разделились с нами: себе взяли что побольше да полутче, престольную вотчину, нам только Сошки, Суходоло да четыреста душ прикинули. А из четырех-то сот чуть не половина разбежалась...

Дедушка Петр Кириллыч умер лет сорока пяти. Отец часто говорил, что помешался он после того, как на него, заснувшего на ковре в саду, под яблоней, внезапно сорвавшийся ураган обрушил целый ливень яблок. А на дворе, по словам Натальи, объясняли слабоумие деда иначе: тем, что тронулся Петр Кириллыч от любовной тоски после смерти красавицы-бабушки, что великая гроза прошла над Суходолом перед вечером того дня. И доживал Петр Кириллыч, — сутулый брюнет, с черными, внимательно-ласковыми глазами, немного похожий на тетю Тоню, — в тихом помешательстве. Денег, по словам Натальи, прежде не знали куда девать, и вот он, в сафьяновых сапожках и пестром архалуке, заботливо и неслышно бродил по дому и, оглядываясь, совал в трещины дубовых бревен золотые.

— Это я для Тонечки в приданое, — бормотал он, когда захватывали его. — Надежнее, друзья мои, надежнее... Ну, а за всем тем — воля ваша: не хотите — я не буду...

И опять совал. А не то переставлял тяжелую мебель в зале, в гостиной, все ждал чьего-то приезда, хотя соседи почти никогда не бывали в Суходоле; или жаловался на голод и сам мастерил себе тюрю — неумело толок и растирал в деревянной чашке зеленый лук, крошил туда хлеб, лил густой пенящийся суровец и сыпал столько крупной серой соли, что тюря оказывалась горькой и есть ее было не под силу. Когда же, после обеда, жизнь в усадьбе замирала, все разбрелись по излюбленным углам и надолго засыпали, не знал куда деваться одинокий, даже и по ночам мало спавший Петр Кириллыч. И, не выдержав одиночества, начинал заглядывать в спальни, прихожие, девичьи и осторожно окликать спящих:

— Ты спишь, Аркаша? Ты спишь, Тонюша?

И, получив сердитый окрик: «да отвяжитесь вы, ради бога, папенька!» — торопливо успокаивал:

— Ну спи, спи, душа моя. Я тебя будить не буду...

И уходил дальше,— минуя только лакейскую, ибо лакеи были народ очень грубый,— а через десять минут снова появлялся на пороге и снова еще осторожнее окликал, выдумывая, что по деревне кто-то проехал с ямщицкими колокольчиками,— «уж не Петенька ли из полка в побывку»,— или что заходит страшная градовая туча.

— Они, голубчики, уж очень грозы боялись,— рассказывала Наталья. — Я-то еще девчонкой простоволосой была, ну, а все-таки помню-с. Дом у нас какой-то черный был... невеселый, господь с ним. А день летом — год. Дворни девать было некуда... одних лакеев пять человек... Да, известно, започивают после обеда молодые господа, а за ними и мы, холопы верные, слуги примерные. И тут уж Петр Кириллыч не приступайся к нам,— особливо к Герваське. «Лакеи! Лакеи! Вы спите?» А Герваська подымет голову с ларя, да и спрашивает: «А хочешь я тебе сейчас крапивы в мотню набью?» — «Да ты кому ж это говоришь-то, бездельник ты этакий?» — «Домовому, сударь: спросонья...» Ну вот, Петр Кириллыч и пойдут опять по залу, по гостиной и все в окна, в сад заглядывают: не видно ли тучи? А грозы, и правда, куда как часто в старину сбились. Да и грозы-то великие. Как, бывалыча, дело после обеда, так и почнет орать иволга, и пойдут из-за саду тучки... потемнеет в доме, зашуршит бурьян да глухая крапива, попрячутся индюшки с индюшатами под балкон... прямо жуть, скука-с! А они, батюшка, вздыхают, крестятся, лезут свечку восковую у образов зажигать, полотенце заветное с покойника прадедушки вешать,— боялась я того полотенца до смерти! — али ножницы за окошко выкидывают. Это уж первое дело-с, ножницы-то: очень хорошо против грозы...

Было веселее в суходольском доме, когда жили в нем французы,— сперва какой-то Луи Иванович, мужчина в широчайших, книзу узких панталонах, с длинными усами и мечтательными голубыми глазами, накладывавший на лысину волосы от уха к уху, а потом пожилая, вечно зябнувшая мадмазель Сизи,— когда по всем комнатам гремел голос Луи Ивановича, оравшего на Аркашу: «идьите и больше не вернитесь!» — когда слышалось в классной: «*maître corbeau sur un arbre perché*»<sup>1</sup> — и на фортепиано училась Тонечка. Восемь лет жили французы в Суходоле, оставались в нем, чтобы не скучно было Петру Кириллычу, и после того, как увезли детей в губернский город, покинули же его перед самым возвращением их домой

<sup>1</sup> «ворон, взобравшись на дерево» (франц.)

на третьи каникулы. Когда прошли эти каникулы, Петр Кириллыч уже никуда не отправил ни Аркашу, ни Тонечку: достаточно было, по его мнению, отправить одного Петеньку. И дети навсегда остались и без ученья и без призора... Наталья говаривала:

— Я-то была моложе их всех. Ну, а Герваська с папашей вашим почти однолетки были и, значит, первые друзья-приятели-с. Только, правда говорится,— волк коню не свойственник. Подружились они это, поклялись в дружбе на вечные времена, поменялись даже крестами, а Герваська вскорости же и наче-реди: чуть было вашего папашу в пруде не утопил! Коростовый был, а уж на каторжные затеи мастер. «Что ж,— говорит раз барчуку,— ты подрастете, будете меня пороть?» — «Буду». — «Ан нет». — «Как так?» — «А так...» И надумал: стояла у нас бочка над прудами, на самом косогоре, а он и запряметь ее, да и подучи Аркадь Петровича залезть в нее и покатиться вниз. «Перва, говорит, ты, барчук, прожжете, а там я...» Ну, а барчук-то и послушайся: залез, толкнулся, да как пошел греметь под гору, в воду, как пошел... Матушка царица небесная! Только пыль столбом завихрилась!.. Уж спасибо вблизи пастухи оказались...

Пока жили французы в суходольском доме, дом сохранял еще жилой вид. При бабушке еще были в нем и господа, и хозяева, и власть, и подчинение, и парадные покои, и семейные, и будни, и праздники. Видимость всего этого держалась и при французах. Но французы уехали, и дом остался совсем без хозяев. Пока дети были малы, на первом месте был как будто Петр Кириллыч. Но что он мог? Кто кем владел: он дворовыми или дворовые им? Фортепиано закрыли, скатерть с дубового стола исчезла,— обедали без скатерти и когда попало, в сенцах проходу не было от борзых собак. Заботиться о чистоте стало некому,— и темные бревенчатые стены, темные полы и потолки, темные тяжелые двери и притолки, старые образа, закрывавшие своими суздальскими ликами весь угол в зале, скоро и совсем почернели. По ночам, особенно в грозу, когда буживал под дождем сад, поминутно озарялись в зале лики образов, раскрывалось, распахивалось над садом дрожащее розово-золотое небо, а потом, в темноте, с треском раскальва-лись громовые удары,— по ночам в доме было страшно. А днем — сонно, пусто и скучно. С годами Петр Кириллыч все слабел, становился все незаметнее, хозяйкой же дома являлась дряхлая Дарья Устиновна, кормилица дедушки. Но власть ее почти равнялась его власти, а староста Демьян не вмешивался в управление домом: он знал только полевое хозяйство, с ленивой усмешкой говоря иногда: «Что ж, я своих господ не обиждаю...» Отцу, юноше, не до Суходола было: его с ума

сводила охота, балалайка, любовь к Герваське, который числился в лакеях, но по целым дням пропадал с ним на каких-то Мещерских болотцах или в каретном сарае за изучением балаечных и жалеечных хитростей.

— Так уж мы и знали-с,— говорила Наталья,— в доме только почивают. А не почивают,— значит, либо на деревне, либо в каретном, либо на охоте: зимою — зайцы, осенью — лисицы, летом — перепела, утки, либо дряхвы; сядут на дрожки беговые, перекинут ружьецо за плечи, кликнут Дианку, да и с господом: нынче на Среднюю мельницу, завтра на Мещерские, послезавтра на степя. И все с Герваськой. Тот первый коновод всему был, а прикидывался, что это барчук его таскает. Любил его, врага своего, Аркадь Петрович истинно как брата, а он, чем дальше, тем все злей измывался над ним. Бывалыча, скажут: «Ну, давай, Гервасий, на балалайка! Выучи ты меня, за ради бога, *«Закатилось солнце красное за лес...»* А Герваська посмотрит на них, пустит в ноздри дым и этак с усмешечкой: «Поцелуйте перва ручку у меня». Побелеют весь Аркадь Петрович, вскочут с места, бац его, что есть силы, по щеке, а он только головой мотнет и еще черней делается, насытится, как разбойник какой. «Встать, негодяй!» Встанет, вытянется, как борзой, портки плисовые висят... молчит. «Проси прощенья». — «Виноват, сударь». А барчук задвохнется — и уж не знают, что дальше сказать. «То-то, «сударь!» — кричат. — Я, мол, норвлю с тобой, с негодяем, как с равным обойтись, я, мол, иной раз думаю: я для него души не пожалею... А ты что? Ты нарочно меня озлобляешь?»

— Диковинное дело! — говорила Наталья.— Над барчуком и дедушкой Герваська измывался, а надо мной — барышня. Барчук, — а, по правде-то сказать, и сами дедушка, — в Герваське души не чаяли, а я — в ней... как из Сошек-то вернулась я да маленько образумилась пося своей провинности...

## V

С арапниками сажались за стол уже после смерти дедушки, после бегства Герваськи и женитьбы Петра Петровича, после того как тетя Тоня, тронувшись, обрекла себя в невесты Иисусу сладчайшему, а Наталья возвратилась из этих самых Сошек. Тронулась же тетя Тоня и в ссылке побывала Наталья — из-за любви.

Скучные, глухие времена дедушки сменились временем молодых господ. Возвратился в Суходол Петр Петрович, неожиданно для всех вышедший в отставку. И приезд его оказался гибельным и для Натальи и для тети Тони.

Они обе влюбились. Не заметили, как влюбились. Им казалось сперва, что «просто стало веселее жить».

Петр Петрович повернул на первых порах жизнь в Суходоле на новый лад — на праздничный и барский. Он приехал с товарищем, Войткевичем, привез с собой повара, бритого алкоголика, с пренебрежением косившегося на позеленевшие рубчатые формы для желе, на грубые ножи, вилки. Петр Петрович желал показать себя перед товарищем радушным, щедрым, богатым — и делал это неумело, по-мальчишески. Да он и был почти мальчиком, очень нежным и красивым с виду, но по натуре резким и жестоким, мальчиком как будто самоуверенным, но легко и чуть не до слез смущающимся, а потом надолго затаивающим злобу на того, кто смутил его.

— Помнится, брат Аркадий,— сказал он за столом в первый же день своего пребывания в Суходоле,— помнится, была у нас мадера недурная?

Дедушка покраснел, хотел что-то сказать, но не насмелился и только затеребил на груди архалук. Аркадий Петрович изумился:

— Какая мадера?

А Герваська нагло поглядел на Петра Петровича и ухмыльнулся.

— Вы изволили забыть, сударь,— сказал он Аркадию Петровичу, даже и не стараясь скрыть насмешки.— У нас, и правда, девадь некуда было этой самой мадеры. Да все мы, холопы, потаскали. Вино барское, а мы ее дуром, заместо квасу.

— Это еще что такое? — крикнул Петр Петрович, заливаясь своим темным румянцем. — Молчать!

Дедушка восторженно подхватил.

— Так, так, Петенька! Фёра! — радостно, тонким голосом воскликнул он и чуть не заплакал.— Ты и представить себе не можешь, как он меня уничтожает! Я уж не однажды думал: подкрадусь и проломлю ему голову толкачом медным... Ей-богу, думал! Я ему кинжал в бок по эфес всажу!

А Герваська и тут нашелся.

— Я, сударь, слышал, что за это больно наказывают,— возразил он, насупясь.— А то и мне все лезет в голову: пора барину в царство небесное!

Говорил Петр Петрович, что после такого неожиданно дерзкого ответа сдержался он только ради чужого человека. Он сказал Герваське только одно: «Сию минуту выйди вон!» А потом даже устыдился своей горячности — и, торопливо извиняясь перед Войткевичем, поднял на него с улыбкой те очаровательные глаза, которых долго не могли забыть все знавшие Петра Петровича.

Слишком долго не могла забыть этих глаз и Наталья.

Счастье ее было необыкновенно кратко — и кто бы мог думать, что разрешится оно путешествием в Сошки, самым замечательным событием всей ее жизни?

Хутор Сошки цел и донныне, хотя уже давно перешел к тамбовскому купцу. Это — длинная изба среди пустой равнины, амбар, журавль колодца и гумно, вокруг которого бахчи. Таким, конечно, был хутор и в дедовские времена; да мало изменился и город, что на пути к нему из Суходола. А провинилась Наташка тем, что, совершенно неожиданно для самой себя, украла складное, оправленное в серебро, зеркальце Петра Петровича.

Увидела она это зеркальце — и так была поражена красотой его, — как, впрочем, и всем, что принадлежало Петру Петровичу, — что не устояла. И несколько дней, пока не хватились зеркальца, прожила ошеломленная своим преступлением, очарованная своей страшной тайной и сокровищем, как в сказке об аленьком цветочке. Ложась спать, она молила бога, чтобы скорее прошла ночь, чтобы скорее наступило утро: празднично было в доме, который ожил, наполнился чем-то новым, чудесным с приездом красавца-барчука, нарядного, напомаженного, с высоким красным воротом мундира, с лицом смуглым, но нежным, как у барышни; празднично было даже в прихожей, где спала Наташка и где, вскакивая с рундука на рассвете, она сразу вспоминала, что в мире — радость, потому что у порога стояли, ждали чистки такие легонькие сапожки, что их в пору было царскому сыну носить; и всего страшнее и праздничнее было за садом, в заброшенной бане, где хранилось двойное зеркальце в тяжелой серебряной оправе, — за садом, куда, пока еще все спали, по росистым зарослям, тайком бежала Наташка, чтоб насладиться обладанием своего сокровища, вынести его на порог, раскрыть при жарком утреннем солнце и насмотреться на себя до головокруженья, а потом опять скрыть, схоронить и опять бежать, прислуживать все утро тому, на кого она и глаз поднять не смела, для кого она, в безумной надежде понравиться, и заглядывалась-то в зеркальце.

Но сказка об аленьком цветочке кончилась скоро, очень скоро. Кончилась позором и стыдом, которому нет имени, как думала Наташка... Кончилась тем, что сам же Петр Петрович приказал остричь, обезобразить ее, принаряжавшуюся, сурьмившую брови перед зеркальцем, создавшую какую-то сладкую тайну, небывалую близость между ним и собой. Он сам открыл и превратил ее преступление в простое воровство, в глупую проделку дворовой девчонки, которую, в затрапезной рубахе, с лицом, опухшим от слез, на глазах всей дворни, посадили на невозную телегу и, опозоренную, внезапно оторванную от всего родного, повезли на какой-то неведомый, страшный хутор, в

степные дали. Она уже знала: там, на хуторе, она должна будет стеречь цыплят, индюшек и бахчи; там она спечется на солнце, забытая всем светом; там, как годы, будут долги степные дни, когда в зыбком мареве тонут горизонты и так тихо, так знойно, что спал бы мертвым сном весь день, если бы не нужно было слушать осторожный треск пересохшего гороха, домовитую возню насекомых в горячей земле, мирно-грустную переключку индюшек, не следить за набегающей сверху, жуткой тенью ястреба и не вскакивать, не кричать тонким протяжным голосом: «шу-у!..» Там, на хуторе, чего стоила одна старуха-хохлушка, получившая власть над ее жизнью и смертью и, верно, уже с нетерпением поджидавшая свою жертву! Единственное преимущество имела Наташка перед теми, которых везут на смертную казнь: возможность удавиться. И только одно это и поддерживало ее на пути в ссылку, конечно, вечную, как полагала она.

На пути из конца в конец уезда чего только она не насмотрелась! Да не до того ей было. Она думала или, скорее, чувствовала одно: жизнь кончена, преступление и позор слишком велики, чтобы надеяться на возвращение к ней! Пока еще оставался возле нее близкий человек, Евсей Бодуля. Но что будет, когда он сдаст ее с рук на руки хохлушке, переночует и уедет, навеки покинет ее в чужой стороне? Наплакавшись, она захотела есть. И Евсей, к удивлению ее, взглянул на это очень просто и, закусывая, разговаривал с ней так, как будто ничего не случилось. А потом она заснула — и очнулась уже в городе. И город поразил ее только скукой, сухью, духотой да еще чем-то смутно-страшным, тоскливым, что похоже было на сон, который не расскажешь. Запомнилось за этот день только то, что очень жарко летом в степи, что бесконечнее летнего дня и длиннее больших дорог нет ничего на свете. Запомнилось, что есть места на городских улицах, выложенные камнями, по которым престранно гремит телега, что издали пахнет город железными крышами, а среди площади, где отдыхали и кормили лошадей, возле пустых под вечер «обжорных» навесов, — пылью, дегтем, гниющим сеном, клоки которого, перебитые с конским навозом, остаются на стоянках мужиков. Евсей отпряг и поставил лошадь к телеге, к корму; сдвинул на затылок горячую шапку, вытер рукавом пот и, весь черный от зноя, ушел в харчевню. Он строго-настрого приказал Наташке «поглядывать» и, в случае чего, кричать на всю площадь. И Наташка сидела, не двигаясь, не сводила глаз с купола тогда только что построенного собора, огромной серебряной звездой горевшего где-то далеко за домами, — сидела до тех пор, пока не вернулся жующий, повеселевший Евсей и не стал, с калачом подмышкой, снова заводить лошадь в оглобли.



— Припоздали мы с тобой, королевшна, маленько! — оживленно бормотал он, обращаясь не то к лошади, не то к Наташке. — Ну, да авось не удавят! Авось не на пожар... Я и назад гнать не стану, — мне, брат, барская лошадь подороже твоего хайла, — говорил он, уже разумея Демьяна. — Разинул хайло: «Ты у меня смотри! Я, в случае чего, догляжусь, что у тебя в портках-то...» А-ах! — думаю... Взяла меня обида поперек живота! С меня, мол, господа, и те еще не спускали порток-то... не тебе чета, чернонёбому. — «Смотри!» — А чего мне смотреть? Авось, не дурей тебя. Захочу — и совсем не ворочусь: девку доправлю, а сам перехрещусь да потуда меня и видели... Я и на девку-то дивуюсь: чего, дура, затужила? Ай свет клином сошелся? Пойдут чумаки либо старчики какие мимо хутора — только слово сказать: в один мент за Ростовым-батюшкой очутишься... А там, и поминай как звали!

И мысль: «удавлюсь» — сменилась в стриженной голове Наташки мыслью о бегстве. Телега заскрипела и закачалась. Евсей смолк и повел лошадь к колодцу среди площади. Там, откуда приехали, опускалось солнце за большой монастырский сад, и окна в желтом остроге, что стоял против монастыря, через дорогу, сверкали золотом. И вид острога на минуту еще больше возбудил мысль о бегстве. Вона, и в бегах живут! Только вот говорят, что старчики выжигают ворованным девкам и ребятам глаза кипяченым молоком и выдают их за убогеньких, а чумаки завозят к морю и продают нагайцам... Случается, что и ловят господа своих беглых, забивают их в кандалы, в острог сажают... Да авось и в остроге не быки, а мужики, как говорит Герваська!

Но окна в остроге гасли, мысли путались, — нет, бежать еще страшнее, чем удавиться! Да смолк, отрезвел и Евсей.

— Припоздали, девка, — уже беспокойно говорил он, вскакивая боком на грядку телеги.

И телега, выбравшись на шоссе, опять затряслась, забилась, шибко загремела по камням... «Ах, лучше-то всего было бы назад повернуть ее, — не то думала, не то чувствовала Наташка, — повернуть, доскакать до Суходола — и упасть господам в ноги!» Но Евсей погонял. Звезды за домами уже не было. Впереди была белая голая улица, белая мостовая, белые дома — и все это замыкалось огромным белым собором под новым бело-жестяным куполом, и небо над ним стало бледнее, сухое. А там, дома, в это время уже роса падала, сад благоухал свежестью, пахло из топившейся поварской; далеко за равнинами хлебов, за серебристыми тополями на окраинах сада, за старой заветной баней догорала заря, а в гостиной были открыты двери на балкон, алый свет мешался с сумраком в углах, и желто-смуговая, черноглазая, дохожая и на дедушку и

на Петра Петровича барышня поминутно оправляла рукава легкого и широкого платья из оранжевого шелка, пристально смотрела в ноты, сидя спиной к заре, ударяя по желтым клавишам, наполняя гостиную торжественно-певучими, сладостно-отчаянными звуками полонеза Огинского и как будто не обращая никакого внимания на стоявшего за нею офицера — приземистого, темноликого, подпиравшего талию левой рукою и сосредоточенно-мрачно следившего за ее быстрыми руками...

«У ней — свой, а у меня — свой», — не то думала, не то чувствовала Наташка в такие вечера с замиранием сердца и бежала в холодный, росистый сад, забивалась в глушь крапивы и остро пахнущих сырых лопухов и стояла, ждала несбыточно-го, — того, что сойдет с балкона барчук, пойдет по аллее, увидит ее и, внезапно свернув, приблизится к ней быстрыми шагами — и она не проронит от ужаса и счастья ни звука...

А телега гремела. Город был вокруг, жаркий и вонючий, тот самый, что представлялся прежде чем-то волшебным. И Наташка с болезненным удивлением глядела на разряженный народ, идущий взад и вперед по камням возле домов, ворот и лавок с раскрытыми дверями... «И зачем поехал тут Евсей, — думала она, — как решился он греметь тут телегой?»

Но проехали мимо собора, стали спускаться к мелкой реке по ухабыстым пыльным косогорам, мимо черных кузниц, мимо гнилых мещанских лачуг... Опять знакомо запахло пресной теплой водой, илом, полевой вечерней свежестью. Первый огонек блеснул вдали, на противоположной горе, в одиноком домишке близ шлагбаума... Вот и совсем выбрались на волю, переехали мост, поднялись к шлагбауму — и глянула в глаза каменная, пустынная дорога, смутно белеющая и убегающая в бесконечную даль, в синь степной свежей ночи. И лошадь пошла мелкой рысцой, а миновав шлагбаум, и совсем шагом. И опять стало слышно, что тихо, тихо ночью и на земле и в небе, — только где-то далеко плачет колокольчик. Он плакал все слышнее, все певучее — и слился наконец с дружным топотом тройки, с ровным стуком бегущих по шоссе и приближающихся колес... Тройкой правил вольный молодой ямщик, а в бричке, уткнувши подбородок в шинель с капюшоном, сидел офицер. Поравнявшись с телегой, на мгновение поднял он голову — и вдруг увидела Наташка красный воротник, черные усы, молодые глаза, блеснувшие под каской, похожей на ведерко... Она вскрикнула, помертвела, потеряла сознание...

Озарил ее безумная мысль, что это Петр Петрович, и, по той боли и нежности, которая молнией прошла ее нервное дворовое сердце, она вдруг поняла, чего она лишилась: близости к нему... Евсей кинулся поливать ее стриженую, отвалившуюся голову водой из дорожного жбана.

Тогда она очнулась от приступа тошноты — и торопливо перекинула голову за грядку телеги. Евсей торопливо подложил под ее холодный лоб ладонь...

А потом, облегченная, озябнувшая, с мокрым воротом, легла она на спине и смотрела на звезды. Перепугавшийся Евсей молчал, думая, что она уснула, — только головой покачивал, — и погонял, погонял. Телега тряслась и убегала. А девочке казалось, что у нее нет тела, что теперь у нее — одна душа. И душе этой было «так хорошо, ровно в царстве небесном»...

Аленьким цветочком, расцветшим в сказочных садах, была ее любовь. Но в степь, в глушь, еще более заповедную, чем глушь Суходола, увезла она любовь свою, чтобы там, в тишине и одиночестве, побороть первые, сладкие и жгучие муки ее, а потом надолго, навеки, до самой гробовой доски схоронить ее в глубине своей суходольской души.

## VI

Любовь в Суходоле необычна была. Необычна была и ненависть.

Дедушка, погибший столь же нелепо, как и убийца его, как и все, что гибли в Суходоле, был убит в том же году. На Покров, престольный праздник в Суходоле, Петр Петрович назвал гостей — и очень волновался: будет ли предводитель, давший слово быть? Радостно, неизвестно чему волновался и дедушка. Предводитель приехал — и обед удался на славу. Было и шумно и весело, дедушке — веселее всех. Рано утром второго октября его нашли на полу в гостиной мертвым.

Выйдя в отставку, Петр Петрович не скрыл, что он жертвует собою ради спасения чести Хрущевых, родового гнезда, родовой усадьбы. Не скрыл, что хозяйство он «поневоле» должен взять в свои руки. Должен и знакомства завести, дабы общаться с наиболее просвещенными и полезными дворянами уезда, а с прочими — просто не порывать отношений. И сначала все в точности исполнял, посетил даже всех мелкопоместных, даже хутор тетушки Ольги Кирилловны, чудовищно толстой старухи, страдавшей сонной болезнью и чистившей зубы нюхательным табаком. К осени уже никто не дивился, что Петр Петрович правит именем единовластно. Да он и вид имел уже не красавчика-офицера, приехавшего на побывку, а хозяина, молодого помещика. Смущаясь, он не заливался таким темным румянцем, как прежде. Он выхолился, пополнел, носил дорогие архаики, маленькие ноги свои баловал красными татарскими туфлями, маленькие руки украшал кольцами с бирюзой. Аркадий Петрович стеснялся смотреть в его карие глаза, не знал, о чем

с ним говорить, первое время во всем уступал ему и пропадал на охоте.

На Покров Петр Петрович хотел очаровать всех до единого своим радушием, да и показать, что именно он первое лицо в доме. Но ужасно мешал дедушка. Дедушка был блаженно счастлив, но бестактен, болтлив и жалок в своей бархатной шапочке с мощей и в новом, не в меру широком синем казакине, сшитом домашним портным. Он тоже вообразил себя радужным хозяином и суетился с раннего утра, устраивая какую-то глупую церемонию из приема гостей. Одна половинка дверей из прихожей в залу никогда не открывалась. Он сам отодвинул железные задвижки и внизу и вверху, сам придвигал стул и, весь трясясь, влезал на него; а, распахнув двери, стал на порог и, пользуясь молчанием Петра Петровича, замиравшего от стыда и злобы, но решившегося все претерпеть, не сошел с места до приезда последнего гостя. Он не сводил глаз с крыльца, — и на крыльцо пришлось отворить двери, этого тоже будто бы требовал какой-то старинный обычай, — топтался от волнения, завидя же входящего, кидался к нему навстречу, торопливо делал па, подпрыгивал, кидая ногу за ногу, отвешивал низкий поклон и, захлебываясь, всем говорил:

— Ну, как я рад! Как я рад! Давненько ко мне не жаловали! Милости прошу, милости прошу!

Бесило Петра Петровича и то, что дедушка всем и каждому зачем-то докладывал об отъезде Тонечки в Лунево, к Ольге Кирилловне. «Тонечка больна тоской, уехала к тетеньке на всю осень» — что могли думать гости после таких непрошенных заявлений? Ведь история с Войткевичем, конечно, уже всем была известна. Войткевич, может статься, и впрямь имел серьезные намерения, загадочно вздыхая возле Тонечки, играя с ней в четыре руки, глухим голосом читая ей «Людмилу» или говоря в мрачной задумчивости: «Ты мертвецу святыней слова обручена...» Но Тонечка бешено вспыхивала при каждой его даже самой невинной попытке выразить свои чувства, — поднести, например, ей цветок, — и Войткевич внезапно уехал. Когда же уехал, Тонечка стала не спать по ночам, в темноте сидеть возле открытого окна, точно поджидая какого-то известного ей срока, чтобы вдруг громко зарыдать — и разбудить Петра Петровича. Он долго лежал, стиснув зубы, слушая эти рыдания да мелкий, сонный лепет тополей за окнами в темном саду, похожий на непрерывный дождик. Затем шел успокаивать. Шли успокаивать и заспанные девки, иногда тревожно прибежал дедушка. Тогда Тонечка начинала топтать ногами, кричать: «Отвяжитесь от меня, враги мои лютые!» — и дело кончалось безобразной бранью, чуть не дракой.

— Да пойми же ты, пойми, — бешено шипел Петр Петрович,

выгнав вон девку, бабушку, захлопнув дверь и крепко ухватясь за скобку, — пойми, змея, что могут вообразить!

— Ай! — неистово взвизгивала Тонечка. — Папенька, он кричит, что я брюхата!

И, вцепившись себе в голову, Петр Петрович кидался вон из комнаты.

Очень тревожил на Покров и Герваська: как бы не нагрубил при каком-нибудь неосторожном слове.

Герваська страшно вырос. Огромный, нескладный, но и самый видный, самый умный из слуг, он тоже был наряжен в синий казакин, такие же шаровары и мягкие козловые сапоги без каблуков. Гарусный лиловый платок повязывал его тонкую темную шею. Черные, сухие, крупные волосы он причесал на косой ряд, но остричься под польку не пожелал — подрубил их в кружок. Брить было нечего, только два-три редких и жестких завитка чернело на его подбородке и по углам большого рта, про который говорили: «рот до ушей, хоть завязочки пришей». Будылястый, очень широкий в плоской костлявой груди, с маленькой головою и глубокими орбитами, тонкими пепельно-синими губами и крупными голубоватыми зубами, он, этот древний ариец, парс из Суходола, уже получил кличку: борзой. Глядя на его оскал, слушая его покашливания, многие думали: «А скоро ты, борзой, издохнешь!» Вслух же, не в пример прочим, величали молокососа Гервасием Афанасьевичем.

Боялись его и господа. У господ было в характере то же, что у холопов: или властвовать, или бояться. За дерзкий ответ бабушке в день приезда Петра Петровича Герваське, к удивлению двора, ровно ничего не было. Аркадий Петрович сказал ему кратко: «Положительно скотина ты, брат!» — на что и ответ получил очень краткий: «Терпеть его не могу я, сударь!» А к Петру Петровичу Герваська сам пришел: стал на порог и, по своей манере, развязно осев на свои несоразмерно с туловищем длинные ноги в широчайших шароварах, углом выставив левое колено, попросил, чтобы его выпороли.

— Очень я грубиян и горячий, сударь, — сказал он безразлично, играя черными глазами.

И Петр Петрович, почувствовав в слове «горячий» намек, струсил.

— Успеется еще, голубчик! Успеется! — притворно-строго крикнул он. — Выйди вон! Я тебя, дерзкого, видеть не могу.

Герваська постоял, помолчал. Потом сказал:

— Есть на то воля ваша.

Постоял еще, крутя жесткий волос на верхней губе, поскалил по-собачьи голубоватые челюсти, не выражая на лице ни единого чувства, и вышел. Твердо убедился он с тех пор в выгоде этой манеры — ничего не выражать на лице и быть как

можно более кратким в ответах. А Петр Петрович стал не только избегать разговоров с ним, но даже в глаза ему смотреть.

Так же безразлично, загадочно держался Герваська и на Покров. Все сбилось с ног, готовясь к празднику, отдавая и принимая распоряжения, ругаясь, споря, моя полы, чистя синеющим мелом темное тяжелое серебро икон, поддавая ногами лезущих в сенцы собак, боясь, что не застынет желе, что не хватит вилок, что пережарятся налевашники, хворостики; один Герваська спокойно ухмылялся и говорил бесившемуся Казимиру, алкоголику повару: «Потише, отец дьякон, подрясник лопнет!»

— Смотри не напейся, — рассеянно, волнуясь из-за предводителя, сказал Герваське Петр Петрович.

— С отроду не пил, — как равному кинул ему Герваська. — Не антересно.

И потом, при гостях, Петр Петрович даже заискивающе кричал на весь дом:

— Гервасий! Не пропадай ты, пожалуйста. Без тебя как без рук.

А Герваська вежливейше и с достоинством отзывался:

— Не извольте, сударь, беспокоиться. Не посмею отлучиться.

Он служил, как никогда. Он вполне оправдывал слова Петра Петровича, вслух говорившего гостям:

— До чего дерзок этот дылда, вы и представить себе не можете! Но положительно гений! Золотые руки!

Мог ли он предположить, что роняет в чашу именно ту каплю, которая переполнит ее? Дедушка услышал его слова. Он затеребил на груди казакин и вдруг через весь стол закричал предводителю:

— Ваше превосходительство! Подайте руку помощи! Как к отцу, прибегаю к вам с жалобой на слугу моего! Вот на этого, на этого — на Гервасия Афанасьева Куликова! Он на каждом шагу уничтожает меня! Он...

Его прервали, уговорили, успокоили. Взволновался дедушка до слез, но его стали успокаивать так дружно и с таким почтением, конечно насмешливым, что он сдался и почувствовал себя опять детски-счастливым. Герваська стоял у стены строго, с опущенными глазами и слегка поворотив голову. Дедушка видел, что у этого великана чересчур мала голова, что она была бы еще меньше, если бы остричь ее, что затылок у него острый и что особенно много волос именно на затылке, — крупных, черных, грубо подрубленных и образующих выступ над тонкой шеей. От загара, от ветра на охоте темное лицо Герваськи местами шелушилось, было в бледнолиловых пятнах. И дедушка со страхом и тревогой кидал взгляды на Герваську, но все-таки радостно кричал гостям:

— Хорошо, я прощаю его! Только за это я не отпущу вас, дорогие гости, целых три дня. Ни за что не отпущу! Особливо же прошу, не уезжайте на вечер. Как дело на вечер, я сам не свой: такая тоска, такая жуть! Гучки заходят, в Трошном лесу, говорят, опять двух французов бонапартишкиных поймали... Я беспременно помру вечером,— попомните мое слово! Мне Мартын Задека предрекал...

Но умер он рано утром.

Он настоял-таки: «ради него» много народу осталось ночевать; весь вечер пили чай, варенья было страшно много и все разное, так что можно было подходить и пробовать, подходить и пробовать; затем наставили столов, зажгли столько спермацетовых свечей, что они отражались во всех зеркалах, и по комнатам, полным дыма душистого жуковского табаку, шума и говора, был золотистый блеск, как в церкви. Главное же, многие ночевать остались. И, значит, впереди был не только новый веселый день, но и большие хлопоты, заботы: ведь если бы не он, не Петр Кириллыч, никогда не сошел бы так отлично праздник, никогда не было бы такого оживленного и богатого обеда.

«Да, да,— волнуясь, думал дедушка ночью, скинув казак и стоя в своей спальне перед аналоем, перед зажженными на нем восковыми свечечками, глядя на черный образ Меркурия.— Да, да, смерть грешнику люта... Да не зайдет солнце в гнев нашем!»

Но тут он вспомнил, что хотел подумать что-то другое; горбясь и шепча пятидесятый псалом, прошелся по комнате, поправил тлевшую на ночном столике курительную монашку, взял в руки псалтырь и, развернув, снова с глубоким, счастливым вздохом поднял глаза на безглавого святого. И вдруг напал на то, что хотел подумать, и засиял улыбкой:

— Да, да: есть старик — убил бы его; нет старика — купил бы его!

Боясь проспать, не распорядиться о чем-то, он почти не спал. А рано утром, когда в комнатах, еще не убранных и пахнущих табаком, стояла та особенная тишина, что бывает только после праздника, осторожно, на босу ногу вышел он в гостиную, заботливо поднял несколько мелков, валявшихся у раскрытых зеленых столов, и слабо ахнул от восторга, взглянув на сад за стеклянными дверями: на яркий блеск холодной лазури, на серебро утренняя, покрывшего и балкон и перилы, на коричневую листву в голых зарослях под балконом. Он отворил дверь и потянул носом: еще горько и спиртуозно пахло из кустов осенним тлением, но этот запах терялся в зимней свежести. И все было неподвижно, успокоенно; почти торжественно. Чуть показавшееся сзади, за деревней, солнце озарило вершины картинной аллеи, полуголых, осыпанных редким и мелким

золотом, белоствольных берез, и прелестный, радостный, неуловимо-лиловатый тон был в этих белых с золотом вершинах, сквозивших на лазури. Пробежала собака в холодной тени под балконом, хрустя по сожженной морозом и точно солью осыпанной траве. Хруст этот напомнил зиму — и, с удовольствием передернув плечами, дедушка вернулся в гостиную и, затаивая дыхание, стал передвигать, расставлять тяжелую, рычащую по полу мебель, изредка поглядывая в зеркало, где отражалось небо. Вдруг неслышно и быстро вошел Герваська — без казачки, заспанный, «злой, как черт», как он сам же про себя рассказывал потом.

Он вошел и строго крикнул шопотом:

— Тише ты! Чего лезешь не в свое дело?

Дедушка поднял возбужденное лицо и, с той жежностью, которая не покидала его весь вчерашний день и всю ночь, шопотом ответил:

— Вот видишь, какой ты, Гервасий! Я простил тебя вчерась, а ты, вместо благодарности барину...

— Надоел ты мне, слюнтяй, хуже оосени! — перебил Герваська. — Пусти.

Дедушка со страхом взглянул на его затылок, еще более выступавший теперь над тонкой шеей, торчавшей из ворота белой рубахи, но вспыхнул и загородил собою ломберный стол, который хотел тащить в угол.

— Ты пусти! — мгновение подумав, негромко крикнул он. — Это ты должен уступить барину. Ты доведешь меня: я тебе кинжал в бок всажу!

— А! — досадливо сказал Герваська, блеснув зубами, и наотмашь ударил его в грудь.

Дедушка поскользнулся на гладком дубовом полу, взмахнул руками — и как раз виском ударился об острый угол стола.

Увидя кровь, бессмысленно-раскосившиеся глаза и разинутый рот, Герваська сорвал еще с теплой дедушкиной шеи золотой образок и ладанку на заношенном шнуре... оглянулся, сорвал и бабушкино обручальное кольцо с мизинца... Затем неслышно и быстро вышел из гостиной — и как в воду канул.

Единственным человеком из всего Суходола, видевшим его после этого, была Наталья.

## VII

Пока жила она в Сошках, произошло в Суходоле еще два крупных события: женился Петр Петрович и отправились братья «Охотниками» в Крымскую кампанию.

Вернулась она только через два года: о ней забыли. И, вернувшись, не узнала Суходола, как не узнал ее и Суходол.



В тот летний вечер, когда телега, присланная с барского двора, закрипела возле хуторской хаты и Наташка выскочила на порог, Евсей Бодуля удивленно воскликнул:

— Ужли это ты, Наташка?

— А то кто же? — ответила Наташка с чуть заметной улыбкой.

И Евсей покачал головою:

— Добрё ты не хороша-то стала!

А стала она только не похожа на прежнюю: из стриженной девчонки, круглолицой и ясноглазой, превратилась в невысокую, худошавую, стройную девку, спокойную, сдержанную и ласковую. Она была в плахте и вышитой сорочке, хотя покрыта темным платочком по-нашему, немного смугла от загара и вся в мелких веснушках цвета проса. А Евсею, истому суходольцу, и темный платок, и загар, и веснушки, конечно, казались некрасивыми.

На пути в Суходол Евсей сказал:

— Ну, вот, девка, и невестой ты стала. Хочется замуж-то?

Она только головой помотала:

— Нет, дядя Евсей, никогда не пойду.

— Это с какой же радости? — спросил Евсей и даже трубку изо рта вынул.

И не спеша она пояснила: не всем же замужем быть; отдадут ее, верно, барышне, а барышня обрекла себя богу и, значит, замуж ее не пустит; да и сны уж очень явственные снились ей не раз...

— Что ж ты видела? — спросил Евсей.

— Да так, пустое, — сказала она. — Напугал меня тогда Герваська до смерти, наговорил новостей, раздумалась я... Ну, вот и снилось.

— А ужли правда, завтракал он у вас, Герваська-то?

Наташка подумала:

— Завтракал. Пришел и говорит: пришел я к вам от господ по большому делу, только дайте сперва поесть мне. Ему и накрыли, как путному. А он наелся, вышел из избы и мне моргнул. Я выскочила, он рассказал мне за углом все дочиста, да и пошел себе...

— Да что ж ты хозяев-то не кликнула?

— Эко-ся. Он убить пригрозил. До вечера не велел сказывать. А им сказал, — спать под анбар иду...

В Суходоле с большим любопытством глядела на нее вся дворня, приставали с расспросами подруги и сверстницы по девичьей. Но и подругам отвечала она все так же кратко и точно любясь какой-то ролью, взятой на себя.

— Хорошо было, — повторяла она.

А раз сказала тоном богомолки:

— У бога всего много. Хорошо было.

И просто, без промедлений вступила в рабочую, будничную жизнь, как бы совсем не дивясь тому, что нет бабушки, что ушли молодые господа на войну «Охотниками», что барышня «тронувшая» и бродит по комнатам, подражая бабушке, что правит Суходолом новая, всем чужая барыня,— маленькая, полная, очень живая, беременная...

Барыня крикнула за обедом:

— Позовите же сюда эту... как ее? — Наташку.

И Наташка быстро и неслышно вошла, перекрестилась, поклонилась в угол, образам, потом барыне и барышне — и стала, ожидая вопросов и приказаний. Расспрашивала, конечно, только барыня,— барышня, очень выросшая, похудевшая, остроносая, глядя своими неправдоподобно-черными глазами пристально-тупо, ни слова не проронила. Барыня же и определила ее состоять при барышне. И она поклонилась и просто сказала:

— Слушаю-с.

Барышня, глядя все так же внимательно-равнодушно, внезапно кинулась на нее вечером и, яростно раскосив глаза, жестоко и с наслаждением изорвала ей волосы — за то, что она неумело дернула с ее ноги чулок. Наташка по-детски заплакала, но смолчала; а выйдя в девичью, сев на коник и выбирая вырванные волосы, даже улыбнулась сквозь висевшие на ресницах слезы.

— Ну, люта-а! — сказала она.— Трудно мне будет.

Барышня, проснувшись утром, долго лежала в постели, а Наташка стояла у порога и, опустив голову, искоса поглядывала на ее бледное лицо.

— Что ж видела во сне? — спросила барышня так равнодушно, точно кто-то другой говорил за нее.

Она ответила:

— Кажись, ничего-с.

И тогда барышня, опять так же внезапно, как вчера, вскочила с постели, бешено запустила в нее чашку с чаем и, упав на постель, горько, с криком зарыдала. От чашки Наташка увернулась — и вскоре научилась увертываться с необыкновенной ловкостью. Оказалось, что глупым девкам, отвечавшим на вопрос о снах: «ничего-с не видала» — барышня кричала иногда: «Ну, полги что-нибудь!» Но так как лгать Наташка была не мастерица, то и пришлось ей развивать в себе другое умение: увертываться.

Наконец к барышне привезли лекаря. Лекарь дал много пилюль, капель. Боясь, что ее отравят, барышня заставила перепробовать эти пилюли и капли Наташку — и та без отказа перепробовала их все подряд. Вскоре после приезда узнала она,

что барышня ждала ее «как света белого»: барышня-то и вспомнила о ней — все глаза проглядела, не едут ли из Сошек, горячо уверяла всех, что будет совсем здорова, как только вернется Наташка. Наташка вернулась — и встречена была совершенно равнодушно. Но не были ли слезы барышни слезами горького разочарования? У Наташки дрогнуло сердце, когда она сообразила все это. Она вышла в коридор, села на рундук и опять заплакала.

— Что ж, лучше тебе? — спросила барышня, когда она вошла к ней потом с опухшими глазами.

— Лучше-с,— шопотом сказала Наташка, хотя от лекарств у нее замирало сердце и кружилась голова, и, подойдя, горячо поцеловала руку барышни.

И долго после того ходила с опущенными ресницами, боясь поднять их на барышню, умиленная жалостью к ней.

— У, хохлушка подколотная! — крикнула раз одна из подруг ее по девичьей, Солошка, чаще всех пытавшаяся стать наперсницей всех тайн и чувств ее и постоянно натывавшаяся на краткие, простые ответы, исключавшие всякую прелесть девичьей дружбы.

Наташка грустно усмехнулась.

— А что ж,— сказала она задумчиво.— И то правда. С кем поведешься, от того и наберешься. Я иной раз по отцу-матери не жалкую так-то, как по хохлам своим...

В Сошках она сперва совсем не придавала значения тому новому, что окружало ее. Приехали под утро — и странным показалось ей в это утро только то, что хата очень длинна и бела, далеко видна среди окрестных равнин, что хохлушка, топившая печь, поздоровалась приветливо, а хохол не слушал Евсея. Евсей молчал без умолку — и о господах, и о Демьяне, и о жаре в пути, и о том, что ел он в городе, и о Петре Петровиче, и, уж конечно, о зеркальце,— а хохол Шарый, или, как звали его в Суходоле, Барсук, только головой мотал и вдруг, когда Евсей смолк, рассеянно глянул на него и превесело занял под нос: «Круть, верть, метелиця»... Потом стала она понемногу приходить в себя — и дивоваться на Сошки, находить в них все больше прелести и несходства с Суходолом. Одна хата хохлацкая чего стоила — ее белизна, ее гладкая, ровная, очеретёная крыша. Как богато казалось в этой хате внутреннее убранство по сравнению с неряшливым убожеством суходольских изб! Какие дорогие фольговые образа висели в углу ее, что за дивные бумажные цветы окружали их, как красиво пестрели полотенца, висевшие над ними! А узорчатая скатерть на столе! А ряды сизых горшков и махоточек на полках возле печи! Но удивительнее всего были хозяева.

Чем они удивительны, она не совсем понимала, но чувство-

вала постоянно. Никогда еще не видала она таких опрятных, спокойных и ладных мужиков, как Шарый. Был он невысок, голу ему клином, стриженую, в густом крепком серебре, усы, — он только усы носил, — тоже серебряные, узкие, татарские, лицо и шею черные от загара, в глубоких морщинах, но тоже каких-то ладных, определенных, нужных почему-то. Ходил он не ловко, — тяжелы были его сапоги, — в сапоги заправлял порты из грубого беленого холста, в порты — такую же рубаху, широкую подмышками, с отложным воротом. На ходу гнулся слегка. Но ни эта манера, ни морщины, ни седины не старили его: не было ни усталости нашей, ни вялости в его лице; небольшие глаза глядели остро, тонко-насмешливо. Старика-серба, откуда-то заходившего однажды в Суходол с мальчиком, игравшим на скрипке, напомнил он Наташке.

А хохлушку Марину суходольцы прозвали Копьем. Стройна была эта высокая пятидесятилетняя женщина. Желтоватый загар ровно покрывал тонкую, не суходольскую кожу ее широкоскулого лица, грубоватого, но почти красивого своей прямою и строгой живостью глаз — не то агатовых, не то янтарно-серых, менявшихся, как у кошки. Высоким тюрбаном лежал на ее голове большой черно-золотой, в красном горошке, платок; черная, короткая плахта, резко оттенявшая белизну сорочки, плотно облегла удлиненные бедра и голени. Обувалась она на босу ногу, в башмаки с подковками, голые берцы ее были тонки, но округлы, стали от солнца как полированное желто-коричневое дерево. И когда она порою пела за работой, сдвинув брови, сильным грудным голосом, песню об осаде неверными Почеава, о том —

Як зійшла зоря вечірова,  
Та над Почеаевою стала,

как сама божья мать святой монастырь «рятувала», в голосе ее было столько безнадежности, завывания, но вместе с тем столько величия, силы, угрозы, что Наташка не спускала в жутком восторге глаз с нее.

Детей хохлы не имели; Наташка была сирота. И живи она у суходольцев, звали бы ее дочкой приемной, а порой и воровкой, то жалели бы ее, то глаза кололи. А хохлы были почти холодны, но ровны в обращении, совсем не любопытны и не многоречивы. Осенью пригоняли на косьбу, на молотьбу калужских баб и девок, которых звали за их пестрые сарафаны «распашонками». Но распашонку Наташка чуждалась: слыли они распутными, дурноболезными, были грудасты, охальны и дерзки, ругались скверно и с наслаждением, прибаутками так и сыпали, на лошадь садились по-мужичьи, скакали как угорелые. Рассеялось бы ее горе в привычном быту, в откровенностях, в

слезах и песнях. Да с кем было откровенничать или песни петь? Распашонки затягивали своими грубыми голосами, подхватывали их не в меру дружно и зычно, с ёканьем и свистом. Шарый пел только насмешливо-плясовое что-то. А Марина в своих песнях, даже любовных, была строга, горда и задумчиво-сумрачна.

В кінці греблі шумлять верби,  
Що я посадила,—

тоскливо-протяжно рассказывала она — и прибавляла, понижая голос, твердо и безнадежно:

Нема мого  
Миленького,  
Що я полюбила..

И в одиночестве, медленно испила Наташка первую, горько-сладкую отраву неразделенной любви, перестрадала свой стыд, ревность, страшные и милые сны, часто снявшиеся ей по ночам, несбыточные мечты и ожидания, долго томившие ее в молчаливые степные дни. Часто жгучая обида сменялась в ее сердце нежностью, страсть и отчаяние — покорностью, желанием самого скромного, незаметного существования близ *него*, любви, навеки скрытой от всех и ничего не ждущей, ничего не требующей. Вести, новости, доходившие из Суходола, отрезвляли. Но не было долго вестей, не было ощущения будничной суходольской жизни — и начинал казаться Суходол таким прекрасным, таким желанным, что не хватало сил терпеть одиночество и горе... Вдруг явился Герваська. Он торопливо-резко выкинул ей все суходольские новости, в полчаса рассказал то, чего другой не сумел бы и в день рассказать, — вплоть до того, как он на смерть «толкнул» деда, и твердо сказал:

— Ну, а теперь прощай до веку!

Он, прожигая ее, ошеломленную, своими глазами, крикнул, выходя на дорогу:

— А дурь из головы пора вон выбить! Он вот-вот женится, ты ему и в любовницы не годишься... Образумься!

И она образумилась. Пережила страшные новости, пришла в себя — и образумилась.

Дни потянулись после того мерно, скучно, как те богомолки, что шли и шли по шоссе мимо хутора, вели, отдыхая, долгие беседы с ней, учили терпению да надежде на господа бога, имя которого произносилось тупо, жалобно, а пуше всего правилу: не думать.

— Думай, не думай — по-нашему не будет, — говорили богомолки, перевязывая лапти, морща измученные лица и ослабленно глядя в степную даль. — У господа бога всего много... Сорви-ка ты нам, деушка, лучку украдкой...

А иные, как водится, и страшали — грехами, тем светом, сулили еще и не такие беды и страхи. И однажды приснилось ей чуть не подряд два ужасных сна. Все думала она о Суходоле, — трудно было сначала не думать-то! — думала о барышне, о дедушке, о своем будущем, гадала, выйдет ли она замуж, и если выйдет, то когда, за кого... Думы так незаметно перешли однажды в сон, что совершенно явственно увидала она предвечернее время знойного, пыльного, тревожно-ветреного дня и то, что бежит она на пруд с ведрами — и вдруг видит на глинисто-сухом косогоре безобразного, головастого мужика-карлика в разбитых сапогах, без шапки, со всклокоченными ветром рыжими кудлами, в распоясанной, развевающейся огненно-красной рубахе. «Дедушка! — крикнула она в тревоге и ужасе. — Ай пожар?» — «До шпенту все слетит сейчас! — тоже криком, заглушаемым горячим ветром, отозвался карлик. — Туча идет несказанная! И думать не моги замуж собираться!..» — А другой сон был и того страшнее: стояла она будто бы в полдень в жаркой пустой избе, припертая кем-то снаружи, замирала, ждала чего-то — и вот выпрыгнул из-за печки громадный серый козел, вскинулся на дыбы — и прямо к ней, непристойно возбужденный, с горящими, как уголья, радостно-бешеными и молящими глазами. «Я твой жених!» — крикнул он человеческим голосом, быстро и неловко подбегая, мелко топоча маленькими задними копытцами — и с размаху упал ей на грудь передними...

Вскакивая после таких снов на своей постели в сенцах, чуть не умирала она от сердцебиения, от страха темноты и мысли, что не к кому кинуться ей.

— Господи Иисусе, — скороговоркой шептала она. — Матушка царица небесная! Угодники божи!

Но оттого, что все угодники представлялись ей коричневыми и безглавыми, как Меркурий, делалось еще страшнее.

Когда же стала она обдумывать сны, то в голову стало приходить, что девичьи годы ее кончены, что судьба ее уже определена, — недаром выпало ей на долю нечто необычное, любовь к барину! — что ждут ее еще какие-то испытания, что надо подражать хохлам в сдержанности, а богомолкам — в простоте и смирении. И так как любят суходольцы играть роли, внушать себе непреложность того, что будто бы должно быть, хотя сами же они и выдумывают это должное, то взяла на себя роль и Наташка.

## VIII

У нее ноги отнялись от радости, когда, выскочив на порог накануне Петрова дня, поняла она, что Бодуля — за нею, когда увидала она запыленную, растрепанную суходольскую телегу, увидала рваную шапку на лохматой голове Бодули, его выцвет-

шую на солнце путаную бороду, его лицо, усталое и возбужденное, до времени состарившееся и безобразное, даже непонятное какое-то в убожестве и несоразмерности черт, увидела знакомого кобеля, тоже лохматого, имеющего какое-то сходство не только с Бодулей, но со всем Суходолом, — мутно-серого на спине, а спереди, с груди, с густо-опушенной шеи, точно прокопченного темным дымом курной избы. Но она быстро овладела собою. Бодуля по пути домой плел, что в голову влезет, о Крымской войне, то как будто радовался ей, то сокрушался, и Наташка рассудительно говорила:

— Что ж, видно, надобно окоротить их, французов-то...

Весь долгий день на пути к Суходолу прошел в жутком ощущении — смотреть новыми глазами на старое, знакомое, переживать, приближаясь к родному углу, прежнюю самое себя, замечать перемены, узнавать встречаемых. При повороте в Суходол с большой дороги, на парах, заросших сергибусом, бегал третьяк жеребенок: мальчишка, став на веревочный повод бо-сой ногой, уцепился за шею жеребенка и силился закинуть дру-гую на спину, а жеребенок не давался, бегал, тряс его. И На-ташка радостно взволновалась, признав в мальчишке Фомку Пантюхина. Повстречался столетний Назарушка, сидевший в пустой телеге уже не по-мужицки, а по-бабьи, — с прямо вытя-нутыми ногами, — с напряженно, высоко и слабо сильно подня-тыми плечами, с бесцветными, жалко-грустными глазами, ис-худевший до того, что «нечего в гроб положить», без шапки и в длинной ветхой рубахе, сизой от золы, от постоянного лежа-ния в печке. И опять содрогнулось сердце, — вспомнилось, как года три тому назад добрейший и беззаботнейший Аркадий Петрович хотел пороть этого Назарушку, пойманного на огоро-де с хвостиком редьки и плакавшего среди дворни, окружившей его, еле живого от страха, и с хохотом кричавшей:

— Нет, дед, не калянься: видно, уж придется подгузники скидывать! Не минуешь!

А как забилось сердце, когда увидела она выгон, ряд изб — и усадьбу: сад, высокую крышу дома, задние стены людских, амбаров, конюшен. Желтое ржаное поле, полное васильков, вплотную подходило к этим стенам, к бурьянам, татаркам; чей-то белый в коричневых пятнах теленок тонул среди овсов, стоял в них, объедая кисти. Все вокруг было мирно, просто, обычно — все необычнее, все тревожнее становилось только в ее уме, ко-торый и совсем помутился, когда шибко покатила телега по ши-рокому двору, белевшему спящими борзыми, как погост камня-ми, когда, впервые после двухлетнего пребывания в избе, во-шла она в прохладный дом, так знакомо пахнувший восковыми свечами, липовым цветом, буфетной, казацким седлом Аркадия Петровича, валявшимся на лавке в прихожей, опустевшими

перепелиными клетками, висевшими над окном, — и робко взглянула на Меркурия, перенесенного из дедушкиных покоев в угол прихожей...

Попржему весело озарен был сумрачный зал солнцем, светившим из сада в маленькие окна. Цыпленок, неизвестно зачем попавший в дом, сиротливо пищал, бродя по гостиной. Липовый цвет сох и благоухал на горячих, ярких подоконниках... Казалось, — все старое, что окружало ее, помолодело, как всегда бывает это в домах после покойника. Во всем, во всем — и особенно в запахе цветов — чувствовалась часть ее собственной души, ее детства, отрочества, первой любви. И жаль было выросших, умерших, изменившихся — самое себя, барышню. Выросли ее сверстники и сверстницы. Многие старики и старухи, качавшие от дряхлости головами и порою тупо выглядывавшие с порогов людских на мир божий, навсегда исчезли из этого мира. Исчезла Дарья Устиновна. Исчез дедушка, так по-детски боявшийся смерти, думавший, что смерть будет овладевать им медленно, приготавливая его к страшному часу, и так неожиданно, молниеносно скошенный ее косою. И не верилось, что нет его, что под могильным бугром возле церкви села Черкизова истлел именно он. Не верилось, что эта черная, худая, востроносая женщина, то равнодушная, то бешеная, то тревожно-болтливая и откровенная с ней, как с равной, то вырывающая ей волосы, — барышня Тонечка. Непонятно было, почему хозяйствует в доме какая-то Клавдия Марковна, маленькая, крикливая, с черными усиками... Раз робко заглянула Наташка в ее спальню, увидала роковое зеркальце в серебряной оправе — и сладостно прихлынули к ее сердцу все ее прежние страхи, радости, нежность, ожидание стыда и счастья, запах росистых лопухов на вечерней заре... Но все чувства, все помыслы затаивала, подавляла она в себе. Старая, старая суходольская кровь текла в ней! Слишком пресный хлеб ела она с того суглинка, что окружал Суходол. Слишком пресную воду пила из тех прудов, что изрыли ее деды в русле иссякнущей речки. Не пугали ее изнуряющие будни — пугало необычное. Не страшила даже смерть; но в трепет приводили сны, ночная темнота, буря, гром и — огонь. Как ребенка под сердцем, носила она смутное ожидание каких-то неминуемых бед...

Это ожидание старило ее. Да и неустанно внушала она себе, что молодость миновала, во всем искала доказательства тому. И не сровнялось года с приезда ее в Суходол, как уже следа не осталось от того молодого чувства, с которым перешагнула она порог суходольского дома.

Родила Клавдия Марковна. Федосью-птичницу произвели в няньки — и Федосья, женщина еще молодая, надела темное старушечье платье, стала смиренной, богобоязненной. Еще едва



тарасил молочные бессмысленные глазки, пускал пузырями слюну, беспомощно падал вперед, одолеваемый тяжестью собственной головы, и свирепо орал новый Хрущев. А его уже называли барчуком, — уже слышались из детской старые, старые причитания:

— Вон он, вон он, старик-то с мешком... Старик, старик! Не ходи к нам, мы не дадим тебе барчука, он не будет кричать...

И Наташка подражала Федосье, считая себя тоже нянькой — нянькой и подругой больной барышни. Зимой умерла Ольга Кирилловна — и она выпросилась ехать со старухами, доживавшими свой век в людских, на похороны, ела там кутью, которая внушала ей отвращение своим пресным и приторным вкусом, а воротясь в Суходол, с умилением рассказывала, что лежала барыня «почесть совсем как живая», хотя даже старухи не решались глядеть на гроб с этим чудовищным телом.

А весной привозили к барышне колдуна из села Чермашного, знаменитого Клима Ерохина, благообразного, богатого однодворца, с сивой большой бородой, с сивыми кудрями, расчесанными на прямой ряд, очень дельного хозяина и очень разумного, простого в речах обычно, но преобразавшегося в волхва возле болящих. На редкость крепка и опрятна была его одежда — поддевка из сермяги железного цвета, красная подпояска, сапоги. Хитры и зорки были его маленькие глаза, исто-во искал он ими образа, осторожно, немного согнув свой ладный стан, входил он в дом, деловито начинал разговор. Говорил он сперва о хлебах, о дождях и засухе, потом долго, аккуратно пил чай, потом опять крестился — и уже после всего этого, сразу меняя тон, спрашивал о болящем.

— Зорька... темнеет... пора, — говорил он таинственно.

Барышню била лихорадка, она готова была покатиться в судорогах на пол, когда, сидя в сумерках в спальне, ожидала она появления на пороге Клима. С ног до головы была охвачена жутью и Натальей, стоявшая возле нее. Стихал весь дом, — даже барыня набивала девками свою комнату и разговаривала шопотом. Ни единого огня не смел никто зажечь, ни единого голоса возвысить. У веселой Солошки, дежурившей в коридоре, — на случай зова, приказаний Клима, — мутилось в глазах и колотилось в горле сердце. И вот он проходил мимо нее, развязывая на ходу платочек с какими-то колдовскими косточками. Затем из спальни раздавался в гробовой тишине его громкий, необычный голос:

— Встань, раба божия!

Затем показывалась его сивая голова из-за двери.

— Доску, — кидал он безжизненно.

И на доску, положенную на пол, ставили барышню, с выкатившимися от ужаса глазами, похолодевшую, как покойник.

Уже так темно было, что едва различала Наталья лицо Клима. И вдруг он начинал странным, отдаленным каким-то голосом:

— Взыдет Филат... Окна откроет... Двери растворит... Кликнет и скажет: тоска, тоска!

— Тоска, тоска! — восклицал он с внезапной силой и грозной властью. — Ты иди, тоска, во темные леса, — там твои мяста! На море, на окияне, — бормотал он глухой зловещей скороговоркой: — на море, на окияне, на острове Буяне лежит сучнища, на ей серая рунища...

И чувствовала Наталья, что нет и не может быть более ужасных слов, чем эти, сразу переносящие всю ее душу куда-то на край дикого, сказочного, первобытно-грубого мира. И нельзя было не верить в силу их, как не мог не верить в нее и сам Клим, делавший порою прямо чудеса над одержимыми недугом, — тот же Клим, что так просто и скромно говорил, сидя после волхования в прихожей, вытирая потный лоб платочком и опять принимаясь за чай:

— Ну, теперь еще две зорьки осталось... Авось, бог даст, полегчает маленько... Сеяли гречишку-то в нынешнем годе, сударыня? Хороши, говорят, нонче гречихи! Дюже хороши!

Летом ждали из Крыма хозяев. Но прислал Аркадий Петрович «страховое» письмо с новым требованием денег и вестью, что раньше начала осени нельзя им вернуться — по причине небольшой, но требующей долгого покоя раны Петра Петровича. Послали к пророчице Даниловне в Черкизово спросить, благополучно ли кончится болезнь. Даниловна заплясала, зашелкала пальцами, что, конечно, означало: благополучно. И барыня успокоилась. А барышне и Наталье не до них было. Барышне сперва полегчало. Но с конца Петровок опять началось: опять тоска и такой страх гроз, пожаров и еще чего-то, что она затаивала, что не до братьев ей было. Не до них стало и Наталье. На каждой молитве она поминала Петра Петровича за здоровье, как потом всю жизнь свою, до гробовой доски, поминала его за упокой. Но барышня была ей уже ближе всех. И барышня все больше заражала ее своими страхами, ожиданиями бед — и тем, что держала она втайне.

Лето же было знойное, пыльное, ветренное, с каждодневными грозами. По народу бродили темные, тревожные слухи — о какой-то новой войне, о каких-то бунтах и пожарах. Одни говорили, что вот-вот отойдут все мужики на волю, другие, что, напротив, будут с осени забривать в солдаты всех мужиков поголовно. И, как водится, появились в несметном количестве бродяги, дурачки, монахи. И барышня чуть не в драку лезла с барыней из-за них, оделяла их хлебом, яйцами. Приходил Дроня, длинный, рыжий, не в меру оборванный. Был он просто пьяница, но играл блаженного. Он так задумчиво шел по двору прямо

к дому, что стучался головой в стену и с радостным лицом отскакивал.

— Птушечки мои! — фальцетом вскрикивал он, подпрыгивая, изламывая все тело и правую руку, делая из нее как бы щиток от солнца.— Полетели, полетели по поднебесью мои птушечки!

И Наталья, подражая бабам, смотрела на него так, как и полагается смотреть на божьих людей: тупо и жалостно. А барышня кидалась к окну и кричала со слезами, жалким голосом:

— Угодниче божий Дроние, моли бога за мя, грешную!

И при этом крике у Наташки глаза останавливались от страшных предположений.

Ходил из села Кличина Тимоша Кличинский: маленький, женоподобно-жирный, с большими грудями, с лицом косоного младенца, одуревшего и задыхающегося от полноты, желтоволосый, в белой коленкоровой рубаше и коротеньких коленкорových порточках. Торопливо, мелко и с носка ступал он маленькими налитыми ножками, приближаясь к крыльцу, и узенькие глазки его смотрели так, точно из воды выскочил он или спасся от неминуемой гибели.

— Бяда! — бормотал он, задыхаясь.— Бяда...

Его успокаивали, кормили, ждали от него чего-то. Но он молчал, сопел и жадно чавкал. А начавкавшись, опять вскидывал мешок за спину и тревожно искал свою длинную палку.

— Когда ж еще придешь, Тимоша?—кричала ему барышня.

И он отзывался тоже криком, нелепо высоким альтом, за чем-то коверкая отчество барышни:

— О Святой, Лукьяновна!

И жалостно вопила вослед ему барышня:

— Угодниче божий! Моли бога за мя грешную, Марию Египетскую!

Каждый день приходили отовсюду вести о бедах — о грозах и пожарах. И все возрастал в Суходоле древний страх огня. Чуть только начинало меркнуть песчано-желтое море зреющих хлебов под заходящей из-за усадьбы тучей, чуть только взвился первый вихрь по выгону и тяжело прокатывался отдаленный гром, кидались бабы выносить на порог темные дощечки икон, готовить горшки молока, которым, как известно, скорей всего усмирится огонь. А в усадьбе летели в крапиву ножницы, вынималось страшное заветное полотенце, завешивались окна, зажигались дрожащими руками восковые свечи... Не то притворялась, не то и впрямь заразилась страхом даже барыня. Прежде она говорила, что гроза — «явление природы». Теперь она тоже крестилась и жмурилась, вскрикивала при молниях, а чтобы увеличить и свой страх и страх окружающих, все рассказывала о какой-то необыкновенной грозе, разразившейся

в 1771-м году в Тироле и сразу убившей сто одиннадцать человек. А слушательницы подхватывали — торопились рассказать свое: то о ветле, дотла сожженной на большой дороге молнией, то о бабе, пришибленной на днях в Черкизове громом, то о какой-то тройке, столь оглушенной в пути, что вся она упала на колени... Наконец, к этим радениям пристрлял некто Юшка, «провинённый монах», как он называл себя.

## IX

Родом Юшка был мужик. Но палец о палец не ударил он никогда, а жил, где бог пошлет, платя за хлеб, за соль рассказами о своем полнейшем безделье и о своей «провинности». — «Я, брат, мужик, да умен и на горбатого похож, — говорил он. — Что ж мне работать!»

И правда, смотрел он как горбун — едко и умно, растительности на лице не имел, плечи, по причине рахитизма грудной клетки, держал приподнятыми, грыз ногти, пальцы его, которыми он поминутно закидывал назад длинные красно-бронзовые волосы, были тонки и сильны. Пахоть показалось ему «непристойно и скучно». Вот он и пошел в Киевскую лавру, «подрос там» — и был изгнан «за провинность». Тогда, сообразив, что прикидываться странником по святым местам, человеком, спасающим душу, — старо, а может оказаться и неприбыльно, попробовал прикинуться иначе: не снимая подрясника, стал открыто хвастаться своим бездельем и похотливостью, курить и пить сколько влезет, — он никогда не пьянел, — издеваться над лаврой и пояснять, за что именно изгнан он оттуда, при посредстве непристойнейших жестов и телодвижений.

— Ну, известно, — рассказывал он мужикам, подмигивая, — известно, сейчас меня, раба божья, за это за самое по шее. Я и закатился домой, на Русь... Не пропаду мол!

И точно — не пропал: Русь приняла его, бесстыжего грешника, с не меньшим радушием, чем спасающих души: кормила, поила, пускала ночевать, с восторгом слушала его.

— Так и зарекся ты навек работать? — спрашивали мужики, блестя глазами в ожидании едких откровенностей.

— Чорт меня теперь заставит работать! — отзывался Юшка. — Набалован, брат! Яровит я пуще козла лаврского. Девки эти самые, — мне бабы и даром не надобны! — боятся меня до смерти, а любят. Да что ж! Я и сам хоть куда: пёрушком не хорош, зато косточкой строён!

Явившись в суходольскую усадьбу, он, как человек бывалый, прямо вошел в дом, в прихожую. Там на лавке сидела Наташка, напевая: «Я мела, млада, сеношки, нашла себе сахарцу...» Увидев его, она в ужасе вскочила.

— Да кто-й-то? — крикнула она.

— Человек, — ответил Юшка, быстро оглядывая ее с ног до головы. — Доложи барыне.

— Кто это? — крикнула и барыня из зала.

Но Юшка в одну минуту успокоил ее: сказал, что он бывший монах, а вовсе не беглый солдат, как она, верно, подумала, что он возвращается на родину — и просит обыскать его, а затем разрешить ему переночевать, отдохнуть немного. И так поразил своей прямоотой барыню, что на другой же день мог перебраться в лакейскую и стать совсем своим человеком в доме. Шли грозы, а он без усталости забавлял хозяек рассказами, придумал забить слуховые окна, чтобы обезопасить крышу от молний, выбегал под самые страшные удары на крыльцо, чтобы показать, как они не страшны, помогал девкам ставить самовары. Девки косились на него, чувствуя на себе его быстрые, похотливые взгляды, но смеялись его шуткам, а Наташка, которую он уже не раз останавливал в темном коридоре быстрым шопотом: «влюбился я в тебя, девка!» — глаз не смела на него поднять. Он был и гадок ей запахом махорки, пропитавшим весь его подрясник, и страшен, страшен.

Она уже твердо знала, что будет. Она спала одна, в коридоре, возле двери в спальню барышни, а Юшка уже отрубил ей: «Приду. Хоть зарежь, приду. А закричишь — дотла вас сожгу». Но что пуще всего лишало ее сил, так это сознание, что совершается нечто *неминуемое*, что близко осуществление страшного сна ее, — в Сошках, про козла, — что, видно, на роду написано ей погибать вместе с барышней. Уже все понимали теперь: по ночам вселяется в дом сам дьявол. Все понимали, что именно, помимо гроз и пожаров, с ума сводило барышню, что заставляло ее сладко и дико стонать во сне, а затем вскакивать с такими ужасными воплями, перед которыми ничто самые оглушительные удары грома. Она вопила: «Змий эдемский, иерусалимский душил мя!» А кто же этот змий, как не чорт, не тот серый козел, что входит по ночам к женщинам и девушкам? И есть ли что-либо в мире более страшное, чем приходы его в темноте, в ненастные ночи с немолчными перекатами грома и отблесками молний по черным иконам? Та страсть, та похоть, с которой шептал Наташке проходимец, была тоже нечеловеческая: как же можно было противиться ей? Думая о своем роковом, неминуемом часе, сидя ночью на полу в коридоре, на своей попонке, и с бьющимся сердцем вглядываясь в темноту, прислушиваясь к каждому малейшему треску и шороху в спальне, уже чувствуя она первые приступы той тяжкой болезни, что долго мучила ее впоследствии: внезапно возникал зуд в ее ступне, проходила по ней острая, колючая судорога, гнула, крючила все пальцы к подошве — и бежала, изуверски, сла-

дострастно крутя жилы, по ногам, по всему телу, вплоть до глотки, до того момента, когда хотелось вскрикнуть еще неистовее, еще слаще и мучительнее, чем вскрикивала барышня...

И неминуемое свершилось. Юшка пришел — как раз в страшную ночь конца лета, в ночь под Илью Надеящего, древнего Огнеметателя. Не было грома в ту ночь и не было сна у Наташки. Она задремала — и вдруг, как от толчка, очнулась. Было самое глухое время — она поняла это своим безумно колотившимся сердцем. Она вскочила, глянула в один конец коридора, в другой: со всех сторон вспыхивало, воспламенялось, трепетало и слепило золотыми и бледнозолотыми сполохами молчаливое, полное огня и таинств небо. В прихожей поминутно делалось светло, как днем. Она побежала — и остановилась, как вкопанная: осинового бревна, давно лежавшие на дворе за окном, ослепительно белели при вспышках. Она сунулась в зал: там было одно окно поднято, слышался ровный шум сада, было темнее, но тем ярче сверкал огонь за всеми стеклами, мраком заливалось все, но тотчас же опять вздрагивало, загоралось то там, то тут, — и мелькал, рос, трепетал и сквозил на огромном, то золотом, то бело-фиолетовом небосклоне весь сад своими кружевными вершинами, призраками бледнозеленых берез и тополей.

— На море, на окияне, на острове Буяне... — зашептала она, кидаясь назад и чувствуя, что совсем губит себя колдовскими заклинаниями. — Там лежит сучнища, серая рунища...

И лишь только сказала эти первобытно-грозные слова, как увидела, обернувшись, Юшку, с поднятыми плечами стоявшего в двух шагах от нее. Озарилось лицо его молнией — бледное, с черными кругами глаз. Неслышно подбежал он к ней, быстро обхватил ее длинными руками за талию — и, сдавив, одним махом кинул сперва на колени, потом навзничь, на холодный пол прихожей...

Пришел к ней Юшка и на следующую ночь. Ходил и еще много ночей, — и она, теряя сознание от ужаса и отвращения, покорно отдавалась ему: и думать не смела она ни противиться, ни просить защиты у господ, у дворни, как не смела противиться барышня дьяволу, по ночам наслаждавшемуся ею, как, говорят, не смела противиться даже сама бабушка, властная красавица, своему дворовому Ткачу, отчаянному негодяю и вору, сосланному в конце концов в Сибирь, на поселение... Наконец наскучила Наташка Юшке, наскучил и Суходол — и он так же внезапно исчез, как внезапно и явился.

Через месяц после того она почувствовала себя матерью. А в сентябре, на другой день по возвращении молодых господ с войны, загорелся и долго, страшно пылал суходольский дом:

исполнилось и второе ее сновидение. Загорелся он в сумерки, в проливной дождь, от молнии, от золотого клубка, который, как говорила Солошка, выскочил из печки в дедушкиной спальне и помчался, подпрыгивая, по всем комнатам. А Наталья, которая, увидав дым и огонь, со всех ног бежала от бани, — от бани, где она проводила целые дни и ночи в слезах, — рассказывала потом, что наткнулась она в саду на кого-то, одетого в красный жупан и высокую казацкую шапку с позументом: он тоже бежал со всех ног по мокрым кустам и лопухам... Было ли все это или только померещилось, Наталья не могла ручаться. Достоверно только то, что ужас, поразивший ее, освободил ее от будущего ребенка.

И с этой осени она поблекла. Жизнь ее вошла в ту будничную колею, из которой она уже не выходила до самого конца своего. Тетю Тоню свозили к мощам угодника в Воронеж. Дьявол после того уже не смел приближаться к ней; и она успокоилась, стала жить, как все, — расстройство ума и души ее сказывалось только в блеске диких глаз, в крайней неряшливости, в бешеной раздражительности и тоске при дурной погоде. Была с нею у мощей и Наталья — и тоже обрела в этой поездке спокойствие, разрешение всего, из чего, казалось, уж нет выхода. В какой трепет приводила ее одна мысль о встрече с Петром Петровичем! Как ни приговлялась она к ней, представить ее себе спокойно она была не в силах. А Юшка, а ее позор, гибель! Но самая исключительность этой гибели, необычная глубина ее страданий, то роковое, что было в ее несчастьи, — ведь недаром же почти совпал с ним ужас пожара! — и паломничество к угоднику дали ей право просто и спокойно глядеть в глаза не только всем окружающим, но даже и Петру Петровичу: сам бог отметил их с барышней губительным перстом своим — им ли было бояться людей! Черничкой, смиренной и простой слугой всех, легкой и чистой, точно после предсмертного причастия, вошла она в суходольский дом, возвратясь из Воронежа, смело подошла к руке Петра Петровича. И только на мгновение дрогнуло ее сердце молодо, нежно, по-девичьи, когда коснулась она губами его маленькой смуглой руки с бирюзовым перстнем...

Буднично стало в Суходоле. Пришли определенные слухи о воле — и вызвали даже тревогу и на дворе и в деревне: что-то будет впереди, не хуже ли? Легко сказать — начинать жить по-новому! По-новому жить предстояло и господам, а они и по-старому-то не умели. Смерть дедушки, потом война, комета, наводившая ужас на всю страну, потом пожар, потом слухи о воле — все это быстро изменило лица и души господ, лишило их молодости, беззаботности, прежней вспыльчивости и отходчивости, а дало злобу, скуку, тяжелую придиричивость друг к другу:

начались «неладья», как говорил отец, дошло до татарок за столом... Нужда стала напоминать о настоящей необходимости поправить как-нибудь дела, вконец испорченные Крымом, пожаром, долгами. А в хозяйстве братья только мешали друг другу. Один был нелепо жаден, строг и подозрителен, другой — нелепо щедр, добр и доверчив. Столковавшись кое-как, решились они на предприятие, долженствовавшее принести большой доход: заложили имение и скупили около трехсот захулавших лошадей, — собрали их чуть не со всего уезда при помощи какого-то Ильи Самсонова, цыгана. Лошадей они хотели выправить за зиму и с барышом распродать весной. Но, истребив огромное количество муки и соломы, лошади почти все, одна за другою, к весне почему-то поколели...

И все рос раздор между братьями. Доходило иногда до того, что они хватались за ножи и ружья. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы новое несчастье не свалилось на Суходол. Зимой, на четвертый год после возвращения своего из Крыма, Петр Петрович уехал однажды в Луневу, где была у него любовница. Он прожил на хуторе двое суток, все время пил там, хмельной и домой поехал. Было очень снежно; в розвальни, покрытые ковром, была запряжена пара лошадей. Петр Петрович приказал отстегнуть пристяжную, молодую, горячую лошадь, по брюхо тонувшую в рыхлом снегу, и привязать ее к розвальням сзади, а сам лег, — будто бы головой к ней, — спать. Наступали туманные, сизые сумерки. И, засыпая, Петр Петрович крикнул Евсею Бодуле, которого он часто брал с собой вместо кучера Васьки Казака, боясь, что Васька убьет его, сильно озлобившего против себя дворню побоями, — крикнул: «пошел!» и ударил Евсею в спину ногой. И сильный гнедой кореник, уже мокрый, дымясь и екая селезенкой, понес их по тяжелой снежной дороге, в туманную муть глухого поля, навстречу все густеющей, хмурой зимней ночи... А в полночь, когда уже мертвым сном спали все в Суходоле, в окно прихожей, где ночевала Наталья, быстро и тревожно застучал кто-то. Она вскочила с лавки, босиком выбежала на крыльцо. У крыльца смутно темнели лошади, розвальни и с кнутом в руках стоявший Евсей.

— Беда, девка, беда, — забормотал он глухо, странно, как во сне, — барина лошадь убила... пристяжная... Набежала, осунулась и — копытом... Все лицо раздавила. Он уж холодеть стал... Не я, не я, вот те Христос, не я!

Молча сойдя с крыльца, утопая в снегу босыми ногами, Наталья подошла к розвальням, перекрестилась, упала на колени, обхватила ледяную окровавленную голову, стала целовать ее и на всю усадьбу кричать дико-радостным криком, задыхаясь от рыданий и хохота...



Когда случалось нам отдыхать от городов в тихой и нишей глуши Суходола, снова и снова рассказывала Наталья повесть своей погибшей жизни. И порою глаза ее темнели, останавливались, голос переходил в строгий, ладный полушопот. И все вспоминался мне грубый образ святого, висевший в углу лакейской старого нашего дома. Обезглавленный, пришел святой к согражданам, на руках принес свою мертвую голову — во свидетельство своего повествования...

Уже исчезали и те немногие вещественные следы прошлого, что застали мы когда-то в Суходоле. Ни портретов, ни писем, ни даже простых принадлежностей своего обихода не оставили нам наши отцы и деды. А что и было, погибло в огне. Долго стоял в прихожей какой-то сундук, в клоках задеревеневшей и лысой тюленьей кожи, которой был обшит он чуть не сто лет тому назад, — дедовский сундук с выдвигаемыми ящичками из карельской березы, набитый обгорелыми французскими вокабулами да церковными книгами, донельзя закапанными воском. Потом исчез и он. Изломалась, исчезла и тяжкая мебель, что стояла в зале, гостиной... Дом ветшал, оседал все более. Все те долгие годы, что прошли над ним со времени последних событий, здесь рассказанных, были для него годами медленного умирания... И все легендарнее становилось его прошлое.

Росли суходольцы среди жизни глухой, сумрачной, но все же сложной, имевшей подобие прочного быта и благосостояния. Судя по косности этого быта, судя по приверженности к нему суходольцев, можно было думать, что ему и конца не будет. Но податливы, слабы, «жидки на расправу» были они, потомки степных кочевников! И как под сохой, идущей по полю, один за другим бесследно исчезают холмики над подземными ходами и норами хомяков, так же бесследно и быстро исчезали на наших глазах и гнезда суходольские. И обитатели их гибли, разбегались, те же, что кое-как уцелели, кое-как и коротали остаток дней своих. И мы застали уже не быт, не жизнь, а лишь воспоминания о них, полудикую простоту существования. Все реже навещали мы с годами наш степной край. И все более чужим становился он для нас, все слабее чувствовали мы связь с тем бытом и сословием, из коего вышли. Многие из соплеменников наших, как и мы, знатны и древни родом. Имена наши поминают хроники; предки наши были и стольниками, и воеводами, и «мужами именитыми», ближайшими сподвижниками, даже родичами царей. И называйся они рыцарями, родись мы западнее, как бы твердо говорили мы о них, как долго еще держались бы! Не мог бы потомок рыцарей сказать, что за полвека почти исчезло с лица земли целое сословие, что столько нас

выродилось, сошло с ума, наложило руки на себя, спилось, опустилось и просто потерялось где-то! Не мог бы он признаться, как признаюсь я, что не имеем мы ни даже малейшего точного представления о жизни не только предков наших, но и прадедов, что с каждым днем все труднее становится нам воображать даже то, что было полвека тому назад!

То место, где стояла луневская усадьба, было уже давно распаханно и засеяно, как распахана, засеяна была земля на местах и многих других усадеб. Суходол еще кое-как держался. Но, вырубив последние березы в саду, по частям сбыв почти всю пахотную землю, покинул ее даже сам хозяин ее, сын Петра Петровича,—ушел на службу, поступил кондуктором на железную дорогу. И тяжело доживали свои последние годы старые обитательницы Суходола — Клавдия Марковна, тетя Тоня, Наталья. Сменялась весна летом, лето осенью, осень зимою... Они потеряли счет этим сменам. Они жили воспоминаниями, снами, ссорами, заботами о дневном пропитании. Летом те места, где прежде широко раскидывалась усадьба, тонули в мужицких ржах: далеко стал виден дом, окруженный ими. Кустарник, остаток сада, так одичал, что перепела кричали у самого балкона. Да что лето! «Летом нам рай!» — говорили старухи. Долги, тяжки были дождливые осени, снежные зимы в Суходоле. Холодно, голодно было в пустом разрушающемся доме. Заметали его вьюги, насквозь продувал морозный сарматский ветер. А топить — топили очень редко. По вечерам скудно светила из окон, из горницы старой барыни,—единственной жилой горницы,—жестяная лампочка. Барыня, в очках, в полушубке и валенках, вязала чулок, наклоняясь к ней. Наталья дремала на холодной лежанке. А барышня, похожая на сибирского шамана, сидела в своей избе и курила трубку. Когда не бывала тетя в ссоре с Клавдией Марковной, ставила Клавдия Марковна лампочку свою не на стол, а на подоконник. И сидела тетя Тоня в странном слабом полусвете, доходившем из дома во внутренность ее ледяной избы, заставленной обломками старой мебели, заваленной черепками битой посуды, загромажденной рухнувшим набор фортепиано. Такая ледяная была эта изба, что куры, на заботы о которых направлены были все силы тети Тони, отмораживали себе лапы, ночуя на этих черепках и обломках...

А теперь уже и совсем пуста суходольская усадьба. Умерли все помянутые в этой летописи, все соседи, все сверстники их. И порою думаешь: да полно, жили ли и на свете-то они?

Только на погостах чувствуешь, что было так; чувствуешь даже жуткую близость к ним. Но и для этого надо сделать усилие, посидеть, подумать над родной могилой,—если только найдешь ее. Стыдно сказать, а нельзя скрыть: могил дедушки,

бабушки, Петра Петровича мы не знаем. Знаем только то, что место их — возле алтаря старенькой церкви в селе Черкизове. Зимой туда не проберешься: там по пояс сугробы, из которых торчат редкие кресты и верхушки голых кустов, прутья. В летний день проедешь по жаркой, тихой и пустой деревенской улице, привяжешь лошадь у церковной ограды, за которой темно-зеленой стеной стоят, пекутся в зное елки. За откинутой калиткой, за белой церковью с ржавым куполом — целая роща невысоких ветвистых вязов, ясени, лимов, всюду тень и прохлада. Долго бродишь по кустам, буграм и ямам, покрытым тонкой кладбищенской травой, по каменным плитам, почти ушедшим в землю, пористым от дождей, поросшим черным рассыпчатым мохом... Вот два-три железных памятника. Но чьи они? Так зелено-золотисты стали они, что уже не прочесть надписей на них. Под какими же буграми кости бабушки, дедушки? А бог ведает! Знаешь только одно: вот где-то здесь, близко. И сидишь, думаешь, силясь представить себе всеми забытых Хрущевых. И то бесконечно далеким, то таким близким начинает казаться их время. Тогда говоришь себе:

— Это не трудно, не трудно вообразить. Только надо помнить, что вот этот покосившийся золоченый крест в синем летнем небе и при них был тот же... что так же желтела, зрела рожь в полях, пустых и знойных, а здесь была тень, прохлада, кусты... и в кустах этих также бродила, паслась вот такая же, как эта, старая белая кляча с облезлой зеленоватой холкой и розовыми разбитыми копытами.

*Васильевское. 1911*

## КРИК

Однажды, ранней весной, шли мы в Батуми из Порт-Саида.

В Константинополе были чумные случаи, дела наш грузовик там не имел; мы решили миновать Золотой Рог, а рассвета дожждаться в Коваках, у входа в Черное море: ночью из Босфора не выпускают. И вот отправили с нами из Дарданелл двух турок, двух карантинных стражей, дабы они удостоверили, придя в Коваки, что остановки на Босфоре не делалось.

Снялись мы из Дарданелл в четыре. В пять матросы обедают. Перед обедом полагается им по манерке спирту. Но был чистый четверг, некоторые сочли за грех пить в такой день. А чтобы спирт не пропадал даром, поднесли — для потехи — туркам. Спирт свалил их, непривычных к вину, с ног, и они заснули: один, рослый, дюжий, на корме, над самым винтом, другой, маленький, на крышке трюма между кормой и машинной частью. И перед тем, как заснуть, этот маленький долго бормотал и по-турецки, и по-гречески, и даже по-русски:

— Русс — карашо, араб — нет карашо!

Он рассказывал, что у него, человека простого и бедного, жена была такая красавица, что он даже по имени не звал ее никогда, а говорил: «джаным, сердце мое», что она уже давно умерла, родив ему сына, что и сын его был красив, нежен и почтителен, как девушка, да увезли его в Стамбул, отправили на войну, в Аравию. А уж из Аравии не вернешься, нет! — говорил он. И, вскакивая, громко вскрикивал, как бы стреляя из карабина, падал на спину, изображая убитого наповал, и задирал свои кривые ноги в шерстяных полосатых чулках. Штаны его, очень узкие книзу, были в заплатах, мундир коротенький, истрепанный, феска грязная, бараньи глаза мутны, усы вислые,

подбородок давно не брит, лицо все в морщинах. И матросы хохотали и жалостно говорили:

— Вино-то, вино-то, братцы, что делает!

Вечером я лег спать, приказав разбудить себя, лишь только откроется маяк. Около двух часов ночи вестовой постучал в дверь моей каюты и негромко сказал:

— Подходим.

Я оделся и вышел. В кают-компани тускло и печально горел один рожок. Легкий свежий бриз дул в открытую дверь, за которой синела лунная ночь, и, сухо шелестя, чуть трепетали перистые веточки карликовой японской пальмы, стоявшей в горшке у камина. Среди тишины, царившей всюду, выделялись только этот шелест да медленное постукивание стальных часов. А чуть слышный звон рюмок, которыми увешан потолок в буфете, и та слабая дрожь, которой дрожит весь пароход от машины, работающей в глубине его глухо и мерно, как огромное сердце, не нарушали тишины. Я вышел на левый борт — и загляделся на приближающийся Стамбул, на редкие ночные огни его, матово блестящие за белесым тонким паром, на его призрак, фантастический и величавый, таинственно-бледный на синеве лунной ночи...

Потом поднялся на мостик. Глядя вперед, за фок-мачту, дежурили у телеграфа капитан и вахтенный помощник, в шапках, в теплых куртках. Они не обернулись, когда я стал за ними, возле штурманской рубки, где в сумраке, держась за рога рулевого колеса и не спуская глаз с компаса, освещенного низко спущенной электрической лампочкой под колпаком, каменел рулевой. Они, тоже замороженные ночью и Стамбулом, роняли слова команды медленно, вполголоса.

— Пять градусов лево,— бесстрастно, не оборачиваясь, говорил капитан.

— Есть пять градусов лево,— протяжным сиплым альтиком отзывался рулевой.

Мерно, медленно отдавались из глубины вздохи машины, и медленно шло и развевывалось перед нами сказочное царство великого города.

— Так держать,— просто и осторожно говорил капитан.

— Та-ак держа-ать!— на четыре тона выше брал рулевой.

Я поднялся на штурманскую рубку... Мертвый штиль. Полная ясная луна стоит справа, почти сзади нас, над туманными силуэтами Принцевых островов. Огромная золотая полоса продольно блещет между ними, под той тенью, что всегда лежит по горизонту за лунным блеском. Блеск зеленоватого стекла возникает и гаснет, переливается по волнам возле самого

борта. Но все в отдалении, — и холмистые побережья, и Золотой Рог, медленно раскрывающийся перед нами, и бледные призраки Скутари, Стамбула, Галаты, — все подернуто матово-белесой чадрой, нежной, прозрачной, как драгоценные брусковые газы. И за этой чадрой, как несметные глаза, таинственные и прекрасные, матово и недвижно блещут несметные, далекие и близкие огни: золотые, мелкие — густо насыпанные, среди темных садов, на скутарийском берегу; роями усеявшие сверху донизу гору Галаты; изумрудные и рубиновые, крупные — на мачтах в Золотом Роге, на буюх, сторожевых лодках, длинно отражающиеся в зеркальной воде; редкие и сонные — в Стамбуле, спящем с открытыми блестящими глазами на своих холмах против луны... Я различал деревянные дома его предместий, легкие высокие минареты вокруг чашеобразных куполов белой Ахмедие, древний, дорогой мне купол Софии, сады Сералья и серую стену дворца Константина. Я опять обонял этот особый, сладкий и сухой аромат берегов Турции... Вдруг откуда-то издали пронесся в тишине чей-то слабый рыдающий зов.

— Юсу-уф! — крикнул кто-то.

Все ближе роились огни. Мы шли, а мимо нас несло назад красные фонарики на сторожевых лодках. Я подумал: это, верно, кто-нибудь на сторожевой лодке крикнул; может быть, это убийство и вопль о пощаде; может быть, контрабандиста-грека поймали...

Вот опять негромкая команда и алыт рулевого. Луна меняет место, надвигается справа скутарийский берег — далеко по зеркальной воде легла тень его. Уже прошла гора Галаты, сплошь залитая каменным городом, подернутая прозрачно-белым покровом. Сзади остались два сонных сквозных изумруда, низко, один над другим повисших над водою, — там, где торчит из воды белая башенка Леандра. Нос парохода медленно поворачивает, — закрывается выход в Мраморное море, блещущий, как стеклянно-золотое поле, возле Серальского мыса. Это поле меркнет; раздается короткий хрустальный звон нашего телеграфа; мы все круче забираем вправо. Теперь уже нигде нет блеска. Беломраморные дворцы тянутся по левому побережью, купая в воде широкие ступени своих мраморных пристаней. Тень достигает и до них; зеленовато-бледен в тени мрамор...

— Юсуф! — опять долетает откуда-то издали.

Я прислушиваюсь.

— Юсуф! — страстно, захлебываясь слезами, кличет голос с коры. — Юсу-уф!

Спустившись с рубки, я быстро пошел туда. Сбежал по трапу со спардэка, прошел возле мерно и глубоко вздымающейся

машины, обдавшей меня своим теплом и запахом разогретого масла... Опять луна переменяла место. Она далеко за кормою, над золотым огромным озером, которым стал теперь Босфор среди сомкнувшихся берегов... И, еще раз сбежав, увидел я черную фигурку, на коленях, спиной ко мне, стоящую на крышке трюма. Она садилась порою на пятки, как делают это во время молитвы, порывисто поднималась, что-то искала в рогожке, служившей ей вместо коврика, и опять откидывалась и, воздевая руки, страстно, кратко, с несказанной болью и мольбою вскрикивала:

— Юсу-уф!

И я все понял.

Он, этот маленький турок, заснул, набормотавшись, напевшись спяну греческих песен. Он проспал все Мраморное море... И вдруг очнулся возле самого Стамбула, отнявшего у него сына... Он покорно, как истый муслим, принял и затаил в сердце свое горе. Никто не замечал следов скорби в его равнодушных морщинах, в бесстрастно поднятых бровях и висячих усах. Да и слишком тупо ныла эта скорбь в его сердце. Но вот это путешествие в Коваки, эти чужие люди, начавшие угощать его махоркой и огненной водкой... Сведенный ею с ума, чувствуя, что он плывет в город самого падишаха, стал он с болезненным восхищением вспоминать, как увозили туда его сына, представлять себе с непонятным восторгом, как убили его в Аравии... И свалился наконец, потерял сознание... А потом вдруг очнулся. Что-то тяжело томило его в пьяном, тяжком сне. Когда же открылись его глаза, почувствовал он позднюю ночь по той тишине, которая окружала его, увидел величавый и фантастический в лунном свете призрак Стамбула — и внезапно, всем существом своим, постиг всю глубину того, что сделал Стамбул с его никому не нужной, жалкой жизнью и с прекрасной молодостью Юсуфа. И это о нем, о сыне, рассказывал он хохотавшим русским собакам!

Я подошел к нему. Он повернул ко мне бледное в лунном свете, все мокрое от слез, с мокрыми висячими усами лицо, выпучил на меня свои бараньи, остекленевшие от яда, от рыданий и натуги глаза... Зачем под ним эта скомканная рогожка? Он вспомнил еще и то, что проспал вечернюю молитву, и кинулся, падая и опять поднимаясь, расстилать эту рогожку... Но до молитвы ли! Все мешается в его мозгу, он чувствует только одно — ужас и тоску. И вдруг начинает кричать Стамбулу, лунной ночи, что он один и погибает. Нет, этого не может быть! Сын жив, он должен быть жив, он должен вернуться!

Я взял его ледяную руку. Он отшатнулся, вырвал ее. И опять, не сладив с хмелем, тяжело упал задом на пятки. Неудержимо катившиеся слезы застилали его изумленные глаза, пьяный насморк затыкал дыхание.

— Юсуф! — крикнул он тупо и кратко, как человек, вынырнувший из воды.

И завопил, затрясшись от рыданий, захлебываясь и простирая руки к Стамбулу:

— Юсуф! Юсу-уф!

Неслась вода мимо борта. Золотое озеро за кормою меркло.

*28.6.1911*



## СНЕЖНЫЙ БЫК

В час ночи, зимней, деревенской, до кабинета доносится из дальних комнат жалобный детский плач. Дом, усадьба, село — все давно спит. Не спит только Хрущев. Он сидит читает, порою останавливает усталые глаза на огнях свечей:— Как все прекрасно! Даже этот голубой стеарин!

Огни, их золотисто-блестящие острия с прозрачными яркосиними основаниями, слегка дрожат,— и слепит глянцевитый лист большой французской книги. Хрущев подносит к свече руку,— становятся прозрачными пальцы, розовеют края ладони. Он, как в детстве, засматривается на нежную, ярко-алую жидкость, которой светится и сквозит против огня его собственная жизнь.

Плач раздается громче,— жалобный, умоляющий.

Хрущев встает и идет в детскую. Он проходит темную гостиную,— чуть мерцают в ней подвески люстры, зеркало,— проходит темную диванную, темную залу, видит за окнами лунную ночь, ели палисадника и бледнобелые пласты, тяжело лежащие на их черно-зеленых, длинных и мохнатых лапах. Дверь в детскую открыта, лунный свет стоит там тончайшим дымом. В широкое окно без занавесок просто, мирно глядит снежный озаренный двор. Голубовато белеют детские постели. В одной спит Арсик. Спят на полу деревянные кони, спит на спине, закатив свои круглые стеклянные глаза, беловолосая кукла, спят коробки, которые так заботливо собирает Коля. Он тоже спит, но во сне поднялся в своей постельке, сел и заплакал горько, беспомощно,— маленький, худенький, большеголовый...

— В чем дело, дорогой мой? — шепчет Хрущев, садясь на край постельки, вытирая платком личико ребенка и обнимая

его шупленькое тельце, что так трогательно чувствуется сквозь рубашечку своими косточками, грудкой и бьющимся сердечком.

Он берет его на колени, покачивает, осторожно целует. Ребенок прижимается к нему, дергается от всхлипываний и понемногу затихает... Что это будит его вот уже третью ночь?

Луна заходит за легкую белую зыбь, лунный свет, бледнея, тает, меркнет — и через мгновение опять растет, ширится. Опять загораются подоконники, косые золотые квадраты на полу. Хрущев переводит взгляд с пола, с подоконника на раму, видит светлый двор — и вспоминает: вот оно что, опять забыли сломать это белое чудище, что дети сбили из снега, поставили среди двора, против окна своей комнаты! Днем Коля боязливо радуется на него, — это человекоподобный обрубок с бычьей рогатой головой и короткими растопыренными руками, — ночью, чувствуя сквозь сон его страшное присутствие, вдруг, даже не проснувшись, заливается горькими слезами. Да снегур и впрямь страшен ночью, особенно если глядеть на него издали, сквозь стекла: рога поблескивают, от головы, от растопыренных рук падает на яркий снег черная тень. Но попробуй-ка сломать его! Дети будут реветь с утра до вечера, хотя он все равно уже тает понемногу: скоро весна, мокнут и дымятся в полдень соломенные крыши...

Хрущев осторожно кладет ребенка на подушку, крестит его и на цыпочках выходит. В прихожей он надевает оленью шапку, оленью куртку, застегивается, поднимая черную узкую бороду. Потом отворяет тяжелую дверь в сени, идет по скрипучей тропинке за угол дома. Луна, не высоко стоящая над редким садом, что сквозит на белых сугробах, ясна, но по-мартовски бледна. Раковинки легкой облачной зыби тянутся кое-где по небосклону. Тихо мерцают в глубокой прозрачной синеве между ними редкие голубые звезды. Молодой снежок чуть запылил крепкий, старый. От бани в саду, стеклянно блестящей крышей, бежит гончая Заливка. «Здравствуй, — говорит ей Хрущев. — Мы одни с тобой не спим. Жалко спать, коротка жизнь, поздно начинаешь понимать, как хороша она...»

Он подходит к снегуру и медлит минуту. Потом решительно, с удовольствием ударяет в него ногою. Летят рога, рассыпается белыми комьями бычья голова... Еще один удар, — и остается только куча снега. Озаренный луной, Хрущев стоит над нею и, засунув руки в карманы куртки, глядит на блестящую крышу. Он наклоняет к плечу свое бледное лицо с черной бородой, свою оленью шапку, стараясь уловить и запомнить оттенок

блеска, потом поворачивается и медленно идет по тропинке от дома к скотному двору. Двигается у ног его, по снегу, косая тень. Дойдя до сугробов, он пробирается между ними к воротам. Ворота отзынуты. Он заглядывает в щель, откуда резко тянет северным ветром. Он с нежностью думает о Коле, думает о том, что в жизни все трогательно, все полно смысла, все значительно. И глядит во двор. Холодно, но уютно там. Под навесами сумрак. Сереют передки телег, засыпанные снегом. Над двором — синее, в редких крупных звездах небо. Половина двора в тени, половина озарена. И старые, косматые белые лошади, дремлющие в этом свете, кажутся зелеными.

*29.6.1911*

## ДРЕВНИЙ ЧЕЛОВЕК

Рано чувствуется осень, ее спокойствие. Начало августа, а похоже на сентябрь, когда жарко лишь в затишье, на припеке.

Учитель Иваницкий, человек молодой, но необыкновенно серьезный, глубоко задумывающийся по самому малейшему поводу, медленно поднимается на пологую гору, прогоном через усадьбу князей Козельских. Заложив одну руку за широкий пояс, которым подпоясана его длинная чесучовая рубаха, а другой пощипывая кончики редких белесых усов, учитель горбит свой истяжной стан и щурит зоркие зеленоватые глаза.

Направо — большой сад за соломенным валом; налево — старая кузня, развалины псарни, пустые сушилки из розовых кирпичей, а между ними — проезд на бесконечное и тоже пустое гумно. В саду, уже поредевшем, тишина, косой солнечный блеск; кое-где золотится паутина; спокойно лежат пятна теней под яблонями; порой с коротким стуком падает в шелковистую, сухую траву спелое яблоко. Дерновая вогнутая крыша кузни вся в наростах мха, бархатно-изумрудных, с коричневым отливом. Раскрытые сушилки тяжелы, грубы, очертаниями своими говорят о чем-то давнишнем. И все это, — мох на кузне, псарня, заросшая лопухами, голые стропила над розовыми стенами, — все так чудесно на ясном голубом небе среди белых круглых облаков. На огромном пустыре гумна воробьи ливнем пересыпаются с одной крапивной чащи на другую. За этими чашами поднимается порозовевший осинник... Учитель идет к Соловьевым, еще раз хочет повидаться с их дедом Таганком. Древен он, как говорят в Козельщине: ему сто восемь, он знаменитость.

За усадьбой учитель поворачивает налево, в ту широкую улицу, что пролегает между валом гумна и старыми избами

бывших княжеских крепостных. Конец ее как бы упирается в небосклон — чуть зеленоватый, сентябрьский. Сентябрь и в верхушках лозин, кое-где растущих перед избами и сквозящих мелкой, желтеющей листвой на белых облаках и лазури; сентябрь в золотистом солнечном свете и в прозрачной тени, падающей от изб на улицу, на водовозки, прикрытые пегими попонами и армяками... Учитель идет и косится на избы, на их окошечки и крыльца.

Окошечки крохотные, темные. Крыльца, пороги обросли грязью. Да не лучше и возле них. В крепкой, как чугун, засохшей грязи, в которую вросли тряпки, сгнившие лапти, лежат большие плоские камни, на которых летом обедают и ужинают. Дети кричат, перекликаются, лезут по ним. Много детей в Козельщине, и как сопливы они, в каких болячках их щеки и губы!

— Как тебя зовут? — спрашивает учитель толстого голубоглазого мальчика под лозинкой у двора Фоминых.

Мальчик молчит. Учитель повторяет вопрос. Мальчик пятится к лозинке, поднимает грудь, надувается так, что багровеет, и молчит.

Озабоченно бродят куры, раздирают лапами золу, землю, клюют что-то, кудахтают, приманивая цыплят. У двора Климовых спит под водовозкой старуха. Тень от изб скосилась, передвинулась, солнце падает на водовозку, печет лицо, так густо облепленное мухами, точно на нем черный рой привился, печет худой костреч, голые ноги, блестящие от загара. Мальчик в штанах с помочами и шерстяных красных чулках носится среди цыплят, бегающих и на бегу клюющих по земле и по ногам старухи мух, и все норовит затоптать хоть одного из них; цыплята с писком рассыпаются, и он останавливается, выжидает, когда они соберутся в кучу, а как только соберутся, опять со всех ног летит на них.

Соловьевы разделились. Таганок живет у Глеба. Но учитель идет сперва к двору его другого внука, плотника Григория. Григорий стоит на прогалине между избою и погребом, в проходе на гумна, посреди квадрата из трех ярусов новых, телесного цвета бревен: рубит себе амбаришко. На нем городской картуз, еще не мытая ситцевая рубаша, вздутая розовым измятым пузырем, штаны из чортовой кожи и сапоги: Соловьевы — первые жители в Козельщине. Увидав гостя, он легонько и ловко всекает в бревно блеснувший на солнце топор. Здороваются, садятся на сруб, закуривают.

— К Таганку? — спрашивает Григорий.

— К нему. Давно не видал...

— Что ж, дело хорошее. Пройдите, проведайте. Он это любит.

— А как он? Дряхлеет?

— Нет, скрипит еще помаленьку. А, конечно, не наше с вами дело: ведь сто восемь. Да и житье, конечно, не сладкое.

— А что?

— Да что, надо правду говорить: голодом они его морят, вот главная вещь.

— А все сноха?

— Известно, она. Да я так думаю, всему причина брат Иглеб. Его допущение. Он должен защищать, кому же больше? Сам-то Таганок, вы знаете, какой: за всю жизнь цыпленка не обидел.

— Серьезно, морят?

— Еще как серьезно-то! У них вон шесть пудов одной ветчины висит,— поверите, ребрышка никогда не дадут. Сами, как праздник, за чай, а он чашечки попросить боится. Ничтожности жалеют...

— Нда-а,— задумчиво говорит учитель.

Сипят кузнечики в бурьяне на припеке. Все сохнет, роняет черные зерна: крапива, белена, репы, подснежник. Баба, в красной юбке, в белой рубахе, стоит в чаще конопляников выше ее ростом, берет замашки. За конопляниками сереют риги, желтеют новые скирды.

— Нда-а,— говорит учитель, едко затягиваясь.— Скирды-то ваши?

— Нынешний год дал господь,— скромно, боясь сглазить, отвечает Григорий.

— А чашки чаю жалеют,— ухмыляется учитель.— Что он, и теперь еще хорошо помнит все?

— На удивление прямо! Все помнит: что когда сделать по дому, что, например, прибрать, купить, где что дешевле,— все первый скажет. Насчет корму, например, разумней его человека нету...

Проходят к Таганку задами. За двором Григория несколько колодок пчел. Учитель гнется, боится их, а Григорий смеется, уверяет, что пчелы чистого человека не трогают. Тут чуть тянет холодком с севера, под солнцем пыльно и сытно пахнут конопляники. Против конопляников приделано к каменной стене варка нечто вроде шалаша, сбитого из кольев и обшитого замашками. Это и есть летнее жилище знаменитого человека.

— Де-ед? — окликает учитель, отворяя дверку.

Никто не отзывается — в шалаше пусто. Верно, Таганок в избе. И Григорий уходит искать его. А гость спешит осмотреть шалаш. Все то же. И все так же трогательно. Чтобы не надоедать снохе своим присутствием, сократиться насколько возможно, перебирается сюда Таганок чуть не с великого поста. Гнилые розвальни без оглоблей, покрытые соломой, служат ему постелью. На соломе нет даже попонки. В изголовье,

вместо подушки, — свернутый рваный чекмень, и по цвету видно, что чекмению этому полвека. У изголовья — столик из дощечки и кольев; на дощечке — подобие шкатулки, а в ней все добро, все хозяйство Таганка: моток ниток, варежки, тавлинка из бересты с нюхательным табаком... Боже мой, боже мой! Драгоценнейшим даром, даром сказочного долголетия одарила судьба своего избранника! А к чему он тут, этот дар?

У шалаша лежит большой обрубок, корень дуба. На нем дед отдыхает, греется, — обрубок отшлифован полушубком. Учитель садится и ждет. Когда же за углом слышатся шаркающие шаги, поднимается, чтобы уступить Таганку привычное место. Таганок показывается из-за угла, — невысокий, с опущенными плечами, — и подвигается неловко, вразвалку, опадая с одной ноги на другую. Ноги толсто опутаны онучами, в больших лаптях. Полушубок, почти голый с исподу, — вытерлась овчина, — стал широк, полы его висят. Большая шапка надета глубоко, немного криво. Увидав гостя, Таганок стаскивает ее обеими руками, как ребенок, кланяется низко. Длинные волосы, уцелевшие вокруг его темного черепа, белы и легки, как ковыль. Легка, бела и косая борода его. Выцветшие, налитые слезами глаза ничего не выражают, кроме не то покорности, не то грусти.

— Здорово, дедушка, — говорит учитель, садясь на землю. — Как поживаешь? Надевай шапку-то...

Таганок колеблется. Он, одолев больше века, невольно и сам считает себя особенным человеком. Но заслужил ли он наконец право быть при господах в шапке, этого он еще не знает. Поколебавшись, обеими руками надевает ее.

— Садись на обрубок-то, тебе покойнее будет...

Таганок, помедлив, садится, поправляет полы, складывает на коленях черные руки и что-то думает.

— Энтих уж нету, — говорит он медленно и так, точно разговаривает не с учителем, а с кем-то другим. — Энтих уж нету, что покоили-то...

— В старину лучше было? — спрашивает учитель.

— Гм! — слабо улыбается Таганок. — В два раза лучше было...

Все старики играют, притворяются чересчур старыми. Таганок не играет. Он нечеловечески прост. Учитель, как всегда, не спускает с него глаз; его волнуют странные мысли: подумать только — при Таганке прошел один из самых замечательных веков! Сколько было за этот век переворотов, открытий, войн, революций, сколько жило, славилось и умерло великих людей! А он даже малейшего понятия не имел никогда обо всем этом. Целых сто лет видел он только вот эти конопляники да думал

о корме для скотины! И сидит он так смиренно, так неподвижно. Опустил плечи, сложил на худых коленях черные, спеченные столетием руки, перекрестил искривленные работой и простудой пальцы, а мухи ползают по ним, сучат ножками. Белый мотылек спокойно, как на дереве, замер на его детски худой и черной шее, окаймленной воротом серой рубахи. Шапка накинута глубоко; из-под шапки видны концы редких, длинных, зеленовато-белых бровей, устало приподнятых. Нижнее веко левого глаза немного разорвано и оттянуто книзу; этот глаз, полный слезою, совсем безжизнен. В правом — слабая мысль, слабая жизнь, чуждая всему нашему миру. Он, этот столетний человек, еще слышит, видит, разумно толкует с внуками о хозяйстве, помнит все, что нужно нынче или завтра сделать по дому, знает, где что лежит, что требует поправки, присмотра... И все же весь он в забвенье, в мире своих далеких воспоминаний. Что же это за воспоминания? Часто охватывает страх и боль, что вот-вот разобьет смерть этот драгоценный сосуд огромного прошлого. Хочется поглубже заглянуть в этот сосуд, узнать все его тайны, сокровища. Но он пуст, пуст! Мысли, воспоминания Таганка так поразительно просты, так незложны, что порою теряешься: человек ли перед тобою? Он разумный, милый, добрый. Следовало бы с благодарностью поцеловать его руку за то, что явил он нам, воплотив в себе редкое благословение неба. Но — человек ли он?

Говорит Таганок очень медленно, но не путаясь; выражает мысли с трудом, но точно. Он знает, что, волею судьбы, возложена на него обязанность толковать с гостями прежде всего о старине. И сам спешит дать повод к разговорам.

— Тепло,— говорит он, поводя плечом, что пригрето опускающимся солнцем.— Кровь-то моя уж холодеет... Студился, бывало, часто... А все отчего? В старину ведь в извозы ходили...

Учитель начинает расспрашивать его. И опять, опять слышит только давным-давно знакомое. Был дед два раза у хохлов, за Воронежем; был два раза в Москве, раз пять в Калуге; и много, много раз в Белеве...

— Что же? — спрашивает учитель, домогаясь обобщений.— Нравилась тебе хохлы?

— Хохлы-то? — отвечает Таганок.— Ничего...

И, уже покончив с общим, переходит к частному:

— Мы туда под Сретенье поехали... У меня тогда четыре лошади было... Прокорми-ка их! Ну, поехали туда порожняком... Оттуда пшеницу наклали... Доправили все честь-честью, стали барыши считать... Ан только себя самих да лошадей оправдали...

— А француза помнишь?



Таганок думает.

— Француза-то? — спокойно говорит он. — Это какой в Москву приходил? Нет, не помню...

— А Москва при тебе велика, хороша была?

— Большая... Приедем, бывало, в нее... Поставят нас на Болоте в ряд... Мы и стоим... Как хлаг спустят, может, значит, купец, какой купил что́, подойти, взять свой товар... Ну, подойдет, глянет и отправит его: либо на Воробьиные горы, либо еще куда...

Учитель нервно курит, хмурится: нет, ничего путного не выходит из его расспросов!

Он щиплет концы усов, собирается с мыслями, стараясь представить себе невозможное, — картину одной из самых долгих человеческих жизней, картину целого столетия; он силится войти в душу и тело этого необыкновенного человека — и никак не может примириться с тем, что говорит необыкновенный человек очень обыкновенно, даже чересчур обыкновенно, рассказывает же только пустяки. «Систематически надо, систематически, — думает учитель, — с самого начала надо начать...» Но краткие, трогательные и пустяковые ответы Таганка сбивают с толку, вызывают беспокойство, лишают охоты расспрашивать. «Рано ты начал помнить себя?» — «А бог его знает, не знаю... Ведь мы, — слабо улыбается дед, — народ темный, в лесу живем, пням молимся... Допрежь тут везде леса были...» — «Какие леса?» — «А всякие. Дуб, например, сосна... Разбойники водились...» — «Разбойники? Ты историю какую-нибудь о них помнишь?» — «Нет, истории, слава богу, никакой не было...» — «Ну, а село какое было? Меньше теперешнего?» — «Все такая же... Церковь только на старом кладбище стояла, а не возле училища... Я четырех попов пережил...» Но каковы были эти попы, похожи ли на теперешних, этого Таганок не умеет рассказать. Но, может быть, он хорошо помнит господ, князей Козельских, и о них расскажет что-нибудь путное? — Помнить-то помнит... Но узнаёт учитель только то, что было три генерала: Семен Милыч, Мил Семеныч и Григорий Милыч; что господа они были хорошие, что особенно «лихим» нравом отличался Мил Семеныч...

— Тебя пороли? — спрашивает учитель.

— Нет, бог не привел, — отвечает Таганок. — Одна́ только. Да еще раз в шею дал мне Мил Семеныч... На постройке... Я бревно не тое ухватил... Вот продавать — продавали... Возили... Осерчал барин на нас, на ребят... Ну, и отправил одиннадцать голов... В энтот, в Белев-то... Ну, привезли нас на базар, поставили друг с дружкой... Подшел бурмистр селезневский... Мы было дюже оробели, да не сошлось что-й-то дело... А за меня хорошо — полтора ста пять давали...

Солнце уже скрылось за далеким полем; гуше и свежее пахнут конопляники в вечерней тени, роса пала на огороды. Почти черное, гробовое лицо Таганка стало еще безжизненнее, глаза совсем остекленели. Ему холодно, он кутается в полушубок, оправляет полы, глубже надвигает шапку и засовывает руки в рукава.

— Покойник Семен Милыч был крут! А помер он, заступил его место Мил Семеныч,— стало и совсем никуда... Молили мужики, чтобы ему бог смерти дал... А я, бывало, скажу: «Напрасно вы его сбываете. Не сбывайте,— хуже будет...» Так оно и вышло... Да...

Таганок отдыхает; потом опять заводит медленную речь:

— Да... А как помер Мил Семеныч, привезли гроб в засмоленном рундуке... Скрозь рундук дрянь, кровь пролила... Нехорошо помер, без болезни, тело не выболело... Как, значит, кому назначено...

Учитель с трудом дослушивает этот тяжкий рассказ и поднимается.

— Ну, прощай, до свидания, дед,— говорит он.— Дай бог тебе еще пожить.

Таганок кротко поднимает брови.

— Пожить-то? — отвечает он.— Да ведь и так уж сто с восьмеркой...

И помолчав, опускает голову.

— Но ведь хочется, небось?

— А бог ее знает...

— Но позволь, ты-то сам как чувствуешь?

Таганок думает.

— Да что ж чувствовать? Тут чувствовать нечего... Чувствуй, не чувствуй...

— Позволь: ну, а если бы тебе, например, предложили пять лет прожить или год,— что ты выбрал?

Таганок слабо улыбается, глядя в землю:

— А господь ее знает...

И учитель тупо, долго глядит на него. Потом решительно пожимает его твердую ледяную руку и уходит.

Он уходит за деревню, в поле, и долго шагает в полутьме по мягкой пыльной дороге.

Возвращается уже в сумерки. Не спеша идет по улице. Огней нет, избы темны и тихи. Все спят. Пахнет жильем — как-то особенно, тепло, по-ночному. Сухо трюкают осторожные сверчки. Вот опять изба Глеба. Она вымазана известкой, слабо белеет. Стекла ее сини от вечера, в них еще слабо отражается небо. Внизу, по земле, реет какой-то еле заметный отсвет, отчего изба и полушубок кого-то сидящего на голыше возле нее странно выделяются. Кто это? Неужели Таганок?

— Дедушка, еще здравствуй,— негромко говорит учитель, очень тронутый видом этого одинокого, чужого всему миру человека, пережившего и всех сверстников своих и всех детей их.

— Кто это? — тихо откликается Таганок.

— Да я, учитель... Что же ты не спишь?

Таганок думает. Отвечает он теперь еще медленнее:

— Да какой наш сон... Древен я... А ночь эта — как медведь идет она на меня...

«Это не ночь, а смерть»,— думает учитель; и, помолчав, спрашивает:

— Ну, а как же? Пожил бы еще?

Тихо. Трюкают сверчки. На порог избы вышла дымчатая кошка, сбежала на землю — и стала невидима. Слабо белеет борода Таганка. Темного, гробового лица его не видно. Жив ли он?

Жив. Долго спустя он отзывается:

— Пожил бы... И пять годов одолел бы еще... Да за пять-то годов...

Он, видно, вспоминает сноху, свой шалаш, свою беспризорность, беспомощность.

И легонько вздыхает:

— За пять-то годов вошь съест. А то пожил бы.

8.7.1911

## СИЛА

Шел осенний, мгlistый дождь в сумерках.

Прижав уши, стояла на барском дворе, в грязи возле людской, донская кобыла, темная от дождя, худая, будылястая, с тонкой длинной шеей, с обвислым задом, с подвязанным хвостом, запряженная в тележку, плетеный кузов которой был очень мал по тяжелым дрогам и крепко ошинованным колесам.

Мещанин Буравчик, приехавший в этой тележке к старосте, не заставший его дома и сидевший в людской за кубастым самоварчиком красной меди, был человек старенький, ростом с мальчика. Череп его был гол и желт. Над ушами и по затылку курчавились остатки черных жестких волос. Курчавилась и борода его. Мокрые усы, прокопченные табачным дымом, лезли в добрый, беззубый рот. На темном морщинистом личике, под сдвинутыми бровями, живо и весело блестели кофейные глазки. Он и хмурился и вместе улыбался, тянул с блюдца горячую воду, сося кусочек сахара, и все шарил по впалой груди, ощупывая карманы ветхого длиннополого сюртука, порыжевшего на лопатках.

Горела над столом висячая лампочка.

Буравчик поглядывал на нее, — она коптила, — и без умолку говорил. А беременная старостиха, сидевшая на нарах у печки и за веревку ногой качавшая люльку, закрытую ситцевым пологом, похожую на маленький шатер, рассеянно слушала, думая свое и заводя глаза от дремоты.

— Вот они распарятся, я их и подберу, — говорил Буравчик и схлебывал с блюдца, указывая на стакан, набитый разбухшими кусками кренделей. — Распарятся, тогда и съем. А так нет, не угрызу. Нечем.

И Буравчик, засмеявшись, полез сухим, бурым от окурков пальцем в рот.

— О! Ишь! — сказал он с удовольствием. — Ни аноо не аалось, — сказал он, желая сказать: «ни одного не осталось», и вода пальцем по голой розовой десне.

— По какой же такой притчине? — равнодушно спросила старостиha, с трудом поднимая веки и думая о том, что этот веселый старичок в обтертых сапожках и линючей розовой коворотке пережил двух жен, вырастил шестерых сыновей, купил барское имение под городом, а прежних повадок все не кидает — живет побирушкой, торгует на селе в лавчонке, конокрадствует и, говорят, вот-вот опять должен в острог садиться.

Буравчик зорко глянул на старостиha, на ее большое сонное лицо.

— По какой притчине-то? — ответил он, вытирая палец о борт сюртука. — А совсем не по той, что ты думаешь. А совсем не по той. На меня несут, брешут, как на мертвого, ну, а хоть бы и правда была, так не родился еще тот человек, сударыня, какой смел бы коснуться меня. Не-ет, бог миловал! Меня голой рукой не возьмешь! У меня вон шесть сынов-бугаев, озорней их, чертей, во всем селе нету, а ты глянь, как я их вышколил: взгляду моего боятся! Пересолишь — хлебать не станешь, — прибавил он ни с того ни с сего одну из тех прибауток, связь которых с предыдущей речью очень часто оставалась совершенно непонятна его собеседникам. — Зуб же я своих лишил потому, что даже болели они у меня, а добрые люди возьми да и научи купоросу в роту подержать. Ты вот послушай, какую антимионию расскажу я тебе про эти самые зубы. Муженек твой, без сомнения, застрял где-й-то, давай его, дружка милого, ждатель да беседовать от скуки...

— Обещался к вечеру быть, — сказала старостиha. — Да вишь грязь-то какая.

— А мы его подождем, — ответил Буравчик и, поставив блюдце на стол, полез в боковой карман за кисетом с махоркой. — А мы его подождем. Да. История же эта самая такого рода была...

И не спеша, с удовольствием стал рассказывать. Череп его блестел от пота, брови хмурились, глаза блестели, выражая старческое довольство жизнью. «Беспрременно сынки его дельце какое-нибудь нынче в ночь обработают, — думала старостиha. — Для того он и из дому уехал». А Буравчик, свертывая цыгарку, рассказывал:

— Сила не в зубах, сударыня моя. Зубаст кобель, да прост. Опять же и не в медведе сила. У нас на Руси силу в пазухе носи... Да ты вот лучше послушай. В некотором царстве, не в нашем государстве, ехали мы раз, сударыня, с возами своими по белевской по большой дороге. А нужно тебе заметить, что мы тогда с братом Егором коробошниками были, кампаниро-

вали с ним по этой части да денежки плутовством наживали, откровенно же сказать — прямо муку мученическую терпели от этих от самых дождей и холодов. Вот и тут тоже подобное случилось: едем мы, едем, а дождь, господь с ним, как зарядил с утра, да так до вечера и остался. Холит нас да холит, будто за хорошую цену нанялся, и до того добил, искоренил, что повернули мы, не долго думая, в лес какой-то встречный, к караулке. Надуваемся, ползем, ломим целиком, а по лесу, понимаешь, как мга какая от дождя синеет, а от лошадей альни дым валит: накаталось на колёса грязи этой самой с листьями — чертям невпроворот! Подъезжаем наконец того...

Буравчик хлебнул с блюда и остановился. Послышалось шлепанье лаптей по мокрой соломе в сенцах. Кто-то подошел к двери и стал шарить, ища скобки.

— Кажись, он? — спросила старостиха, прислушиваясь.

Прислушался и Буравчик. Дверь чмокнула, распахнулась, открыла на мгновение черную темноту, и вошел не староста, а работник Александр, большой мужик лет пятидесяти, лысый, бородатый, с ясными серыми глазами и нежным цветом крупного лица, в полушубке и чистой замашной рубахе. И опять зорко блеснули глаза Буравчика.

— А я насчет твоей лошади зашел, — сказал Александр, чему-то улыбаясь и садясь на лавку. — Прибрать ее, ай нет?

Буравчик подумал.

— Да нет, погоди, — ответил он с притворной беспечностью. — Я еще, может, поеду. Я ведь этих дождей нисколько не боюсь. Мы, брат, люди русские, травленные...

— Дело твое, — сказал Александр и поглядел в сторону. — Я, признаться, и шел-то больше за тем, чтоб на тебя поглядеть: какой-такой, мол, Буравчик этот бытует? Давно слышу: Буравчик, Буравчик... А что за Буравчик, — неизвестно. Дай, думаю, гляну.

— Наслышан, значит, обо мне? — спросил Буравчик. — Ну что ж, гляди. Меня уж давно так кличут. У меня их две, фамилии-то: одна, значит, улишная, а другая журнальная. А ты кто же такой? На работника не похож что-й-то.

— И то не похож, — сказал Александр. — Это меня нуждишка заставила батраком-то на старости лет быть. Я панютинский, у нас село богатое. Я и сам хорошо жил, хозяином. Да такая оказия: третий раз горю дотла! Справлюсь-справлюсь, придет лето, хлебушко уберу... ну, думаю, слава тебе, господи... Ан нет: опять сумку надевай! Просто хоть удавись, — прибавил он с застенчивой улыбкой. — Двое ребятишек сгорело...

— Да что ты? — с притворным участием и даже ужасом воскликнул Буравчик. — Это не мед, — сказал он, качая головой. — Это не мед. Избавь бог.

И, помолчав, опять обратился к старостихе:

— Да, так вот и я говорю: захали мы в лес, подъезжаем к караулке. Становим лошадей во двор, всходим в избу, самовар требуем. А лесник, надо тебе заметить, оказывается, вдовец, старик древний, да такой, что я и отродясь не видывал: просто орутан какой-то! Брат Егор даже испугался маленько. Глянул на меня, да и говорит мне по фарам, чтобы, значит, не понял нас лесник: «Брафарат, афара вефередь эферетофоро звеферерь. Офорон мофорожеферет уфурубифирить нафарас». То есть, по-русски сказать так: «Брат, а ведь это зверь. Он может убить нас...» А на зверя лесник, и правда, похож: рубаха ниже колен, лыком подпоясана, на ногах лаптищи, руки длинные, вроде корней дубовых... Дикий, одно слово, человек и силы, видать, неописанной.

— Этот орутан в зверильнице живет,— вставил Александр.— Видел я его в городе.

— Он самый, он самый,— подтвердил Буравчик.— Да его и по избам большое число попадается... Да... И все, знаешь, гнется, кряхтит, в землю смотрит...

— А виски, небось, серые, невпрочес, как у кобеля хорошего,— опять вставил Александр.

— И то правильно,— сказал Буравчик.— Ты догадлив живешь, сударушка. Ну, только против дикого, как говорится, и сам дик да хитер будь. Мужик тебя ралою, а ты его жалом... Да. Обращаемся к леснику: «Чайку с нами милости просим». — «Можно, говорит, спасибо». И опять этак сумрачно, а главная вещь — шамкает. Сел за стол, налили мы ему чаю,— в корец, понятно, а не в чашечку какую-нибудь,— а он и давай, вот не хуже моего, скорки хлебныя крошить да в чаю их распаривать. Чтó, думаем, за чудеса такие? «Дед, говорим, да ай у тебя зуб-то нету? Фигура у тебя знаменитая, а зуб нету: что, мол, за притча такая?» А он, понявши, без сомнения, такие слова, и совсем голову угнул. Молчал-молчал да и выложил нам, дуракам, свое назидание.

— Стравил тоже чем-нибудь, зубы-то? — из вежливости спросила старостиха.

Буравчик закурил, закашлялся и ответил веселой скороговоркой:

— Да нет, в том и басня вся, что не стравил. За грех поплатился, за гордость. Ты вот послушай.

И опять перешел на размеренный тон:

— Он, понимаешь, лесник-то этот, так прямо и сказал нам: назидание мое, говорит, в том самом есть, что окоротил меня господь за грех тяжкий, за глупость мою. И вот каюсь я теперь, ребята, и конному и пешему. Видите, какия дисни-то у меня? О, гляньте,— сказал Буравчик, представляя лесника, и

опять запустил в рот палец: — ни одного не осталось. А почему не осталось, — человека я хотел убить, на силу свою глупую понадеялся. Зашел ко мне, ребята, годов семьдесят тому назад солдат один из Польши: шел домой в отпуск несрочный и ночевать, значит, попросился. И было, вот как перед истинным богом, росту в том солдате не боле двух аршин, а силы — и на двух вшей не хватит...

— На взгляд-то, значит, — сказал Александр, чтобы показать, что он понимает, к чему клонил лесник в своем назидании. — На первый взгляд, то есть... Вот вроде как у тебя, — прибавил он насмешливо и дружелюбно.

— Во, во, в аккурат! — подхватил Буравчик, блеснув в его сторону глазами. — Совсем коростовый, глядеться... И зачни, понимаешь, деньгами перед лесником хвастать. «Сел, говорит, за стол, похлебал моей похлебочки, закурил трубочку, снял ранец с себя — и давай деньги из него таскать, пересчитывать. А денег этих самых у него — прямо туча: все сотельные одне, и все в стопки, в кирпичи складены и оборочками хрест-нахрест перевязаны. «Да это еще что! — говорит. — У меня, говорит, еще гаман за гашником спрятан, полный золотом». И как, значит, глянул я на этакое богатство, потемнело у меня в глазах от жадности, отнялись мои ручки, ноженьки, — аж штаны ходуном заходили. Посчитал деньги солдат, попихал их в ранец свой и бает: «Что ж, пора и на печь, дядюшка!» А я в ответ ему мычу только да зубами стучаю, зубы же мои в ту пору таковы были, что мог я ими очень даже просто доску столовую перешибить. Ну, завалился, без сомнения, солдат мой на печь, потушил я лучину, нашарил топор-колун под лавкою, лег и жду, а сам думаю: тюкну, мол, обухом разок, и капут ему, суслику!»

— Ан суслик-то умнее нас вышел, — вставил Александр, показывая, что он уже предугадал и развязку притчи.

— «Долго ли, коротко ли, — продолжал Буравчик, — только слышу — успокоился солдат. Ну, думаю, слава тебе, господи, во сне-то ему легче помирать будет, он и сам, небось, кого-нибудь сонного пришиб, — больше неоткуда было ему такую уйму денег накопить. Подкрался с обухом своим к печке, — а в обухе том весу, никак, боле пуда было, — стал крепче на приступку, повернул колун тылом, нащупал голову стриженую, размахнулся — раз!.. Мать честная! Только мокро, мол, останется!.. И что ж вы, ребяташки, думаете?»

Буравчик остановился и вытаращил глаза, держа блюдце на отлете.

— «Что ж вы думаете? — говорит лесник. — Очнулся солдат, потянул в себя носом и покойненько этак кличет меня: «Хозяин, а хозяин. Что-й-то у тебя тут делается? Либо у тебя



прусаки водятся? Мне сейчас, здо-оровый прусак на голову упал...» А хорош прусак, колун-то мой? Я прямо обомлел от этих слов, свалился с приступки, прижукнулся — и ни вздоху, ни пыху! Зачал однакося опять ждать своего...»

— Этот солдат, значит, слово знал такое,— сказала старостиха и, скрестив руки под грудями, перестала мотать ногой.

Александр, насмешливо и ласково улыбаясь, только розово-лысой головой покачал. А Буравчик вскочил с места, торопливо поправил коптившую лампочку, опять сел и крикнул, открывающая беззубый рот, с детской гордостью и радостью:

— Ха! Слово! Слово слову розь, а тут не иначе, как кочетинное слово было! Слушай, что дальше-то будет, чай, примечай, куда чайки летят. Лесник мой не унялся, опять полез на печь. «Нащупал я, говорит, темя солдатова, обернул востряком колун и ухнул со всей силы-возможности. Ухнул и жду, а солдат приподнялся, да как захо-хо-о-чет! «Ну, говорит, хозяин, видно, у тебя не выплещешься. У тебя, говорит, черти, без сомнения, водятся: видно, подложили плотники щетины под матицу и развели у тебя этих самых чертей видимо-невидимо. Сейчас один меня ровно прутом каким по лбу жиганул. Аж засвирбело...» Что тут делать? Отполз я от печи, а солдат поднялся и, слышу, обувается. «Хозяин, а хозяин, говорит, скоро свет, мне пора идти, проводи меня из лесу». Ну, думаю, и того лучше: угодню его в лесу, мне же выгодней,— избу поганить не надо. Вскочил, будто спросонья: «А? Что? Проводить? Ладно, мол, идем...» Надеваю армяк, трясусь с ног до головы, никак в рукав не попаду, а сам за дубинку ловлюсь: стояла у меня в уголке на ту пору ха-а-рошая орясина, пудиков трех весом. А солдат умывается и — хохочет! Берет в рот воду из махоточки, льет из рта на руки, нагинается, моет лицо и хохочет... Чисто чорт какой! Вышли, наконец того, пошли... Мне бы, дураку, давно пора понять, что никак не возьмет сила моя супротив ума солдатова, а я пруду да пруду, на затылок его стриженный гляжу. Он передом, в ранце своем телячьем, сам меньше ранца, я — за ним, по пятам, вроде медведя какого. Стало, вижу, белеть вверху, дождь редеть да редеть, прояснилось в лесу. Дождался я спуска в ложок, приподнял свой корешок да и пустил с навесу по затылку солдатова. А солдат...»

Буравчик быстро взглянул на свесившуюся голову старостихи и уставился радостно-блестящими глазами в Александра:

— «А солдат клюнул этак носом, шапку подхватил, поправил, обернулся, будто удивился очень, да и говорит этак строго да внятно: «А-а, говорит, вот какой домовой-то в избе у тебя завелся! Понима-аю! Видно, надо поучить его маленько...»

Поставил тихим манером ружьецо свое берданское к сосне, за-сучил рукава... «Ну-ка разинь рот»,— говорит. А я уж и дубинку уронил от ужаста и ничего не смыслю. Однако разеваю. «Да нет, говорит, ты пошире, пошире, стыдиться тут нечего!» Разеваю, сколько есть моей силы. Берет тогда солдат меня за зуб пальцами, давит его, как клещами залезными, и вынимает вон из рота, в горсть себе кладет. Вынимает опосля того и другой тем же побытом, вынимает и третий, вынимает четвертый...»

Остановились и у Александра его ясные глаза. А Буравчик, насладившись его ожиданием, уперся руками в колени, лихо расставил локти и отчетливо, раздельно стал доканчивать:

— «Выбрал он мне, без сомнения, зубы до единого, вынул лычко из карманчика: «держи подол»,— говорит. Я держу, подставляю. Положил солдат в подол цельную горсть моих зуб, завернул, закатал и так-то аккуратненько завязал, закрутил его лычком. «Это, говорит, мужичок-серячок, на память тебе, а это на помин души моей...» И вынимает, подает мне сотельный билет!»

— Это не плохо,— с улыбкой мотнул головой Александр. Буравчик залился смехом.

— Дай бог всякому! — воскликнул он.— Да ведь знаешь, сладок мед, а не по две ложки в рот. Деньги-то он приобрел, а зуб лишился. «Я, говорит, деньги-то беру, а сказать ничего не могу: хочу слово сказать, да с непривычки только челюстью ворочаю. А-а, а-а,— только и всего. Хочу сказать: солда-тушка...»

Буравчик, смеясь, поднял брови, сделал жалкое лицо:

— «Хочу сказать,— смеясь и почти плача, закричал он гонким голосом,— хочу сказать: солда-тушка, а выходит: саатушка...»

Стягивая с блюда воду и куски кренделей, он еще долго крутил головой, морщился, смеялся и повторял последние слова. Старостиха, сложив руки, крепко спала. Лампочка коптила, прусаки, пользуясь сумраком, бегали по старым бревенчатым стенам. На черных стеклах блестели капли дождя.

— Побаску твою понимаю,— сказал наконец Александр.

— Сила, значит, не в медведе,— пояснил Буравчик.

— Не иначе,— подтвердил Александр.— Был и у нас слу-чай подобный. Я сам очевидец был. Будет этому, дай бог не солгать, лет, небось, пятнадцать тому назад. Был у нас в Панютино малый дурак, звали его Бурлыга. Потому не мог он чисто сказать: тоже двух зубов на перед не хватало,— кобы-ла вышибла. Все, бывало: бур, бур. За то и Бурлыгой прозвали. Малый, говорю, был дурак, картавый, а вот, не хуже твоего лесника, рослый, здоровый, чистый падач. Потому его внеш-

ность позволяла. Так вот, случись у нас в селе ярманка. Собрались его товарищи по пьяному виду, сидят на выгоне. Конечно, тут и водка, и всякая закуска при них. Зашел разговор, как вот у нас с тобой, про силу, а он, конечно, пьяный,— бывает, твердый того не сказал бы, а тут: бур, бур, я, говорит, никого не боюсь, и бога никакого нету...

— Ну, уж это-то сдуру,— рассеянно сказал Буравчик, вздыхая после смеха, завертывая новую цыгарку и думая о чем-то другом.— Это уж сдуру.

— Понятно, сдуру,— подтвердил Александр.— Подивились все ему. Мол, не снесешь ты, малый, своей головы! А он поднялся, пошел в народ, увидал свою кралю, сделал ей любовный знак. Подходит она к нему. Зачал он при ей еще лучше куражиться. Глаза помутил, полушубок размахнул, усы мокрые косицами в щербину лезут. Видит — сидит какой-то старичок на телеге, лопатами торгует, а в телеге лежит связан большой белый баран, тоже, значит, продается. Лобик, поясника краской фуксином помечены. Рога здоровые, хвост толстый. А сам старичок легонький, как пух, в сером халатику, в белом колпачке из простой холстины и в чуньках покойницких. Сидит на грядке, закусывает калачиком. А малый-то мой сдуру куражится, ломается, лезет на него...

— Своей беды не чувствует,— вставил Буравчик в лад Александру, тем же тоном, каким и Александр вставлял замечания в его рассказ.

— Да, беды своей не чувствует,— повторил Александр.— «Сейчас, говорит, пойду, всю его амуницию расшибу и барану хвост отломлю». Любовница его мазаная, конечно, тоже уродничает, притворяется, упраскивает его. А он-то качается, ломается, будто пьян дюже! «Прошу тебе, не трожь ты мне, а то я хуже наделаю. Против силы моей, говорит, богатыря во всей державе не найдется». Подходит, значит, к старичку. «Бур, бур, дай, говорит, калачика мне». Старичок вынимает из телеги калач свежий, подает, а малый Бурлыга берет, а сам прицеливается барана сгрести, хвост ему зачать ломать. А старичок поглядел этак скромненько, слез с грядки, лопату поднял, да как размахнется, да как ахнет... Норовил-то по малому, а попал мерину по боку — аж по всей ярманке отозвалось! Мерин с ног долой, порядочно лопат переломал, ухнул,дохнул, да и каюк,— красная вода носом пошла. Тут, конечно, народ бежит, а старичок зашел за народ — да потуда его и видели. Как в воду канул. Мерин завалился, лежит, а баран сидит в телеге и на Бурлыгу лупится...

— Ну, а старик-то,— рассеянно перебил Буравчик,— он-то куда ж мог пропасть?

Александр подумал.

— А шат его знает,— сказал он.— Значит, слово такое знал. Значит, тоже прикоснулся он сагане... вот не хуже солдата твоего, либо тебя.

— Меня? — с притворным удивлением крикнул Буравчик, и глаза его блеснули довольством.— Ай ты очумел? Я-то тут при чем?

— Будя толковать-то! — сказал Александр ласково и грустно.— Авось, слышали про тебя. Ты, брат, тоже мал, да удал. Тоже хорош... Живучее всякой кошки али, скажем, козюли. Ты ее ралом, она тебя жалом... Ну, ты сам посуди: что ты предо мной? Я тебя могу двумя щептями задавить. А куда ж мне, дураку, справиться с тобой? Ты захочешь — кровинки во мне не оставишь, дотла всего высосешь. Я, к примеру, могу две полнивы за день взодрать... Да и взодрал-таки на своем веку, дай бог всякому. А чего добился? Один хрест на шее, только и всего. А ты вот тысячами ворочаешь... Нет, как можно! — сказал он с непонятым восхищением.— Я твоего ногтя не стою!

Буравчик молчал, загадочно и довольно улыбаясь. Что-то думая, он наклонил самовар и стал нацеживать последнюю чашку.

16.8.1911

## ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ

Моя жизнь хорошая была, я, чего мне желалось, всего добилась. Я вот и недвижимым имуществом владаю,— старичок-то мой прямо же после свадьбы дом под меня подписал,— и лошадей, и двух коров держу, и торговлю мы имеем. Понятно, не магазин какой-нибудь, а просто лавочку, да по нашей слободе сойдет. Я всегда удачлива была, ну только и характер у меня настойчивый.

Насчет занятия всякого меня еще батенька заучил. Он хоть и вдовый был, запойный, а, не хуже меня, ужасный умный, дельный и бессердечный. Как вышла, значит, воля, он и говорит мне:

— Ну, девка, теперь я сам себе голова, давай деньги наживать. Наживем, переедем в город, купим дом на себе, отдам я тебя замуж за отличного господина, буду царевать. А у своих господ нам нечего сидеть, не стоят они того.

Господа-то наши, и правда, хоть добрые, а бедные-пребедные были, просто сказать — побирушки. Мы и переехали от них в другое село, а дом, скотину и какое было заведение продали. Переехали под самый город, сняли капусту у барыни Мещериной. Она фрелиной при царском дворце была, нехорошая, рябая, в девках поседела вся, никто замуж не взял, ну и жила себе на спокойе. Сняли мы, значит, у ней луга, сели, честь честью, в салаш. Стыдь, осень, а нам и горя мало. Сидим, ждем хороших барышей и не чуем беды. А беда-то и вот она, да еще какая беда-то! Дело наше уж к развязке близилось, вдруг — скандал ужасный. Напились мы чаю утром,— праздник был,— я и стою так-то возле салаша, гляжу, как по лугу народ от церкви идет. А батенька по капусте пошел. День светлый такой, хоть и ветреный, я и загляделась, и не вижу, как подходят вдруг ко мне двое мужчин: один священник, высокий этакий, в серой рясе, с

палкой, лицо все темное, землистое, грива, как у лошади хорошей, так по ветру и раздымается, а другой — простой мужик, его работник. Подходят к самому салашу. Я оробела, поклонилась и говорю:

— Здравствуйте, батюшка. Благодарим вас, что проведать нас вздумали.

А он, вижу, злой, пасмурный, на меня и не смотрит, стоит, калмышки палкой разбивает.

— А где, говорит, твой отец?

— Они, говорю, по капусте пошли. Я, мол, если угодно, покликать их могу. Да вон они и сами идут.

— Ну, так скажи ему, чтоб забирал он все свое добришко вместе с самоварчиком этим паршивым и увольнялся отсюда. Нынче мой караульщик сюда придет.

— Как, говорю, караульщик? Да мы уж и деньги, девяносто рублей, барыне отдали. Что вы, батюшка? (Я, хоть и молода, а уж продувная была.) Ай вы, говорю, смеетесь? Вы, говорю, бумагу нам должны предъявить.

— Не разговаривать,— кричит.— Барыня в город переезжает, я у нее луга эти купил, и земля эта теперь моя собственная.

А сам махает, бьет палкой в землю,— того гляди в морду заедет.

Увидал эту историю батенька, бежит к нам,— он у нас ужасный горячий был,— подбегает и спрашивает:

— Что за шум такой? Что вы, батюшка, на нее кричите, а сами не знаете чего? Вы не можете палкой махать, а должны откровенно объяснить, по какому такому праву капуста вашей сделалась? Мы, мол, люди бедные, мы до суда дойдем. Вы, говорит, духовное лицо, вражду не можете иметь, за это вашему брату к святым дарам нельзя касаться.

Батенька-то, выходит, и слова дерзкого ему не сказал, а он, хоть и пастырь, а злой был, как самый обыкновенный серый мужик, и как, значит, услышал такие слова, так и побелел весь, слова не может сказать, альни ноги под рясой трясутся. Как завизжит, да как кинется на батеньку, чтобы, значит, по голове палкой его огреть! А батенька увернулся, схватился за палку, вырвал ее у него из рук вон, да об коленку себе — раз! Тот было — на грудь, а батенька пересадил ее пополам, отшвырнул куда подале и кричит:

— Не подходите, за ради бога, ваше священство! Вы,— кричит,— черный, жуковатый, а я еще жуковатей!

Да и схвати его за руки!

Суд да дело, сослали батеньку за это за самое, за духовное лицо, на поселенье. Осталась я одна на всем белом свете и думаю себе: что ж мне делать теперь? Видно, правдой не прожи-

вешь, надо, видно, с оглядочкой. Подумала годок, пожила у тетки, вижу, — деться мне некуды, надо замуж поскорей. Был у батеньки приятель хороший в городе, шорник, — он и посватался. Не сказать, чтоб из видных жених, да все-таки выгодный. Нравился мне, правда, один человек, крепко нравился, да тоже бедный, не хуже меня, сам по чужим людям жил, а этот все-таки сам себе хозяин. Приданого за мной копейки не было, а тут, вижу, берут без ничего, как такой случай упустить? Подумала, подумала и пошла, хоть, конечно, знала, что был он пожилой, пьяница, всегда разгоряченный человек, просто сказать — разбойник... Вышла и стала, значит, уж не девка простая, а Настасья Семеновна Жохова, городская мешанка... Понятно, лестно казалось.

С этим мужем я девять лет мучилась. Одно званье, что мешане, а бедность такая, что хоть и мужикам впору! Опять же дразги, скандалы каждый божий день. Ну, да пожалел меня господь, прибрал его. Дети от него помирали все, остались только два мальчика, один Ваня, по девятому году, другой младенец на руках. Ужасный веселый, здоровый был мальчик, десяти месяцев стал ходить, разговаривать, — все они у меня, дети-то, на одиннадцатом месяце начинали ходить и говорить, — сам стал чай пить, упоится, бывало, обоими ручонками за блюдце, не выдерешь никак... Ну только и этот мальчик помер, году еще не было. Пришла я раз с речки домой, а мужнина сестра, — мы с ней квартиру-то снимали, — и говорит:

— Твой Костя нынче цельный день кричал, закатывался. Я уж перед ним и так и этак, и руками, и в щелчки, и сладкой воды давала — давится, да и только, и вода через нос назад идет. Либо он остудился, либо съел чего, ведь они, дети-то, всё в рот ташут, разве углядишь?

Я так и обомлела. Кинулась к люльке, отмахнула положок, а уж он томиться стал: даже и кричать не может. Сбегала сестра за фельшером знакомым, пришел он, — чем вы, говорит, его кормили?

— Ел, мол, кашу манную, только и всего.

— А ничем не играл?

— Так точно, играл, — говорит сестра. — Тут все колечко медное с хомута валялось, он и играл им.

— Ну, — говорит фельшер, — обязательно он его проглотил. Чтоб у вас руки, говорит, отсохли! Натворили вы делов, ведь он помрет у вас!

Понятно, по его и вышла. Двух часов не прошло — кончился. Повинтовали мы, повинтовали, да делать нечего, — видно, против бога не пойдешь. Так и этого похоронила, остался один Ваня. Остался один, да ведь, как говорится, и один — господин. Невелик человек, а все не меньше взрослого съест, сопьет. Ста-

ла я ходить к воинскому полковнику Никулину полы мыть. Люди они были с капиталом хорошим, квартиру снимали, тридцать рублей помесечно платили. Сами в верхнем этажу, внизу кухня. Стряпуха у них была совсем безответная, а распутная. Ну, и забеременела, понятно. Полы мыть нагинаться нельзя, чугуна из печки не вытащит... Ушла она рожать, а я и захвати ее место: так-то ловко к хозяевам подкатилась. Я ведь, правда, смолоду ловкая и хитрая была, за что, бывало, ни возьмусь, сделаю все чисто, аккуратно, любого официанта засушу, опять же и угодить умела: что ни скажут господа, а я все «да-с» да «так точно» да «истинная ваша правда...» Встану, бывало, чуть лунно, полы подотру, печку истоплю, самовар расчищу,— господа пока проснутся, а уж у меня все готово. Ну, и сама я, понятно, была чисто плотная, ладная, из себя, хоть и сухая, а красивая. Мне ину пору даже жалко, бывало, себя станет: за что, мол, красота моя и звание на такой черной работе пропадают?

Думаю себе — надо случаем пользоваться. А случай такой, что сам полковник ужасный здоровый был и видеть меня покойно не мог, а полковничиха у него была немка, толстая, больная, старе его годов на десять. Он не хорош, грузный, коротконогий, на кабана похож, а она того хуже. Вижу, стал он за мной ухаживать, в кухне у меня сидеть, курить меня заучать. Как жена со двора, он и вот он. Прогонит денщика в город, будто по делу, и сидит. Надоел мне до смерти, а, понятно, прикидываюсь: и смеюсь, и ногой сижую-мотаю,— всячески, значит, разжигаю его... Ведь что ж поделаешь, бедность, а тут, как говорится, хоть шерсти клок, и то дай сюда. Раз как-то в царский день всходит в кухню во всем своем мундире, в эполетах, подпоясан этим своим белым поясом, как обручем, в руках перчатки лайковые, шею надул, застегнул, альни синий стал, весь духами пахнет, глаза блестят, усы черные, толстые... Входит и говорит:

— Я сейчас с барыней в собор иду, обмахни мне сапоги, а то пыль дуже — не успел по двору пройтись, запылился весь.

Поставил ногу в лаковом сапоге на скамейку, чисто тумбу какую, я нагнулась, хотела обтереть, а он схватил меня за шею, платок даже сдернул, потом затиснул за грудь и уж за печку тащит. Я туда, сюда, никак не выдерусь от него, а он так жаром и обдает, так кровью и наливается, старается, значит, одолеть меня, поймать за лицо и поцеловать.

— Что вы, говорю, делаете! Барыня идет, уйдите за ради Христа!

— Если, говорит, полюбишь меня, я для тебя ничего не пожалею!

— Как же, мол, знаем мы эти посуды!

— С места не сойти, умереть мне без покаяния!

Ну, понятно, и прочее тому подобное. А, по совести сказать,



что я тогда смыслила? Очень просто могла польститься на его слова, да, слава богу, не вышло его дело. Зажал он меня опять как-то не во-время, я вырвалась, вся растрепанная, разозлилась до смерти, а она, барыня-то, и вот она: идет сверху, наряженная, вся желтая, толстая, как покойница, стонет, шуршит по лестнице платьем. Я вырвалась, стою без платка, а она и вот она — прямо к нам. Он мимо нее да драло, а я стою, как дура, не знаю, что делать. Постояла она, постояла против меня, поддержала шелковый подол, — как сейчас помню, в гости нарядилась, в коричневом шелковом платье была, в митенках белых, с зонтиком и в шляпке маленькой, вроде корзиночка, — постояла, застонала и вышла. Выговаривать, правда, ни ему ни мне ни слова не стала. А как уехал полковник в Киев, она и прогнала меня.

Собрала я свое добришко и вернулась к сестре (Ваня-то у сестры жил). Сошла с этого места и опять думаю: пропадает задаром мой ум, ничего я не могу себе нажить, прилично замуж выйти и свое собственное дело иметь, обидел меня бог! Запрягусь, думаю, сызнова и уж жива не буду, а добыюсь своего, будет у меня свой капитал! Подумала, подумала так-то, отдала Ваню в ученье к портному, а сама в горничные, к купцу Самохвалову определилась, да и отдежурила цельных семь лет... С того и поднялась.

Жалованья положили мне два с четвертаком. Прислуги две — я да девушка Вера. Один день я за столом, она посуду моет, другой я посуду мою, она к столу подает. Семейство не сказать, чтоб большое: хозяин Матвей Иваныч, хозяйка Любовь Иванна, две взрослых дочери, два сына. Сам хозяин человек был серьезный, неразговорчивый, в будни никогда и дома не бывал, а как праздник, сидит у себя наверху, читает всякие газеты и сигару курит, а хозяйка простая, добрая, тоже, как я, из мешанок. Дочерей своих, Аню и Клашу, они скоро просватали и две свадьбы в один год сыграли, — выдали за военных. Тут-то, правду сказать, и начала я копить маленько: уж очень много на чай военные давали. Сделаешь просто даже безделицу какую-нибудь — спички когда так-то подашь, шинель с калошами, — глядишь, двадцать копеек, тридцать... Да и хаживали мы чисто, нравились военным. Вера, та, правда, из себя все что-й-то строила, барышню какую-то, — ходит мелкими шажками, нежна и обидчива до крайности, сейчас, чуть что, брови свои пушистые сдвинет, губы, как вишни, задрожат и уж слезы на ресницах, — хороши, правда, ресницы были, большие, я таких ни у кого не видывала! — ну, а я-то поумней была. Я, бывало, надену лиф гладкий, с прошивками, рукава короткие, на голову косу накладную с черным бантом бархатным, белый передник подкрахмаленный — так на меня даже взглянуть интересно. Вера,

та все в корсет затягивалась,— затянется мочи нет как туго, и сейчас же голова у ней до рвоты разболится,— а я никогда и не знала этого корсета, и так ладная была... А сошли военные, стали сыновья хозяйские давать.

Старшóму-то уж годов двадцать сровнялось, как я на место заступила, а меньшому четырнадцатый пошел. Этот мальчик был сидяка убогий. Все руки, ноги себе переломал, я и то сколько разов видела это дело. Как сломает, приходит к нему сейчас доктор, всякой ватой, марлей забинтует, потом зальет чем-то вроде, как известка, известка эта самая с марлей засохнет, станет, как лубок, а как подживет, доктор и разрежет, все долой снимет,— рука-то, глядь, и срослась. Ходить он сам не мог, а положил на заде. Бывало, и через пороги, и по лестницам — так и жжет. Даже через весь двор в сад проползал. Голова у него была большая, на отцову похожа, виски грубые, рыжие, как шерсть собачья, лицо широкое, старое. Потому как ел он страсть сколько: и колбасу, и бомбы шоколадные, и крендели, и слоенки — чего только его душа захочет. А ножки, ручки тонкие, как овечьи, все переломаны, в рубцах. Водили его долго без ничего, рубахи шили длинные. Грамоте учительница из духовного училища учила, на дом к нам ходила. Здрóрово занимался, умная была голова! А уж как на гармонье играл — где тебе и хорошему так-то сыграть! Играет и подпеваает. Голос сильный, пронзительный. Бывало, как подымет, подымет: «Я монах, красив собою!..» Эту песню часто певал.

Старший сын был здоровый, а тоже вроде дурачка, ни к каким делам не способен. Отдавали его в ученье во всякие училища — везде выгоняли, ничему не выучили. Как ночь, залется куда-нибудь — и до самой зари. Матери все-таки боялся и через парадный ни за что, бывало, не пойдет. Я вечером отделаюсь и жду,— как хозяйева заснут, прокрадусь по горницам, растворю окно в его кабинетике, а сама опять на свое место. Он сапоги на улице снимет, пролезет в окно в одних чулках — и ни стуки ни хрупы. На другой день встал,— как нигде и не был, а мне в невидном месте и сунет, что следует. Мне-то что ж, какая забота, беру с великой радостью! Сломит себе голову — его дело... А тут и от меньшого, от Никанор Матвейча, пошел доход.

Добивалась я тогда своего прямо день и ночь. Как забрала себе в голову одно обстоятельство, чтобы беспрерывно обеспечить себя, так и укрепились в этой жизни. Каждую копейку, бывало, берегу: деньги-то, оне с крылушками, только выпусти из рук! Сжила Веру эту самую — да она, по совести сказать, и без надобности была, я так и хозяйевам сказала: я, мол, и одна справлюсь, вы лучше прибавьте мне какую ни на есть безделицу,— осталась одна и ворочаю. Жалованье не стала на руки брать: как нарастет рублей двадцать, двадцать пять, сейчас

прошу хозяйку в банк съездить, на мое имя положить. Платье, башмаки — все хозяйское шло, куда ж мне тратить? А тут еще, на счастье мое, на его беду, влюбился в меня, прости господи, убогий этот...

Теперь-то, понятно, часто думается: может, за него-то и наказал меня господь сынком! Иной раз из головы не идет,— я вот сейчас расскажу, что он над собой сделал,— да ведь надо понять, что уж очень обидно было: гляну, бывало, на него, головастого, и такая-то досада возьмет! «Чтоб тебе, мол, подеялось, в рубашке ты родился! Вот ведь и калека, а в каком богатстве живет. А мой и хорош, да в праздник того не съест, не сопьет, что ты в будни, походя!» Стала я замечать — похоже, влюбился он в меня: ну, прямо глаз с моего лица не сводит. Он уж тогда лет шестнадцати был и шаровары стал носить, рубашку подпоясывать, усы красные стали пробиваться. А нехороший, конопатый, зеленоглазый — избавь бог. Лицо широкое, а худощавый, как кость. Сперва-то он, видно, то в голову себе забрал, что понравиться может,— зачал прифранчиваться, подсолнухи покупать и так-то лихо, бывало, на гармонье заливаешься,— заслушаешься. Хорошо, правда, играл. Потом видит, что дело его не выходит,— притих, задумчивый стал. Раз стою на галерее, вижу — ползет с новой немецкой гармоньей по двору,— опять подбрелся, причесался, рубаху синюю с косым высоким воротом надел, в три пуговицы,— голову запрокинул, меня, значит, ищет. Поглядел, поглядел, глаза томные, мутные сделал — и-и залился под польку:

Пойдем, пойдем поскорее  
С тобой польку танцевать,  
В танцах я могу смелее  
Про любовь свою сказать...

А я, будто и не заметила,— как шваркну из полоскательницы! Шваркнула, да и сама не рада, очень испугалась: будет, мол, мне теперь на орехи! А он ползет, бьется наверх по лестнице, обтирается одной рукой, другой гармонью тащит, глаза опустил, весь побелел и говорит этак скромно, с дрожью:

— Чтоб у вас руки отсохли. Грех вам за это будет, Настя. И только всего... Правда, смиренный был.

Худел он это время ну прямо не по дням, а по часам, и уж доктор сказал, что не жилец он на белом свете, обязан от чашотки помереть. Я гребовала, бывало, и прикоснуться к нему. Да, видно, гребовать бедному человеку не приходится, деньгами все можно сделать, вот он и стал подкупать меня. Как, бывало, позаснут все после обеда, он сейчас и зовет меня к себе — либо в сад, либо в горницу свою. (Он отдельно ото всех, внизу жил, горница большая, теплая, а скучная, все окна во двор, толки низкие, шпалеры старые, коричневые.)

— Ты, говорит, посиди со мною, я тебе за это деньжонок дам. Мне от тебя ничего не надо, просто я влюбился в тебя и хочу посидеть с тобой: меня одного стены съели.

Ну, я возьму и посижу. И набрала таким манером с полсотни. Да жалованья у меня лежало с процентами сотни четыре. Значит, думаю себе, пора мне теперь понемножку вылезать из хомута. А все жалко было — хотелось еще годок-другой переждать, еще покопить маленько, главная же вещь — проговорился он мне, что у него задушевная копилка есть, рублей двести по мелочам от матери набрал: понятно, болен часто, лежит один в постели, ну, мать и сует для забавы. А я нет-нет, да и подумую: прости, господи, мое согрешение, лучше бы он мне эти деньги отдал! Ему все равно без надобности, вот-вот помрет, а я могу на весь век справиться. Выжидаю только, как бы поумней дело это сделать. Стала, понятно, поласковее с ним, стала чаще сидеть. Войду, бывало, в его горницу, да еще нарочно оглянусь, будто крадучись вошла, дверь притворю и заговорю шопотком:

— Ну вот, мол, я и отделалась, давайте сидеть парочкой.

Значит, делаю вид, вроде как будто у нас свидание назначено, а я будто и робею, и рада, что отделалась, могу теперь побыть с ним. Потом стала скучной, задумчивой прикидываться. А он-то добивается:

— Насть, что ты такая грустная сделалась?

— Так, мол,— мало ли у меня горя!

Да еще вздохну, примолкну и на руку щекой обопрусь.

— Да в чем, говорит, дело-то?

— Мало ли, мол, делов у бедных людей, да какая кому печаль об них? Я даже этим разговором и наскучать вам не хочу.

Ну, он вскорости и догадался. Умный, говорю, был, хоть бы здоровому впору. Раз пришла к нему,— дело, как сейчас помню, на средокрестной было, погода этакая сумрачная, мокрая, туман стоит, в доме все спят после обеда,— я вошла к нему с работой в руках,— шила себе что-й-то,— села возле постели и только это хотела было вздохнуть, опять скучной прикинуться и зачать его полегоньку на ум наводить, он и заговорил сам. Лежит, как сейчас вижу, в рубашке розовой, новой, еще не мытой, в шароварах синих, в новых сапожках с лакированными голенищами, ножки крест-накрест сложил и смотрит искоса. Рукава широкие, шаровары того шире, а ножки, ручки — как спички, голова тяжелая, большая, а сам маленький,— даже смотреть нехорошо. Глянешь — думается, мальчик, а лицо старое, хоть и молодежвое будто — от бритья-то,— и усы густые. (Он почесть каждый божий день брился, так, бывало, и пробивает борода, все руки конопатые и то все в во-

лосах рыжих.) Лежит, говорю, причесался на бочок, отвернулся к стенке, шпалеры ковыряет и вдруг говорит:

— Насть!

Я даже дрогнула вся.

— Что вы, Никанор Матвейч?

А у самой так сердце и подкатилось.

— Ты знаешь, где моя копилка лежит?

— Нет, говорю, я этого, Никанор Матвейч, не могу знать. Я плохого против вас никогда в уме не держала.

— Встань, отодвинь нижний ящик в гардеробе, возьми старую гармонию, она в ней лежит. Дай мне ее сюда.

— Да зачем она вам?

— Так. Хочу деньги посчитать.

Я слезила в ящик, крышку на гармонию открыла, а там в мехах слон жестяной забит, порядочно тяжелый, чувствую. Вынула, подаю. Он взял, погромел, положил подле,— чистый, ей-богу, ребенок! — и задумался об чем-то. Молчал, молчал, усмехнулся и говорит:

— Я, Насть, нынче сон один счастливый видел, даже до свету проснулся от него, и очень хорошо мне было весь день до обеда. Глянь-ка, я даже прифрантился для тебя.

— Да вы, мол, Никанор Матвейч, и всегда чисто ходите.

А сама даже не понимаю, что говорю, до того разволновалась.

— Ну, говорит, ходить-то мне, видно, уж на том свете придется. Уж какой я красавец на том свете буду,— ты даже представить себе того не можешь!

Мне даже жалко его стало.

— Над этим, говорю, грех смеяться, Никанор Матвейч, и к чему вы это говорите, я даже понять не могу. Может, говорю, господь даст, поздоровеете еще. Вы лучше мне скажите, какой такой сон видели?

Он было опять обиняками стал говорить, стал посмеиваться,— какой я, мол, житель!— стал ни к селу ни к городу про нашу корову толковать,— скажи ты, говорит, за-ради бога мамаше, чтоб продала она ее, мочи моей нету, надоела она мне, лежу на кровати и все смотрю через двор на сарайчик, где она помещается, и она все смотрит в решетку на меня обратно,— а сам все деньгами погромыхивает и в глаза не смотрит. А я слушаю и тоже половины не понимаю,— чисто помещанные какие, несем, что попало, и с Дону и с моря,— наконец того не вытерпела,— ведь вот-вот, думаю, проснутся все, самовар потребуют, и пропало тогда все мое дело! — и поскорее перебиваю его, на хитрости пускаюсь:

— Да нет, говорю, вы лучше скажите, какой сон вы видели? *Про нас что-нибудь?*

Хотела, понятно, приятное ему сказать и так-то ловко попала. Взял он вдруг эту копилку, вынул ключик из шаровар, хочет отпереть — и никак не может, никак в дырку не попадет, до того руки трясутся, — наконец того отпирает, высыпает ее себе на живот, — как сейчас помню, две серии и восемь золотых, — сгреб их в руку и вдруг говорит шопотом:

— Можешь ты меня один раз поцеловать?

У меня руки, ноги и отнялись от страху, а он-то с ума сходит, шепчет, тянется:

— Настечка, только раз! Бог свидетель тебе, — никогда больше не попрошу!

Я оглянулась — ну, думаю, была не была! — и поцеловала его. Так он даже задохнулся весь, — ухватил меня за шею, поймал губы и с минуту, небось, не пускал. Потом сунул все деньги в руку мне — и к стенке:

— Иди, говорит.

Я выскочила и прямо в свою горницу. Заперла деньги на замок, схватила лимон и давай губы тереть. До того терла, альни побелели все. Очень, правда, боялась, что пристанет от него ко мне чахотка...

Ну, хорошо, — это дело, значит, слава богу, вышло, начинаю другое обдывать, поглавнее, из-за какого я и билась-то пуще всего. Чую — быть скандалу, боюсь, не буду меня с места пускать, начнет, думаю, приставать теперь с любовью, мужевать меня из-за этих денег... Нет, смотрю, ничего. Лезть не лезет, обходится попрежнему, аккуратно, будто ничего и не было промеж нас, даже думается, еще скромнее, и в горницу не зовет: держит, значит, слово. Подвожу тогда хозяевам разговор, — мол, пора мне об сыну позаботиться маленько, освободиться на время. Хозяева и слышать не хотят. А уж про него и говорить нечего. Намекнула ему раз, так он прямо побелел весь. Отвернулся к стенке и говорит этак с усмешечкой:

— Ты, говорит, не имеешь права этого сделать. Ты меня завлекла, приучила к себе. Ты должна подождать — я помру скоро. А уйдешь — я удавлюсь.

Хорош скромник оказался? Ах, думаю, бессовестные твои глаза! Я же из-за тебя себя неволила, а ты еще грозить мне! Ну, нет, не на такую напался! И зачала еще пуще предлог искать. Родилась тут кстати у хозяйки еще девочка, наняли к ней мамку — я и придерись, что с ней жить не могу. Злая, правда, оголтелая старуха была, сама хозяйка и то ей боялась, да и пьяная к тому же, — полштоф под кроватью так и дежурил, — и возле себя прямо терпеть никого не могла. Стала она на меня наговаривать, смутьянить всячески. То белье не так выгладила, то подать ничего не умею... А скажешь ей слово, затрясется вся — и жалиться бежит. Плачет навзрыд, а боль-

ше, понятно, не от обиды, а от притворства. Дальше, больше, я и говорю хозяевам:

— Так и так, увольте меня, мне от этой самой старухи белый свет не мил, я на себя руки наложу.

А сама уж дом на Глухой улице приглядела. Ну, хозяйка и не стала больше меня неволить. Правда, как прощалась со мной, страсть как звала опять к себе жить, или хоть придти когда к празднику, к именинам:

— Обязательно, говорит, чтоб ты приходила всегда все прибрать, приготовить. Я, говорит, только при тебе и покойна. Я к тебе как к родной привыкла.

Я, конечно, благодарю всячески. Наобещала всего с три сумы, накланялась в пояс — и сошла. И сейчас же, господи благослови, за дело. Купила дом этот, открыла кабак. Торговля пошла ужасная хорошая, — стану вечером выручку считать: тридцать да сорок, а то и всех сорок пять в кассе, — я и надумай еще лавочку открыть, чтоб уж, значит, одно к одному шло. Сестра мужнина замуж давно вышла за сторожа из Красного Креста, он все кумой меня звал, дружил со мной, — я к нему: взяла безделицу в долг на всякое обзаведенье, на права — и заторговала. А тут как раз и Ваня из ученья вышел. Советуюсь с умными людьми, куда, мол, его устроить.

— Да куда, говорят, его устраивать, у тебя и дома работы девать некуда.

И то правда. Сажаю Ваню в лавку, сама в кабак становлюсь. Пошла жожка в ход! И мыслить, понятно, забыла обо всех этих глупостях, хоть, по совести сказать, он, убогий-то, даже в постель слег, как я уходила. Никому ни одного словечка не сказал, а слег прямо как мертвый, даже гармонью свою забыл. Вдруг, здорово живешь, — Полканиха на двор, мамка эта самая. (Ее мальчишки Полканихой прозвали.) Является и говорит:

— Тебе, говорит, один человек велел кланяться, беспрерывно велел проведать его.

Тут меня даже в жар бросило со зла да стыда! Каков, думаю себе, голубчик! Что в голову свою забрал! Подружку какую себе нашел! Не стерпела и говорю:

— Мне его поклоны не надобны, он про свое убожество должен помнить, а тебе, старому чорту, стыдно в сводни лезть. Слышала ай нет?

Она и осеклась. Стоит, согнулась, смотрит на меня исподлобья пухлыми глазами, да только качаном своим мотает. Либо от жары, либо от водки ошалела.

— Эх ты, говорит, бесчувственная! Он, говорит, даже плакал об тебе. Весь вечер вчера лежал, к стенке отвернувшись, а сам плакал навзрыд.

— Что ж, говорю, и мне, что ль, залиться в три ручья? И не стыдно ему было, красноперому, реветь на людях? Ишь ребеночек какой! Ай от сиски отняли?

Так и выпроводила старуху эту без ничего и сама не пошла. А он вскорости возьми да и взаправду удавись. Тут-то я, понятно, пожалела, что не пошла, а тогда не до него было. У самой в доме скандал за скандалом пошел.

Две горницы в доме я под квартиру сдала, одну наш постовой городской снял, отличный, серьезный, порядочный человек, Чайкин по фамилии, в другую барышня-проститутка переехала. Белокурая такая, молоденькая, и с лица ничего, красивая, Феней звали. Ездил к ней подрядчик Холлин, она у него на содержаньи была, ну, я и пустила, понадеялась на это. А тут, глядь, вышла промежь них расстройка какая-то, он ее и бросил. Что тут делать? Платить ей нечем, а прогнать нельзя — восемь рублей задолжала.

— Надо, говорю, барышня, с вольных добывать, у меня не странноприимный дом.

— Я, говорит, постараюсь.

— Да вот, мол, что-й-то не видно вашего старанья. Вместо того, чтоб стараться, вы каждый вечер дома да дома. На Чайкина, говорю, нечего надеяться.

— Я постараюсь. Мне даже совестно слушать вас.

— А-ах, говорю, скажите пожалуйста, совесть какая!

Постараюсь-постараюсь, а старанья, правда, никакого. Стала пуще округ Чайкина увиваться, да он и глядеть на нее не захотел. Потом, вижу, за моего принялась. Гляну, гляну — все он возле ней. Затеял вдруг новый пинжак шить.

— Ну, нет, говорю, перегодишь! Я тебя и так одеваю барчуку хорошему впору: что сапожки, что каргузик. Сама, мол, во всем себе отказывала, каждую копейку орлом ставила, а тебя снабжала.

— Я, говорит, хорош собою.

— Да что ж мне, на красоту твою дом что ль продать?

Замечаю, пошла торговля моя хуже. Недочеты, ущербы пошли. Сяду чай пить — и чай не мил. Стала следить. Сижу в кабаке, а сама все слушаю, — прислонюсь к стенке, затаюсь и слушаю. Нынче, послушу, гудят, завтра гудят... Стала выговаривать.

— Да вам-то, говорит, что за дело? Может, я на ней жентиться хочу.

— Вот тебе раз, матери родной дела нету! Замысел твой, говорю, давно вижу, только не бывать тому во веки веков.

— Она без ума меня любит, вы не можете ее понимать, она нежная, застенчивая.



— Любовь хорошая, говорю, от поганки ото всякой распутной! Она тебя, дурака, на смех подымает. У ней, говорю, дурная, все ноги в ранах.

Он было и окаменел: глядит себе в переносицу и молчит. Ну, думаю, слава тебе, господи, попала по нужному месту. А все-таки до смерти испугалась: значит, видимое дело — врезался, голубчик. Надо, значит, думаю, как ни мога, поскорей ее добивать. Советуюсь с кумом, с Чайкиным. Надоумьте, мол: что нам с ними делать? Да что ж, говорят, прихватить надо и вышвырнуть ее, вот и вся недолга. И такую историю придумали. Прикинулась я, что в гости иду. Ушла, походила сколько-нибудь по улицам, а к шести часам, когда, значит, смена Чайкину, тихим манером — домой. Подбегаю, толк в дверь — так и есть: заперто. Стучу — молчат. Я в другой, в третий — опять никого. А Чайкин уж за углом стоит. Зачала я в окна колотить — альни стекла зудят. Вдруг задвижка — стук: Ванька. Белый, как мел. Я его в плечо со всей силы — и прямо в горницу. А там уж чистый пир какой: бутылки пивные пустые, вино столовое, сардинки, селедка большая очищена, как янтарь розовая, — все из лавки. Фенька на стуле сидит, в косе лента голубая. Увидала меня, привскочила, глядит во все глаза, а у самой аж губы посинели от страху. (Думала, бить кинуть.) А я и говорю этак просто, хоть по правде сказать, даже продохнуть не могу:

— Чтой-то у вас, говорю, — ай сговор? Ай именинник кто? Что ж не привечаете, не угощаете?

Молчат.

— Что ж, говорю, молчите? Что ж молчишь, сынок? Такой-то ты хозяин-то, голубчик? Вот куда, выходит, денежки-то мои кровные летят!

Он было шерсть взбудоражил:

— Я сам в лета взошел!

— Та-ак, говорю, а мне-то как же? Мне, значит, от твоей милосты с сучкой с этой из своего собственного дома выходить? Так, что ль? Пригрела я, значит, змейку на свою шейку?

Как он на меня заорет!

— Вы не можете ее обижать! Вы сами молоды были, вы должны понимать, что такое любовь!

А Чайкин, услышавши такой крик, и вот он: вскочил, ни слова не сказавши, сгреб Ваньку за плечи, да в чулан, да на замо́к. (Человек ужасный сильный был, прямо гайдук!) Запер и говорит Феньке:

— Вы барышней числитесь, а я вас волчком могу сделать! (С волчьим билетом, значит.)

— Хотите вы, говорит, этого, ай нет? — Нонче же комнату нам ослобонить. чтоб и духу твоего здесь не пахло!

Она — в слезы. А я еще поддала:

— Пусть, говорю, денежки мне прежде приготовит! А то я ей и сундучишко последний не отдам. Денежки готовь, а то на весь город ославлю!

Ну, и спровадила в тот же вечер. Как сгоняла-то я ее, страсть как убивалась она. Плачет, захлебывается, даже волосы с себя дерет. Понятно, и ее дело не сладко. Куда деться? Вся состоянье, вся добыча при себе. Ну, однако съехала. Ваня тоже попритих было на время. Вышел наутро из-под замка — и ни гу-гу: боится очень, и совесть изобличает. Принялся за дело. Я было и обрадовалась, успокоилась, — да не надолго. Стало опять из кассы улетать, стала шлюха эта мальчишку в лавку подсылать, а он-то и печеным и вареным снаряжает ее! То сахару навалит, то чаю, то табаку... Платок — платок, мыло — мыло, что под руку попадет... Разве за ним углядишь? И винцо стал потягивать, да все злей да злей. Наконец того, и совсем лавку забросил: дома и не живет, почесть, только поесть придет, а там и опять поминай как звали. Каждый вечер к ней отправляется, бутылку под поддевку — и марш. Я мечусь как угорелая — из кабака в лавку, из лавки в кабак — и уж слово боюсь ему сказать: совсем босяк стал! Всегда красивый был, — весь в меня, — лицом белый, нежный, чистая барышня, глаза ясные, умные, из себя статный, широкий, волосы каштановые, вьющие... А тут морда одулась, волосы загустели, по воротнику лежат, глаза мутные, весь обтрепался, гнущся стал — и все молчит; в переносицу себе смотрит.

— Вы меня не тревожьте теперь, говорит, я могу каторжных дел натворить.

А захмеляет, расслонявится, смеется ничему, задумывается, на гармоньи «Невозвратное время» играет, и глаза слезами наливаются. Вижу, плохо мое дело, надо мне поскорей замуж. Сватают мне тут как раз вдовца одного, тоже лавочника, из пригорода. Человек пожилой, а кредитный, состоятельный. Самый раз, значит, то самое, чего и добивалась я. Разужнаю поскорее от верных людей об его жизни — беды, вижу, никакой: надо решаться, надо поскорее знакомство завести, — нас друг другу только в церкви сваха перед тем показала, — надо, значит, предлог найти, побывать друг у друга, вроде как смотрины сделать. Приходит он сперва ко мне, рекомендуется: «Лагутин, Николай Иванович, лавочник». — «Очень приятно, мол». Вижу, совсем отличный человек, — ростом, правда, невеличек, седенький весь, а приятный такой, тихий, опрятный, политичный: видно бережной, никому, говорят, гроша за всю жизнь не задолжал... Потом и я к нему будто по делу затеялась. Вижу, ренсковый погреб и лавка со всем, что к вину полагается: сало там, ветчина, сардинки, селедки. Домик небольшой,

а чистая люстра. На окнах гардинки, цветы, пол чисто подметен, даром что холостой живет. На дворе тоже порядок. Три коровы, лошади две. Одна матка, трех лет, пять сот, говорит, уж давали, да не отдал. Ну, я прямо залюбовалась на эту лошадь — до чего хороша! А он только тихонько посмеивается, ходит, семнит и все рассказывает, как прейскурант какой читает: вот тут-то то-то, там-то то-то... Значит, думаю, мудрить тут нечего, надо дело кончать...

Понятно, это я теперь-то так вкратце рассказываю, а что я в ту пору прочувствовала — одна моя думка знает. Ног под собой от радости не чую, — мол, таки добилась своего, нашла свою партию! — а молчу, боюсь, дрожу вся: а ну-ка расстроится вся моя надежда? Да так оно едва и не случилось, чуть-чуть не пропали задаром все мои хлопоты, а из-за чего, даже теперь невозможно покойно сказать: из-за убогого этого да из-за сыночка милого! Мы так дело тихо, благородно вели, что ни кот, ни кошка, думалось, не узнает. Ан, слышу, уж весь пригород знает про наши с Николай Ивановичем замыслы, дошел, понятно, слух и до Самохваловых, — небось, сама же Полканиха и шепнула. А он, убогий-то, возьми, говорю, да и повесься! На вот, мол, тебе, — грозил, не верила, так вот же я назло тебе сделаю! Вколотил гвоздик в стену над кроватью, бечевку от сахарной головы приладил, захлестнулся и сполоз с кровати. Штука не хитрая, ума большого не надобно! Стою раз в сумерки в лавке, прибираю кой-что — вдруг кто-й-то грох, грох в ставню в доме! Так у меня сердце и оборвалось. Выскочила на порог — Полканиха.

— Ты что?

— Никанор Матвейч приказал долго жить!

Брякнула, повернулась — и домой. А я сгоряча-то не сообразилась, — меня прямо как варом обварило со страху, — накинула шаль, да за ней. Она бежит, спотыкается — и я бегу... Прямо страм на весь город! Бегу и ничего не понимаю. Одно думаю — пропала моя головушка! Шутка ли, что натворил, не тем бог помяни! До чего, думаю, совести в людях нету! Подбегаю, а там уж народу, как на пожаре. Парадный настежь, кто хочет, тот и лезет, — всем, понятно, любопытно. Я было, сдуру-то, себе туда же. Да спасибо как по голове меня кто огрел: опомнилась, повернула — да назад. Тем, может, и спаслась, а то бы узнала чижа паленого. Вспомнил бы кто-нибудь, — да хоть та же Полканиха со зла, — вот, мол, ваше благородие, на кого мы думаем, кто всему причиной, извольте ее опросить, — и готова. Поди потом, вывертывайся. Человек-то, бывает, ни сном ни духом, а его за хвост да в мешок... Не первый случай.

Ну, похоронили его — у меня и отлегло от сердца. Готовлюсь к свадьбе, дело свое спешу прикончить, распродать, что

можно, без убытку — вдруг опять беда-горе. И так с ног сбилась в хлопотах, спеклась вся от жары,— жара в тот год прямо переносная стояла, да с пылью, с ветром горячим, особенно у нас, на Глухой улице, на косогорах-то этих,— вдруг еще новость — Николай Иваныч обиделся. Присылает сваху эту самую нашу, какая нас сводила-то,— лютая псовка была, небось, сама же, остроглазая, и настрочила его, Николай-то Иваныча,— передает через нее Николай Иваныч, что свадьбу он до первого сентября откладывает — дела будто есть — и об сыну, об Ване, наказывает: чтобы, значит, я об нем получше подумала, определила его куда ни на есть, потому как, говорит, в дом я его к себе ни за какие блага не приму. Хоть он, говорит, и сын твой родной, а он нас в чистую разорит и меня будет беспокоить. (И его-то, правда, положение. Как он никогда никакого шуму не знал, никаких скандалов не подымал, понятно, боялся волноваться: как разволнуется, у него всегда все в голове смешается, слова не может сказать.) Пускай, говорит, она его с рук сбывает. А куда мне его определять, куда сбывать? Малый совсем от рук отбился, в чужих людях, думаю, и совсем голову свернет, а сбывать — не миновать. Я и сама-то с ним на нет сошла с самых с этих пор, как ознакомился он с Фенькой: прямо околдовала, сука! День дрыхнет, ночь пьянствует,— ночь за день сходит... Что я тут горя вытерпела — сказать невозможно! До того добил — стала как свечка таять, ложки держать не могу, руки трясутся. Как стемняет, сяду на скамейку перед домом и жду, пока с улицы вернется, боюсь, ребята слободские умолотят. Раз было убилась до смерти, побежала посмотреть в слободу: слышу шум, крик, думала, его холят, да в овраг и зашуршала...

Ну, получивши такое решенье от Николай Иваныча, призываю его к себе: так и так, мол, сынок, терпела я тебя долго, ну, а ты совсем ослаб и заблудился, на всю округу меня ославил. Привык ты нежиться и блаженствовать,— наконец того совсем босяк, пьяница стал. Такого дарования, как я, ты не имеешь, сколько раз я падала, да опять подымалась, а ты ничего нажать себе не можешь. Я вот и почету себе добилась, и недвижимое имущество у меня есть, и ем, пью не хуже людей, душу свою не морю, а все оттого, что всем мой хрип спокон веку заведовал. Ну, а ты, как был мот, так, видно, и хочешь остаться. Пора тебе с шеи моей слезть...

Сидит, молчит, клеенку на столе ковыряет.

— Что ж ты, спрашиваю, молчишь? Ты клеенку-то не дери,— наживи прежде свою,— ты отвечай мне.

— Опять молчит, голову гнет и губами дрожит.

— Вы, говорит, замуж выходите?

— Это, мол, выду ли, нет ли, неизвестно, а и выду, так за

хорошего человека, какой тебя в дом не пустит. Я, брат, не Фенька твоя, не шлюха какая-нибудь.

Как он вскочит вдруг с места, да как затрясется весь:

— Да вы ногтя ее не стоите!

Хорошо, ай нет? Вскочил, заорал не своим голосом, дверью грохнул — и был таков. А я, уж на что не плаксива была, так слезами и задалась. Плачу день, плачу другой, — как подумаю, какие слова он мог мне сказать, так и зальюсь. Плачу и одно в уме держу — до веку не прошу ему такой обиды, со двора долой сгоню... А его все нету. Слышу — у своей пирует, танцы, пляс, пропивает наворованные денежки и мне грозит: я ее, говорит, все равно успокою, выжду, как пойдет куда-нибудь вечером, камнем убью. Присылает, — на смех мне, понятно, — в лавку за покупками, берет то жамок, то селедок. Я прямо трясусь от обиды, а креплюсь, отпускаю. Сижу раз в лавке — вдруг сам всходит. Пьян — лица нету. Вносит селедки, — утром девчонка приходила, купила, на его, понятно, деньги, четыре штуки, — и как шваркнет их на прилавок!

— Можете вы, кричит, присылать такую скверность покупателям? Они вонючие, их собакам только есть!

Орет, ноздри раздувает — предлог ищет.

— Ты, говорю, тут не буянь и не ори, сама я селедок не работаю, а бочонками покупаю. Не нравится — не жри, вот тебе твои деньги.

— А если бы я их съел да помер?

— Опять же, говорю, ты, свинья, не можешь тут кричать, — какой такой ты мне командир? Авось чин не велик имеешь. Ты честью должен сказать, а не нахрапом лезть в чужое помещение.

А он схватил вдруг безмен с ларя и этак шипом:

— Как жмакну тебя, говорит, сейчас по голове, так ты и протянешься!

И со всех ног вон из лавки. А я как села на пол, так и подняться не могу...

Потом слышу — уработали таки его слободские ребята! Еле живого на извозчике привезли — пьян без памяти, голова мотается, волосы от крови слиплись, все с пылью перебиты, сапоги, часы сняли, новый пинжак весь в клоках — хоть бы где орех целого сукна остался... Я подумала, подумала — принять его приняла и даже за извозчика заплатила, но только в тот же день посылаю Николай Иванычу поклон и твердо наказываю сказать, чтоб он больше ничего не беспокоился: с сыном, мол, я порешила, — прогнать его безо всякой жалости прямо же, как проспится. Отвечает тоже поклоном и велит сказать: очень, говорит, умно и разумно, благодарю и сочувствую... А через две недели и свадьбу назначил. Да...

Ну, да будет пока, тут и сказке моей конец. Больше-то, почесть, и рассказывать нечего. С этим мужем до того я ладно век свековала,— прямо редкость по нынешнему vremю. Что я, говорю, прочувствовала, как этого рая добивалась,— сказать невозможно! Ну, и наградил меня, правда, господь,— вот двадцать первый год живу как за каменной стеной за своим старичком и уж знаю — он меня в обиду не даст: он ведь это с виду только тихий! А, понятно, нет-нет, да и занует сердце. Особенно великим постом. Умерла бы теперь, думается,— хорошо, покойно, по всем церквам акафисты читают... Опять же иной раз и об Ване соскучусь. Двадцать лет ни слуху ни духу об нем. Может, и помер давно, да не знаю о том. Мне даже жалко его стало, как привезли-то его тогда. Вташили мы его, взвалили на кровать — целый день спал мертвым сном. Взойду, послушаю дыхание,— жив ли, мол... А в горнице — вонь, кислотой какой-то, лежит он весь ободранный, изгвазданный, храпит и захлебывается... Страм и жалость смотреть, а ведь кровь моя родная! Погляжу, погляжу, послушаю и — выйду. И такая-то тоска меня взяла! Поужинала через силу, прибрала со стола, огонь потушила... Не спится, да и только,— вся дрожу-лежу... А ночь светлая, видная. Слышу, проснулся. Все кашляет, все выходит на двор, дверью хлопает.

— Что это ты, спрашиваю, ходишь?

— Живот, говорит, болит.

По голосу слышу — тревожится, тоскует.

— Ты, говорю, выпей чернобыльнику.

Полежала еще, даже задремала немножко, чувствую сквозь сон — прокрадается кто-й-то по половику. Вскочила — он.

— Мамаша, говорит, не пугайтесь меня за ради Христа...

И как залетится в три ручья! Сел на постель, руки ловит, целует, слезами обливает, а сам даже захлебывается,— так плачет-рыдает. Я не стерпела — и себе! Жалко, понятно, а делать нечего — из-за него вся моя судьба решается. Да он и сам, вижу, понимает это хорошо.

— Простить я тебя, говорю, могу, а поделать, ты сам видишь, теперь уж ничего нельзя. И уходи ты куда-нибудь подале, чтоб я и не слыхала про тебя!

— Мамаша, говорит, за что вы меня, не хуже сидяки этого, Никанор Матвеича, погубили?

Ну, вижу, человек еще не в своем уме, не стала и спорить. Поплакал, поплакал, поднялся и ушел. А наутро глянула я в горницу, где он спал, а его уж и след простыл. Ушел, значит, пораньше от страму — и как в воду канул. Был слух, жил будто в Задонске при монастыре, потом на Царицын подался, а там, небось, и голову сломил... Да что об том толковать — только сердце свое тревожить! Воду варить — вода будет...

А что он про Никанор Матвейча сказал, так я даже глупо это считаю. Авань не великими деньгами покорыстовалась, не из кармана вытащила. Он сам свое убожество понимал, сам скучал часто. Бывало, скажет мне:

— И калекой меня, Настя, судьба сделала, и характер у меня сумасходный: то мне весело чего-й-то, как перед бедой какой, то такая тоска, особливо летом, в жару, в пыль эту,— просто руки на себя наложил бы! Помру я, похоронят меня на Чернослободском кладбище — цельный век будет эта пыль лететь на мою могилку через ограду!

— Да что ж, мол, Никанор Матвейч, об этом убиваться? Мы этого чують не будем.

— Да это, говорит, что ж, что чують не будем,— беда та, что при жизни о том думаешь...

А, правда, скука, бывало, у нас в доме, у Самохваловых-то, как все позаснут после обеда, а ветер несет эту пыль! И руки-то он наложил на себя в страшную жару, в самое глухое время. Город у нас, правда, ужасный скучный. Я вон была недавно в Туле: какое же сравнение!

*Капри. 11. 1911*

## СВЕРЧОК

Эту небольшую историю рассказал шорник Сверчок, весь ноябрь работавший вместе с другим шорником, Василием, у помещика Ремера.

Ноябрь стоял темный и грязный, зима все не налаживалась. Ремеру с его молодой женой, недавно поселившимся в дедовской усадьбе, было скучно, и вот они стали ходить по вечерам из своего еще забитого дома, где только внизу, под колоннами, была одна сносная жилая комната, в старый флигель, в упраздненную контору, где зимовала птица и помещались шорники, работник и кухарка.

Вечером под Введение несло непроглядной мокрой вьюгой. В просторной и низкой конторе, когда-то беленной мелом, было очень тепло и сыро, густо воняло махоркой, жестяной лампочкой, горевшей на верстаке, сапожным варом, политурой и мятной кислотой кожи, куски и обрезки которой, вместе с инструментами, новой и старой сбруей, хомутиной, потниками, дратвой и медным набором навалены были и на верстаке и на затоптанном, сорном полу. Воняло и птицей из темной пристройки, но Сверчок и Василий, ночевавшие в этой вони и каждый день часов по десяти сидевшие в ней с согнутыми спинами, были, как всегда, очень довольны своим помещением, особенно тем, что Ремер не жалеет топки. С узеньких подоконников капало, на черных стеклах сверкало и резко белело липкий, мокрый снег. Шорники пристально работали, кухарка, небольшая женщина в полушубке и мужицких сапогах, назябшаяся за день, отдыхала на продранном стуле у горячей печки. Она грела спину и, не сводя глаз с лампочки, слушала шум ветра, потрясавшего порою весь флигель, постукиванье по хомуту, который делал Василий, и старчески-детское дыхание лысого



Сверчка, возившегося над шлеей и в затруднительные минуты шевелившего красным кончиком языка.

Лампочка, облитая керосином, стояла на самом краю верстака и как раз посредине между работающими, чтобы видней было обоим, но Василий то и дело подвигал ее к себе своей сильной, жилистой, смуглой рукой, засученной по локоть. Сила, уверенность в силе чувствовались и во всей осанке этого черноволосого человека, похожего на малайца, — в каждой выпуклости его мускулистого тела, обозначавшегося под тонкой, точно истлевшей рубахой, бывшей когда-то красной, и всегда казалось, что Сверчок, маленький и, несмотря на видимую бодрость, весь разбитый, как все дворовые люди, побаивается Василия, никогда никого не боявшегося. Казалось это и самому Василию, усвоившему себе манеру, как бы в шутку, на забаву окружающим, покрикивать на Сверчка, даже помогавшего этой шутке.

Василий, держа между коленками, прикрытыми засаленным фартуком, новый хомут, обтягивал его темнолиловой толстой кожей, одной рукой крепко захватывая ее и туго натаскивая на дерево клещами, а другой вынимая из сжатых губ гвозди с медными шляпками, втыкая их в наколы, заранее сделанные шилом, и затем с одного маха, ловко и сильно вколачивая молотком. Он низко нагнул свою большую голову в черных, влажно-курчавых волосах, перехваченных ремешком, и работал с той приятной, ладной напряженностью, которая дается только хорошо развитой силой, талантом. Напряженно работал и Сверчок, но напряженность эта была иного рода. Он прошивал концом новую розово-телесного цвета шлею, тоже захватив ее в колени, в голенища и фартук, и с трудом накальвал, с трудом, шевеля языком и приноравливая к свету лысую голову, попадал щетиной в дырочки, хотя раздирывал в разные стороны и закреплял конец даже с некоторой удалью старого, зрелого мастера.

Наклоненное к хомуту лицо Василия, широкое, с выступающими под маслянистой желто-смуглой кожей костями, с редкими и жесткими черными волосами над углами губ, было строго, нахмурено, значительно. А по наклоненному к шлее лицу Сверчка видно было только то, что ему темно и трудно. Он был ровно вдвое старше Василия и чуть не вдвое меньше ростом. Сидел ли он, вставал ли, разница была невелика, — так коротки были его ноги, обутые в разбитые, ставшие от старости мягкими, сапоги. Ходил он, — тоже от старости и от килы, — неловко, согнувшись, так, что отставал фартук и виден был глубоко провалившийся живот, слабо, по-детски подпоясанный. По-детски темны были его черные глазки, похожие на маслинки, а лицо имело слегка лукавый, насмешливый вид:

нижняя челюсть у Сверчка выдавалась, а верхняя губа, на которой темнели две тонких, всегда мокрых косички, западала. Вместо «барин» говорил он «баин», вместо «было»—«быво» и часто всхлипывал, подтирая большой холодной рукой, суставами указательного пальца, свой повисший носик, на конце которого все держалась светлая капелька. Пахло от него махоркой, кожей и еще чем-то острым, как от всех стариков.

Сквозь шум метели послышался из сеней топот обиваемых от снега ног, хлопанье дверей — и, внося с собой свежий хороший запах, вошли господа, залепленные белыми хлопьями, с мокрыми лицами и блестками на волосах и одежде. Темно-красная борода и густые, нависшие над серьезными и живыми глазами брови Ремера, глянцевиный каракулевый воротник его мохнатого пальто и каракулевая шапка казались от этих блесков еще великолепно, а нежное, милое лицо его жены, ее мягкие длинные ресницы, сине-серые глаза и пуховый платок еще нежнее и милее. Кухарка хотела уступить ей продранный стул, она ласково поблагодарила ее, заставила остаться на своем месте и села на скамью в другой угол, осторожно сняв с нее узду со сломанными удилами; потом слабо зевнула, повела плечами, улыбнулась и тоже засмотрелась на огонь широко раскрытыми глазами. Ремер закурил и стал ходить по комнате, не раздевшись и не сняв шапки. Как всегда, господа пришли только на минутку,— уж очень тяжелый и теплый был у шорников воздух,— но потом, как всегда, забылись, потеряли обоняние... И вот тут-то, неожиданно для всех, и рассказал Сверчок свою историю.

— Однако ты, брат, ловок,— прошепелявил он, когда Василий, поздоровавшись с господами кивком головы, опять придвинул к себе лампочку.— Однако ты, б'ят, вовок. Я, небось, постарше тебя немножко,— сказал он, всхлипывая и подтирая нос.

— Что? — притворно-грозно крикнул Василий, сдвигая брови.— Может, тебе еще газовый рожок зажечь? Ослеп — так в богадельню.

Все улыгнулись,— даже и барыня, которой все-таки немного неприятны были эти шутки,— и подумали, что Сверчок, как всегда, отпустит что-нибудь смешное. Но на этот раз он только головой покрутил и, вздохнув, остановил взгляд на черных стеклах, залепленных белыми хлопьями. Потом, взяв шило своей большой, в крупных жилах рукой с широко расставленными суставами большого и указательного пальцев, неловко и с трудом воткнул его в розоватую сырую кожу. Кухарка, за-

метив, что он смотрел на окна, заговорила о том, как она боится, что ее мужик, поехавший за коновалом в Чичерино, замерзнет, собьется с дороги, как вдруг Сверчок, делая вид, что он занят, сказал с грустным добродушием:

— Да, брат, ослеп... Поневоле ослепнешь! Ты вот доживи-ка до моих годов, да прочувствуй с мое! Ан не доживешь! Я вот спокон веку такой, неизвестно, в чем душа держится, а все тянулся, жил — и еще бы столько же прожил, как бы было зачем. Я, брат, очень даже хотел жить, пока было интересно, и жил, смерти не подавался. А твою-то силу мы еще не знаем. Молода, в Саксоне не была...

Василий посмотрел на него пристально, как посмотрели господы и кухарка, удивленные его необычным тоном, — на минуту, в молчании, особенно явственно стал слышен шум ветра, — и серьезно спросил:

— Что это ты буровишь такое?

— Я-то? — сказал Сверчок, поднимая голову. — Нет, брат, я не буровлю. Я это про сына вспомнил. Слышал, небось, какой молодец-то был? Пожалуй, еще почище тебя будет, а вот не мог же того выдержать, что я.

— Ведь он замерз, кажется? — спросил Ремер.

— Я его знал, — ответил Василий и, не стесняясь, как говорят о ребенке при нем же самом, добавил: — Да он и не сын ему, говорят, был, — Сверчку-то. Не в мать, не в отца, а в проезжего молодца.

— Это дело иное, — так же просто сказал и Сверчок, — это все может быть, а почитал он меня не меньше отца, дай бог, чтобы твои так-то тебя почитали, да и не докапывался я, сын он мне али нет, моя кровь аль чужая... авось, она у всех одинаковая! Сила в том, что он, может, дороже десятерых родных мне был. Вы вот, барин, и вы, сударыня, — сказал Сверчок, поворачивая голову к господам и особенно ласково выговаривая: «сударыня», — вы вот послушайте, как было-с это дело, как замерз-то он. Я ведь его всю ночь на закорках таскал!

— Курá сильная была? — спросила кухарка.

— Никак нет, — сказал Сверчок. — Туман.

— Как туман? — спросила барыня. — Да разве в туман можно замерзнуть? И зачем же вы его таскали?

Сверчок кротко улыбнулся.

— Хм! — сказал он. — Да вы того, сударыня, и вообразить себе не можете-с, до чего он, туман-то этот, может замучить! А таскал я его затем, что уж очень жалко было-с, все думал отстоять его от этого... от смерти-то. Это так вышло, — картаво начал он, обращаясь не к Василию и не к Ремеру, а только

к одной барыне,— это вышло-с как раз под самый Николин день...

— А давно? — спросил Ремер.

— Да лет пять или шесть тому назад,— ответил за Сверчка Василий, серьезно слушая и свертывая цыгарку.

Сверчок мельком, старчески строго глянул на него.

— Оставь мне затянуться,— сказал он и продолжал: — работали мы, сударыня, у барина Савича в Огневке,— он, сынто, со мной всегда ходил, не отбивался от меня,— ну, работали и работали, а квартиру в селе снимали, жили после смерти матери вроде как два дружных товарища. Подходит, наконец того, Николин день. Надо, думаем, домой отличиться, немножко в порядок себя привести, а то, по совести сказать, уж очень все на нас земле предалось. Собираемся этак на вечер, а того и не видим, что такая стыдь да еще с туманом к вечеру завернула, альни деревни за лужком не видать, уж не говоря про то, что очень местность везде глухая. Копаемся, прибираем струмент в этой самой бане, где мы, значит, спасались, никак ничего не найдем в темноте,— скупой барин-то был, огарочка не разживешься,— чувствуем, что припоздали маленько, и верите ли, такая тоска вдруг взяла меня, что я и говорю: «Дорогой ты мой товарищ, Максим Ильич, ай нам оставаться, до утра подождать?»

— А вас Ильей зовут? — спросила барыня, вдруг вспомнив, что она до сих пор не знает имени Сверчка.

— Ильей-с,— ласково сказал Сверчок и, всхлипнув, потер нос,— Ильей Капитоновым. Но только сын-то меня тоже Сверчком звал и все,— вот не хуже этого Бовы Королевича, Василь Степаныча,— шутил, грубиянил со мной. Ну, конечно, пошутил, закричал и тут: «Это еще, мол, что такое? Поговори у меня!» — Нахлобучил мне шапку по уши, надел свою, ремешком подтянулся,— красавец был, сударыня, истинную вам правду говорю-с!— взял палочку и без дальних разговоров марш на крыльцо. Я за ним... Вижу, туман страсть какой и уж совсем стемняло, барский сад весь сизыми шапками, инеем оброс,— как туча какая в сумерках, в тумане этом мерещится,— да делать, значит, нечего, не хочу молодого человека обижать, молчу. Перешли лужки, поднялись на горку, оглянулись, а окон у барина уж и не видно стало. Отвернулся я от ветру,— в одну минуту дух захватило, так и несет этой мгой, туманом, вроде как дыханье какое,— чувствую, что уж на двух шагах до самых костей прохватило, а сапоги-то на нас нагольные, да и поддевочки на шереметьевский счет шиты, и опять говорю: «Ой, вернемся, Максим, не форси!» Он было и задумался... Да, известно, дело молодое, по себе, небось, сударыня, знаете,— как свою гордость не выказать?— насупилса поскорее и опять

пошел. Входим в деревню, — конечно, потише стало, везде огни по избам, хоть и мутные, а все-таки жилье, — он и бубнит: «Ну, видишь? Что дрожал? Видишь, на ходу-то куда теплей, это только сначала так стюденó показалось... Не отставай, не отставай, а то подгонять зачну...» А уж какое там, сударыня, тепло, все водовозки на́ четверть инеем обросли, все лозинки к земле пригнуло, крыш не видать от туману и морозу... Конечно, жилье, да от этих огней туман еще больше выдает, и все ресницы у меня в инее, отяжелели, как у лошади хорошей, а барских окон на том боку и звания не осталось... Одно слово — ночь лютая, самая что ни на есть волчаная...

Василий нахмурился, пустил в обе ноздри дым и, подавая окурок Сверчку, перебил его:

— Ну, ты, «вовчиная», этак до второго пришествия не кончишь. Ты скорей рассказывай.

И деловито перевернул в коленях хомут, намереваясь продолжать работу. Сверчок, щепотками, кончиками прокопченных пальцев взяв у него окурок, сильно затянулся и на минуту грустно задумался, как бы слушая свое детское дыхание и шум ветра за стенами. Потом несмело сказал:

— Ну, бог с тобой, хорошо, покороче скажу. Я только хотел сказать, что просто мы заблудились в двух шагах. Мы, сударыня, — продолжал он увереннее, взглянув на барыню, уловив в ее глазах сочувствие и вдруг острее почувствовав свое давно ставшее привычным горе, — мы дорогу, значит, потеряли. Как только вышли-с за деревню, да попали в эту темь, во мгу, в холод, да прошли, может, с версту, так и заблудились. Тут большой верх, огромный луг, буераки до самого села идут, а над ними дорога всегда есть, вот мы и потрафляли по ней, все думали, что верно держимся, а заместо того влево забрали по чьему-то следу, к бибиновским, значит, оврагам, и след этот тоже, на беду, упустили, а уж там и пошли месить по снегу, по ветру, как попало. Да это все, сударыня, история известная, — кто не блудил, все блудили, — а я тó хотел сказать, какую муку-с я за эту ночь принял! Я, правда, до того оробел, до того испугался, как, значит, прокружились мы часа два али три, да зарьяли, задвохнулись, обмерзли, стали в пень и видим, что в отделку пропали, до того, говорю, испугался, что у меня аж руки, ноги огнем закололо, — всякому, понятно, свой живот дорог, — но только я и в мыслях не держал, что дальше-то будет, как накажет меня господь! Я, понятно, думал, что мне первому конец, — много ль во мне духу, сами изволите видеть, — а как увидал, что я-то еще жив, стою, а уж он на снег сел, как увидал его...

Сверчок слегка вскрикнул на последних словах, взглянул на кухарку, которая уже плакала, и, вдруг заморгав, исказив и брови, и губы, и задрожавшую челюсть, стал торопливо искать кисет. Василий сердито сунул ему свой, и он, вертя прыгающими руками цыгарку и роняя в табак слезы, опять заговорил, но уже новым, размеренно твердым и повышенным тоном:

— Дорогая моя сударыня, у нас был барин Ильин, лютей его во всей губернии не было,— до нашего, то есть, брата, до дворового,— так вот он тоже замерз, под городом нашли,— лежит в возке, весь снегом забит, и сам окоченел уж давно, и во рту лед, а возле него сидит-дрожит кобель живой, сеттер его лю бимый, под шубой под енотовой: он, значит, злодей-то такой, шубу свою собственную снял с себя и кобеля накрыл, а сам замерз, и кучер его замерз, и вся тройка мерзлая на оглобли навалилась, поколела... А ведь тут не кобель, тут — сын родной, дорогой мой товарищ! Да, сударыня! Что мне было снять-то с себя? Поддевку-то эту? Да она была ровесница мне, на нем была вдвое теплей... Да тут и шубой не помог бы! Тут хоть рубаху сними — не спасешь, хоть на весь белый свет кричи — никого не докричишься! Он вскорости еще пуще меня испугался, и вот от этого от самого и пропали-то мы. Как только упустили мы след, он и заметался. Сперва все покрикивал, зубами лясал да отдувался, как, значит, до животов-то прохватило нас ветром с морозом, потом вроде как с ума стал сходить. «Стой! — кричу.— Ради Христа, стой, давай сядем, одумаемся!..» Молчит. Я его за рукав хватаю, опять кричу... Молчит, да и только! Либо не понимает ничего, либо не слышит. Темь хоть глаз выколи, ног, рук уж не чуем, все лицо сковало, губ вроде как совсем нету — одна челюсть голая — и ничего не поймешь, ничего не выдать! Гудит ветер в уши, несет мгу эту, а он кружится, мечется — и ничего не слушает меня. Бегу, глотаю туман, вязну по пояс... того гляди, думаю, из виду его упущу... вдруг — раз! сорвались куда-й-то, пока-тились, задохнулись в снегу... чую — в оврагах сидим. Помолчали, помолчали, отдышались — вдруг он и говорит: «Это что, отец? Бибиловские овраги? Ну, сиди, сиди, давай отдохнем. Вылезем — целиком назад пойдем. Теперь я все понимаю. Ты не бойся, не бойся,— я тебя доведу». А уж голос-то дикий. Не говорит, а рубит... И вот тут-то я и понял, что пропали мы. Вылезли, опять пошли, опять ошалели... месили, месили снег еще часа два, попали в кустарник дубовый, да как наткнулись на него, да поняли, что мы уж верстах в десяти от Огневки, в степи пустой,— тут он и сел вдруг: «Сверчок, прощай».— «Стой, как прощай? Очнись, Максим!..» Нет,— сел и смолк...

— Долга песня рассказывать, сударыня! — вдруг опять звонко сказал Сверчок, искажая брови. — Тут и страх весь пропал у меня. Как сел он, мне так в голову и вдарило: а-а, думаю, вон что, — помирать мне теперь, видно, время нет! Руки стал у него целовать, умолять — мол, поддержишь хоть немножко еще, не сиди, не давайся сну этому смертному, пойдем целиком, обопришь на меня! Нет, — валится с ног долой да и только! А я бы и помер от этакой страсти, да уж — не могу... не в сусолянии... И когда уж кончился он, смолк совсем, отяжелел, оледянял, я его, мужчину этакого, на закорки навалил, под ноги подхватил — и попер целиком. Нет, думаю, стой, нет, шалишь, не отдам, — мертвого буду сто ночей таскать! Бегу, вязну в снегу, а у самого дух от тяжести занимается, волосы дыбом от страху встают, как он своей студеной головой, — картуз-то уж давно свалился, — по плечу моему елозит, до уха касается. А все бегу да кричу: «Нет, постой, не отдам, помирать мне теперь не время!» Думалось так, сударыня, — сказал Сверчок вдруг упавшим голосом и заплакал, вытирая рукавом глаза, выбирая на рукаве местечко менее грязное, ближе к плечу, — думалось так... принесу на село... может, отгадет, ототру...

Долго спустя, когда Сверчок уже успокоился и стал пристально смотреть красными глазами в одну точку перед собою, когда вытерли слезы и облегченно вздохнули и барыня, и кучарка, Василий серьезно сказал:

— А напрасно я тебя окоротил. Ты хорошо рассказываешь. Я и не чаял такой прыти от тебя.

— Вот то-то и оно-то, — тоже серьезно и просто ответил Сверчок. — Тут, брат, всю ночь можно рассказывать, и то не расскажешь.

— А сколько ему было лет? — спросил Ремер, искоса поглядывая на жену, тихо улыбающуюся после слез, и тревожно думая о том, как бы это не повредило ей в ее положении.

— Двадцать пятый, — ответил Сверчок.

— И больше у вас не было детей? — робко спросила барыня.

— Нет-с, не было...

— А у меня вон целых семеро, — нахмуриваясь, сказал Василий. — Изба два шага, а их куча. Тоже не велика сладсть и дети. Нам, видно, чем раньше помереть, тем выгоднее.

Сверчок подумал.

— Ну, это не нашего ума дело, — еще проще, серьезней и грустней ответил он и опять взялся за шило. — Не замерзни он, меня, брат, до ста лет никакая смерть не взяла бы.

Господа переглянулись и, застегиваясь, поднялись с мест. Но еще долго стояли и слушали, как отвечал Сверчок на расспросы кухарки о том, донес ли он сына до села, чем кончилось дело. Сверчок отвечал, что донес, но только не до села, а до железной дороги, и упал, споткнувшись на рельсы. Обморозил руки, ноги и уже совсем терял сознание. Рассвело, шла метель, все белело, а он сидел в степи и смотрел, как заносит снег его мертвого сына, набивается в редкие усы и в белые уши. Подняли их кондуктора товарного поезда, шедшего из Балашова.

— Дивное дело,— сказала кухарка, когда он кончил,— не пойму я того, как ты сам-то в такую страсть не замерз?

— Не до того было, матушка,— ответил Сверчок рассеянно, ища что-то на верстаке, в обрезках кожи.— Не до того.

*Капри. 30. 11. 1911*



## НОЧНОЙ РАЗГОВОР

### I

Небо было серебристо-звездно, поле за садом и гумном темнело ровно, на чистом горизонте четко чернела мельница с двумя рогами крыльев. Но звезды искрились, трепетали, часто прорезывали небо зеленоватыми полосками, сад шумел порывисто и уже по-осеннему, холодно. От мельницы, с пологой равнины, с опустевшего жнивья дул сильный ветер.

Работники сытно поужинали,— был праздник, Успенье,— и жадно накурились по дороге через сад на гумно. Накинув армяки сверх полушубков, они шли туда спать, стеречь хлебные вороха. За работниками, таща подушку, шел высокий гимназист и бежали три борзых белых собаки. На гумне, на свежем ветру, хорошо пахло мякиной, новой ржаной соломой. Все уютно улеглись в ней, в самом большом омете, поближе к ворохам и риге. Собаки повозились, пошуршали у ног и тоже успокоились.

Над головами лежавших слабо белел широкий, раздваивающийся дымно-прозрачными рукавами Млечный Путь, наполненный висящей в них мелкой звездной россыпью. В соломе было тепло и тихо. Но по лозняку, что темнел вдоль вала слева, то и дело тревожно шел и, разрастаясь, приближался глухим неприязненным шумом северо-восточный ветер. Тогда до лиц, до рук доходило прохладное дуновение вместе с дурным запахом из проходов между ометами. А по небосклону, за неправильными черными пятнами волновавшегося лозняка, остро мелькали, вспыхивали льдистые алмазы, разноцветными огнями загоралась Капелла.

Улегшись, позевали и закрыли глаза. Ветер дремотно шелестел торчавшей над головами колючей соломой. Но дошла до

лиц прохлада — и все почувствовали, что спать еще не хочется, — выпались после обеда. Только один гимназист изнемогал от сладкой жажды сна. Но ему заснуть не давали блохи. Он стал чесаться, раздумался о девках, о вдове, с которой он, при помощи работника Пашки, потерял в это лето невинность, и тоже разгулялся.

Это был худой, неуклюжий подросток с нежным цветом лица, такого белого, что даже загар не брал его, с синими глазами, с большим кадыком. Он все лето не разлучался с работниками, — возил сперва навоз, потом снопы, оправлял ометы, курил махорку, подражал мужикам в говоре и в грубости с девками, которые дружески поднимали его насмех, встречали криками: «Веретёнкин, Веретёнкин!» — дурацким прозвищем, придуманным подавальщиком в молотилку Иваном. Он ночевал то на гумне, то в конюшне, по неделям не менял белья и парусиновой одежды, не снимал дегтярных сапог, сбил в кровь ноги с непривычки к портянкам, оборвал все пуговицы на летней шинели, испачканной колесами и навозом...

— Совсем отбился от дому! — с ласковой грустью говорила о нем мать, восхищаясь даже его недостатками. — Конечно, поправится, окрепнет, но посмотрите, какая лохматая чушка, даже шею не моет! — улыбаясь, говорила она гостям и теребила его мягкие каштановые лохмы, стараясь добраться до нежного завитка, кудрявившегося, как у девочки, на его затылке, на темной шее, отделявшейся от видного под косовороткой по-детски белого тела, от больших позвонков под тонкой гладкой кожей. А он угрюмо вывертывал голову из-под ее ласковой руки, хмурился, краснел. Он рос не по дням, а по часам и на ходу гнулся, задумчиво свистал, угловато вилял из стороны в сторону. Он еще ел липовый цвет и вишневый клей, носил, хотя уже тайком, в кармане парусиновых панталон рогульку для стрельбы по воробьям, но сгорел бы от стыда, если б это обнаружилось, и не выпускал рук из карманов. Еще зимой он играл с Лилей в краснокожих. Но весной, когда по всем улицам города текли и дрожали ослепительным блеском ручьи, когда в классах горели от солнца белые подоконники, солнцем был пронизан голубой дым в учительской и директорская кошка подстерегала первых зябликов в гимназическом саду, еще полном серебряного снега, — весной он вообразил, что влюбился в худенькую, маленькую, начитанную и серьезную гимназистку Юшкову, подружился с шестиклассником в очках Симашко и решил посвятить все каникулы самообразованию. А летом мечты о самообразовании были уже забыты, было принято новое решение — изучить народ, вскоре перешедшее в страстное увлечение мужиками.

Вечером на Успенье гимназист был налит сном еще за ужином. К концу каждого дня, когда туманилась и на грудь падала голова,— от усталости, от разговоров с работниками, от роли взрослого,— возвращалось детство: хотелось поиграть с Лилей, помечтать перед сном о каких-нибудь дальних и неведомых странах, о необыкновенных проявлениях страсти и самопожертвования, о жизни Ливингстона, Беккера, а не мужиков Наумова и Нефедова, прочитав которых дано было Симашке честное слово; хотелось хоть одну ночь переночевать дома и не вскакивать до солнца, на холодной утренней заре, когда даже собаки так томно зевают и тянутся... Но вошла горничная, сказала, что работники уже пошли на гумно. Не слушая криков матери, гимназист накиннул на плечи шинель с мотающимся хлястиком и картуз на голову, схватил из рук горничной подушку и в аллее нагнал работников. Он шел, шатаясь от дремоты, таща за угол подушку, и, как только довалился до омета, подлез под старую енотовую шубу, лежавшую там, так сейчас же и поплыл, понесся куда-то в сладкую черную тьму. Но огнем стали жечь мелкие собачьи блохи, стали переговариваться работники...

Их было пятеро: добрый лохматый старик Хомут, Кирюшка, хромой, белоглазый, безответный малый, предававший мальчишескому пороку, о чем все знали и что заставляло Кирюшку быть еще безответнее, молча носить всяческие насмешки над его короткой, согнутой в колене ногой, Пашка, красивый двадцатичетырехлетний мужик, недавно женившийся, Федот, мужик пожилой, дальний, откуда-то из-под Лебедяни, прозванный Постным, и очень глупый, но считавший себя изумительно умным, хитрым и беспощадно-насмешливым человеком, Иван. Этот презирал всякую работу, кроме работ на сельскохозяйственных машинах, носил синюю блузу и всем внушил, что он прирожденный машинист, хотя все знали, что он ни бельмеса не смыслит в устройстве даже простой веялки. Этот все суживал свои сумрачно-иронические глазки и стягивал тонкие губы, не выпуская трубки из зубов, значительно молчал, когда же говорил, то только затем, чтобы убить кого-нибудь или что-нибудь замечанием или прозвищем: он решительно надо всем глумился — над умом и глупостью, над простотой и лукавством, над унынием и смехом, над богом и собственной матерью, над господами и над мужиками; он давал прозвища нелепые и непонятные, но произносил их с таким загадочным видом, что всем казалось, будто есть в них и смысл и едкая меткость. Он и себя не щадил, и себя прозвал: «Рогожкин», — сказал он однажды про себя, так веско, так зло на что-то намекая, что все покатились со смеху, а потом уже и не звали его иначе, как Рогожкин. Окрестил он и гимназиста, сказал чепуху и про него: Веретёнкин.

Всех этих людей гимназист, как он думал, хорошо узнал за лето, ко всем по-разному привязался,— даже и к Ивану, издевавшемуся над ним,— у всех тому или другому учился, воспринимая их говор, совершенно, как оказалось, не похожий на говор мужиков книжных, их неожиданные, нелепые, но твердые умозаключения, однообразие их готовой мудрости, их грубость и добродушие, их работоспособность и нелюбовь к работе. И, уехавши после каникул в город и на другое лето уже не вернувшись к увлечению мужицкой жизнью, он весь свой век думал бы, что отлично изучил русский народ,— если бы случайно не завязался между работниками в эту ночь длинный откровенный разговор.

Начал старик, лежавший рядом с гимназистом и чесавшийся крепче всех.

— Ай, барчук, донимают? — спросил он.— Чистая беда эти блохи, хомут! — сказал он, употребляя слово, которым постоянно определял и всю жизнь свою, и всю тяготу ее, все неприятности.

— Мочи нет,— отозвался гимназист.— Вот баб, девок, тех не трогают. А уж кого бы, кажись, жила́ть, как не их.

— Главная вещь, порток на них не полагается,— равнодушно подтвердил старик, ворочаясь и издавая крепкий запах давно не мытого тела и вытертого зипуна, прокопченного курной избой.

Прочие молчали. Обычно шутили перед сном, расспрашивали Пашку о его супружеской жизни, а он отвечал с таким спокойным и веселым бесстыдством, что даже гимназист, постоянно восхищавшийся им, не сводивший глаз с его умного и живого лица, досадовал — как это можно говорить так о своей молодой жене. Теперь никто не начинал расспросов, и гимназист уже хотел было сам начать их, чтобы еще более взволновать свое воображение, навеки отравленное вдовой, и послушать уверенный голос Пашки, как Пашка потянулся, сел и стал завертывать цыгарку. Старик поднял голову в шапке и покачал ею.

— Ой, спалишь ты, малый, гумно! — сказал он.

— А я на барчука солгусь,— отвечал Пашка, немного хрипя от простуды, и, откашлявшись, засмеялся.— Он сам постоянно курит. Чудная ночь, барчук, сегодня,— сказал он, меняя тон на серьезный и оборачиваясь к гимназисту.— К этой ночи что недостает? Луну.

Чувствовалось, что он хочет рассказать что-то. И, правда, помолчав и не получив ответа, он вдруг спросил:

— Барчук, вы спите? Который теперь час будет?

Гимназист поднялся, вытащил из кармана панталон серебряные часы и при свете звезд стал разглядывать их.

— Половина одиннадцатого, — сказал он, горбясь.

— Ну вот, так я и знал, — весело и уверенно подтвердил Пашка, затиснув набок зубами крючок и закуривая от вонючего серника, загоревшегося в его сложенных ковшиком руках. — В акурат в это самое время я человека прошлый год убил.

И гимназист сразу разогнулся, опустил руки — и точно окаменел на все время разговора. Он изредка подавал голос, но так, точно другой кто говорил за него. Потом все внутри у него стало дрожать мелкой ледяной дрожью, позывая на отрывистый, нелепый смех, и огнем стало гореть лицо.

## II

Иван, как всегда, значительно молчал. Кирюшка совсем не интересовался тем, что говорили, лежал и думал свое — о гармонии, купить которую было его самой заветной мечтой. Долго молчал, лежа на локте, и Федот, сильный, плоский мужик, в начале лета казавшийся работникам чужим человеком по той причине, что носил он полушубок без талии, без сборок, вроде тех, что носят казанские татары. Чужим казался он и гимназисту. Насколько нравилось ему веселое спокойствие, ладность ухваток, загорелое лицо Пашки, настолько же не располагало его к близости лицо Федота, тоже спокойное, но ничего не выражающее, большое, пепельно-серое, морщинистое, с жидкими и всегда мокрыми от слюней, от трубки усами, с крупными отворотами белесых обветренных губ. Федот слушал внимательно, но не вставил в рассказ Пашки ни слова, — только чахоточно покашливал и поплевывал в солому. И сперва поддерживали разговор только пораженный гимназист да старик.

— Что брешешь пустое, — равнодушно сказал старик, услышав хвастливое заявление Пашки. — Какого такого человека мог ты убить? Где?

— Глаза лопни, не брешу! — горячо отозвался Пашка, поворачиваясь к старику. — Прошлый год убил, на Успенье. Об этом даже во всех газетах писали, в приказе по полку и то было.

— Да где убил-то?

— Да на Кавказе, в Зухденах. Ей-богу! Конечно, брехать не стану, не я один убил, и Козлов стрелял, — наш же, елецкий, — эта благодарность не одному мне была, дивизии начальник, конечно, и ему спасибо сказал при всем фронте и прямо же нам по рублю наградил, но только я подлинно знаю, что это я его срезал.

— Кого его? — спросил гимназист.

— Да арестанта, грузинта этого.

— Стой,— перебил старик,— ты толком расскажи. Где вы стояли?

— Опять двадцать пять! — притворно-досадливо сказал Пашка.— Вот чудак, не верит ничему. Стояли мы в этих, в Новых Сеняках...

— Знаю,— сказал старик. — И мы там стояли восемнадцать дён.

— Ну, вот видишь,— значит, я не пустое брешу и могу тебе все это приблизительно рассказать. Мы там, брат, не восемнадцать дён, а цельный год семь месяцев стояли, а арестантов этих обязаны были до самых до Зухден препровождать. Арестанты эти были прямо что ни на есть самые главные преступники, бунтовщики, и, значит, всех их, десять человек, в горах поймали и к нам представили...

— Стой,— перебил гимназист,— а как же ты мне говорил, что не стал бы бунтовщиков стрелять, а скорее офицера, какой будет приказывать стрелять, застрелишь?

— А я и отцу родному не спущу, когда надо,— ответил Пашка, мельком взглянув на гимназиста и опять оборачиваясь к старику. — Я, может, и пальцем бы его не тронул, кабы он не задумал погубить нас, а он на хитрости пошел, и могли мы за него цельный год в арестанских ротах пробыть, а тут даже благодарность получили, немножко поумней его оказались. Ты вот послушай,— сказал он, делая вид, что говорит только со стариком.— Мы их честно-благородно вели. Озорства этого ничего с ними не делали, бить там, например, али прикладом подгонять... А один, худой этакий, малорослый, все идет и на живот жалится, до ветру все просится. Еле кандалами брянчит. Наконец, того, подходит к старшóму: «Дозвольте на телегу лечь». Ну, ему и дозволили, как путному. Только приходим в Зухдены. А ночь — хоть глаз выколи и дождь холит. Посадили мы их на крыльцо, стережем, у каждого, конечно, по фонарику в руке, а старшой в камеру отлучился, решетки в окнах пощупать: известно, затем, что целы ли, мол, не подпилены ли какой пилкой фальшивой...

— Обязательно,— сказал старик.— Он должён по закону все в исправности принять.

— Про то и толк,— подтвердил Пашка, опять торопливо пряча зажженный серник в руки, сложенные ковшиком.— Вот ты это дело знаешь, тебе и рассказывать интересно. Ну, пошел старшой,— продолжал он, давая спичку и пуская в ноздри дым,— пошел, осматривает, а мы стоим, клюем рыбу,— спать мочи нет как хочется,— а грузинт этот как вскочит вдруг да за угол! Он, понимаешь, значит, еще в телеге все это дело как следует обдумал, разрезал чем ни на есть ремень кандалный округ пояса, спустил кандалы с себя, подхватил вот так-то

рукой,— Пашка нагнулся и, расставляя ноги, показал, как подхватил арестант кандалы,— да и дёрнул! А мы с Козловым, не будь дураки, фонари покидали и — за ним: Козлов тоже за угол, а я прямо наперерез. Бегу, а сам все норовлю поймать, где звук, где то есть кандалы его звенят,— дуром-то, думаю, и стрелять нечего,— слышал, наконец того,— раз! Чую — мимо. Я в другой — опять, слышу, мимо. А Козлов лупит по чем ни попало, того гляди меня срежет... Взяло меня зло: ах, думаю, глаза твои лопни! — приложился, вдарил: слава тебе, господи, сорвался, слышу, звук, видно, упал. Выпустил еще два патрона в это место, бегу, а он и вот он: на земли на заде сидит. Сел, руками уперся в грязь, зубы оскалил и храпит: «Скорей, говори, скорей, рус, вдарь меня в это место штыком» — в грудь, то есть. Я навесил с разбегу ружье — раз ему в самую душу... аж в спину выскочило!

— Ловко! — сказал старик. — Дай-ка затянуться разок... Ну, а Козлов-то где ж?

Пашка быстро, крепко затянулся и сунул старику окурочек.

— А Козлов, — ответил он поспешно и весело, польщенный похвалой, — а Козлов бежит и не судом кричит: «ай угомонил?» — Угомонил, говорю, давай тушку тащить... Взяли его сейчас за кандалы и поволокли назад, к крыльцу... Я его как жожку срезал, — сказал он, меняя тон на более спокойный и самодовольный.

Старик подумал.

— И по рублю, говоришь, наградил вас?

— Верное слово, — ответил Пашка, — прямо из своих рук дал, при всем полном фронте.

Старик, покачивая шапкой, плюнул в ладонь и потушил в слюне окурочек.

Иван не спеша сказал сквозь зубы:

— А дураков, видно, и в солдатах много.

— Это как же так? — спросил Пашка.

— А так, — сказал Иван. — Ты что должен был делать? Ты должен был не волоочь его, а послать с рапортом товарища, а сам с ружьем стать при мертвом телу. Теперь расчухал, ай нет?

### III

Федот заговорил, когда все помолчали и побормотали: «да-а... ловко...» — еще проще.

— А вот я, — начал он медлительно, лежа на локте и поглядывая на темную, неподвижно торчавшую перед ним на звездном небе фигуру гимназиста, — а вот я совсем задаром согрешил. Я человека убил, прямо надо сказать, из-за ничтожности: из-за козе своей.

— Как из-за козе? — в один голос перебили старик и Пашка.

— Ей-богу, правда, — ответил Федот. — Да вы вот послушайте, что за яд была эта коза...

Старик и Пашка опять стали закуривать и уминать солому, приговарывая слушать. А Федот серьезно и спокойно продолжал:

— Из-за ней вся и дело вышла. Убил-то, конечно, не нарком... Он же меня первый избил... А потом пошла сваря, суд... Он пьяный пришел, а я выскочил сгоряча, вдарил брусом... Да об этом что говорить, я и так в монастыре за него полгода отдежурил, а кабы не было этой козе, и ничего бы не было. Главная вещь, отроду ни у кого у нас не водилось этих коз, не мужицкое это дело, и обращенья с ними мы не можем понимать, а тут еще и коза-то попалась лихая, игривая. Такая стерва была, не приведи господи. Что борзая сучка, то она. Может, я и не захотел бы ее приобретать, — и так все смеялись, отговаривали, — да прямо нужда заставила. Угодий у нас нету, простору и лесов никаких... Прогону своего у нас спокон веку не было, а какая мелочная скотина, так она просто по парам питается. Крупную скотину, коров мы на барский двор отдавали, а полагалось с нашего брата, мужичка, за всю эту инструкцию две десятины скосить-связать, две десятины пару вспахать, три дни с бабой на покосе отбыть, три дни на молотье... Сосчитать, сколько это будет? — сказал Федот, поворачивая голову к старику.

Старик сочувственно подтвердил:

— Избавь господи!

— А козу купить, — продолжал Федот, — ну, от силы семь, али, скажем, восемь целковых отдать, а в напор она даст бутылки четыре, не мене, и молоко от ней гуще и слаже. Неудобство, конечно, от ней та, что с овцами ее нельзя держать — бьет их дюже, когда кóтна, а зачнет починать, злей собаки исделается, зрить их не может. И такая цопкая скотина — это ей на избу залезть, на ракутку, — ничего не стоит. Есть ракутка, так она ее беспременно обдерет, всю шкуру с ней спустит — это самая ее удовольствие!

— Ты же хотел рассказать, как человека убил, — с трудом выговорил гимназист, все глядя на Пашку, на его лицо, неясное в звездном свете, не веря, что этот самый Пашка — убийца, и представляя себе маленького мертвого грузина, которого волокут за кандалы, по грязи, среди темной, дождливой ночи, два солдата.

— Да а я-то про что ж? — ответил Федот грубовато и заговорил немного живее. — Ты не можешь этого дела понимать, ты своим домом жить-то еще не пробовал, а за мамашей



жить — это всякий проживет. Я про то и говорю, что этакий грех прямо из-за пустого вышел. Я из-за ней трех овец зарезал, — сказал он, обращаясь к старику. — Девять с половиной за овец взял, а за нее восемь заплатил. Не дешево тоже обошлась... И опять же с бабой пошли каждый день скандалы. Взял, говорю, пустое, восемь за козу отдал, ну, там кой-чего для хозяйства купил, кой-какую вещь, ребятам свистулек набрал, пошел домой, пер, пер, пришел к утру — глядь, полтинника нету: сунул, значит, в карман и посеял. Стала баба деньги считать — «где ж, говорит, полтинник? проглотил? Говорила тебе, дураку, тушками продать, а овчины себе оставить...» Слово за слово... Такой скандал пошел, не приведи господи! Она у меня такая, правду сказать, собака, во всей губернии поискать...

— Это своя допущенье, — деловито вставил Пашка. — Их не бить, добра не видать.

— Понятная дело, — сказал Федот. — Ну, одумалась, покорилась. А подоила козу, и совсем повеселела: хороша, правда, на удой оказалась, и молоко отличная. Мы было и обрадовались. Погнали в стадо. Дал я пастушатам на табак, поднес по чашке водки... а то они, сукины дети, брухаться приучают... Только ворочается вечером стадо — смотрю, нету моей козе. Я к пастуху: почему нашей козе нету? А потому, говорит, пригнали мы стадо на лесной пар, зачала твоя коза с коровами играть, схватилась с быком: отойдет от него, разлетится, разлетится — раз его в кичку! До того его изняла, стал за коров от ней прятаться, а кинешься отгонять, она — шарк в овес... Мы прямо из сил выбились! А потом ушла, бегал за ней подпасок, весь лес выбегал, нигде не нашел, — как сквозь землю провалилась...

— Ну, правда, — яд коза! — сказал старик

— Ха! — злорадно ответил Федот. — Да это еще что, ты послухай, что дальше-то будет! Как пропала эта самая коза, мы с бабой прямо очумели. Ну, думаем, каюк, попáнется она волку на́ зубы. А того, понятно, и в голове не держим, что куда бы лучше было, кабы ее черти задрали. Кинулись наране в лес, кажись, живого места не оставили, все до шпенту объелозили — нигде нету! Затужил я бо-зна как, однако еду пахать, — как раз пахота подошла. Взял с собой хлебушка в платочке, положил под мѣжу, пашу, а на другом бугре малый наш деревенский пашет — вдруг, слышу, кричит что-й-то, показывает рукой. Оглянулся я да так и ахнул: коза! Вытащила узелок, схватила в зубы, растрясла и стоит, дергает бородой, хлеб лопаает... Кинул я поскорей соху — к ей. Я к ей, а она от мене. Я к ей, она от мене: отбежит, остановится, жует хлеб — и горюшка мало. И ведь такая веселая да умная стерва — за всем моим

движением следит. А меня сердце на нее берет, очень хочется поймать, так бы, кажись, и расшиб ее! Сожрала хлеб и пошла: обертывается, поглядывает, хвостом трясет,— ну, прямо на-смешничает!

— Что и говорить, скотина беспечная! — сказал старик.

— Про что ж я-то говорю! — воскликнул Федот, пошренный сочувствием.— Я про то и говорю, что она прямо сокрушила нас! Тут и недели не прошло, стали все на меня обижаться, так, говорят, и живет коза твоя в мужицких хлебах, у меня у самого весь осьминник истолкла, все кисти с овса оборвала. Раз как-то зашла гроза, зачала молонья полыхать, опустился дождь — смотрю, несется моя белая коза, что есть духу, прямо к нам, орет не своим голосом — и прямо в сенцы. Я со всех ног за ней, зажал ее в угол, затянул через рога подпояской, начал ее утюжить... гром гремит, молонья жжет, а я ее деру, я ее деру! Должно, боле часу драл, верное слово. Посадил потом на варке, привязал на подпояске... да тот-то ее знает, либо подпояска была гнилая, либо еще что, только глянули мы наране — опять нету козе! Так, веришь ли, аж слеза меня со зла прошибла!

#### IV

Тон Федота стал так прост, сердечен, так полон хозяйственного огорчения, что никому бы и в голову не пришло, что это рассказывает о своем грехе убийца. Да и слушали его просто. Кирюшка неподвижно лежал вниз животом, с головой, покрытой армяком, выставив из-под него толсто опутанные белыми онучами, в больших лаптях ноги. Иван, надвинув на лоб шапку, запустив руки в рукава, лежал на боку и тоже не двигался, молчал же строго и серьезно потому, что считал ниже своего достоинства интересоваться дураками. Ему так было мало дела, убийцы перед ним или нет, что он даже крикнул раз:

— Спать пора! Завтра домелете!

А Пашка и старик, полулежа и задумчиво перекусывая соломинки, только головами покачивали да порою усмехались: ну, правда, и зазнал горя Федот с козой! И Федот, видимо, считая себя уже оправданным этим сочувствием к его смешному и горькому положению, совсем перестал стесняться отступлениями. И гимназист, стиснув зубы и от ветра и от внутреннего холода, порою дико, с изумлением оглядывался: где он и что это за странная ночь? Но была все такая же, простая, знакомая, деревенская ночь, каких было много: темнело поле, черным треугольником вырезывалась в звездном небе рига, дул ветер

по лозняку, за которым вспыхивали и пропадали звезды, доходило до лиц и рук прохладное дуновение с запахом мякины, шуршало в соломе белыми клубками, собаки... Глубоким сном спали, утонуло в соломе белыми клубками, собаки... И страшное было только в том, что было уже поздно, что высоко поднялась с северо-востока кучка серебряных звезд, что глухо, по-осеннему шумит вдали темная туча дремотного сада, что блестят в звездном свете глаза на лицах разговаривающих...

— Да, братец ты мой,— говорил Федот,— истинно до слез меня довела! Сказывают мне наконец того,— загнал ее мужик на Прилепах. Иду добывать, делать нечего, такой уж, видно, жербий мой. Прихожу на деревню, где ни гляну,— никого нету, все на работе. Едет мальчик за водой, спрашиваю: где дом Бочкова? «А вон, говорит, где старуха в красной паневе под лозинкой сидит». Подхожу: «Это Бочков двор?» Махает мне старуха рукой, на варок показывает...

— Ошалела, значит, от старости,— вставил Пашка, так хорошо засмеявшись, что гимназист с изумлением и страхом оглянулся на него и подумал: «Да нет, не может быть — это он все наврал на себя!»

— Ошалела,— подтвердил Федот.— Только рукой махает. А я уж давно слышу, свинья на варке юзжит. Отворяю дверь в клетушку, где эта самая свинья сохраняется. Вижу, возит бабу здоровенная матка: навалилась на нее баба, держит одной рукой, другой из ведра на нее поливает. А свинья вся черная от грязи, возит ее, таскает, никак баба с ней не сладит, заголилась до самого живота. И смех и грех! Увидала меня, обдернула подол, ноги, руки, вся лицо в навозе... «Что тебе нужно?» — «Что нужно? По делу. Вы мою козу загнали, держите приبلудный скот, а объявление не делаете». — «Никакой, говорит, твоей козе мы не держим. Мы ее выпустили. Ее на барском дворе загнали». И смеется чего-й-то. Та-ак, думаю, значит, опять моя дело табак. Ну, погоди ж ты! Вышел, пошел. Только зашел за соседний двор, повернул на стезжку по конопям, откуда ни явись, мальчишка чей-то рыжий навстречу. «Ты за козой приходил?» — «За козой. А что?» Вдруг слышу, кричит баба за избой: «Кузька, куда тебя закружило, глаза твои накройся?» — «Скорей, говорю, беги, вон мать с крапивой идет». А она и вот она — увидала его, бежит: «Не тебе сказала за малым смотреть? А тебе куда завихрило, такой-сякой?» Потом как вскинется на меня! — «Ты чей?» «А тебе, мол, что за дело?» — «Да нет, ты скажи, ты чей?» — «Старой транде казначей. Чего орешь? Я козу свою ишу». — «А, так это ты, глаза твои накройся, с своей козой спокую всему селу не даешь!..» И вижу вдруг — несется ко мне высокий мужик от рыги — без шапки, распояской, в сапогах. Набежал со всех

ног: «Твоя коза?» — «Моя». Развернулся — как ахнет мне в ухо!

— Чисто! — в один голос воскликнули старик и Пашка, а гимназист даже взвизгнул: вот оно, самое страшное-то! Но Федот спокойно вытянул из-под себя полу полушубка и спокойно продолжал:

— Да, так огрел, аж в голове у меня зажундело. Я сгреб его за руки, спрашиваю: за что? А тут уж народ бежит... Я при всех прошу просвидетельствовать это дело, опять спрашиваю: что такое моя коза натворила? Оказывается, ребенка с ног долой сшибла, голову до крови проломила, рубаху сжевала, рожь истолкла. Чудесно, — подавай в суд, там и с меня спросят, и тебя не помилуют. Теперь-то, мол, елдак ты с меня возьмешь! Шапку надел и пошел поскорей на барский двор. Повеселел маленько: коза теперь, думаю, не уйдет, а взыскивать с меня ты теперь не можешь, — драться-то погодить было надо. Подхожу, вижу, едет на лошадке с подрубленным хвостиком мальчик в атласном картузике, с голыми руками-ногами, жокей называется. Лошадь подыгрывает, а он ее хлыстиком жиялет. «Здравия желаем, мол, дозвоьте спросить: у вашей милости моя коза?» — «А вы кто такой?» — «Хозяин этой козе». — «Ну, так ее мой папаша велел загнать». Расчудесное дело, иду дальше, взошел на барский двор, стоит, вижу, возле дома, на песочном току, карета четвериком, — лошади жирные, рьяные. На крыльце лакей с двумя бородами. Выходит барышня взрослая в шляпке с лентами, вся лицо в кисее. «Даша, — кричит в дом горничной, — скажите барину, чтобы шел скорей. Он в манеже». Я к манежу. Вижу, стоит сам барин в мундире с зеленым воротом, а мальчишка на крыше сидит, запустил руку под пелену, ищет что-й-то. Должно, шкворцов, думаю себе. Ан нет, — воробьями занялся. Он глядит, кричит: «лови, лови их, сукиных детей», а мальчишка ловит воробьят голых, вытаскивает и об землю бьет. Увидал меня: «ты что?» — «Да вот, говорю, мою козу ваш садовник на землянике прихватил. Дозвоьте ее взять, убить». — «Уж это не в первый раз, говорит, я тебя оштрафую на два цалковых». — «Согласен, говорю, с вами, виноват, подписываюсь в этом. Такой грех, говорю, — у меня ее завсегда две девки стерегут, а вчерась, как нарочно, — пострел их знает, сырых грибов, что ль, наелись, — катаются, блюют, а жена-то, призналась, тоже не доглядела, в пуньке лежала, на крик кричала — рука развилась...» Надо ведь как-нибудь оправдываться. Рассказываю ему, какая у меня коза яд, как меня съездили по уху за нее, — смеется, подобрел. «Сколько, говорю, ни преследую, никак не поймаю, и так хотел у вашей милости порошку попросить да у огородника

ружье взять, из ружья ее пристрелить». Ну, он и дозволил взять, а я тут же и пристукнул ее.

— Пристукнул-таки? — спросил старик.

— Обязательно, — сказал Федот. — «Ну, бери, говорит, только, смотри, с моими не смешай». — «Никак нет, говорю, я хорошо ее личность знаю». Пошли на варок, взяли пастуха Пахомку. Глянул я, — сейчас же и заметил ее через овец: стоит, жустрит что-й-то, косится на меня. Согнали мы с Пахомкой овец в угол поплочнее, стал я к ей подходить. Шага два сделал, — она сиг через барана! И опять стоит, глядит. Я опять к ей... Как она уткнет голову рогами в землю да как стреканет по овцам, — так те от ней, как вода, раздались! Взяло меня зло. Говорю Пахомке: «Ты ее подгоняй потише, а я, где потемнее, влезу на перемет, за рога ее перехвачу». А навозу на дворе страсть сколько, под самые переметы в иных местах. Залез я на перемет, лег, облапил покрепче, а Пахомка подпугивает ее ко мне. Дождался я, наконец того, пока она под самый перемет подошла — цоп ее за рог! Как закричит она, — даже жуть меня взяла! Свалился с перемета, ногами упираюсь, держусь за рог, а она прет меня по двору, вытащила вон, рванулась... Глянул я, а она уж на крыше: вскочила на навоз, с навозу на крышу, с крыши — в бурьян... Слышим, зашумели собаки на дворе, подхватили ее, турят по деревне. Мы, конечно, выскочили, — и за ней. А она летит, что ни есть духу, и прямо к крайней избе: там изба новая строилась, еще окна заложены были замашками и сенец нету, а положены к крыше наскосяк лозинки голые. Так она по ним на самый князек взвилась — взнесла ж ее вихорная сила! Подбежали мы поскорее, а она, видно, почуяла смерть — плачет благим матом, боится. Подхватил я здоровый кирпич, изловчился — да так ловко залепил, что она аж подсканула, да как зашуршит вниз по крыше! Подбежали мы, а она лежит, дергает языком по пыли... дернет и захрипит, дернет и захрипит... А язык длинный, чисто как у змеи... Ну, понятно, через какой-нибудь полчаса и околела.

## V

Помолчали. Федот приподнялся, сел и, согнувшись, разводя руками, стал медленно развивать оборки, которыми были опутаны его старые, все спускавшиеся онучи. И через минуту гимнастик с ужасом и отвращением увидел то, что прежде видел столько раз совершенно спокойно: голую мужицкую ступню, мертвенно-белую, огромную, плоскую, с безобразно распросшимся большим пальцем, криво лежащим на других пальцах, и худую волосатую берцу, которую Федот, распутав и кинув онучу, стал крепко, с сладостным ожесточением чесать, драть

своими твердыми, как у зверя, ногтями. Надрав, он пошевелил пальцами ступни, взял в обе руки онучу, залубеневшую, вогнутую и черную в тех местах, что были на пятке и подошве,— точно натертую черным воском,— и тряхнул ею, развевая по свежему ветру нестерпимое зловоние. «Да, ему ничего не стоит убить! — дрожа, подумал гимназист.— Это нога настоящего убийцы! Как он страшно убил эту прелестную козу! Но Пашка! Пашка! Как он мог так весело рассказывать? И с наслаждением: «аж в спину выскочило!»

Вдруг, не поднимая головы, сумрачно заговорил Иван:

— Дураков и в алтаре бьют. А тебя-то, Постный, за эту козу задрать мало. За что ж ты ее убил? Ты бы продал-то ее. Какой же ты после этого хозяин, когда не понимаешь, что без скотины мужику нельзя быть? Ее ценить надо. Да будь у меня коза-то...

Он не договорил, помолчал и вдруг усмехнулся.

— Это вот в Становой была история, ну, правда что... Вот не хуже твоей козе, бык у барина Мусина завелся озорной. Прямо проходу никому не давал. Двух пастушат заколол, на чепь приковывали, и то срывался, уходил. Тоже вот так-то весь хлеб у мужиков истолок, а согнать никто не смеет: боятся, за версту обходят. Ну, рога, понятно, спилили, вылегчили... помирнел. Только мужики припомнили ему. Как пошли эти бунты, так они что сделали: поймали его на поле, веревками обротали, свалили с ног долой... бить не стали, а взяла да освежевали дочиста. Так он, голый, и примчался на барский двор,— разлетелся, грохнулся и околел тут же... кровью весь ишел.

— Как? — сказал гимназист. — Кожу содрали? С живого?

— Нет, с вареного,— пробормотал Иван.— Эх, ты, московский обуватель!

Все захохотали, а Пашка, хохоча пуще всех, подхватил:

— Ну и разбойники! А ты так-то говоришь, миловать нас! Нет, брат, знать, без нашего брата, прохожего солдата, тут не обойдешься! Мы вот, когда после Сеняк под Курском стояли, так тоже смиряли одно село. Затеялись там мужики барина разбивать... И барин-то, говорят, добрый был... Ну, пошли на него всем селом, и бабы, конечно, увязались, а навстречу им— стражники. Мужики с кольями, с косами,— на них. Стражники сделали залп, да, понятно, драло... какая там чорт сила в этих мужланах! — а одна пуля и жильни ребенка на руках у бабе. Баба жива осталась, а он, понятно, и не пискнул, так ножками и брыкнул. Так, господа ты боже мой!— сказал Пашка, мотая головой и усаживаясь поудобней,— чего только ни натворили мужики! Все в лоск, вдребезги разнесли, барина этого самого в закуту загнали, затолкли, а мужик этот, отец-то этого ребен-

ка, прибежал туда с этим самым ребенком, задохнулся, очумел от горя — и давай барина по голове этим ребенком мертвым охаживать! Сгрел за ножки — и давай бузовать. А тут другие навалились и, значит, миром-сбором и прикончили. Нас пригнали, а уж он тлеть стал...

Тут неожиданно зашевелился и Кирюшка и с детской наивностью сказал, поднимая голову:

— А вот что было, когда Кочергина-барина разбивали... бяда! Я тогда в пастухах у него жил... Так они все зеркала в пруд покидали... Ходили потом с деревни купаться и все изтины их вытаскивали... Нырнешь, станешь, а она под ногой так и скользнет... А эту... как ее... фортопьяну в рожь заволокли... Мы, бывало, придем... — Кирюшка приподнялся и, смеясь, облокотился. — Мы придем, а она стоит... Возьмешь дубинку, да по ней, по косточкам-то... с угла на угол... Так она лучше всякой гармоньи играет!

Все опять засмеялись. Федот переобулся, опять аккуратно перекрестил онучи оборками и, оправившись, принял прежнее положение. И, выждав минуту молчания, размеренно стал рассказывать свою историю:

— Да-а, шурыгнул меня по уху да еще в суд на меня подал... за эти, значит, за все протери-убытки, за потраву. Звали его Андрей Богданов... Андрей Иванов Богданов. Рослый мужик, красный, худой, всегда злой, пьяный. Ну, и подал на меня. Меня же огрел по уху и на меня же подал! Тут самая рабочая пора подошла, дохнуть некогда, а я при за пятнадцать верст... За то-то, видно, и покарал его господь...

Глядя в солому, глухо покашливая и обтирая ладонью свои плоские губы, Федот говорил все сумрачнее и выразительнее. Сказав: «покарал его господь» — он помолчал и продолжал:

— Дело-то на нет, понятно, свели. Помирили нас. Обоюдная, значит, обида. Но только он тем не пронялся. Помирился со мной, да тут же отшел, пьяный напился, стал грозить убить меня. При всех кричит: «Погоди, говорит, погоди, это я еще не пьян сейчас, а выпью, я тебя утешу». Хочу от скандалу уйтить, — за пельки хватает... Потом на деревню к нам зачал ходить: придет, пьяный, под окна и давай меня матерком пушить. А у меня дочь взрослая...

— Неладно! — сочувственно крикнул старик и зевнул.

— Хороша лада! — сказал Федот. — Ну, вот и пришел под Кирики, вечером. Слышу, шумит по улице. Я встал, ни слова не говоря, ушел на двор, сел на борону, стал косу отбивать. А такая зло берет, аж в глазах темнеет. Слышу — подшел к избе, бунит. Должно, стекла хочет бить, думаю себе. А он гамел и уж пошел было прочь. Тем бы и кончилось, может, да

выскочила Олька, дочь моя... да и закричи не своим голосом: «Отец, караул, меня Андришка бьет!» Я выскочил с бруском от косе, да горяча — раз его в голову! А он и нáземь. Подскочили к нему, а он лежит, хрипит и уж слюни пускает. Прибежал народ, стали водой отливать... А он лежит и уж только икает... Может, тут надо было походатайствовать чем-нибудь... какой-нибудь примочки там приложить, али еще что... в больницу бы свезть поскорей, да доктору десятку, да где ее взять? Ну, он поикал, поикал, да и помер к ночи. Побился, побился, на спину запрокинулся, вытянулся и готов. И народ кругом стоит, смотрит, молчит. А уж огни зажгли...

Весь дрожа мелкой дрожью, с пылающим лицом, гимназист поднялся и, утопая пó пояс в соломе, пошел по омету вниз. Борзая, испуганная им, вдруг вскочила и отрывисто брехнула. Гимназист опять сел в солому и замер. Шумел холодный ветер, над самой головой белела кучка холодных осенних звезд, а за бугром шелестевшей соломы слышался мерный, низкий голос Федота:

— Я в пуньке под стражей два дни сидел и все это в окошечке видел... как анатомили-то его. Сошелся народ со всех деревень, смотреть этого убиенца и меня, конечно, в том числе. Лезут под самую пуньку... Вынесли две скамейки на выгон, поставили под самой пунькой, положили на них убиенца. Под голова чурбан подсунули. Резаку и следователю стулья, стол принесли. Подошел резак, рубаху оборвал, портки оборвал — лежит, вижу, труп совсем голый, уж твердый весь, где зеленый, где желтый, а лицо вся восковая, красная борода редкая так и отделяется. На причинное место резак лопух положил. Тут же, обыкновенно, ящик с разными причандалами. Подошел резак, разобрал ему волосы от уха к уху, сделал надрез и зачал половинки с волосами зачищать. Где отóнок, ножичком скоблит. Отодрал их на обе стороны, открыл одну, на нос положил. Стал виден черепок весь — как колгушка какая... А на нем пятно черная окол правого уха, черная сгущенная кровь, — где, значит, удар-то был. Резак говорит следователю, а тот пишет: «На таких-то сводах три трещины...» Потом зачал черепок кругом подпиливать. Пила не взяла, так он вынул молоточек с зубрильцем и по этому следку, где пилкой-то наметил, зубрильцем прострочил. Черепок так и отвалился, как чашка, стал весь мозг виден...

— Что делают, разбойники-живорезы! — хрипло заметил задремавший было старик.

А Федот твердо договаривал:

— Потом вынул толстый нож, стал резать грудь по хрушшам. Вырубил косяк, стал отдирать — трещит даже... Стало видать желудок весь, легкие синие, всю нутренность...



Глухой от стука собственного сердца, гимназист поднялся на ноги, во весь свой длинный рост, в картузе, сдвинутом на затылок, в легкой шинельке, которая была уже коротка ему. Серый, большой, страшный в своем монгольском спокойствии, Федот мерно говорил, держа трубку в зубах, но он уже не слушал его. Он во все глаза глядел на всех этих, таких знакомых и таких чужих, непонятных, всю душу его перевернувших в эту ночь людей. Жалкий в своем пороке и смиренности, в своей пастушеской первобытности, Кирюшка спал, покрывшись армяком, выставив из-под него толстую, в белых онучах, согнутую в колене ногу. Спал Иван с сумрачным, презрительным лицом, Иван, в черной землянке которого на краю голой деревни, в темноте и грязи, под низким потолком, под дерновой крышей, уже третий год лежит, умирает и все никак не умрет его страшная, черная старуха-мать, а зубастая, худая жена кормит темно-желтой, длинной, тошей грудью голопузого, сопливого, ясноглазого ребенка, с губами, в кровь источенными несметными избяными мухами. Спал крепким, здоровым сном, на свежем ветру, счастливый Пашка, в своем солдатском картузе, тяжелых сапогах и новом полушубке. А старик Хомут, у которого нет даже полушубка,— есть только зипун с большой прорехой на плече,— у которого так низко висят всегда на дряблых ляжках истертые портки, сидел спиной к ветру, без шапки, голый по пояс. Он, старчески-худой, желтотелый, с косо-поднятыми плечами, с искривленным крупным позвоночником, блестящим при свете звезд, сидел, наклонив лохматую голову, которую ерошил свежий ветер, согнув свою уже тонкую, всю в жестких морщинах шею, пристально осматривал снятую рубаху и, слушая Федота, порою крепко давил ногтями ее ворот.

Гимназист соскочил на твердую и гладкую осеннюю землю и, горбясь, быстро пошел к темному шумящему саду, домой.

Все три собаки тоже поднялись и, смутно белея, бочком побежали за ним, круто загнув хвосты:

*Капри. 19—23. 12. 1911*

## ВЕСЕЛЫЙ ДВОР

### I

Мать Егора Минаева, печника из Пажени, так была суха от голода, что соседи звали ее не Анисьей, а Ухватом. Прозвали и двор ее — окрестили в насмешку веселым...

Егор, как говорили в Пажени, весь выдался в Мирона, покойного отца своего: такой же пустоболт, сквернослов и курильщик, только добрей характером.

— Сосед он хоть куда, — говорили про него, — и печник хороший, а дурак: ничего нажать не может.

Заработки у Егора всегда были плохи, надел не выходил из сдачи. Изба его, огромная, нескладная, с каждым годом все больше да больше сгнивала, разваливалась без призора. Раз он принес откуда-то и налепил снаружи на ее косою простенок, на трухлявые бревна, большую солдатскую мишень — черной краской напечатанное на белом бумажном листе туловище, с ружьем на плечо, в фуражке набекрень, с вытаращенными глазами. А вот поправить крышу, законопатить пазы, переложить печку, боровá почистить — на это у него догадочки не хватало, и зимой в избе волков можно было морозить: по всем углам нарастала снежная опушка. Давным-давно по чурке растаскали бы все это тырло хорошие люди. Да мешала Анисья.

Егор был белес, лохмат, не велик, но широк, с высокой грудью. Ходил Егор в облезлом, голубом от времени и тяжелом от пота, гимназическом картузе, в посконной рубахе с обитым, скатавшимся воротом, в обвисших, протертых и вытянутых на коленях портках, в лаптях, обожженных известкой. Всюду много и без толку болтал он, постоянно сосал трубку, до слез надрываясь мучительным кашлем, и откашлявшись,

блестя запухшими глазами, долго сипел, носил своей всегда поднятой грудью. Кашлял он от табаку,— курить начал по восьмому году,— а глубоко дышал от расширения легких, и когда дышал, все раскрывалась, показывалась в продольную прореху вборта бурая полоска загара, резко выделявшаяся на мертвенно-бледном теле. Уродливы были его руки: большой палец правой руки похож на обмороженную култышку, ноготь этого пальца — на звериный коготь, а указательный и средний пальцы — короче безымянного и мизинца: в них было только по одному суставу. Но ловко мял он этими тугими култышками золу в хлюпающей трубке, кашлял надрывисто, но даже с наслаждением как будто: «а-ах, так-то его так!» Глядя на него, не верилось, что бывают матери у таких хрипунов и сквернословов. Не верилось, что Анисья мать его.

Да и нельзя было верить. Он белес, широк, она — суха, узка, темна, как мумия; ветхая панева болтается на тонких и длинных ногах. Он никогда не разувается, она вечно боса. Он весь болен, она за всю жизнь не была больна ни разу. Он пустоболт, порой труслив, порой, с кем можно, смел, нахален, она молчалива, ровна, покорна. Он бродяга, любит народ, беседы, выпивки,— сём, пересём, лишь бы день перешел. А ее жизнь проходит в вечном одиночестве, в сиденье на лавке, в непрестанном ощущении тянувшей пустоты в желудке и непрестанной грусти, с которой она уже сроднилась: «Земля забыла меня, грешную!» Единственным оправданием такой забывчивости была, по мнению Анисьи, необходимость стеречь, сохранять для Егора избу: все думала,— авось, уж не молоденький, авось, образумится, женится. Нежно и сладко туманили ей голову мечты об этом несбыточном счастье. А он постоянно твердил: «Дó веку не женюсь! Теперь я — вольный казак, а женишься — журишь о жене. Да пропади она пропадом!..» Он не признавал ни семьи, ни собственности, ни родины.

Наняться куда-нибудь, работать мешала Анисье, помимо избы, еще и та беда, что очень слаба была она, да и крива вдобавок. Много лет ходил по лавке возле нее, по лавке, на которой провела она столько долгих дней, старый черный с золотом петух: она сидит и думает, подпирая тонкой рукой щеку, а он похаживает, клюет мух по мутным, собранным из кусочков стеклам. Раз сунулась она к окошку,— кто-то ехал по деревне с колокольчиками,— а петух как стукнет в левый глаз ее! И глаз вытек, впалые веки стянуло, осталась одна серая щелочка... Прежде сеяла она коноплю на огороде, брала замашки, мяла пеньку: все был доходишко. Но Егор и огород сдал. Прежде на поденщину принимали ее — к мелкому помещику,

Панаеву, что в версте от Пажени. Да стали обижаться девки, — «старый чорт работу отбивает!» — стали наговаривать приказчику, будто все у нее, сослепу, из рук валится, стали тайком всовывать краденые из барского сада яблоки в тот платочек, в который, идя на работу, завязывала она свой завтрак — горбушку черствого хлеба...

Замуж вышла Анисья рано, — рано одна на свете осталась. Любить Анисье в молодости некого было. Но и не любить не могла она. С несознаваемой готовностью отдать кому-нибудь душу выходила она за Мирона, — тоже печника, вольноотпущенного дворового, — и любила его долго, терпеливо, затем, что, скинув вскоре после свадьбы от побоев, долго лишена была возможности на детей перенести свою любовь. Во хмелю Мирон бывал буен. Дело известное: трезвый ребенка не обидит, а напьется — святых вон выноси. Бьет стекла, гоняется за сыном и женой с дубинкой. «Ну, опять у Минаевых крестный ход пошел! — говорили соседи, радуясь такой забаве. — И веселый же двор, ей-богу!» Когда нехотя просил он прощенья, протрезвившись, скоро сдавалась она на ласковое слово, только тихо говорила сквозь слезы: «Что ж, над тобой же будут люди смеяться, если калекой меня сделаешь!»

Все же, после смерти Мирона, даже такое прошлое стало казаться счастьем Анисье. Да, когда-то были и молодость, и семейная жизнь, и хозяйство у нее; был муж, были дети, были радости и горести — все как у людей... Двадцать лет тому назад замерз Мирон, — ни с того ни с сего увязался пьяный за чужим обозом в Ливны, — и много ночей провела она без сна, сидя в темной избе на конике, вспоминая и думая; но никто не узнал ее дум. Всех умерших детей оплакала она горькими слезами, но оплакала тоже тайком, в одиночестве. Нищета, разорившая дотла ее двор, часто заставляла ее кланяться соседям, просить у них помощи ради сироты-сына, пока мал он был; но никогда не насмеливалась она напоминать людям, что в былое время помогала и она им. И вышло так, что в Пажени никому и не верилось, что жила она когда-то по-людски. Чаяла она отдохнуть хоть в старости, за сыном. Мужик он вышел добрый, — на словах только бесстыж и горяч, не то, что отец покойник. Руки у него золотые, говорила она, еще как жили-то бы, не брось он дома!

Нынешней зимой даже Пажень удивил Егор: всего могли ждать от него, но только не того, что вдруг бросит он свое дело и ни с того ни с чего, — вот как Мирон за чужим обозом, — уйдет, всем на посмешище, в золотари в Москву. Но и в Москве пробыл он без году неделю. Думала порой Анисья, в самое сердце пораженная вестью об его уходе, что, быть может, ра-

ди ее вечного голода, ради хорошего заработка, с затаенною целью поправить свою жизнь ушел Егор. Но вот он внезапно вернулся,— оборванный, без копейки денег; ночевал три ночи дома, но и двух слов путных не сказал ни с соседями, ни с матерью,— был какой-то, хоть и не скучный, а рассеянный; даже не сумел объяснить толком, зачем шатался в Москву,— сказал только: «да ай велика беда?» — и опять исчез.

В мае нанялся он караулить Ланское, лес помещика Гурьева, что от Пажени верстах в пятнадцати. Положили ему отвесное только да три рубля в месяц. А что такое три рубля? То купи, другое купи... на спички даже не хватает... И, нанявшись, Егор совсем перестал помогать матери.

В Петровке, доев последнюю корку занятого с великим трудом хлеба, решила она наконец побывать в Ланском, повидаться с сыном, проведать его, а главное, хоть малость подкрепиться. Доедала она хлеб с большой осторожностью — и все слабела, слабела. Не в меру стало клонить в сон, рябить в глазу, звенеть в ушах; стали пухнуть ноги, стала томить неотвязная мечта: поесть чего-нибудь горячего, с солью. Боязно было сказать себе: пойду. Да надоумили, разговорили, настроили прохожие. Зашли они напиться — старушка и молодая; ходили в Гурьево, поминать умершего. Старушке умерший был сыном, молодой — мужем. И вот все трое разговорились о своей женской доле, о мужьях, сыновьях. Молодая, — крупная, с большим бледным лицом и большими серыми глазами навывкат, хорошо и нарядно одетая — в новую корсетку из коричневой сермяги со сборками назад, в красную шерстяную юбку и полсапожки, с черной бархаткой, украшенной белыми пуговками, на шее, — та все молчала. Старушка, сухонькая, чистенькая, устало-оживленная, говорила безумолку, а молодая за все время только раз, просто и не спеша, вставила свое слово: когда старушка запнулась, запамятовала город, куда угнали в солдаты ее меньшого сына.

— Три недели тому назад схоронили, сударушка, — ласково говорила старушка Анисье. — Съездил в город, был ужасный веселый, а приехал домой, погнал лошадей в ночное, двух десятин до Щедрина хутора не догнал, — мы через Щедрина, через его поле скотину-то гоняем, — воротился. Пришла я с холстами, вижу, лежит он на печи, полушубком накрылся... «Умираю, говорит, мамаш, заболел я. Погнал вчерась в ночное, двух десятин до Щедрина рубежа не догнал — понесло на меня вроде как холодом, ознобом, насилию назад дошел, ноги подламываются...»

Анисья вздохнула, и на глаз ее навернулась слеза. «Дитя-то хоть криво, а матери родной все мило, — подумала она и вздох-

нула от грустной нежности к сыну.— Пойду, была не была, авось, не чужая...» А старушка продолжала, вытирая углы тонких, сморщенных, стянутых в оборочку губ худыми твердыми пальчиками:

— Что тут, ягодка, делать? Дала я ему две просвирки, одну заздравную, другую за упокой. Съешь, говорю, сынок, може, полегчает. На третий день он и кличет меня: «Мамаш, добре нынче день хорош, поведите меня, а то тут, в избе, дух чижелый». Повели мы его на гумно, посадили на солому, сами отлучились на минутку — овцу стричь. Немного годя приходим, а он уж и голову уронил, едва дышит: раньше лицо красная, как сукно, была, а тут уж ото лба белеть стала. Приподняли мы его, а он уж кончился. Не дождался, значит, нас...

И Анисья задумалась. Растроганная беседой, умиленная материнской нежностью, материнскими горестями, стала она советоваться с прохожими, как ей быть: идти или нет? Если уж идти, так не лучше ли с умом идти: не затем только, чтобы проведать, а чтобы на все лето остаться? Вон, говорят, он теперь отвесное получает; а ведь при отвесном и она прокормится,— авось, не объест, много ль ей и надо-то...

Старушка сказала:

— Да ведь как сказать? — не угадаешь, как лучше, сударушка. Мой-то Тихон не пример другим. Уж такой степенный был, один в свете разумный и задумчивый! А послушишь кругом,— правда, не те сыновья ноне пошли, не чета моему, вероломные... Ну, а все-таки я бы пошла. Мой сгад — иди.

— Он не может не кормить матери,— прибавила молодая.

И Анисья повеселела.

— Ну, ин, пойду,— сказала она нерешительно.— Ведь он только скучлив у меня, а никто плохого не скажет,— не драчун, не пьяница. Вот только дома не любит сидеть... А мне голодно, да и скука съела. Иной раз думаешь: хоть бы захворал, что ли, все бы дома пожил... Мужик он добрый, да, конечно, рабочий человек, обидчивый. У меня одна душа, у него другая. Придешь, думается, а он ну-ка обидится...

Проводив прохожих, она долго оглядывала пустую избу: нельзя ли продать что? Но все богатство ее состояло в старой укладке, где хранился единственный подарок Егора,— погребальный платок, купленный в монастырской лавке в Задонске, большой белый коленкорový платок, весь усеянный черными черепами, сложенными крест-накрест черными костями и черными надписями: «Святой боже, святой крепкий...» Грех продавать такую вещь, да и жалко, правду сказать: принес Егор

свой подарок с искренним желанием порадовать мать, выпивши... Ну, да сам же виноват, думала она,— забыл мать, до крайности довел. А бог милостив, он видит нужду: похоронят и без платка, с бедной старухи на том свете не взыщется... И пошла продавать платок. Тонет в хлебах, в лозняке Пажень. Одна кирпичная изба богача Абакумова далеко видна. Она на фундаменте, под железной крышей, с разноцветными мальвами, с палисадником. В воскресенье пошла Анисья к Абакумову. Абакумов зорко оглядел платок своими татарскими глазками, кликнул мать, сумрачную толстую, отекающую старуху в ватной кофте и валенках.

— Что ж просишь? — медленно выходя из избы, исподлобья оглядывая крыльцо и горбясь, неприветливо спросила старуха.

Анисья, чувствуя недоброе, стала хвалить платок, показывать товар лицом — накинула его на плечи, прошла. Абакумов, подумав, положил «два орла» — гривенник; потом, усмехнувшись, прибавил еще пятак — «за манеру». Анисья покачала головой и пошла домой, даже не сняв с себя платка. А дома, сидя в этом трауре, долго разглядывала его концы своим единственным глазом, что-то обдумывая. Потом облокотилась на стол, уже ничего не думая, а только слушая звон в ушах... В пазах стола застряло когда-то порядочно пшена. Она наковыряла с полгорсти, съела. Потом спрятала платок в укладку, легла на большие голые нары возле большой треснувшей печки, когда еще не смерклось путем, говоря себе: надо поскорее заснуть, а то не дойдешь, надо выйти пораньше да уходя не забыть запереть укладку, закрыть трубу на случай грозы...

Продумав всю ночь сквозь сон что-то тревожное, неотступное, просучив ногами,— жгли их блохи, жилили мухи,— заснула она крепко лишь под утро. Проснулась, когда уж ободнялось — и болезненно обрадовалась дню, тому, что она жива, что идет в Ланское, начинает какую-то новую, может, хорошую жизнь... Бог милостив — чувствовать себя на белом свете, видеть утро, любить сына, идти к нему, это — счастье, сладкое счастье... Изнутри приперла она дверь в сенцах однозубым рогачом, воткнув его в землю, нашла в углу палку, испачканную воробьями, перелезла через обвалившуюся стену... По зеленому выгону, возле пруда, к которому ковыляли приказчиковы гуси, длинными серыми полосами лежали белившиися холсты. Машка Бычок, конопатая, здоровая девка, навалив по свернутому, мокрому, тяжелому холсту на каждый конец коромысла, шла навстречу, вся виляясь, мелко перебирая белыми крепкими ногами по зелени. Анисья подумала: слава богу, с полным навстречу...

Весь май, весь июнь перепадали дожди. Хлебà и трáвы в нынешнем году чудесные. Путаюсь худыми ступнями и паневою по межам, заросшим травой и цветами, меряя палкой стежки среди ржей, овсов и гречи, радовалась, по привычке, Анисья на урожай, хотя уже давно не было ей никакой пользы от урожаяев. Ржи были высоки, зыблились, лоснились, только кое-где синели васильки в них. Выметались и тускло серебрились тучные, глянцевиные стеблем овсы. Клины цветущей гречи молочно розовели. День был облачный, ветер дул мягкий, но сильный,— усыплял пчел, мешал им, путал их, сонно жужжащих, в ее кустистой заросли, обдавал порою запахом гретого меда. И то ли от ветра, то ли от этого запаха томно кружилась голова. Шла Анисья стежками, межами, чтобы сократить дорогу, но, когда миновала панаевские лощины и выбралась на противоположную гору, вышла в чистое поле, откуда далеко видно,— вплоть до станции, на горизонте,— сообразила, что дала крюку.

С самого выхода из дому чувствовала она, что надо обдумать главное: дома ли Егор, застанет ли она его? И все отвлекалась, все не могла собраться с мыслями. Теперь две горлинки, шагах в десяти друг от друга, по одной линии, мелко и споро бежали перед нею вдоль асфальтной дороги и мешали думать. Она долго, пока не поднялись они, не могла понять, что это такое: горлинки совсем под цвет дороги, только спинки с брусничным отливом. Они женственно, игриво семенили, потом легко взлетели, распутив серые хвосты с белой каемкой, и опять сели, опять побежали. Анисья махнула на горлинок палкой: зарепетал легкий свист крыльев, но не прошло и минуты, как опять увидела она их, бегущих быстро и однообразно. Они мучили, утомляли ее, но и трогали своей красотой, беззаботностью, нежной привязанностью друг к другу. Сколько лет ее черно-зеленой, клетчатой паневе, грязной, истлевшей на высохшем теле рубахе, темному, в желтом горошке платку? Старость, худоба, горе так не идут к красоте горлинок, цветов, плодородной земли, забывшей ее, нищую старуху,— и она болезненно чувствовала это. Она опять неловко и робко махнула на горлинок. Горлинки взлетели — и она постояла, выждала, пока они скрылись...

Она бодрилась, но клонило в сон. Идти по убитому колесами проселку еще легче, чем по мягким стежкам, ступать босыми ногами по теплой земле так сладко. Но махали, махали по горизонту крыльями несуществующие мельницы. А поднимешь глаз на облачное небо — плывет, плывет стеклянный червячок, плывут стеклянные мушки, и никак не поймашь, не удержишь их на месте: только остановишь взгляд, а червячок уж соскользнул куда-то — и опять плывет кверху, скользит, под-



нимаясь, и множатся, множатся мушки... Она замедляла шаг и переводила дух: «Ой, не дойду. Потихе надо...» И опять шла, и опять, сама того не замечая, начинала спешить...

Теплый ветер, дувший с юга, в бок, нес над простором серозеленых равнин песни жаворонков, аромат цветочной пыли. Мягко, густо и нежно синели дальние деревни, перелески. Вон в далекой дали справа, за полями и верхами, видна церковь Знаменья, родного и уж давно забытого села. Вон налево, еще дальше, за Воргольскими лугами — бедные степные деревушки: Каменка, Сухие Броды, Рябинки... Небо загромождали огромные, но легкие и причудливые, лилово-дымчатые облака. Они собирались по горизонтам в синеватые тучки, и туманно-голубыми полосами опускался из них дождь. А невидимые мельницы все махали и махали крыльями даже и в этих полосах... Разве лечь, подремать? Но нет, нельзя: после отдыха еще труднее идти и работать, она хорошо знает это по долгому опыту. Да вон и едет кто-то... Показалась впереди тройка. Она стала разглядывать ее и оживилась. Тройка, вся в медных бляхах, в дорогой наборной сбруе, приближалась медленно, сдерживая игривую силу. Гнедой коренник, высоко задрал голову, шел шагом, темноореховые пристяжные, изгибая лоснящиеся шеи и почти касаясь раздутыми ноздрями дороги, плыли. Прищурив глаза, завалившись в задок тарантаса, ленился молодой кучер, в плисовой безрукавке, в соловой рубахе, в городском картузе, в замшевых рукавицах... Какой-то особый вид у этих гладких, барских лошадей, какой-то особый вкусный запах у этих тарантасов: мягкой кожи, лакированных крыльев, теплой колесной мази, перемешанной с пылью... А вот начинается зелено-оловянное гороховое поле, тоже барское. От тройки Анисья перешла на межу, покосилась на горох, проводила глазом приподнятый задок тарантаса... Да нет, горох еще и не наливался. Кабы налился, наелась бы досыта — и не увидел бы никто! И, сморщив лицо, поглядела Анисья на небо, туда, где чувствовалось за более светлыми и теплыми облаками солнце: должно, едет кучер к часовому поезду на станцию, — у людей обеда на дворе...

Она забыла о мельницах — мельницы стали махать тише. Она шла и шла; межа, вся усыпанная белыми цветами, бежала ей под ноги, белые точки цветов дрожали. А где-то разнообразно, весело ругались бабы — перебивали друг друга звонкие бабы голоса. Она ясно слышала каждый из них, даже с некоторым удовольствием следила за их изменениями, скороговорками, вскрикиваниями. Но внимания на них не обращала, — дело привычное слушать эти несуществующие голоса! — думала свое, что попало, все еще не будучи в силах собраться

подумать о Егоре: думала то о муке какой-то, у кого-то занятой да так и не отданной, то о том, что вчера у соседки телеенок сжевал весь подол рубахи, висевший на плетне, то о своей близкой смерти... «Постыдились бы, постыдились бы!» — звонко кричали бабы. — «Надо сесть», — отвечала им Анисья мысленно и все дожидалась кем-то назначенного для отдыха места. Кем оно назначено? Богом? «Нет, сыном, Егором!» — крикнул кто-то. Она вздрогнула, мотнула головой, прогоняя дремоту...

И по меже и во рву под межою — всюду пестрели цветы. Чувствуя, что не добиться ей до назначенного места, Анисья села на первое попавшееся. Бабы смолкли. «Хорошо!» — подумала она. И с задумчиво-грустной улыбкой стала рвать цветы; нарвала, набрала в свою темную грубую руку большой пестрый пук, нежный, прекрасный, пахучий, ласково и жалостно глядя то на него, то на эту плодородную, только к ней одной равнодушную землю, на сочный и густой зелено-оловянный горох, перепутанный с алым мышинным горошком. Бабы молчали, мельницы исчезли. Теперь она плыла, плыла, как тот стеклянный червячок, по воздуху. Вон вдали, в горохе, шалашик для сторожа, пока еще пустой: залезть бы в него и — спать... Ветер нес над полями убаюкивающие трели жаворонков, убегала в поля зеленая межа. Не мало росло на ней ромашки, золотой куриной слепоты, бархатисто-лиловых медвежьих ушек, малинового клевера. Прикрывая глаз, Анисья щипала остинки то из медвежьих ушек, то из клеверных шапочек: тошнило, пекло губы, а в остинках были свежие капельки горького меда. Вдруг сердце замерло, — холодом облила голову, отняла плечи, заняла в них и по всему телу прошла та жуткая, как бы предсмертная, тошная волна, что накатывает на человека, высоко вознесшегося на качелях, вдруг сорвавшегося и летящего вниз. Переломив себя, вскочила Анисья с межи, с примятого во влажной траве места, и почти побежала. До дрожи в руках и ногах захотелось застать сына, что-то сказать ему, перекрестить на прощанье...

За горохом пошли пары. Мужики пахали их. Она слабо крикнула, верно ли, что влево поворот в Гурьево, а направо в Ланское? «В Ланское!» — тоже криком отозвался большой босой старик, расстегнувший под своей первобытно-густой бородищей ворот длинной рубахи, подоплека которой чернела от пыли и пота. — «А напиток, рódный, нечего?» Он, шатаясь, оступаясь в борозде, подошел в это время с сохой к меже и, обивая блестящую палицу о подвои, остановился. «Можно», — сказал он. Она подняла с межи кувшин, заткнутый шапкой, и припала к воде, косясь на ступни старика. Он был страшен, похож на лешего или болотного: огромная голова, зеленовато-

желтые кудлы, такая же борода, фиолетовое конопатое лицо и совсем зеленые глаза, свирепо сверкавшие из-под косматых и редких бровей; ступни же его — цвета свеклы — напоминали сошники. Но сразу видно — редкой доброты человек... Она напилась, хотела спросить, нет ли хлебушка, — и не смогла, не сумела...

Теперь она вспомнила места. Оставалось до Ланского версты две, и она не спускала глаза с большого дерева, одиноко белевшего стволом среди моря выколосившейся пшеницы близ лесной опушки, — со старой березы, круглившейся своей вершиной, серебристой от ветра, на облачно-дымчатом небе. За пшеницей, за березой показался шелковистый березовый кустарник, темнозеленый. Место тут степное, ровное, кажется очень глухим: ничего не видишь, кроме неба и бесконечного кустарника, когдаходишь в Ланское. Везде буйно заросла земля, а уж тут прямо непролазная чаща. Травы — по пояс; где кусты — не прокосишь. По пояс и цветы. От цветов — белых, синих, розовых, желтых — рябит в глазах. Целые поляны залиты ими, такими красивыми, что только в березовых лесах растут. Собирались тучи, ветер нес песни жаворонков, но они терялись в непрерывном, бегущем шелесте и шуме. Еле намечалась среди кустов и пней заглохшая дорога. Сладко пахло клубникой, горько — земляникой, березой, полынью. Анисья спешила, спотыкаясь, путаясь в цветах и травах. Вот и караулка. Но висит на ее дверке большой рыжий замок. И, увидав его, Анисья вдруг сморщила лицо и заголосила.

Но голосить на бегу было трудно. Заколотилось сердце, стало жарко, слезы мешали видеть. И она остановилась. Кругом — полынь, лопухи, крапива, в крапиве — избенка без крыши. Из лопухов вылез кобель, черно-седой, сероусый, с гноящимися глазами, с обрубленным хвостом и обрубленными, в кровь разъеденными всякой мошкаррой ушами. Он поднял эти обрубки и глухо забрежал — каким-то особым, лесным брехом. Она стала и не двигалась с места, глохла от стука собственного сердца. Кобель поглядел на нее — и смолк, отвернулся. И долго оба стояли в нерешительности: он не знал, продолжать ли брехать, она — подходить ли?

— Егорушка! — слабо крикнула она.

Никто не отозвался. Кобель подумал и брехнул еще раз. Потом опустил свои обрубки — и голова его стала круглой, доброй, жалкой. Помахивая толстым, коротким хвостом, он подошел к Анисье, глянул в ее глаз. «Э, да и ты стара! — равнодушно сказал его взгляд. — Ну, нам с тобой делить нечего... А Егора нету...» И, отойдя, кобель рассеянно поднял заднюю ногу на куст мелких яркожелтых цветов и, не сделав ничего,

лег, раскрыл, по привычке, пасть и часто задышал, мотая головой, отбиваясь от липнущей к уху серо-лимонной мухи. И опять стало скучно, тихо и глухо кругом. Бежал по кустам шелковистый шум и шорох, однообразно и хрустально звенела в них овсянка, жалостно цокали и перелетали с места на место, с былинки на былинку серенькие чеканки, точно ища и все не находя чего-то. Караулка была необыкновенно мала и ветха; вместо крыши рос по ее потолку высокий бледно-серебристый бурьян... Шатаясь, плача, шурша по лопухам, Анисья подошла к дверке, пошарила по притолке, — нет ли ключа. Не нашла — и догадалась: отогнула дужку замка, — он, конечно, был не заперт, — и потянула за скобку, перешагнула высокий порог...

Есть — об этом даже думать не хотелось. Все плыло вокруг нее, смутно и горячо разговаривало. Через силу она осмотрелась все-таки — и убедилась, что нигде нет ни единой крохи хлеба. Потом, положив пук увядших цветов на кое-как сбитый из старой доски и свежих березовых колев столик, косо стоявший в углу на ухабистой синей земле, села на лавку возле столика и без движения просидела до самого вечера. Она тупо ждала чего-то — не то сына, не то смерти, — сонно глядела на гнилые стены, на полуразвалившуюся печку. Слабый свет проникал в окошечко над столиком. Дальше, где было другое, без рамы, заткнутое полушубком, клоками грязной овчины, сгущался сумрак. В сумраке прыгали по земле маленькие лягушки.

«Либо мне мерещится?» — подумала Анисья — и пригляделась: нет, не мерещится, самые настоящие лягушки...

Весь потолок прорастал грибами — часто висели они, — тонкие стеблем, как ниточки, вниз бархатистыми шляпками, — черными, траурными, коралловыми, — легкими, как тряпочки, обращавшимися в слизь при малейшем прикосновении. Разве поест? Нет, помрешь — и растащут тогда соседушки избу в Пажени по бревнышку... А больше есть нечего. Махоточка стояла на подоконнике, прикрытая дощечкой. Она подняла ее: в махоточке загудела большая страшная муха; поднесла дощечку к глазу, стала разглядывать: так и есть, образок. Греховодник Егор, за то-то и не дает ему бог счастья! Она перекрестилась, с трудом подняв руку, поцеловала дощечку и положила ее на столик; подумала, вспомнила, что умирает, — и еще раз перекрестилась, заставляя себя выразить во вздохе и особенно медленных, истовых движениях руки всю покорность свою богу, все свое благоговение перед славой и силой его, все надежды свои на его милосердие... На загнетке раскрытой печки, на куче золы лежала сковородка с присохшими к ней корочками яичницы: видно, Егор из птичьих яиц делал, — скорлупа-то

возле сковородки валялась пестрая. Анисья подумала: чем спасается, батюшка, вроде хорька живет! Все сильнее клонило в сон, в бред, бежала под ноги дорога вместе с тройками и горлинками... Анисья откидывала назад голову — и на минуту приходила в себя, прогоняла видения и ту тревожную зыбкость, в которую все глубже погружалась она. Ветер сонно и глухо шуршал вокруг стен, в крапиве, пронесся по бурьяну на потолке. В окошечко виднелись сонно качающиеся верхушки кустов — бледные на меловато-свинцовом фоне туч. Темнело, наступал вечер...

Она понимала, что заходит дождь, шумит ветер, доносит однообразно повышающийся и понижающийся звон кустовой овсянки: ти-ти-ти-ти-и... Где-то томно кричали молодые грачи: тоже к дождю, к вечеру... Но, все понимая, она спала, спала — и умирала, и воображение ее, чуждое ей, неудержимо работало. Ах, да ведь Егор идет на ярмарку, — надо догнать его! И она видела ярмарку. Там гомон, говор, скрип телег, ржание лошадей, народ валит валом — и все пьяный, страшный; бьет, гремит оркестрион на каруселях, кругом летят на деревянных конях девки в красных басках и ребята в канареечных рубашках — и от этого тошнит, мутит... Жарко, тяжело, а Мирон, молодой, веселый, со сдвинутой на затылок шапкой, продирается к ней через толпу, несет целый узел гостинцев — рожков, сусликов, жамок — и не дает ей дотопить бутылку квасу, только что откупоренную квасником, стариком, пахавшим пар; Мирон кричит: «запрягай скорей, надо Егорку догнать!..» Вот какой ты, Мирон, говорит она ему, никогда-то не жалел ты меня в молодости, а теперь вот и смерть пришла... в поле ветер, тучки, дождь мелкий, девки картошки копают, — нет, Миронушка, видно, надо лечь поскорей... Как лунатик, шатаясь, шепча, поднялась Анисья с лавки, вытянула из окошка полшубок, свернула, кинула на лавку, в изголовье... В тазу ныло и дрожало, сердце так замирало, что, казалось, поминутно виснет она в воздухе, что нет у нее ног, есть только туловище, как у того страшного солдата, что чернеет на избе в Пажени. Поспешно, стараясь не упасть, легла она и закрыла глаз. Лавка плавно полетела в пропасть...

Она спала, умирая во сне. Лицо ее, лицо мумии, было спокойное, бесстрастно. Прошел дождь, вечернее небо очистилось, в лесу, в полях все смолкло. Вечерний мотылек трепетно-беззвучно поплыл в воздухе. Стали видны в сумраке по земле только белые цветы. Сзади караулки мелким красивым узором чернó зеленели верхи кустарника — на оранжево-алой мути, переходившей выше в прозрачно-лимонную, легкую пустоту. Против караулки, на бесцветном, пепельном небе стояла пол-

ная, ясная, но не яркая луна, еще не дававшая света. И глядела она прямо в окошечко, возле которого лежал не то мертвый, не то еще живой первобытный человек. В другое, без стекла, без рамы, дул теплый ветер...

## II

Егор в детстве, в отрочестве был то ленив, то жив, то смешлив, то скучен — и всегда очень лжив, без всякой надобности. Раз он нарочно объелся белены — насилу молоком отпоили. Потом взял манеру болтать, что удавится. Старик-печник Маркар, злой, серьезный пьяница, при котором работал он, услышав однажды эту брехню, дал ему жестокою затрещину, и он опять, как ни в чем не бывало, кинулся месить ногами глину. Но через некоторое время стал болтать о том, что удавится, еще хвастливее. Ничуть не веря тому, что он давится, он однажды таки выполнил свое намерение: работали они в пустом барском доме, и вот, оставшись один в гулком большом зале с залитыми известкой полом и зеркалами, воровски оглянулся он, в одну минуту захлестнул ремень на отдушнике — и, закричав от страха, повесился. Вынули его из петли без чувств, привели в себя и так отмотали голову, что он ревел, захлебывался, как двухлетний. И с тех пор надолго забыл и думать о петле.

Он рос, входил в силу, становился мужиком, хворал, пьянствовал, работал, болтал, шатался по уезду, только изредка вспоминая о заброшенном дворе и о матери, которую почему-то называл своей обузой; жизнь, как ни бестолково мотал он ее, очень нравилась ему, и если находили на него минуты усталости, разбитости и той душевной мути, когда он говорил: «белый свет не мил мне!» — то ему и в голову не приходило, что есть тут связь с его мальчишеской болтовней о самоубийстве. И так он дожил до тридцати лет, до той зимы, когда ни с того ни с сего ушел он в Москву, связавшись нечаянно с отправлявшимися туда золотарями.

Из Москвы возвращался он пьяный и возбужденный. Чувствуя всю нелепость своей поездки и как бы приготавливаясь к тому отпору, который он даст всякому, кто будет называть его золотарем, он до копейки пропился в дороге, вылезая на каждой станции и нахально проталкиваясь в толпе к буфету. И вот тут-то, сидя в мотающемся, мутном от дыма вагоне, он, чуть ли не впервые после истории в пустом барском доме, стал опять болтать то, что болтал когда-то, стал доказывать соседям по лавке, мужикам-пильщикам, что он должен удавиться. И опять никто не дал веры его словам, и опять, проспавшись, забыл он о своей болтовне.

Дома, в родных местах, после Москвы, после той непривычной жизни, которой жил он там, после пьянства и возбуждения в дороге, все показалось ему так буднично, что у него даже пропала охота отбрехиваться от насмешливых распросов, зачем это путешествовал он в Москву. Вид своего разрушающегося двора, вид сильно изменившейся, высохшей и странно тихой, слегка шальной матери, не произвел на него никакого впечатления. Нехотя прожив дома трое суток, пошел он в Гурьево, на барский двор,— проситься в караульщики в Ланское. Был солнечный мартовский день, дорога сперва таяла, потом,— когда солнице склонилось на безоблачном небе к закату и золотой слюдой заблестели под ним снежные поля, а к юго-востоку позеленела легкая и прозрачная даль,— стала дорога подмерзать, приятно хрустеть под лаптями и приятно, покойно, в лад с этим долгим, ясным и покойным днем, чувствовал себя и Егор. Он поднялся на изрезанную ледяными колеями блестящую гору в селе, вошел на барский двор. Солнце мирно, уже по-весеннему, догорало против него, за рекою; по-весеннему возились и трещали воробьи в золотисто-зелено-серых прутьях, в кустах сирени возле барского дома, четко рисовавшегося белозной стен и бурой железной крышей на зеленоватом небе. На крыльце стояла горничная и вытряхивала самовар. Господ дома нету, сказала она, в город уехали; не то приедут нынче к вечеру, не то нет... И Егор как-то сразу увял, почувствовал тоску; постоял среди розовеющего двора в нерешительности и побрел в людскую. В людской крепко пахло кислыми щами; на лавке возле стола сидел работник Герасим, черный грубый мужик, прикреплял кнут к кнутовищу и бранился с своей женой, Марьей, примостившейся на нарах возле печки, с ребенком на руках. Егор вошел, тряхнул головой и сел. На поклон ему ответили, но браниться не бросили. Ребенок драл ручонками кофту матери, ища грудь; Марья, маленькая, смуглая, не спуская блестящих глаз с мужа и не замечая попыток ребенка, говорила, и Егор скоро понял, что брань началась из-за бритвы, принадлежащей брату Марьи, из-за того, что Герасим кому-то дал эту бритву.

— Свою прежде наживи,— говорила Марья, блестя злыми глазами.— Тогда и давай, когда наживешь. Побирушка чорт!

— Я с тобой никаких делов иметь не хочу и разговаривать не стану,— твердо и размеренно отвечал Герасим, раздувая ноздри.— Скандалу не смей затевать: у людей праздник завтра.

— Рот ты мне не смеешь зажимать,— говорила Марья со смелостью человека, сознающего свою правоту.

— Молчи лучше,— отвечал Герасим, стараясь удержаться на твердом тоне.

— Не форси, авось, тебя не боятся!

— Погоди, девка, побоишься! Авось, заступников-то немало!

— Что ж, поплачу да спрячу. Пешего сокола и галки дерут. Не новость...

Егор, привыкший шататься по чужим избам и жить чужими жизнями, любивший скандалы, любивший слушать брань, сначала заинтересовался и этой бранью. Но вдруг и от брани стало нудно ему...

— Что-й-то Москва-то скоро прискучила! — сказала Марья, напоминая мужу его поездку в Москву, поездку, столь же нелепую, как и поездка Егора, хотя и не столь позорную, так как Герасим ездил искать места на конке. — Что-й-то скоро заявился! Видно, вас таких-то не мало там околачивается!

— Ты лучше, сука, за своим делом смотри, — ответил Герасим. — Ты вон какой кулеш-то сварнакала к обеду нонче? Свиным, что ль, месила? Так ведь тут не свиньи обжорные!

— За мной гаять нечего, — отозвалась Марья. — Ты лучше за своей Гашкой, за своими шкурами, любовницами гляди.

Егор хотел солгать, какая редкая и дорогая была у него бритва, — и поленился, промолчал. Он поднялся с места и подумал: «А бесприменно удавлюсь я! Ну их всех... куда пода-ле!» Он медленно подошел к Герасиму, закуривавшему цыгарку, потянулся к нему с трубкой. Но, глядя на него, тот подал почти догоревшую спичку. Егор, обжигая пальцы, закурил и стал у двери.

— Гашка-то, небось, чуточку поболе твоего работает! — говорил Герасим, не зная, что сказать.

— Авось, и мне за тобой, за чортом, не сладко, — отвечала Марья. — Десять лет ворочаю!

— А-а! Ишь, актриса какая!

— Одних картох по три чугуна трескаете! Весь живот на чугунах сорвала...

Егор не дослушал и вышел.

Весну и начало лета он провел в Ланском. Определенность положения сперва радовала его. Вечно думать о том, будет ли заработок, вечно шататься, искать этого заработка и, как-никак, гнуть хрип — это уже порядочно надоело. А тут работы никакой, спи сколько угодно, жалованье и отвесное идут да идут... Но и дни шли — и все больше становились похожи друг на друга, делались все длиннее да длиннее; нужно было убивать их, а в лесу, в одиночестве как их убьешь? И, ссылаясь на то, что у него на плечах мать-старуха, больная и голодная, Егор повадился на барский двор выпрашивать жалованье и отвесное вперед, а выпросив, пропивать и то и другое с прия-



телем, гурьевским кузнецом. Он чувствовал теперь нечто вроде того, что чувствовала последнее время Анисья: зыбкость во всем теле, неопределенную тревогу и особенную беспорядочность в мыслях. В сумерки он стал плохо видеть, стал бояться приближения сумерок — было жутко в этом молчаливом кустарнике: всюду, где реял вечерний сумрак, представлялся еле видный, неуловимый в очертаниях, но оттого еще более страшный, большой сероватый чорт. И чорт этот не спускал с Егора глаз, поворачивал за Егором голову, куда бы ни шел Егор. И так как казалось, что это он, чорт, заставлял вспоминать о петле, о перемете, о толстых сучьях старой березы в пшенице, то стала страшна и давнишняя, прежде бывшая такой простой, мысль о петле. И Егор совсем забросил лес — стал и днествовать и ночевать в Гурьеве. На людях, даже тогда, когда он только что выходил из этих глухих степных мест, буйных хлебов и кустарника на дорогу в село, сразу становилось легче.

Вот и в тот день, когда шла в Ланское Анисья, побрел Егор в Гурьево. От ягод сильно знобило по вечерам, он знал это. Но есть хотелось — и, выйдя из избы, он долго лазил на коленях по кустам, по цветам и травам, долго ел землянику и клубнику, иногда очень спелую, иногда совсем зеленую, твердую... Потом не спеша пошел в село.

«Главная вещь — хлебушка надо разжиться», — думал он, выходя из леса за час до того, как прийти туда Анисье.

Где он будет разживаться, он не знал, да мало и надеялся на разживу. Но ведь надо же было оправдать свой уход из леса. И впрямь, плохи были его дела насчет хлебушка. «Ну, да плохи не плохи, авось, не первая волку зима!» — говорил он себе, разлато ступая по дороге лаптями, сося трубку, кашляя и глядя вдаль запухшими, блестящими глазами.

Гурьево село большое, старинное, с просторными выгонами, с двумя мельницами, — водяной и ветрянкой, — стоит на реке, тонет в целых рощах лозняка, осинника, и грачей в этих рощах — несметные тысячи. «Такого села, — говорил Егор, — ни в одной Америке не найдешь!» Перед вечером, когда он подходил к селу, над селом прошумел не долгий, но сильный ливень, как видно, не первый за день. Ярко чернели дороги среди зеленой муравы по выгону, на котором слева, возле барской усадьбы, стояла старая церковь, обитая жостью, возле церкви — новое кирпичное училище, посредине — мирской хлебный амбар, гамазей, а справа — тяжкий ветряк и уютный двор мельника. Дул ветер, но крылья ветряка неподвижно простирались в облачном небе. Всегда серые, они были теперь темны, сыры. С крыши гамазея падали капли; мальчишки, что сте-

регли лошадей по зеленой мураве, сидели под гамазеем в мокрых зипунах.

«Чудеса,— думал Егор, направляясь к ветряку и обходя, как всегда, то, что случайно попадет в голову.— Бесперечь тут дождь. Место привольное, для огородов, к примеру сказать,— клад чистый...»

Еще рано было, а уже гнали разбегающееся по выгону пестрое стадо. Предвечернее солнце проглянуло на минуту далеко за селом, за речной долиной, как раз против училища, блеснуло на новой, похожей на цинковую, крыше его, на золоченом кресте церкви, сделало стадо еще пестрее и опять потухло, скрылось в облаках. Церковь в Гурьеве грубая, скучная, какая-то чуждая всему, училище имеет вид волостного правления, ветряк неуклюж, тяжел, работает редко. Буднично шумели, гамели без толку грачи в лозняке по речке. Бежало, ревели и бляло стадо, перекрикиваясь, гонялись за овцами бабы с накинутыми на голову подолами... Там, в Ланском, в караулке без крыши, среди глухого кустарника, цветов и бурьяна, умирала замотавшаяся до последнего, смиренная мать Егора. А он стоял зачем-то среди выгона в Гурьеве, думал, что попало, ждал зачем-то, пока прогонят стадо. Стадо прогнали — и он долго глядел на двух спутанных мокрых лошадей, щипавших траву и тяжело перепрыгивавших с места на место спутанными передними ногами. Передвигая трубку из угла в угол рта, тяжело дыша, кашляя и сплевывая, он рассеянно водил глазами по выгону, мысленно ругал дураком церковного старосту, обившего старую каменную церковь жестью, глядел на гамазей: Прижавшись к стене гамазея, сидели на большом белом камне мальчишки в мокрых, рваных зипунах. Возле них стоял жеребенок-третьяк. На него капало с крыши: сверху он был темный, снизу светлорыжий, сухой... Егор невесело усмехнулся и, скользя, разъезжаясь по грязи лаптями, побрел к избе мельника.

Как всегда, хозяева не обратили на Егора никакого внимания. И, как всегда, это нисколько не смутило его. Он перешагнул порог избы, тряхнул, в знак приветия, головой, своим гимназическим картузом, плоско лежавшим на белых кудлях, и сел на нары, стал насыпать трубку едкой махорочной пылью, вывертывая истертый кисет. Старик-мельник гнулся на лавке возле стола, тупо, упершись ладонями в лавку, глядел на руки своей молодой, беременной бабы, Алены, просеивавшей над столом муку. Алена слывет в Гурьеве красавицей за свою крепость и белое коровье лицо. А сам мельник мал и лыс, головаст, безобразен. Он богат, а полушубок на нем рваный, засаленный, темный, — резко выделяется новый оранжевый рукав этого полушубка. Нос у него похож на мухомор, огромные откры-

тые ноздри стали от нюхательного табаку темнозелеными и бархатными. Глядя на муку, серой пылью сыплющуюся из-под решета, он равнодушно спросил Егора:

— Что, ай соскучился в лесу-то?

— Что ж мне скучать,— не спеша ответил Егор.— Дело есть в селе...

И, сошмыгнув с нар, подошел к загнетке, открыл заслонку и по пояс залез в темную жаркую глубь печки.

— Нуждишка есть,— глухо крикнул он оттуда, вытаскивая своими култышками раскаленный уголь из золы и забивая его в трубку.

Алена, подсевая, ловко хлопая решетом в ладони и тряся широким задом, через плечо покосилась на Егора. «Всю печку выстудит, родимец!» — подумала она. Но Егор, хорошо знавший такие думы, принял, выбравшись из печки, самый беззаботный вид. И, затягиваясь, растравляя себе ноздри едким запахом и жаром горящего осинового угля и с мучительным наслаждением кашляя, опять спокойно уселся на нарах. «Ай уйтить? — думал он рассеянно. — Да чорт с ними, посижу еще маленько... Жрут, жрут, по два раза на неделю хлебы ставят и все не облопаются», — рассеянно думал он, глядя то на хлебную дежу возле печки, прикрытую старым армяком, то на желтоватую атласную муку, что длинной горкой, вроде крышки гроба, росла на столе, то на Алену. Толстые руки ее, засученные по локоть, были запорошены мукою; на пальцах блестя медные и серебряные кольца. Подол шерстяной красной юбки Алена подняла и заткнула за пояс, толстые ноги в мужицких сапогах, черневших под серой рубахой, поставила твердо и, немного отвалиясь назад, выставляя свой страшный живот, мерно трясла задом.

— Хлебушка я не наживусь у тебя полкраюшечки? — спросил Егор, сплевывая слюну, постоянно набегавшую на его белые от голода и трубки губы.

Алена промолчала. Анютка, ее девочка с лихорадкой на губах и веером подстриженными на лбу жесткими волосами, все лезла, наваливаясь на стол, пальчиком проводя в муке полоски. Промолчав на вопрос Егора, Алена вдруг звонко шелкнула девочку в лоб ладонью. Девочка отвалилась, шлепнулась на лавку и заголосила.

— Сказала, ня налягай на муку! — крикнула Алена своим грубым однодворческим голосом.

— А вот я ее ножиком сейчас зарезу,— сказал, входя в избу, Салтык, молодой работник, в овчинной куртке и белом фартуке, только что приехавший с поля, где он подкашивал опушку обитого градом овса.

И стал вешать на стену, на деревянный костыль, вбитый

между бревнами, тяжелый новый хомут с белыми гужами и недоуздок, на блестящих удилах которого зеленела наеденная лошадей травяная пена.

Вид у Салтыка, недавно отбившего солдатчину, был самодовольный, лицо, в полубачках, загорелое, приятное, грудь широкая, солдатский картуз сдвинут на затылок. На груди фартука были крупно вышиты красные буквы. И Егор, которому Салтык только кивнул слегка, подумал:

«Верно, Аленька и вышивала. Да и девчонка, конечно, его. Недаром же болтали, что он ее еще до солдатчины управился обдергать. Дурак мельник! Я бы с ней шкуру спустил да на пяло растянул!»

Он, сипя, носил грудью, показывая в прореху обитого ворота бурую полоску загара на мертвенно-бледном теле. Бледно было и отекавшее лицо его. Он был тяжело болен, но чувствовать себя больным давно вошло в привычку, он не обращал на это ни малейшего внимания. Нисколько не обижало его и то, что на него, больного, голодного, даже и посмотреть внимательно никто не хочет. Не испытывал он и злобы к Алёне, когда думал: «я бы ее шкуру на пяло растянул»,— хотя растянуть мог бы. Но глухое раздражение не только против этого богатого и скучного двора, но и против всех гурьевцев все-таки сидело в нем, томило и заставляло думать что-то такое, что не поддавалось работе ума, досадно вертелось в голове, как стертая гайка. Он уже давно освоился с тем, что часто шли в нем сразу два ряда чувств и мыслей: один обыденный, простой, а другой — тревожный, болезненный. Спокойно, даже самодовольно думая о том, что попадет на глаза, что случайно взбредет на ум, часто томился он в это же самое время и тщетным желанием обдумать что-то другое. Он завидовал порой собакам, птицам, курам: они, небось, никогда ничего не думают! Теперь ему и хотелось и не хотелось сидеть у мельника. Да что делать-то, если не сидеть, куда идти? В лес, в кустарник, в сумерки, где всюду мерещится этот серый чорт?

Алена зажгла над столом висячую лампочку, загоревшуюся бледнозеленым огнем: еще светло было за окнами. Салтык не спеша достал из кармана порток плюсовый кисет, не спеша свернул и загнул крючок, икнул и, пропустив в стекло лампочки соломину, закурил, сел на лавку.

— Подсевай, подсевай,— кинул он Алёне, затягиваясь.— Что-й-то пирожка хочется.

— А рожна ня хочется? — спросила Алёна, говоря с Салтыком тем особым, как будто грубым тоном, каким говорят при народе только с любовниками.

— Их, пироги-то, надо с умом печь,— сказал Салтык, далеко сплевывая.— Надо тебе каталог выписать. Когда я в Тиф-

лисе служил, так там хозяйкина дочь завсегда выписывала каталог, по какому все можно приготовить. Вот и ты — пошли в Москву письмо, вложи в него марку семь копеек и напиши: так, мол, и так, вышлите мне всех возможных каталогов.

— И то правда,— отозвался старик.— Ты, известно, все знаешь: где какие жители, где какие города...

Егор покосился и подумал: «Какие города! Много он, дурак, знает, окромя своего Тифлису! Вот я бы ему порассказал...» Ему очень захотелось спора, в котором он вышел бы и умнее, и толковее, и бывалее Салтыка. Но намерение попросить хлеба и еще что-то, чего он не мог определить, связывало его, всегда смелого и болтливого, ставило втупик — и перед кем же! — перед мужиками, которых он даже и сравнивать никогда не хотел с печниками, плотниками, малярами! Он только независимо откашлялся и, насасывая потухшую трубку, притворяясь рассеянным, стал слушать: что-то еще сбредет Салтык?

— Как же мне не знать! — сказал Салтык.— Да я не то что, я, как осень, беспременно опять туда! Там сейчас самая колбня идет,— сказал он, мельком взглянув на Алену и усмехнувшись.— Да ей-богу: веселье, гулянье — каждый божий день, с восьми утра до двух ночи. Особливо в курсовых, в Пятигорске, в Кисловодске, в Висинтуках...

— Значит, скучать не имеют права,— вставил старик и достал из кармана полшубка тавлинку.

— Ну, только там с деньгами хорошо,— продолжал Салтык, не слушая старика.— Без денег туда лучше и не показывайся. Там только вино ничего не стоит. Там каждый грузин аграмадный виноградник имеет. Везут на базар в бочках — так и плескается.

— Имеют капитал добывать его, вот и плескается,— сказал Егор.— Авось, и это дело знаем не хуже твоего,— пробормотал он, чувствуя, что его опять начинает ломать, знобить, и неотступно думая о полшубке, которым он совершенно напрасно заткнул окно в караулке вместо того, чтобы надеть его, догадаться, что к вечеру после дождя будет прохладно.

Но Салтык не обратил внимания и на это замечание.

— Там, брат,— говорил он, неизвестно к кому обращаясь,— какие бульвары, сады! Сад князя Чалыкова на три кавадратных версты тянется! Только из одного плохо: там, ночь пришла, без бурки ни шагу: стыдь. А в горах завсегда снег, круглый год не переводится...

«Дурак! — подумал Егор.— Без бурки! А спроси его, какая такая бурка — ни елды, кислая шерсть, не знает...» Бурка,

она, брат, медвежья, иде ты мог ее заметить? — неожиданно для самого себя сказал он вслух.

И закрыл глаза. «Скука теперь в моем блиндаже... И напрасно, едрена мать, не взял я полушубка!» — подумал он, глядя на зеленый огонь лампочки, на лиловеющий воздух за окнами, в которые сек опять набежавший дождь, и вспоминая однообразный звон кустовых овсянок, жалостное цоканье чеканок.

— По горам там везде стёжки проделаны, — говорил Салтык. — Черкес какой-нибудь разнесется... летит, скачет — как только голова цела! А глянешь на горы издали — как тучи заходят. Опять же из девок не плохо. Там к девкам пойтить — по таксе, за всход тридцать копеек. Ты вот старый человек, а она тебя может важная раскипятить.

— Нет, теперь не гожусь, — отвечал старик, двигая плечами, почесывая их ерзающим полушубком. — А раньше я, правда, до девок враг был! Мог с ними хорошо обойтись.

Егор ухмыльнулся и хотел было рассказать, как один печник бобровым стручем опоил, отуманил, обольстил генеральскую дочь, — рассказать и дать понять, что печник этот был не кто иной, как он сам. Но перебила Алена.

— Будя, бряхучий! — крикнула она тем притворно-злым тоном, которым здоровые бабы, имеющие старого мужа, прикрывают свою любовь к шекотливым разговорам. — Будя, бьястыжий! Старый человек, а шо бреша! Табе вон на кладбишшу поместье давно готова! Двух жен похоронил!

— А я что? — сказал Шмарок. — Я ничего.

— Народ там красивый, не унижённый, — продолжал Салтык. — Есть старики по сту лет живут...

Егор и на это хотел возразить: живут-то живут, а на кой чорт, спрашивается? Но опять его перебили.

— Ну, об этом ты оставь! — сказал старик. — Взять хоть к примеру меня такого-то: живу я семьдесят годов, шашнацать человек своей крови похоронил, а прожил бы до ста лет, от меня опять пошли бы плоды... Где ж тогда жить? И то народу развелось до гибели, а тогда прямо ели бы друг друга, как рыба в море. Вот приходил ко мне старик с того боку — сто пять, говорит. А уронил шапку — поднять не может.

— Это барский-то? Какой табе! — весело крикнула Алена. — За водой еще сам ездит! Скоропостижной дед!

— Не хуже моей старухи, — сказал Егор. — Животолубивая старуха! А я ее корми, журишь об ней...

— А вот говорят же умные люди, — сказал старик, — можно, говорят, век прожить, а как уmrеть, не будешь причинен ни тлению, ни прению. Только, говорят, не надо разгорячительной пищи есть. Я когда у господ жил, так там барчук был,

на доктора учился. Был он мне дорогой приятель и, бывало, часто сказывал, будто каждый человек может свое тело захолодить, и, как помрет, тело тлеть не будет, а будет в воздух улетучиваться.

— Ну, это зря брешут,— возразил Салтык.

— Книги, значит, доказывают.

— Книги! — ухмыльнулся Салтык.— Ни ж можно с холодной кровью жить?

Егор, обиженный равнодушием, каким встречено было его замечание о матери, опять вмешался и на этот раз уже совсем смело.

— А рыба? — спросил он.— Может же она с холодной кровью жить и расплываться?

Салтык повернул к нему голову.

— Та-ак! — сказал он насмешливо.

И вдруг решительно заговорил:

— Рыба! Да ты погляди, как она, рыба-то, ныряет, козлекает в воде! Ухитришься ты так-то? Ты вон мелешь — она с холодной кровью, а выложи ее на берег: улетучится она ай нет? Никуды она не может улетучиться!

Егор внезапно разгорячился.

— А я так скажу,— крикнул он,— а я тебе скажу, что нашему брату, рабочему человеку, нельзя без горячей пищи! Ты вон мурло наел, тебе хорошо брехать! А я без пищи захворать могу! Я, может, кабы сыт-то был...

— Ну, и вышли оба дураки! — закричал и старик, поднимаясь.— Терпенья у нас не хватает, вот и не можем захолодить! А вы гляньте, как святые-то, угодники-то, какие богу-то угожали да не ели, не пили, как они-то делали? Как Ларивон-то святой делал? Мог же он три года одной редькой питаться?

— Значит, по-твоему выходит, и моя старуха святая будет? — крикнул и Егор, выхватывая трубку изо рта.— Она вон тоже не ест, не пьет... У нас вон даже и редьки твоей нету...

— Пойдите,— сказал Салтык,— погодите лапоть-то!

И, обернувшись к старику, неожиданно принял сторону Егора:

— Значит, и мы с тобой могли бы святыми исделаться? Охолодили бы свое тело, налопались редьки, да и вся недолга?

— Да будя вам брехать-то! — громче всех закричала Алена, бросая решето.— Гáлманы!

— Да и правда! — подхватил старик.— Бога-то попомните! Он, брат, за такая речи не спускает нам, дуракам!

Алена с нахмуренным лицом подошла к нарам и, косясь на утирку, на которой сидел Егор, дернула ее и злобно крикнула:

— Пусти-ка-ся! Уселся на ширинку — и горя мало! Нябось, и домой пора, нечего до ужина досиживать!

— Это не твоя забота,— возразил Егор,— я и сам свою время знаю. Ужин твой мне без надобности, а балакать ты мне не можешь запретить. Вот посижу еще маленько и пойду...

Дождь прошел, вечернее небо очистилось, в селе было тихо, избы темны: до Ильина дня не вздувают огня летом, ужинают перед избами, на камнях, в полусвете зари. Выйдя от мельника, Егор остановился, даже спросил себя: не вернуться ли в Ланское? — и повернул в село, в ту большую улицу, что тянется между дворами по косогору над речкой. В полусвете зари, вокруг камней у порогов сидел народ без шапок, хлеба из деревянных чашек кто тюрю, кто молоко. Но Егор, проходя мимо и косясь, плохо различал лица ужинающих: в глазах рябило, по телу проходил озноб, в мыслях была тревожная беспорядочность. Очень хотелось ему обдумать то, о чем спорили у мельника: все чепуху говорили там, один он мог бы сказать что-нибудь путное, если бы ему не мешали разобраться в мыслях. Очень хотелось решить и еще что-то — неотложное, самое что ни на есть главное... Но что? Голова его усиленно работала. Тифлис мешался в голове с рыбой, Салтык с Анисьей, вопрос о том, можно ли ничего не есть и заохолодить свое тело, нельзя было решить потому, что не давала покоя злоба против Алены, ее широкого зада и однодворческого говора. И Егор торопливо шел по улице, боясь, что не застанет кузнеца дома, что кузнец ляжет спать, что опять не удастся ни поговорить всласть, ни доказать, что у мельника все чепуху говорили... Но кузнец был дома.

Кузнец был горький пьяница и тоже полагал, что умней его во всем селе нет, что и пьет-то он по причине своего ума. Разве ему кузнецом бы быть! Он всю жизнь не мог примириться со своей долей, люто презирал село и холодно-зол бывал в трезвом виде, свиреп становился, если ему удавалось попить дня три-четыре подряд. Он ходил тогда с колесным ключом в руке, затевал скандалы с каждым встречным, гоготал под окном лавочника, певшего по праздникам в церкви, вызывая его на состязание в пении. А не то шел в училище экзаменовать мальчишек по закону божию и грозил учительнице на месте убить ее ключом за единую ошибку. С похмелья он бывал угнетен. В таком положении и застал его Егор.

Он сидел возле кузни, на косогоре над речкой, над плесом, против водяной мельницы. Слабо алел закат за нею, там, где сходилась с темной землей прозрачно-зеленоватый небосклон. Еще светло было над плесом, сталью лежавшим по лугу. Но тот берег, где мельница, был уже совсем темен: только по



отражениям в плесе можно было догадаться, что там деревья. И, сидя возле кузни, поставив локти на колени, думал кузнец о том, как глупы были наши генералы во время войны с японцами. Вот, например, в такой вечер... что стоило японцам вплотную подойти к нашим войскам? Небось, генералы-то наши, умники-то эти, глядели в свои подзорные трубы за речку, на берег, в темноту, где ничего не видно, когда надо было глядеть вовсе не туда, а в реку, где отражается каждое дерево и все светлые пролеты между деревьями... Мысль эту кузнец немедля высказал Егору, как только тот подошел и сел на косогор рядом с ним. А Егор, обрадовавшись, что у кузнеца есть табак, что кузнец с похмелья и думает, значит, вовсе не о генералах, поглядывал по сторонам, кашлял и ждал, когда наконец додумает кузнец свою думу. Как и у Егора, мертвенно было тело у кузнеца, рубаху которого все заворачивал сзади ветер, рубаху ситцевую, но очень ветхую, прожженную, в мелких дырочках. Был и кузнец лохмат, но не так, как Егор, а так, как бывают лохматы мастеровые, рабочие. Страшно черны и маслянисты были его волосы, его борода, смугло и маслянисто лицо, болезненно перекошены брови и блестящи глаза. Дул ветерок, темневшая река рябилась; кузнеца трясло. Но вдруг он встал и, наступая сапогом на сапог, начал быстро разуваться, раздеваться.

— Ай ты очумел? — крикнул Егор, со страхом глядя на тощее меловое тело, забелевшее в полусвете зари, когда кузнец, взъерошив волосы, сдернул с себя рубаху. — Ай ты очумел? Да у тебя сердце зайдет в воде в этакую стыдь!

— Она! — крикнул кузнец хриплым басом.

И вдруг загоготал, скинув штаны вместе с подштанниками и разбегаюсь, чтобы шаркнуть в воду:

— Бла-го-сло-ви, вла-ды-ко-о!

Он хорошо знал, что ледяная вода мгновенно даст ему решительность, находчивость. В воде, и впрямь, зашло у него сердце, но он не дал ему поблажки: он фыркал, нырял, плавал... Не попадая зуб на зуб, выскочил он на берег, неловко и торопливо натянул штаны на мокрое тело, влез в рубаху и, влезая, твердо сказал Егору, что околевать он не намерен, что его душа дороже колес. А каких колес — этого Егору не надо было пояснять: он мгновенно сообразил, что лежат у кузнеца чьи-то колеса, присланные в починку, и что надо как ни можно скорее захватить передки и бежать к мельнику, тайком торгующему водкой, чтобы заложить их ему. И не прошло и получаса, как уже сидел Егор с кузнецом в кузне, возле маленькой жестяной лампочки, поставленной на горн, рядом с бутылкой и горшочком холодной пшенной каши, за оживленной беседой о том, можно ли, питаюсь одной редькой, попасть во

святые, можно ли заохолдить свое тело, чтобы не тлело оно после смерти...

А во втором часу ночи, при заходящем за тускло блестящими хлебами месяце, Егор, шатаясь и размахивая руками, быстро входил в Ланское. Точно упругие волны несли теперь его тело. Роса серебрилась по мокрым, пахучим, густым цветам и травам. Сильней всего пахло любимым растением Егора — полынью. Длинно темнели тени от кустарников, блестевших верхушками под опускающимся к югу месяцем. И полосы света и теней среди них создавали что-то сказочное для пьяных глаз, сказочно-светла была далекая даль за кустарниками, за полями, над которыми уже дрожала в серебристой прозрачности большая розово-золотая звезда. Шурша по росистым лопухам и напевая, смело подошел Егор к двери, дернул за скобку — и остановился на пороге своей крохотной, чуть светлой избы. Мертвое молчание стыло во всем мире в этот предрассветный час. Мертвое молчание наполняло и караулку. И в этом молчании, в сонном полусвете, недвижно чернело что-то на лавке под святыми. И, приглядевшись, Егор вдруг закричал таким страшным сиплым голосом, что с шумом выскочила из лопухов старая черно-седая собака...

### III

Гурьев подарил на похороны красную бумажку. Все было справлено честь честью — хоть бы и не Анисье впору.

Медленно, с большими промежутками, зачинаясь звонко, жалобно, но все строже, падали звуки с колокольни. Падение это внезапно, нестройно обрывалось терцией баса и альты. И наступало долгое молчание: слышалось только, — из-за ракит по дороге в Ланское, — протяжное, все приближающееся церковное пение: на дороге встретили поп и дьякон телегу, в которой везли Анисью из Ланского. Со двора усадьбы и по улице над косогором бежали на выгон бабы. С ребенком на руках, спотыкаясь, спешила Марья. Стояли на пороге мельник без шапки и мельничиха. Дул западный ветер, а из-за речки опять заходила, опять тускло синела дождевая туча.

Слегка поката дорога между ракитами на въезде в Гурьево. И небольшая толпа, предводительствуемая кузнецом в черной тяжелой поддевке, который нес на голове длинную крышку гроба и на ходу мрачно пел, издали казалась высокой, вырисовываясь на облачном небе. Белел коленкор, что накинут был на крышку, и развевался по ветру. Шли с ноги на ногу, но уже можно было различить, что эти темные фигуры со спутанными от ветра волосами тащат на полотенцах длинный ящик, черный с оранжевым ободком по краям. Внушительно раздавались

голоса попа и дьякона. Как всегда, медлили в пути, останавливались, махали кадилом и, пугая самих себя словами, повторяли одно и то же — то зловеще, то с покорностью. Все делалось так, чтобы выходило торжественно и грозно. А та, для кого это делалось, и теперь была так же смиренна, проста, как и при жизни. Темна и суха была она; маленькой стала ее высохшая головка, покрытая новым черным платочком. На груди ее желтел деревянный образок. Парча покрывала до половины мелкий черный ящик, где она покоилась, — парча, знак царственности. И парча эта была так ветха, так грязна и дырява: боже, скольких уже покрыла она! Дьякон гурьевский, серо-седой человек, тревожно думающий лишь о пасеке своей, всем своим гнутым станом и коротким, но широким лицом похож на зверя. Желтоволоосый поп, слабосильный, слабовольный, всегда выпивши, шепелявит. Ризы, епитрахили их так истрепаны, что серебряное шитье, подола, калоши — все в полном соответствии с грязными или пыльными дорогами, с телегами и мелкой, навозной соломой в телегах.

И на выгоне, где паслось барское стадо, поп не выдержал торжественности: начал спешить, бормотать, поглядывать на барского быка: бык этот брухается, закатал недавно пастушонка. Поглядывал поп и на сторожку у церковной ограды: на крыльце сторожки стояла плетушка, обвязанная скатертью, а в плетушке той были «поповские харчи»: ситные пироги, жареная курица, бутылка водки — то, что полагается причту за похороны, помимо денег. И торопливо провел поп теснившуюся толпу в церковные ворота. Ветер развевал тонкие русые волосы, шей несущих гроб были красны, натерты полотенцами, лица озабочены. Больше же всех старался казаться озабоченным Егор, шедший с полотенцем через плечо в возглавии гроба.

А в церкви все немного оробели. Притихли — и слышалось только шарканье, топот: осторожно опускали гроб на пол. Высвобождая из-под рясы мягкие, трясущиеся, маленькие руки, роздал поп короткие, тонкие свечи, дробя ярко и золотисто пылающий пук их. И, раздав, громко и привычно возгласил. И замелькали сложенные в щепотки пальцы, кланяющиеся и встряхивающиеся головы. Крепко крестились старухи, воздевая глаза к иконостасу. Блестали рассеянные по толпе огоньки, возносилось, гремело кадило. Кадили, обходя большими шагами гроб, кланялись Анисье, быстро говорили на торжественном языке, давно забытом ее нищей родиной, нестройно и притворно-смиренно пели, выражая умиление, что равна теперь она царям и владыкам, выражая надежду, что упокоится она со духи праведных. Но уже не слыхала Анисья этих утешений. Ни кровинки не было в ее голубоватом лице. Закрылось лиловое

веко ее правого глаза, запеклись, слиплись и подсохли тонкие губы. И ледяной лоб ее уже был увенчан венцом высшей славы — золоченой бумажкой. И в сизо-восковой, прозрачной руке ее, в скрюченных пальцах, под ногтями которых точками темнела мертвая кровь, уже торчал Отпуск...

Егор, глядя в гроб, крестился размашисто и часто. Он играл ту роль, что полагалась ему у гроба матери. Он моргал, будто готовый заплакать, кланялся низко, наклоняя капающую свечку, крепко зажатую в его култышке. Но далеко были его мысли и, как всегда, в два ряда шли они. Смутно думал он о том, что вот жизнь его переломилась — началась какая-то иная, теперь уже совсем свободная. Думал и о том, как будет он обедать на могиле — не спеша и с толком...

Так и сделал он, засыпав мать землю: ел и пил до отвалу. А под вечер, тут же, у могилы, плясал, всем на потеху, — нелепо вывертывал лапти, бросал картуз наземь и хихикал, ломал дурака; напился так жестоко, что чуть не скончался. Пил он и на другой день и на третий... Потом снова наступили в жизни его будни.

Эти будни были уже не те, что прежде. Постарел он и поддался — в один месяц. И много помогло тому чувство какой-то странной свободы и одиночества, вошедшее в него после смерти матери. Пока жива была она, моложе казался он сам себе, чем-то еще связан был, кого-то имел за спиной. Умерла мать — он из сына Анисьи стал просто Егором. И земля — вся земля — как будто опустела. И без слов сказал ему кто-то: ну, так как же, а?

Он не думал об этом вопросе, — только чувствовал его. И ничего особенного не заметили на лице его те мальчишки из Пажени, с которыми ночевал он в ночном под четвертый день августа, верстах в трех от Пажени, у откоса железной дороги. Он только внезапно проснулся на рассвете и вдруг сел, поблдевав.

— Что ты, дядя Егор? — испуганно крикнул мальчишка, лежавший с ним рядом.

Егор, бледный, слабо улыбнулся.

— Так... что-й-то померещилось, — пробормотал он.

И опять прилег.

Было еще рано. Шел туманный, предосенний дождь над опустевшими полями. Егор лежал, прикрывшись полушубком, курил и, кашляя, медленно рассказывал проснувшимся мальчишкам, как он, не боясь никаких судов, бросил свое место, ушел из Ланского. Рассказывая, он к каждому слову прибавлял матерное слово. А рассказав, стал прислушиваться к приближающемуся шуму товарного поезда. Шум рос и близился все грознее и поспешней. Егор спокойно слушал. И вдруг со-

рвался с места, вскочил наверх, по откосу, вскинув рваный полушубок на голову, и плечом метнулся под громаду паровоза. Паровоз толкнул его легонько в щеку. И Егор волчком перевернулся, головой полетел на насыпь, а ногами на рельсы. И, когда потрясши землю, оглушая, пронесся поезд, увидели мальчишки, что барахтается, бьется рядом с рельсами что-то ужасающее. В песке билось то, что было за мгновение перед тем Егором, билось, поливая песок кровью, вскидывая кверху два толстых обрубка — две ноги, ужасающих своей короткостью. Две других ноги, опутанных окровавленными онучами, в лаптях, лежали на шпалах. А по пустому, осеннему полю, в тумане мелкого дождя, уже тревожно кричал под ветер, к следующей будке, медный рожок выскочившего из ближней будки сторожа...

Так разное кончили свои дни хозяйка и хозяин «веселого» двора в Пажени.

*Капри. 12. 1911*

## ИГНАТ

### I

Любка вторую зиму жила на барском дворе в Извалах, у господ Паниных, когда нанялся к ним в пастухи Игнат.

Ему шел двадцать первый год, ей двадцатый. Он был из бедного дома в Чесменке, одной из деревень, составляющих Извалы, она из такого же в Шатилове, что неподалеку от Извал. Но говорили, что она «полукровка», незаконная дочь шатиловского барина. Да и выросла она при господах. И поэтому, чем более волновала пастуха ее красота, чем более думал он о горничной, тем более робел. А чем более робел, тем чаще думал, тем сумрачнее и молчаливее становился.

В черных блестящих глазах Любки была какая-то ясность, откровенность. Ловко и спокойно крала она одеколон и мыло у барыни, седой вдовы, курившей тонкие душистые папиросы. Иногда была она жива, наивна и казалась моложе своих лет, иногда — старше, все испытавшей женщиной. Да и груди были у нее, как у женщины. Ее лет четырнадцать изнасиловал старик Зыбин, шатиловский земский начальник; и теперь она позволяла барчукам Паниным очень многое, не боясь увлечься. А для Игната, еще не знавшего женщин, отношения между мужчинами и женщинами становились все страшнее и желаннее. Непроще, скрытнее его не было малого во всех Извалах. Даже едучи на розвальнях на гумно, за колосом для скотины, никогда не отвечал он прямо и сразу на вопрос: куда едешь? Избегая взгляда Любки, не поднимая угрюмых глаз, стыдясь своих лаптей, шапки и ошмыганного полушубка, он исподлобья следил за ней, и спокойное бесстыдство ее, смутно им понимаемое, было для него и жутко и пленительно.

Усиливали его любовь и барчуки.

Барчуки,— уже лечившийся на Кавказе офицер Алексей Кузьмич и Николай, все переходивший из одного учебного заведения в другое,— приезжали зимой только на большие праздники. В этом году на масленицу приехал сперва младший. И Любка была особенно оживлена, вид имел особенно откровенный, не будучи, впрочем, откровенной ни с кем. Так и сияли ее неподвижные глаза, когда она, черноволосая, крепкая, с сизым румянцем на смуглых щеках, в зеленом шерстяном платье, носилась то за тем, то за другим от людской к дому и от дома к людской, по темнеющей среди снежного двора тропинке. И за масленицу, за эти серые дни, слегка туманившие, делавшие тусклыми сосны и ели в палисаднике, слегка кружившие голову своим теплом и праздничным чадом из труб, Игнату не раз приходилось наткаться на игру барчуков с Любкой.

Как-то в сумерки он видел: она выскочила из дома с злым, раскрасневшимся лицом и растрепанными волосами. За ней, смеясь и что-то крича, выбежал на крыльцо, на тающий снег, Николай Кузьмич, приземистый, большеголовый, с тупым и властным профилем, в косоворотке из белого ластика и лакированных сапогах. А вечером Любка, веселая, запыхавшаяся, столкнулась в темных сенях людской с Игнатом.

— Разорвал баску и целый пузырь персидской сирени подарил,— неожиданно и быстро сказала она, задерживая бег.

И через мгновение исчезла, а Игнат долго простоял на одном месте, тупо глядя в темноту; пахло кухней, предвесенней свежестью, собаками, глаза которых парными красноватыми изумрудами горели, двигались перед ним...

Приехал офицер: худой, с карими острыми глазами, с длинным бледносерым лицом в лиловых, припудренных прыщах. Тяжело, вся сотрясаясь, выбежала на крыльцо молочного-седая барыня, подвитая, наряженная, в туго стянутом корсете, замала белым платочком на звон тройки, выносившей сани из-под горы. У крыльца кучер осадил тройку, и офицер заговорил быстро, не заботясь о том, слушают ли его; потом откинул полость саней размашисто, как у подъезда ресторана, на крыльцо взбежал, ловко и развязно притопывая раскоряченными, очень тонкими ногами в легких и блестящих сапожках, звеня серебряными шпорами и дергая, поправляя приподнятыми плечами широкую николаевскую шинель с брововым стоячим воротником. Был канун прощенного дня. Масленица выпала поздняя, и порой казалось, что совсем одолевает зиму весна. С утра грело солнце, сияло голубое небо, сияли его отсветы на снегу, капали капли. Но после полдня стало хмуро, пронзительно-сыро. Не обращая внимания на сырость и ветер, Любка в

одном платье таскала из троечных саней какие-то кульки. И пастух следил за ней, за тем, как наклонялась она.

Он стоял на широком грязном крыльце людской, пропахнувшей блинным чадом. Крупные хлопья снега падали и таяли перед крыльцом в луже, по которой важно ходил только что прилетевший грач. Работник и кухарка, подоткнутая, в сапогах, вытащили большую лохань, продев в ее ушки палку. В лохани дымилась густая желтая овсянка. Борзые стаей кинулись к ней и, дрожа, горбясь, пропуская между ног судорожно изогнутые, тугие хвосты, стали пожирать ее. Кухаркин мальчишка, в красной, праздничной рубашке, ворочал овсянку лопатой и бил то ту, то другую глухо рычащую собаку. Уже были по двору лысины — чернела кое-где земля. Вытаскивая из лохани испачканные желтой гущей морды, собаки катались, терлись по земле, потом гурьбой потянулись через двор к саду за домом. Рядом с красавицей Стрелкой, черноглазой борзой в атласной белой шерсти, шел большой рыжий кобель, дворовый, и, яростно скаля зубы, рыча, захлебываясь, не подпускал к ней никого из борзых. Томимый вожделением, Игнат следил за ним глазами. Потом прошел через сад в серое поле, на которое косо летели белые хлопья, снял шапку и достал из разорванного ватного дна ее заветный двугривенный.

Мимо садового вала, по задворкам, он поплелся на деревню, черневшую обтаявшими избами на косогоре. Желтоватые, замасленные санями горбы сугробов, с гладко втертым в них конским навозом, и выбоины, полные студеной вешней воды, тянулись между избами и пуньками. Игнат стукнул в окошечко особенно черной и хилой избы, под стенкой которой, нахохлившись, дремали куры. Изнутри прильнуло к окошечку старое, желтое лицо. Игнат показал двугривенный. И, надернув на босые ноги старые валенки, с головой накрывшись полушубком, баба провела Игната через дорогу в холодную пуньку с железной дверкой и сунула в подставленный карман его полушубка четверть бутылки.

За пунькой, на скате косогора, покрытом зернистым снегом, он постоял, думая о Любке. Потом запрокинул голову, выпил все до капельки, чувствуя, как горячо пошла отравы по всему его телу, присел на корячки, упал навзничь, пополз в лужок и там тотчас заснул.

Очнувшись, он долго не мог понять, где он. Он стал маленьким, легким — промерз весь, насквозь. Дул сырой ветер, смеркалось, снег уже не падал. Со страхом вспомнив, что еще не привезено в дом соломы, — дом топили соломой, Игнат каждый вечер набивал ею задние крыльца, — он вскочил и побежал через деревню, потом через сад к господскому дому. Все чувства его были обострены, ветер особенно волновал их, — он был



сладок, хотелось глотать его всей грудью. Игнат знал, что забыл веревку на заднем крыльце, и, запыхавшись, шлепая лаптями по мокрому снегу, повернул из аллеи прямо к нему. В сумраке под навесом крыльца стоял кто-то, прижимал кого-то к стене и на шаг Игната повернул голову.

— Чего тебе? — крикнул он.

Это был офицер; его голос, его длинное бледное лицо, бобриком стриженная, узкая и длинная к затылку голова. За два пальца офицера, не пуская его руку, держала прижатая к стене Любка. Игнат, не сводя глаз с ее слабо белевшего в сумраке передника, отошел, постоял... Сумрачными, смутными клубами нависали над садом дождевые облака. Дул западный ветер — и была в нем пьянящая влажность, сила ранней весны, одолевашей зиму.

А на другой день одолела зима, еще гуще валил снег, к вечеру поля потерялись в тумане вьюги. Барыня уехала к соседке. Офицер, звеня шпорами, вышел на крыльцо, закричал через двор, чтобы запрягали в бегунки Королька, и, наклонясь к сидевшим на крыльце собакам, на спинах и лбах которых снег лежал толстым слоем, стал сладострастно трясти то ту, то другую за ушами и сквозь зубы приговаривать: «а-а, та, та, та, та!» Любка обошла его с блюдом жареной наваги, понесла блюдо в людскую. Он покосился и забормотал еще сладострастнее:

— А-а, собаки, собаки, собачики!

Был прощенный день. Из-под горы, с реки, глухо доносились голоса, громыхание бубенчиков, звон колокольников: лавочник, сапожник, урядник, мужики — все катались со своими гостями, с барышнями, девками, сватами. Когда Королька запрягли, офицер, в серой ловкой шинельке и папахе, вытащил на крыльцо хохочущую, нарумяненную Любку. На ней была шубка с воротником из орехового меха, зеленое платье свое она подобрала, подоткнула. Голова ее была закутана серой шалью, она гнула голову, смеясь, упираясь, сходя с крыльца мелкими, тупыми шагками. Игнат, подав золотисто-рыжего жеребчика, держал его под уздцы, и жеребчик зло и умно косил большим блестяще-лиловым яблоком на офицера, на его шелковый шарфик, красневший из ворота шинели, вокруг тонкой шеи, покрытой зажившими, стянувшимися следами прыщей. А Игнат все глядел на белый подол Любки, на ее грубые полсапожки, намазанные салом, к которому не прилипал мокрый снег...

Потом он тащился на розвальнях к гумну. И Королек, екая и злясь, стучая ледяными глудками в передок, фыркая от свежего снега, летевшего ему навстречу, в горячие ноздри, обогнал. обдал дыханием и стал пропадать вместе с бегунками в

дыму выюги, весело и сумрачно разыгравшейся в мутно-сизом поле. Снег хлопьями валил на сытую спину Королька, на папаху, на погоны, на блестящий сапожок со шпорой, крепко поставленный на железный отвод.левой рукой в замшевой перчатке держал офицер голубые вожжи. Другой захватил голову в серой шали и припал к ней папакой...

И твердо решил Игнат променять работнику Яшке свою гармонию, единственное свое богатство, на старые сапоги. Навозив соломы, он пошел на улицу, к толпе, что сбилась и смутно темнела среди ночной выюги под застрехой крайней избы, на выгоне перед церковью. Там ловко и бешено перебивали друг друга две гармони, заглушаемые песнями и ветром, кружились в дыму поземки, носились, как ведьмы, пляшущие девки...

## II

Великий пост был серый, однообразный.

День за днем дул жесткий ветер, бледно белели поля, тускло синели, скучно напевали сосны и ели в палисаднике, слишком рано прилетевшие грачи куда-то скрылись. Офицер давно уехал. Но Николай Кузьмич зажился. Раз подъехал Игнат на розвальнях к заднему крыльцу дома. Розвальни зашуршали висящей с них старновкой по ступенькам крыльца, и барчук, игравший с Любкой, смеясь, поднялся с соломы. Любка, поправляя волосы, глядела спокойно.

— Вот вы так-то играете,— сказала она,— а по селу пойдут брехать... Хоть бы ты, Игнат, меня замуж взял,— прибавила она, тоже вставая.

Игнат покраснел и насупился. Ни малейшего значения не придавал он ее словам, но с этого дня шевельнулась и стала расти в нем ревность, злоба. Жуя черный хлеб, косясь на дом, с завистью чувствуя его внутреннюю жизнь, он проезжал на розвальнях по аллее, выезжал на гумно. Собаки пегой стаей, трясаясь, бежали за ним. В остатках ометов возились и пищали мыши. Собаки рыли солому, принюхивались, настораживались, еще яростнее рвали ее когтями, дрожа и скуля, и вдруг, подпрыгнув, кидались на добычу хищно и метко. Женственно красивую, с маслянистыми черными глазами Стрелку Игнат заманивал в ригу. Она вбегала, он с бьющимся сердцем припирал скрипучие ворота. Холодно пахло током, тепло — ржаным колосом. В сумрак огромного треугольника, по застрехам, по решетнику и переметам которого серела густая бархатная пыль летней молотьбы, пробивался в длинную щель ворот холодный, бледный свет. Ветер шуршал за ними, дул по току...

В ясный солнечный день на третьей неделе уехал и Николай

Кузьмич. Внезапно вернулась весна. Крыши варка, сарая за одни сутки обтаяли, старая, бурая солома их золотилась против солнца, резко отделялась от голубого, умиляющего душу неба. Выпустили плюшевых, обросших за зиму жеребят и коров, они дремали, грелись на солнце. Резко, серебром сверкал сочащийся снег по двору. У парадного крыльца, в тени, возле синей лужи, стояла тройка. Отражались на луже и небо и белый передник Любки. Вышел Николай Кузьмич в накинутой поверх поддевки енотовой шубе, вышла барыня. Долго прощались, долго, оборачиваясь, кричал что-то уезжавший, когда тронулись и потянулись сани по ухабистой, текущей дрожащими ручейками дороге, по выступившему, накопившемуся за зиму навозу, похожему на мокрый табак. Где блестя вода по ухабам, лошади, тонконогие, с подвязанными хвостами, взмахивали особенно шеголевато точно вычищенной сталью подков. На солнце грело, много галок собралось на соснах и елях палисадника, зазеленевшего пышно и свежо. А в тени чувствовался северный резкий ветерок. Стоя на парадном крыльце, Любка озябла, щеки ее посизели. Сани скрылись под горой, она напевала задумчиво, чуть слышно: «Мчится парочка вдвоем...» Потом вбежала в дом — и немного погодя выскочила на заднее крыльцо. Игнат, проходивший мимо, вдруг повернул к крыльцу. Она тупо, со страхом, не двигаясь, глядела на него. Игнат подошел вплотную и схватил ее за кисти. И оба смутились, не зная, что сказать, что делать дальше. Вдруг Любка нахмурилась и, вырвав руки, повернулась и хлопнула дверью.

Сад казался особенно редким на серебре снега, испещренным фиолетовыми тенями, аллея — веселой, широкой. И опять, нахмуренный, злой, Игнат пошел по ней на деревню, к бабе шинкарке. И опять очнулся перед вечером на скате в лужок, насквозь промерзший, изумленный. Небо из-под горы казалось необъятно-огромным и новым.

— Не пара она мне, — твердо и мрачно, вслух сказал Игнат, поднимаясь. — Пропал я.

Прошел пост, прошла Святая. Снега уже нигде, кроме оврагов, не было, в деревнях опушились легкой лимонной дымкой лозины; вокруг деревень лилово чернели пашни, грело солнце, дрожало расплавленное стекло по горизонтам, пели жаворонки. Молодая пахучая травка чуть пробилась. Но Игнат уже ходил за стадом в поля, к милютинскому леску, еще голому, полному сухой дубовой листвы и подснежников. Коровы дремали на припеке, у опушки, и галки садились на них, дергали шерсть для своих гнезд. Игнат навивал кнут, лениво посматривал в солнечную даль, на дороги, где уже лежала пыль, радостно напоминавшая о лете, и загорал от солнца, от апрельского суховея.

Когда были деньги, он был счастлив. В поле, выбрав местечко посуше, он расстилал свой рваный пиджак, ставил на него бутылку, вытаскивал из кармана хлеб, заранее посоленный и отсыревший, холодные картошки. Вскоре голова его начинала кружиться. Солнечный южный горизонт за сереющими равнинами дрожал, тонко струился пар, чуть синевший на солнце над спекшимися кучами навоза, раскинутого по полю, коровы двойлись и плыли... Странно,— он все-таки чего-то ждал! Хмельной, он чувствовал это, чувствовал, что связалась его жизнь с жизнью Любки, на беду связалась! Что-то придется сделать, чтобы покорить ее, чтобы стать равным с нею, чтобы вызвать ее любовь. Иначе, если он даже добьется своего, не будет она мужика любить... А весна требовала любви. Плывая, дрожа, опиралась на колени передних ног, потом неуклюже поднимала зад одна корова, другая, третья... Поднимался большой мышастый бык, широколобый, с гладким хвостом, на конце которого висел шелковисто-волнистый мохор, тяжело бежал, мотая нитями стекловидных слюней,— и вдруг, весь наливаясь мощью, вставал на дыбы... У Игната заходило сердце. Он опрокидывался навзничь, на сухие, черные шмоты навозной кучи. Он закрывал глаза, слезы выкатывались из-под его ресниц, он не стирал слез, и мухи пили их... Потом он крепко засыпал и спал до тех пор, пока дошедшее до зенита солнце не начинало печь его голову и плечи. Пригнав стадо домой, он молча обедал в людской и уходил спать в каретный сарай, где у каменной стены была сбита из кольев высокая кровать, покрытая соломой и клоками попоны. После сна он бывал зол и, выгоняя стадо, так драл коров своим длинным хлопающим кнутом, что на боках их вздувались рубцы.

Однажды, в мае, когда лесок уже густо опушился темной зеленью, зарос цветами и травами, когда рано утром уже полетнему было жарко на солнечных полянах, а в росистой тени свежо и таились ландыши, увидел он, пригнав стадо на пар, сидящую у опушки бабу. Это была нищая, дурочка Фиона. Положив возле себя мешок и палку, она сидела, слегка раскрыв рот, вся в лохмотьях, с мокрым подолом, с блестящими глазами на опухшем лице. Она была слегка пьяна. Когда Игнат подошел, она с гоготом, сдержанно-страстным, повалилась навзничь, выставила колени и стала тереть большими лаптями по росистой траве. В мешке ее были крендели, водка. И, выпив, Игнат не совладел с собой...

С этих пор дурочка стала приходить к нему чуть не каждый день. До солнца, по холодной крупной росе он выгонял стадо. В полдень напивался. Теперь пили уже на его деньги. Он забрал жалованье за месяц вперед. Но и его деньги наконец иссякли. И дурочка стала зла, нахальна, требовательна, дуроч-

кой уже не притворялась. Когда он являлся без водки, она отказывала ему, морила его по неделе. И раз даже крепко и ловко ударила его по голове палкой. Он поднялся и пошел прочь, странно, неумело рыдая. А заплакавшись, сел на межу и тупо стал думать все о том же, о чем он думал теперь беспрестанно: где бы достать денег? Но достать было негде, украсть — тоже. Сапоги он пропил.

Вся дворня знала его историю, за обедом и ужином над ним часто хохотали. Он багровел и молчал. Что было бы, будь Любка при этом? Но, на счастье его, барчуки не приезжали, слышно было, что Николай Кузьмич у товарища под Харьковом, офицер — на маневрах под Смоленском. А барыня уехала на шесть недель в Липецк и увезла с собой Любку. В усадьбе было тихо и скучно. Да и дурочка стала являться все реже и реже — шаталась по ярмаркам. И вот лето пошло уже к концу — жаркое, длинное. Обмелела речка, дочерна выглодала скотина корма, хлеба поспели, пересохли и сыпались. Пошли косить их, — был уже конец июля.

В конце июля, возвращаясь однажды на закате со стадом в село, Игнат встретился с дурочкой. Она остановилась и показала на лесок.

— Как отделаюсь, так приду, — сказал он, не поднимая глаз.

Но как идти без водки? В унынии стоял он у ворот усадьбы, смотрел на закат. По дороге, наискось пролежавшей по горе, ехали с косьбы и вязки мужики и бабы на пыльных телегах; из телег торчали перевясла, косы и грабли. Малиновое, без лучей, солнце село огромным кругом в сизую сухую муть за рекой, за полями, уже покрытыми звеньями копен. Игнат вышел из ворот, повернул на выгон, потом, мимо сада, к гумну. Впереди его мелко перебирала босыми ножками по пыли очень грязная и кудрявая девочка. Перегнувшись налево, она правой рукой тащила дегтярницу, облитую красно-коричневым дегтем. Игнат ускорил шаг, догнал ее, оглянулся — и схватил ее левый кулачок, в котором были зажаты деньги. Глаза ее стали круглыми от ужаса, личико исказилось, она заголосила и, с силой зверька, стиснула кулачок. Игнат схватил ее за горло и повалил на дорогу. Девочка захрипела и распустила пальчики. Игнат выгреб из ее ладони деньги — тридцать копеек.

Купив водки, он пошел прямо к лесу. Справа было жнивье, чуть белеющее в сумраке поле, покрытое копнами. Слева, с тускло чернеющих пашен, с равнины, дул теплый ветер. Впереди, над темной каймой леса, поднимался большой красный Марс. И пастух остановился. Он вдруг вспомнил, что нынче должна приехать барыня, что за нею послали тройку и подво-

ду для вещей. И тотчас же, задержав дыхание, услышал далекий звон колокольчиков.

Казалось ему летом, что минует его то неизбежное, что должно быть. Но теперь он почувствовал, что нет, не бывает тому — не минует. Оно уже близилось, росло, надвигалось... И, постояв, он двинулся вперед.

У перекрестка его оглушила звоном, топотом копыт и обдала пылью тройка. Он, сойдя с дороги, пропустил ее и опять пошел. Вдали слышался глухой грохот телеги. Он делался все явственней. И через минуту увидел Игнат на тусклом звездном небе дугу, лошадь, а за лошадью — сидящую в телеге Любку. Она была лошадь вожжами и тряслась, прыгала, неслась прямо на него.

— Садись, подвезу! — крикнула она весело, сразу признав его в сумраке.

Он повернулся, догнал нагруженную чемоданами телегу, на бегу боком вскочил на грядку...

Что говорила Любка, он не запомнил. Запомнил только первые, ударившие его по сердцу слова, которые она звонко и ласково выкрикнула сквозь грохот телеги:

— Что ж, очень соскучился по мне?

Запомнил только тот момент, когда он вдруг схватил вожжи и, осадив лошадь, перекинул ноги в телегу.

— Постой,— шопотом сказала Любка, но так просто, точно они жили уже много лет, и от этой простоты у него еще больше помутилось в голове: — постой, юбку изомнешь... Дай хоть поправить-то...

### III

Прошло четыре года. Стоял декабрь. Игнат, отбыв солдатчину, возвращался из города Василькова на родину.

С женой он жил всего три месяца. Вскоре после той июльской ночи, в которую так неожиданно переломилась вся его судьба, Любка почувствовала себя беременной — и никогда не покидала его злая мысль, что только поэтому вышла она за него. Она говорила, что любит его, устроила его отца, больного старика, на барском дворе скотником; одела и снарядила его в дорогу, провожала со слезами. Он жестоко избил ее, гуляя, куражась рекрутом, вымещая барчуков. Она от побоев скинула, но перенесла их как должное. Когда его угнали в Васильков, она часто посылала ему вместе с письмами деньги, письма писала ласковые, обращаясь к нему на ты. Но он не верил ни единому слову ее, жил в тоске, в непрестанной муке, в ревности, в изобретении самых жестоких наказаний за предполагаемые измены.

Едучи на побывку два года тому назад, он всю дорогу думал, что убьет ее, ежели узнает что плохое. Приехав и наведя справки на своей станции, он узнал, что Любка не отказывала только ленивому. Но она встретила его так радостно, разуверила в слухах так искренно и просто, что у него руки опустились. А чтобы и совсем успокоить его, заявила, что бросает место на барском дворе и переселяется в избу,— будет ждать его дома, будет шить на машинке и тем кормиться. И он уехал унылый и сбитый с толку. Уныл, молчалив был он и на службе, но исполнительен, исправен и бережлив: копил деньги, взятки с молодых солдат. Все еще жила в нем надежда сравняться с Любкой, стать достойным ее настоящей, а не притворной любви. Но вдруг письма от нее перестали приходить. Он писал чуть не каждую неделю — ответа не было. Он грозил, молил — она молчала. Он опять стал пьянствовать — и отупел, измучился.

Все же, отслужив свой срок, он ехал в Извалы.

Он очень изменился. Теперь он был сух, довольно высок и ладен. Оловянные глаза его стали больше, лицо посерело и казалось еще худее от блестящих после бритья маслаков около оттопыренных круглых ушей. Красноватые усы он стриг щеткой, голову — бобриком, и кожа просвечивала в его коротких стальных волосах. От Киева до Орла он неподвижно сидел в вагоне возле своего грубо разделанного под орех сундучка с привязанными к нему сапогами и чайником, не снимал ни фуражки, ни грубой серо-рыжей шинели, натиравшей шею, смотрел в пол и грыз подсолнухи. От Орла он стал тревожиться, выходить на станциях к буфету. На вокзале в своем городе он неожиданно встретился с бывшим товарищем по службе, выпил, оставил сундучок у сторожа, и товарищ вывел его на вокзальное крыльцо, нанял извозчика-старика, и старик во весь дух треногой кобылы помчал их, возбужденных, куривших папиросу за папиросой, в город. Проехали они прямо в слободу — и там Игнат почти сутки не расставался с маленькой, коротконогой, пожилой, с черными сухими волосами и сильно напудренной бронеткой, курившей еще жаднее его. Очнулся же он в поле, возле слободы — и с трудом вспомнил, что его тяжело били, выталкивая. Был мягкий белый день, шел снежок и застревал в складках его шинели. Он встал, шатаясь, чувствуя себя больным, точно отравленным...

Ехать до Извал пришлось в вагоне товарного поезда, вместе с сидящими от жира на задах заводскими свиньями. Свиней везли богатому помещику на племя, провожал их дряхлый садовник помещика, чистый и тихий, бывший дворовый. Но, кроме него, Игната и свиней, ехал в товарном вагоне еще еврей, серо-седой, кудрявый, большеголовый и бородатый, в очках, в полуцилиндре, в длинном, до пят, пальто, местами еще синем,

а местами уже голубом, с очень низкими карманами. Он все время молчал, был задумчиво-озабочен, ныл какой-то напев и пил чай. Садовник дремал. Свиньи сидели на задах в деревянной загородке, покрытые серыми попонами с вензелями и коронами. Смеркалось, ветер с снегом дул в отворенную дверь и задира л мокрую солому под свиньями. Плыли мутно-белые поля, темневшие кустарники, медленно курившиеся дымом, падавшим на них от паровоза. И тяжелая, неразрешимая тоска давила Игната. Сдвинув брови, стиснув зубы, играя маслаками, он стоял у двери, грыз подсолнухи и косился на еврея. Еврей сидел на опрокинутом ящике, держал в большой, покрытой крупными лиловыми жилами руке стакан чаю. Шелуха подсолнухов летела по ветру, попала в чай. Еврей долго, с раздражением смотрел сквозь очки на Игната. Игнат ждал, что скажет еврей, чтобы ударить его после первых же слов сапогом в грудь. Но еврей ничего не сказал: только приподнялся и вылил чай нарочно возле самых ног Игната, возле его плоских и широких казенных сапог.

На станции попутчиков до села не оказалось. И пришлось сидеть, ждать, не навернется ли кто случайно.

Оледенели его руки, помутилась голова, когда, в половине одиннадцатого, медленно надвинулся на него такой знакомый, такой особенный вокзал с его народом и освещенными окнами. Только что ушел пассажирский поезд. В зале третьего класса, холодно, полутемно, тусклом от дыма и потном от дыхания, нужно было пробиваться плечом — так много толпилось в нем на мокром полу мужиков. Двери поминутно с визгом отворялись, хлопали — свежий, легкий морозный воздух, врываясь в угрюмый, вонючий зал, волновал клубы белого пара над ведерным самоваром в буфете. Из отворенной, ярко и горячо освещенной конторы, где были касса и телеграф, не смолкая ни на секунду, дребезжал и звенел какой-то звонок, как будто кто завел и забыл остановить будильник. И от многолюдства, от этого звонка у Игната ломило в темени.

Расспрашивал он, нет ли попутчиков, тупо ходил как лунатик, но все видел и замечал с необыкновенной зоркостью. Толпа армяков и полушубков редела. Игнат вышел на крыльцо, посмотрел, сторонясь, пропуская мимо себя выходящих и разговаривающих, на лошадей, на сани, на мутнолунное небо, выкурил цыгарку, глубоко вдыхая вместе с дымом сладкий зимний деревенский воздух, и вернулся за своим сундучком. Уже буфетчик постепенно, по порядку, с края, убирал со стойки апельсины, папиросы, тарелки с колбасами, потный кусок сыра. Начальник станции под руку провел большую старуху-помещицу в шубе, опиравшуюся на костыль. В отворенную дверь видна была бледная, но светлая лунная ночь, деревья в



инее. Лошади, стоявшие у крыльца, встряхивались, бормотали глухарями. Потом глухари загромыхали все сразу, заскрипел снег под полозьями... В зале осталась только баба в новом оранжевом полушубке, неподвижно сидевшая на длинном деревянном диване у стены, на котором стоял сундучок Игната. Задом подойдя к дивану, Игнат присел, взвалил сундучок себе на спину, подсунув левое плечо в его ремень, и, думая о той весне, когда он жил с дурочкой, а был беззаботен, свободен, сладко напивался, закусывая холодными картошками, вышел из вокзала.

Шагал он твердо, ровно и споро, повизгивая по снегу сапогами; светлая снежная ночь была вокруг него. В поле было пусто, мертво и тихо, луна крылась за легкими облаками, дорога чуть темнела... И от своих смутных дум очнулся он уже в Извалах, почувствовав, что вошел в большую, просторно раскинутую и давно спящую деревню. Ни одного огня не было в занесенных снегом избах. Слабые тени лежали на большой дороге от водовозок и пунек. Еще тише как будто стало, воздух — еще слаще и пахучее. По дворам пели первые петухи.

Возле своей пустой избы, на краю деревни, над оврагом, он постоял, не зная, что дальше делать. Маленькая, она была наполовину занесена метелями. Дверь на замке, одно окно забито дощечками. Острый сугроб, покрытый следом лаптей, поднялся возле дырявых ворот во двор, переходил через них. Игнат пошел по следу, заглянул внутрь двора. В раскрытой закутке неприятно ночевала чья-то телушка...

Невдалеке, в избе Марая, светился низкий огонек — из окошечка, почти сравнявшегося с высокой снежной улицей. Он заглянул в окошечко. Чуть не всю избу занимал стан. Немая, с тугим румяным лицом девка ткала красн, гремела станом. Игнат стукнул. Девка взглянула со страхом и удивлением. Он вошел в избу. Девка дергала оборку торчавшего с печи лаптя, будя отца. Он долго не откликнулся, только откашлялся. Потом стал слезать — задом, ища лаптем печурку. Слез и по стене, стараясь не наступать на одну, видно, больную ногу, дошел до скамейки возле стола. Бородатый, лохматый, с выпуклыми кровянистыми глазами и хрипучим голосом, вид он имел шальной. Игнат поставил сундук у двери, сел к столу. Девка, поджав руки, стояла у печки. А Марей, попросив закурить, затягиваясь так, что дымилась вся его борода, говорил:

— Хозяйку твою видал... Видал, как же... Из церкви шла... Дома жить не пожелала, все у господ... Их давно нетути, в Москве, говорят, она приказчика согнала, всем сама правит, в барском доме живет... Не по закону живет, не по закону... любовника, говорят, имеет...

— Знаю, знаю,— сказал Игнат, что-то думая.

— Известно, знаешь... Ну, потращаешь — бросит. Потращать можно... Не пара, значит, оказалась она тебе...

— Я сундук у тебя пока оставлю,— сказал Игнат, не поднимая глаз.

— Это можно... Оставь... Оставить можно,— согласился Марей.

И на порог вышел проводить Игната. Морозило, ясно. Темно синев в вышине, меж облаков, расчищалось небо. Месяц, яркий, полный, выкатывался на простор, косая белая туча с оранжевым полукругом, падавшим на нее от месяца, сдвигалась к горизонту, к северу. Тени от водовозок стали резче, улица заискрилась.

— Зима обозначается,— хрипло сказал Марей, высовывая голову из низкой двери темных сенец на светлую улицу и вдыхая пахучую свежесть.

И опять твердым шагом пошел Игнат, не поворачивая завязанной башлыком шеи. Пройдя версты две по деревьям, выйдя на луг, на дорогу в гору, он увидел на горе знакомую усадьбу, темный палисадник во дворе и четыре освещенных окна за ним. Но пошел он к нижнему саду, спускавшемуся по горе от усадьбы до самого луга, вошел в его ворота, перешел по плотине занесенной снегом сажалки, направляясь к длинной и мрачной бревенчатой избе скотного двора, черневшего в глубине сада, под вековыми деревьями. Небо над ним было синее, бездонное, с редкими крупными звездами. Месяц катился в вышине справа. Впереди, среди света и теней, то садясь на задние лапки и поднимая торчком уши, то делая короткие прыжки, двигался заяц, пробираясь на золотую поляну за сажалкой. Красно-золотой звездой казался огонь в избе под деревьями.

Почему не спал, почему так пристально посмотрел на Игната тот бледноголубой лицом, беловолосый, длинноголовый пастушок, что отворил дверь этой большой, очень теплой избы? Над столом привешена была к ее блестящему, как каменный уголь, потолку лампочка. В переднем углу — картинка: Николай угодник в малиновом одеянии, с фиолетовой бородой. Коростовая свинка ходила по липкому земляному полу, хрустела, катала что-то по зубам. В загородке возле печи стояли телята, коричневые и желто-белые. Они не спали, клали морды с широкими, нежными, влажно-розовыми ноздрями на загородку, смотрели ясными глазами. Отдавало от них запахом мокрой коровьей шерсти, молоком парным, каким-то утробным теплом,— и долго вспоминал потом Игнат этот запах, простой, успокаивающий, а след за ним — старика-отца. На кровати возле загородки сидел он, спустив бледные волосатые ноги в узких синих портках, лысеющий со лба, худой, как скелет,

и, положив большие руки на колени, важно закрыв слепые глаза, шептал что-то.

— Он у нас сумасходный, — тихо сказал пастушонок, пристально глядя на Игната. — Дуже стар стал.

И, услышав его голос, чувствуя чье-то присутствие, еще выше, важнее и печальнее откинул старик голову, свой тонкий, горбившийся от худобы нос.

— Бог благословит, бог благословит, — пробормотал он.

Обнажив стриженую, в стенках башлыка, голову, но забыв поздороваться с отцом, Игнат спросил мальчика:

— Любовь в доме?

— В доме, в доме, — поспешно отозвался тот. — К ней купец приехал.

Игнат надел фуражку, вышел из избы и пологой горой, через фруктовый сад, по заячьим тропинкам среди яблонь и светлых полян, испещренных тенями, быстро дошел до калитки на барский двор, откинул ее и, согнувшись, утопая в снегу, перебежал в зеленоватый сумрак палисадника. И тотчас же за маленьким окном прихожей увидел жену. Но в доме вдруг глухо залаяла собака. Он отскочил — и застыл, замер, прижавшись к стене.

#### IV

Поставив в темных сенях самовар, Любка сидела в прихожей с перегородкой, выбеленной мелом, штопала чулок у стеаринового огарка, горевшего в позеленевшем медном подовечнике на подоконнике. Полной казалась теперь эта красивая черноглазая женщина в красной кофте, с мягкими грудями, в белом платочке, под который уходил среди черных волос широкий пробор.

Две большие тени, одна лилово-темная, другая светлее, падали от нее на перегородку, поднимались на потолок. Когда подошел под окно Игнат, она, задумчиво склонив голову набок, поглядела на заштопанную пятку чулка и вынула из него старинную серебряную суповую ложку. Белый, в коричневых пятнах пойнтер, спавший в зале в углу, на репсовой каретной подушке, вдруг басом брехнул, вскочил и с гремящим лаем, стуча ногтями по паркету, побежал к прихожей. Любка живо и серьезно взглянула на дверь в зал. Потом, загородив ладонью щеку от огня, прильнула к стеклу.

— Кто там? — сказала она громко, с хозяйственной строгостью, но тревожно, отдирая сперва одну, потом другую примерзшую форточку и заглядывая в открывшийся, пустой, полный легкого морозного воздуха, квадрат.

Светлая ночь, все звончеющая над мертвой белой окрест-

ностью, над давно спящими деревьями, над застывшей в молчании усадьбой, над живописными и неподвижными под звездным небом садами, крепла, достигала своей высшей красоты и силы. Пятна света на снегу в сумраке палисадника горели зелено. Месяца Любке не было видно,— только подняв голову, увидала она сквозь ветви сосен его зеркальный круг. За стволами их просторно белел светлый двор, и свежая колея, прорезанная по нем санками купца, розово сверкала. Любка, приглядываясь, сдвинула пьядки черных бровей. Но только на мгновение смутной тревогой дошло до нее в этой полночной тишине присутствие человека, так близко от нее прижавшегося к стене. Она подождала ответа, захлопнула фортки и пошла в зал накрывать на стол.

В прохладном большом зале было сдвинуто много мебели, много стульев и старинных кресел. У той стены, где была дверь в прихожую, стоял рояль. Высокие двери в гостиную были заперты, между ними и кафельной печью стояла оттоманка, на которой спала Любка. Между ними и угловой кафельной печкой чернел шелушившийся портрет в золотой раме. Стол у стены против окон освещала на цепях спускавшаяся с потолка лампа.

Проезжавший из города в купленный на сруб милютинский лесок и ночевавший в усадьбе купец был невысокий, тяжелый человек в черной бороде с бурым подседом и с черными косыми глазами. Расстегнув верхние крючки сизого, очень полного и вонючего романовского полушубка, отвернув на груди пышную дымчатую овчину; он, мягко ступая черными пярковыми валенками, бродил по залу, рассматривал мебель, шифоньерки, бронзового коня под стеклянным колпаком на подзеркальнике. Возле печки возилась мышь, стараясь протасить в маленькую щелку пола кусочек лепешки. Купец засмотрелся на мышь. Вскочив, басом забрехал пойнтер,— и он с легкой улыбкой удивления и удовольствия послушал, как отдалось в пустом доме и зазвенели медные струны рояля; он приподнял его крышку, попробовал безымянным пальцем в разных местах клавиши...

— Хорошо у вас тут, тихо,— сказал он входившей и выходящей Любке.

— Скучно,— ответила Любка, чуть усмехнувшись.

Она накрыла стол, принесла вазочку с зеленым вареньем, солонку, в которой соль была перемешана с крошками хлеба, тарелку с куском солонины, радужно-ржавой, в застывшем жире, похожем на вату, и бутылку водки с матовым от мороза налетом на стекле.

— А ты бы забаву какую-нибудь приискала себе,— сказал купец, привычно намекая на то, на что все намекают.

— И то правда,— тоже привычным, беззаботным тоном ответила Любка.

Теперь уже не было прежней живости в ее ответах. Она стала спокойнее, говорила меньше, проще и грубее, привыкнув распоряжаться и ругаться с работниками, отвыкая от господ. Ограниченная, она казалась умной, благодаря этому умению, присущему женщинам, подобным ей, не говорить лишнего.

Когда она принесла и, высоко подняв, поставила на стол самовар, купец пролез за стол на диван, не спуская косых глаз с ее груди. Она в бок блеснула смуглыми белками и, с равнодушным видом, не спеша, отошла, стала, греясь, спиной к печке. Купец сдвинул рукав полушубка с круглившейся из него дымчатой густой шерстью и взял нож в левую руку, а вилку в правую. Любка это заметила. «Левша,— подумала она: — распутный, небось». Но опять грубо забрехал пойнтер, глядя в прихожую, и она опять тревожно прислушалась.

— На кого это он все?— спросил купец, выпив и раздувая ноздри.— Как отзывается!— сказал он, послушав.— Как орган.

— Да все, небось, этот пьяница шатается, муж скотницы нашей,— ответила она и, подумав, насмешливо улыбнулась.— Тут такая потеха идет, не приведи бог.

Купец, отрезая кусочек солонины и намазывая его горчицей, равнодушно удивился:

— Да что ты!

— Ей-богу,— сказала Любка.— Закружилась тут с одним, да и другим не отказывает. Ну он и ходит. Грех судить, а только дойдет у них дело до беды.

— Что ж, еще дружка себе нашла?

— Да ай их мало!— сказала Любка, думая не о скотнице, а о себе и о своем любовнике, портном из Шатилова, бешено ревновавшем и все грозившем убить ее.

Говоря, она косилась на одно окно в палисадник. Во всех окнах зелено и остро искрились обледеневшие нижние стекла. В это окно, незамерзшее, видны были редкие звезды на синем небе, зелень палисадника. Купец ел, что-то обдумывая. Любка слабо зевнула и опять заговорила:

— А, должно, здоровый мороз будет. Куда в даль так-то поехать, замерзнешь.

— Очень просто,— сказал купец и посмотрел на пойнтера, положившего морду на лапы.— А собака эта же чья?

— Да барина нашего молодого, Николая Кузьмича,— сказала Любка.— Надоела до крайности. На дворе никак не может жить, нежна очень. Голая вся. Два раза в неделю купаю, пропасти на нее нету. Он у нас чудак какой-то.

— Да и дурак, верно, хороший,— вставил купец.

— Дурак, нет ли, не мое бабье дело судить,— сказала Любка, думая, что такой скромный ответ понравится купцу.— Только, правда, никуда не гогаются и дома не живет, а об собаке в каждом письме пишет, беспокоится.

— А ты уж давно здесь проживаешь?

— Давно. Седьмой год, никак.

— И довольна, значит?

— Да чего ж мне? Сама себе голова. Они, господа-то, почесть, и не живут тут.

— Муж-то в солдатах?

— В солдатах.

— И отслужится, небось, скоро?

— То-то и беда, что скоро. Все писал, грозил: сопьюсь. А мне какая забота? Сам же будешь под забором лежать,— сказала Любка то, что часто говорила портному.— И опять же ревнив, надоел своей любовью до смерти... Все, бывало, грозит — убью, а скажи ласковое слово — сейчас слюни распустит. Да что ж, и убьет... Ночью, когда так-то кобель забрешет, жутко, правда...

— Ты жаловаться на него имеешь право,— сказал купец.— Это время прошло, чтобы сдуру, здорово живешь, людей бить.

Он съел всю солонину, обрезая ватный жир, допил водку. Глаза его стали маслянистей, полушубок он расстегнул. Икая, он вынул из кармана красную осьмушку табаку, камышевый мундштук, книжечку папиросной бумаги, аккуратно раскрыл ее, отдул один листок, свернул своими короткими пальцами с выпуклыми круглыми ногтями толстую папиросу и с наслаждением закурил.

— Давно замуж-то вышла? — спросил он с мутной усмешкой.

— Пятый год пошел.

— А детей не было?

— Не было.

— Почему же так? Ты ведь, думается, крепка, хороша.

— Страшная хорошая! — сказала Любка, польщенная, но улыбаясь насмешливо, и начала врать: — А уж это, видно, не моя вина, я сама по детям скучаю. Значит, он чем-нибудь испорчен, а моя какая может быть вина? Искусаю его, бывало, до синяков, а у него старанья много, а все без толку...

Купец уставился на нее прищуренными глазами. Затягивался он все глубже, пуская дым в ноздри.

— Это верно,— сказал он, не зная, что говорить.— Да что ты все около печки-то спасаешься?

Сдерживая улыбку, Любка ответила с деланной простотой:

— А где ж мне стоять? Греюсь.

— К столу садись,— сказал купец. — Тут лучше согреешься.

— Ну, ин сяду,— ответила Любка с игривой скромностью и села к столу на стул.

Она понимала, что купец начал томиться, не зная, как приступить к делу. Купец, отвалиясь к спинке дивана, порою вздыхал, отдувался, закрывая глаза и хмуро улыбаясь, порою тяжело смотрел на ее грудь, пробор,— и глаза его то стекленели, то вспыхивали. Делая вид, что она ничего не замечает, Любка, опустив ресницы, пила чай с лимоном, скромно вытирала концом головного платка потеющую верхнюю губу, покрытую черным пушком. Купец вздохнул еще шумнее и вдруг, не глядя на нее, стал торопливо и неловко расстегивать своей крепкой рукой пазуху синей фланелевой рубахи, под которой был жилет. Расстегнув и жилет, он запустил руку во внутренний боковой карман и вытащил бумажник. Любка сдвинула пальцем тонкий ломтик лимона к краю блюда, положила его в рот и стала высасывать, не в меру морщась, делая вид, что чувствует только одно — кислоту. Мгновенно заметила она, что бумажник очень толстый и потертый, быстрым взглядом окинула пухлую пачку розовых кредиток, которую вынул купец из бумажника. Отделив одну кредитку, склеенную бумажной ленточкой, спрятав остальные, он стал левой рукой пихать бумажник обратно, а правую ковшиком положил на нее.

— Довольно, что ли? — спросил он.

Как будто ничего не понимая, Любка равнодушно взглянула на десятирублевку, постом перевела томно-пристальные глаза на него.

— Что говорю-то? — повторил он смело, почти грубо.

Молча взяв и сунув деньги в карман юбки, она опять посмотрела на него долгим взглядом. Он, не зная, что говорить и делать, взял ее за правую руку, потянул за концы корявых снизу пальцев. Она отняла их и, тоже не зная, что сказать, спросила:

— Что ж сало-то не докушали?

И, взяв оставшийся на тарелке кусочек, положила его в рот.

— А я люблю,— сказала она,— она сладкая, опричи если на сковородке поджарить.— И засмеялась: — Пост, а мы жрем...— И, помолчав, беззаботно добавила: — Ну, да авось, все одно в аду кипеть.

— За что же это? — спросил купец.

— Да за все. Наше место в аду. Старые люди говорят, все одно из мужиков в святые не выходят. Всегда из архиреев, алхимандритов.

И вдруг, разгибаясь, решительным шопотом сказала:

— Ну, пойдёмте, что ль...

Игнат, стоя на снегу, давно не чувствовал ног, окаменела и голова его, насквозь промерзла, стала тонкой, ледяной ши-нель. Сперва он пошевеливал пальцами в сапогах, двигал плечами. Потом уже не обращал внимания на то, что все последнее тепло сосредоточилось и дрожало у него где-то под ложечкой, что стали деревянными губы, обросли инеем края башлыка, ресницы и усы.

Он не замечал времени, весь поглощен был страстным желанием, чтобы оправдались его подозрения. Пропели вторые петухи. Сила, свет, красота ночи стали ослабевать. Месяц, бледнея, склонялся к западу. Орион, три поперечных звезды его низко стояли на юго-западном горизонте серебряными пуговицами, стал ближе и ярче. От людской, над которой склонялся месяц, пала, полдвора захватила тень. Было так морозно и тихо, что слышно было, как возились на насесте ночевавшие в снях людской куры, как в конюшне мерно хрустела овсом лошадь купца. Против крайнего незамерзшего окна зала торчала из снега, под нависшими ветвями ели, скамейка. Снег, местами атласный, местами хрупкий, как соль, рассыпчатый и все твердевший от мороза, визжал и хрустел при каждом, самом осторожном шаге. Затаив дыхание, Игнат добрался до скамьи, стал на нее и, разведя руками глянце-вито-ледяную зелень хвои, все забыл, увидав внутренность зала, увидав эту страшную для него, двигающуюся, что-то говорящую и улыбающуюся женщину и человека, бывшего с ней в этот поздний час один на один во всем доме.

Но время шло, шло — и ничего особенного не происходило в зале. Вот Любка села наконец к столу, и купец стал вынимать что-то из-за пазухи. Но что? Как ни напрягал Игнат зрения, разглядеть не мог: мешал самовар, посуда... Вот Любка привстала, облокотилась на стол, подвинулась к купцу, и в незастегнутый разрез ее платья сзади стала видна нижняя белая юбка. И в мире настала такая страшная тишина, что осталось в нем только бешеное биение сердца Игната. Но в тот же миг Любка внезапно разогнулась, быстро пошла по залу, к двери, ведущей внутрь дома, за нею двинулся купец, — и легко, уже ничего не думая, Игнат соскочил со скамейки и побежал под елями в сторону, противоположную парадному крыльцу, чтобы, обогнув дом, вскочить в него с заднего. На пустой синеве небосклона с новыми, предутренними звездами сквозил, чернея, потонувший в снегах низкий фруктовый сад. Еще давеча заметил Игнат, выходя из сада, кучи хвороста между ним и домом. В хворосте всегда валялся топор. И, добежав до хвороста, Игнат кинулся искать этот зна-



комый, зазубренный, ржавый топорико со скользкой рукояткой,— стал шарить, обдирая руки о ледяные прутья и обжигая их о снег, синевато блестящий против низко опустившейся сонной луны.

Купец, нащупав в кармане полушубка маленький и, как камень, тяжелый револьвер, вошел, между тем, в темный коридор и протянул вперед руки.

— Тут хворост на топку приготовлен, не упадите,— сказала Любка, и он, наступая на сучки и с треском ломая их, ощутил приятный, горьковатый запах холодной дубовой коры и сухой листвы в снегу.

Любка остановилась, говоря: «это у нас задняя прихожая», пошарила по стене и открыла дверь в большую нежилую комнату, очень холодную, пахнущую ветчиной, освещенную двумя тускло синееющими окнами с незамерзшими верхними стеклами. Месяц стоял далеко, с другой стороны дома, в этой комнате было сумрачно, но все-таки купец разглядел окорока, висевшие под потолком, кадку с соленым салом, сепаратор, слабо поблескивающий никелем велосипед, белеющие на полу крынки и кровать у стены — деревянную, без перины, с одной подушкой без наволочки. И повернувшись, задом подвигаясь к кровати, Любка предупредила, но уже таинственно, отвечающим моменту шопотом:

— Смотрите, не попадите в масло...

Она стала так, чтобы удобнее было лечь, чтобы купцу можно было повалить ее. И у него сразу отнялись ноги от ее шопота. Она еще что-то шептала, ласково, с дрожью в голосе, но он уже не слушал,— он, охватив и прижимая к себе ее тяжелое тело, толкал ее к кровати все ближе, пока икры ее не уперлись в нее, пока кровать не пришлась под самые ее колени. И тут Любка, дотеле слабо сопротивлявшаяся, безмолвно повалилась. Она чувствовала боль от давления часов, цепочки, одной рукой разглаживала густую мягкую бороду, а другой крепко держала за указательный палец с большим золотым перстнем. Она чувствовала вступающую в тело сладкую муку, волны истомной силы, и, как бы сердясь, стала перекусывать волосы бороды, закрывавшей ее рот. Обеими руками охватила она и крепко прижала к себе бычью, сморщенную шею, лохматую голову... Но голова эта вдруг поползла из-под рук вниз, телу Любки стало легко, а ногам больно от тяжести. Она приподнялась. Купец грузно сел на пол, захрипел и упал навзничь, мягко стукнувшись затылком. Она вскочила и кинулась поднимать его. Но он дышал, как умирающий, хрипя и свистя горлом, тело его с высоким, раздувающимся животом, было огромно и тяжело, как мертвое. И страх холодом облил ее голову.

Задрожавшими руками она стала срывать с пуговиц ворот его фланелевой рубахи, расстегнула пояс с серебряным набором. Потом схватила подушку с кровати и бросила ее на пол. Побежала в прихожую, зажгла огарок, сунула полотенце в ведро с водой и вернулась, освещая в коридоре во все стороны кинувшихся крыс. Поставив огарок на кровать, она накрыла полотенцем лоб и закотившиеся глаза купца, с ужасом глядя на его горой лежащее тело, на распахнутые полы полушубка и на белое полотенце на сизом лице с задранной сверху черной бородой. И вдруг, как гром, раздался стук двери. И, вскинув глаза, Любка окаменела, увидав над собой солдата, показавшегося ей чуть не до потолка ростом. Правой рукой, отведенной назад, он сжимал топор. Сделав к Любке шаг, он быстро перехватил его рукоятку, но еще быстрее, ловя последнюю секунду, она твердым голосом приковала его к месту:

— Мой грех, — быстро сказала она. — Добивай скорее. Богаты будем. Скажем, что его удар расшиб. Скорее!

Игнат глянул на ее сразу похудевшее, обрезавшееся лицо, на расширенные и неподвижные черные глаза, красную кофту и засученные смуглые полные руки — и со всего размаху ударил обухом в мокрое полотенце.

## VI

При третьих петухах в людской уже горела лампа и топилась печь. Кухарка, сладко зевая, сидела против нее на лавке, грелась и, не моргая, смотрела на жаркое разноцветное пламя, окликаая спавшего на печи Федьку, работника купца, которому было приказано запрягать пораньше. Он, заспанный, мордастый, с бельмом на глазу, слез с печи, зачерпнул из кадки корец ледяной воды, умылся одной рукой, разодрал кухаркиным деревянным гребнем свои сбитые густые волосы, покрестился в угол, откашливаясь, залез за стол, съел чугунич горячих картошек, насыпав кучку соли на доску стола и отрезав огромный ломоть хлеба, потом ладно оделся, очень туго и низко подпоясался, закурил и бодро, повизгивая по морозному утреннему снегу нагольными, твердыми, как дерево, и рыжими от снега сапогами, мотая закопченным фонарем, в котором горел сальный огарок, пошел запрягать.

Допевали петухи, ночь мешалась с днем. Из неопределенного рассветного сумрака с утренней определенностью выступали предметы. Снег на дворе, на крышах становился бледно-бел, чуть синев. Бледнело, расширялось небо за садом, за сквозными деревьями. Воздух был чист и остер, как эфир. В густой зеленой хвое морозно-неподвижного палисадника возились проснувшиеся галки. А на западе еще чувствовалась

ночь, ее тайна. Мертво блестел невысокий месяц на сумрачном горизонте, на синеватом небосклоне за снежной долиной реки. Отворив ворота сарая и поставив фонарь на старый тяжелый фатон, загаженный курами и покрытый замерзшей еще с осени грязью, Федька взялся за холодные оглобли маленьких крашенных санок и, пятясь, скребя по мерзлой земле железными подрезами, поволок их из темноты за порог, на бледный свет утра. Сняв затем с деревянного колка, вбитого в каменную стену сарая, наборную узду, он пошел по твердому, длинному сугробу, мимо забитых снегом окошек конюшни, к деннику, где стоял тяжелый, мохнатый жеребец купца.

В навозном темном деннике было тепло, хорошо пахло лошадью, ее свежим пометом и недоеденным сеном. Широкий, весь курчавый и седой от инея жеребец, услышав стук двери, повернул голову на свет и легонько заржал. Федька подошел к нему — и он, играя, опустил голову. Федька подвел узду под нее, — он согнул толстую шею в косматой, жесткой гриве еще круче. И, мотая головой, поталкивая лбом в грудь Федьке, в его тугий полушубок, долго не давался вложить удила. Наконец Федька втолкнул их в раздавшиеся желтые зубы, обтер руку, испачканную слюной и пеной, о хвост жеребца, делая сразу два дела — обтирая руку и приглаживая, управляя загнущиеся кверху, зачесавшиеся волосы на холке, — и повел его к водовозке, поить.

С парадного крыльца, из тихого, с мертвыми окнами, занесенного снегом дома вдруг выскочила белая, в коричневых пятнах собака. Отрывисто брехнув, она, как шальная, сделала два круга возле крыльца и опять кинулась в дом. Федька с удивлением поглядел на нее. Но жеребец тянулся к кадке с водой, ударил мордой в лед, покрывший воду, пробил его — и вода слегка задымилась. Жеребец прильнул к ней своими бархатными губами и, посапывая, долго-долго тянул ее; он отрывался, разгрызал льдинки, слегка повернув голову к Федьке, — и Федька ласково, прощрительно посвистывал, глядя на его светлый крупный глаз и светлые капли, падающие с губ.

— Ну, будя, навек все одно не напьешься, — сказал он звучным голосом и повел жеребца к санкам.

Совсем светло стало. В саду, в голых кустах, уже трещали воробьи. Небо за садом помутнело, окрасилось ало-оранжевым. Месяц, краснея, садился за деревней, выделившейся и белевшей крышами на сумрачно-лиловом западе. Заложив жеребца, застегнув вожжи, Федька, не выпуская их из рук, кинулся к сиденью в одну сторону, а жеребец, рванув с места, в другую. На бегу ввалившись в санки, разодрал ему уди-

лами челюсти и на повороте крепко взрезав подрезами рассыпчатый наст, Федька с атласным скрипом перевалился через мягкий, новый сугроб в воротах и помчался в поле, на светлый, веселый восток — погреть лошадь.

И старый, тяжелый жеребец быстро запыхался. Федька, сделав версты полторы, обжегши лицо встречным острым ветром, широко завернул и шагом поехал обратно. Шагом въехал он во двор, направляясь к парадному крыльцу — и вдруг раскрыл глаза и натянул вожжи: кухарка с плачем, исказив бледное при золотистом утреннем свете лицо, бежала от крыльца к людской, а на крыльце сидел человек в серо-рыжей шинели, в башлыке, стояком завязанном вокруг шеи, с обнаженной стриженной головою. Наклоняя ее, он правой рукой сгребал с серого наста возле ступенек свежий, белый снег и прикладывал его к темени.

*Капри. Февраль 1912*

## ЗАХАР ВОРОБЬЕВ

На днях умер Захар Воробьев из Осиновых Дворов.

Он был рыжевато-рус, бородат и настолько выше, крупнее обыкновенных людей, что его можно было показывать. Он и сам чувствовал себя принадлежащим к какой-то иной породе, чем прочие люди, и отчасти так, как взрослый среди детей, держаться с которыми приходится однако на равной ноге. Всю жизнь,— ему было сорок лет,— не покидало его и другое чувство — смутное чувство одиночества: в старину, сказывают, было много таких, как он, да переводится эта порода. «Есть еще один вроде меня,— говорил он порою,— да тот далеко, под Задонском».

Впрочем, настроен он был неизменно превосходно. Здоров на редкость. Сложен отлично. Он был бы даже красив, если бы не бурый загар, не слегка вывороченные нижние веки и не постоянные слезы, стеклом стоявшие в них под большими голубыми глазами. Борода у него была мягкая, густая, чуть волнистая, так и хотелось потрогать ее. Он часто, с ласковостью гиганта, удивленно улыбался и откидывал голову, слегка открывая красную, жаркую пасть, показывая чудесные молодые зубы. И приятный запах шел от него: ржаной запах степняка, смешанный с запахом дегтярных, крепко кованых сапог, с кисловатой вонью дубленого полушубка и мятным ароматом нюхательного табаку: он не курил, а нюхал.

Он вообще был склонен к старине. Ворот его суровой замашной рубахи, всегда чистой, не застегивался, а завязывался маленькой красной ленточкой. На пояске висели медный гребень и медная копаушка. Лет до тридцати пяти носил он лапти. Но подросли сыновья, двор справился, и Захар стал ходить в сапогах. Зимой и лето не снимал он полушубка и шапки. И полушуб-

бок остался после него хороший, совсем новый, зелено-голубые разводы и мелкие нашивки из разноцветного сафьяна на красиво простроченной груди еще не слиняли. Бурый котик, — опушка борта и воротника, — был еще остист и жесток. Любил Захар чистоту и порядок, любил все новое, прочное.

Умер он совсем неожиданно.

Было начало августа. Он только что отмахал порядочный крюк. Из Осиновых Дворов прошел в Красную Пальну, на суд с соседом. Из Пальны сделал верст пятнадцать до города: нужно было побывать у барыни, у которой снимал он землю. Из города приехал по железной дороге в село Шипово и пошел в Осиновые Дворы через Жилое: это еще верст десять. Да не то свалило его.

— Что? — удивленно и царственно-строго сказал бы он своим бархатным басом. — Сорок верст?

И добродушно добавил бы:

— Что ты, малый! Да я их тыщу могу исделать.

Был первый Спас. «Хорошо бы таперь для праздничка выпить маленько», — шутя сказал он в Шипове знакомому, петрищевскому кучеру, проходя по залитому мелом вокзалу, который, как всегда летом, ремонтировали. «Что ж не пьешь? Кстати бы и мне поднес», — ответил кучер. «Не на что, потрачена, и так в грузовом вагоне ехал», — сказал Захар, хотя деньги у него были. Кучер подмигнул приятелю, уряднику Голицыну. Пристрял шиповский мужик, пьяница Алешка. И все четверо вышли из вокзала. Захар и Алешка пошли пешком, кучер сел в тележку, запряженную парой, — он выезжал за Петрищевым, да тот не приехал, — урядник на дрожки-бегунки. И Алешка тотчас затеял спор: может ли Захар выпить в час четверть?

— А с закуской? — спросил Захар, широко шагая по сухой земле, изрезанной колеями, возле высокой кобылы урядника и порой осаживая вниз оглоблю, поправляя косившую упряжь.

— Можешь требовать чего угодно, на полтинник, — сказал кучер, человек недалекий, сумрачный.

— А проспоришь, — прибавил Алешка, оборванный мужик с переломленным носом, — а проспоришь, за все втрое отдашь.

— Нехай будя по-вашему, — снисходительно отозвался Захар, думая о том, чего спросить на закуску.

Он не только не устал от путешествия в Пальну, — где дело кончилось превосходно, миром, — не только не истомился, промучившись в городской жаре двое суток, но даже чувствовал подъем, прилив силы. Ему всем существом своим хотелось сделать что-нибудь из ряда вон выходящее. Да что? Выпить четверть — это не бог вещь какая штука, это не ново... Удивить, оставить в дураках кучера — велик интерес... Но все-таки

на спор пошел он охотно. И, принявшись за еду и питье, сперва наслаждался едой,— есть очень хотелось, каждый кусок был сладок,— потом своим рассказом о суде.

Был жаркий день. Но вокруг села, на просторе желтых полей, покрытых копнами, было уже что-то предосеннее, легкое, ясное. Густая пыль лежала на шиповской площади. Площадь отделяют от села дровяные склады, булочная, винная лавка, почтовое отделение, голубой дом купца Яковлева с палисадником при нем и две лавки его в особом срубе на углу. Возле черной лавки ступеньками навален сосновый тес. Сидя на нем, Захар пил, ел, говорил и смотрел на площадь, на блестящие под солнцем рельсы, на шлагбаум горбатого переезда и на желтое поле за рельсами. Алешка сидел рядом с ним и тоже закусывал — подрукавным хлебом. Урядник — скучный, запыленный человек с подстриженными усами, в обтрепанной шинели с оранжевыми погонями — урядник и кучер курили, один на дрожках, другой в тележке. Лошади дремали, терпеливо ждали, когда прикажут им трогаться. А Захар рассказывал.

— Чем дело-то кончилось? — говорил он. — Да ничем. Помирились. Я этих судов, пропади они пропадом, с отроду не знал, ни с кем не судился. Мне сам батюшка-покойник заказывал эти свары. А тут и сваря-то вышла пустая. Бабы повздорили, а мы сдуру вязались...

Он уже выпил бутылки три — из деревянного корца, который достал на дворе Яковлева Алешка; он делал свое дело столь легко, будучи столь уверенным в себе, что даже не замечал того, что делал. Кучер, урядник и Алешка из всех сил прикидывались спокойными, хотя душа каждого из них горячо молила бога, чтобы Захар упал замертво. А он только расстегнул полушубок, чуть сдвинул шапку со лба, раскраснелся. Он съел две таранки, громадный пук зеленого луку и пять французских хлебов, съел с таким вкусом и толком, что даже противники его дивились ему, и оживленно, чуть насмешливо говорил:

— А на судах этих чудно! Я и итить-то туда не хотел. Слышу — подал прошение. Ну, подал и подал, не замай, а я, мол, не пойду. Только вдруг приезжает в Пальну начальство, присылает за мной сам заседатель. Ах, пропасти на тебя нету! Ничего не поделаешь — надо итить. Взял хлебушка, попер. Жара ужасная, пыль по дороге как пыс, альни итить горячо. Ну, однако, прихожу. Шел дуже поспешно, являюсь...

Держа пустеющую бутылку подмышкой, он цедил в темный корец светлую влагу, наполняя его до краев и, разгладив усы, припадал к ней, пахнувшей остро и сытно, влажными губами; тянул же медленно, с наслаждением, как ключевую воду в жаркий день, а допив до дна, кричал и, перевернув корец, вытряхи-

вал из него последние капельки. Потом осторожно ставил бутылку возле себя. Кучер не спускал с нее своих угрюмых глаз; урядник, уже передвинувший тайком стрелку часов на целую четверть вперед, тревожно переглядывался с Алешкой. А Захар, поставив бутылку, брал две-три стрелки лука, ломая, забивал их в большую деревянную солонку, в крупную серую соль, и пожирал с аппетитным, сочным хрустом. Глаза его налились кровью и слезами, казались страшными. Но он улыбался, грудной бас его был звучен, ласков, приятно-насмешлив.

— Ну, являюсь,— говорил он, прожевывая и раздувая ноздри.— Вижу, на улице везде народ, под лозинкой в холодке сидит заседатель в майском пинжаку, с русской бородкой, на столике книги усякие, бумаги, а рядом,— Захар повел рукой налево,— урядник что-й-то записывает красным осьмигранным карандашиком. Вызывают хрестьянина Семена Галкина, обуховского. «Семен Галкин!» — «Здесь».— «Поди сюда». Подходит; начинают допрашивать. А он на урядника и не глядит, достает грушу из кармана, стоит, ест. Урядник приказывает: «Кинь грушу!» Он не слушается, доедает...

— По морде бы его этой грушой,— сказал кучер.

— Верно! — подтвердил Захар, разламывая седьмую, последнюю булку.— Стоит и лопает! Обращается заседатель к уряднику. «Вот, говорит, господин урядник, этот самый хрестьянин Семен Галкин, когда я прошлый раз с описью приезжал, отказался платить по исполнительному листу сорок восемь рублей восемь гривен, а когда я хотел описать какой есть его лесишко и анбар, то, говорит, этот самый Галкин со своими дружьями, двумя братьями Иваном и Богданом, сели на деревья, на бревна эти возле избе, и не дозволили мне свершить опись. А когда я взошел к нему в избу, то он будто невзначай спросил у своей жане, где тут у нас безмен, что было сказано про меня, и я это принял на свой счет, а Богдан тем временем подошел к окну и с косой на плече, когда косить ему нечего было, все давно скошено. А как я был один, то принужден был удалиться. Вот извольте спросить его жану Катерину и мать Феклу и показания от ней занести в протокол. А еще в опросный лист занесите показанье церковного старости, хрестьянина Федота Леонова. А еще, что сельский староста Герасим Савельев в энтог день пропал без вести и на мои требования не явился, а когда я уходил от Галкина к Митрию Овчинникову, иде был мой мерин, и проходил мимо его избе, то он притравил меня кобелем, а сам спрятался за ворота, что я заметил очень хорошо, и посвистывал, да слава богу, так случилось, что кобель меня не поранил, хоть кидался прямо на грудь, сигал как бешеный, все благодаря Митрию, который выскочил с кнутом и тем меня оградил...»



Захар, увлекаясь ладностью своего рассказа, точно прочитал последние слова. Без передышки, звучно и твердо передавая заявление заседателя, он хотел было продолжать, но Алешка не вытерпел и крикнул:

— Потом доскажешь! Пей! Урядник, глянь-ка на часы-то.

— Успеется, успеется,— ответил урядник и подмигнул Алешке.

Но не заметил этого Захар.

— Да не гамазись ты, чорт курносый! — гаркнул он добродушно.— Дай доказать-то! Я свою время знаю,— выпью, не бойся!

Ноги его твердо стояли на краешках кованных каблуков,— он с гордостью выставил сапоги и порою без нужды подтягивал голенища,— лицо было красно, но еще не пьяно. Преувеличенно-низко раскланявшись с мужиком, проехавшим мимо в пустой телеге и внимательно оглядевшим его, он шумно, через ноздри дохнул, взял обеими руками борты жаркого полушубка, двинул ворот назад и продолжал, наслаждаясь яркостью картины, занявшей его воображение, игрой своего ума.

— «Катерина Галкина!» — громко, грудью говорил он, избражая всех в лицах.— «К допросу. Подойди поближе!» Подходит.— «Слышала, что господин заседатель сказали?» — «Слышала...» А сама плачет, заикается, ничего толком рассказать не может. «Правда ли, что твой муж безмен про господина заседателя упомянул?» — «Я, говорит, этого ничего знать не могу. Хотел муж осты вешать». — «Значит, ты от этого отказываешься?» — «Ничего про эти дела не знаю. Федька всему первый полководец. Его опросите,— и дело к развязке, и греха меньше...» Кличут сейчас старуху Феклу. А старуха сухоногая, дерзкая, отвечает — ноздри рвет. «Имушество, говорит, моя, за сына я не плательшица, по правам покойного мужа всем владаю, а у сына ничего нету, одни портки». — «А сын-то чей же?» — «Мой». — «А раз сын твой, и толковать нечего, за неплатеж имушество отвечает. Ступай, не разговаривай, а за дерзкий ответ посажу тебя в арестанку на двое суток на хлеб, на-воду...» Угомонил, значит, старуху. Вспрашивает, где церковный титор Федот Леонов? Подходит дочь его Винадорка. — «Иде отец?» — «В клетки, после обеда отдыхает». — «Беги, зови его суда. Скажи, начальство требует...» А он через двор живет...

— Близо, значит? — перебил урядник и быстро переглянулся с Алешкой и кучером.— Так, так... Ну, доказывай, доказывай. Ты, брат, на удивление горазд рассказывать!

Он говорил что попало, лишь бы отвлечь внимание Захара,— он, вынув часы и спрятав их между коленями, передвигал стрелку еще на десять минут вперед. И Захар, с просиявшим

от похвалы лицом, еще шумнее выдохнул воздух, мотнул головой, отсаживая горячий густой мех полущубка от лопаток, и загудел еще выразительнее:

— Верно! Слухай же, не перебивай, а то осерчаю... Вижу, лезет из низкой клетки приземистый старик... Идет через дорожку в избу — без шапки, в розовой новой рубахе распояской, и ворот от жары расстегнул. А из избе выходит в новой теплой поддевке, подпоясан зеленой подпояской, шапку в руках несет. Подходит. Волосы густые, седые, разложены вроде как рожки у барана, на обе стороны. С урядником, с заседателем — за ручку. (Богатый, видать, старик.) Пошушукался чтой-то с ними, показывает на Сеньку. Потом вынимает большой гаман кожаный, стал отсчитывать трехрублевки обмороженными култышками... Потом Винадорку кличет. Приказывает самовар ставить, зовет к себе урядника и заседателя чай пить: «Приходите мою охоту посмотреть, пчел моих, и какую я себе посуду завел. А еще кобылку мою гляньте. Ну, ясна, светла,— вся писаная, в яблоках!» — Смеется, морщится, гнилые корешки в красном роте показывает... «Не посмотреть, говорит, нельзя, того лошадиный закон требует. А может, и сторгуемся, про что говорили-то...» И опять смеется, сипит, как змей. Пошел к избе, заскребает пыль сапогом по дороге — хворсит...

— Форсит-то, форсит,— опять перебил урядник, вынимая часы,— а ведь пять минут всего осталось. Тебе теперь одним духом надо допивать.

Лицо Захара сразу изменилось.

— Как? — строго крикнул он.— Да ты брешешь! Ужли цельный час прошел?

— Прошел, брат, прошел! — подхватили кучер и Алешка.— Допивай, допивай!

Захардохнул, как кузнечный мех, и закрыл глаза.

— Стойте! — сказал он.— Это неладно. Вы меня обмощеничали. Дайте еще сроку полчас. Главная вещь, я сопрел весь. Жара! Август. Чорт с вами, я вам лучше сам бутылку поставлю. А вы мне сроку накиньте... Ну, хоть доказать только дайте про этот самый суд! — попросил он сумрачно.

— Ага! Покаялся! — крикнул кучер насмешливо.— Жидок на расправу!

Захар остановил на нем кровавый, тяжелый взгляд. Потом, ни слова не говоря, взял бутылку за горло, до дна опорожнил ее, с краями наполнив корец, и до дна высосал его. И, слегка задохнувшись, грубо сказал:

— Ну? Сыт ты, ай нет?.. А теперь — буду доказывать! — с упрямством хмелеющего человека сказал он.— Вот ты и глянешь, напоил ты мне, али у тебе и потрохов не хватит на это...

И вдруг опять повеселели страшные глаза его, лицо опять стало важным и добродушным.

— Таперь вы обязаны слухать! — всей грудью сказал он и продолжал, но уже не так складно и хорошо: — Опосля этого вызывают знахаря, Василь Иванова. Этот совсем худой, в поддевке серой, виски вроде пеньки и борода клинушком. И еще пуще старика моршится, — не то от солнца, не то от хитрости... шат его знает. Этот, выходит, старуху опоил. Давал ей лекарству какую-то, — бывает, велел пить по маленькому стаканчику, а она и возмись глушить его большими стаканáми... Вызывают его. «Как тебя зовут?» — «Был Василий». — «Кто тебе дал праву лечить, мерзавец?» А у них уж раньше, конечно, был сговор: Васька, небось, уж сунул им. Ну, а при народе, известно, надо же для близиру поорать. Вспрашивал, спрашивал, потом опять как закричит на него: «Скройся из глаз моих в осинник!» Тот будто и испужался: шапку поскорее на голову — и шмыг, шмыг в осинник... Так, значит, дело и затерли. Погляделся урядник в зеркальцо, поправил саблю, сложил свои бумаги... «Ну, говорит, идем, что ль, к старику-то? Очень мне хочется, чтоб мерин еще отдохнул». — «А сколько сейчас время?» Вынул урядник новые часы, селебряные, глянул: «Тридцать восемь первого». — «Ну, пойдемте, надо его охоту посмотреть, старик добре гордится». Поднялись, пошли чай пить. А мужики остались, расселись, как вороны, на срубленных деревьях возле избе, подняли гам. Иные говорят, что не надо до продажи допускать, иные — что нельзя начальство обижать. Пуще всех какой-то худой мужик орет, срезался со стариком одним. Мужик кричит, что плохо у нас жить, по чужим странам лучше, киргизу и то способней, — у того, по крайности, степя аграмазные... А старик кричит, — у нас лучше...

Ему казалось, что он мог бы говорить без конца и все занятнее, все лучше, но, послушав его, убедившись, что дело пропало, свелось только на то, что Захар опил, обьел их да еще без умолку рассказывает чепуху, кучер и урядник тронули лошадей и уехали, оборвав его на полуслове. Алешка посидел немного, поподдакивал, выпросил четыре копейки на табак и ушел на станцию. И Захар, совершенно неудовлетворенный ни количеством выпитого, ни собеседниками, остался один. Повздыхал, помотал головой, отодвигая ворот полушубка, и, чувствуя еще больший, чем прежде, прилив сил и неопределенных желаний, поднялся, зашел в винную лавку, купил бутылку и зашагал по переулку вон из села, пошел по пыльной дороге в открытое поле, в необозримом пространстве неба и желтых полей. Солнце опускалось, но еще пекло. Полушубок Захара блестел. Направо от него падала на золотистое пересохшее жнивье большая тень с сиянием вокруг головы. Сдвинув горячую шапку на

затылок, заложив руки назад, под полушубок, Захар твердо ступал по твердой под слоем пыли земле, не мигая, как орел, смотрел то на солнце, то на широко раскрывшийся после косябы степной простор, похожий на простор песчаной пустыни, на раскинутые по нем несметные копны, похожие вдали на гусениц, — и по горизонтам, по копнам мелькали перед его кровавыми, слезящимися глазами несметные круги — малиновые, фиолетовые и малахитовые. «А все-таки я пьян!» — думал он, чувствуя, как замирает и бьет в голову сердце. Но это ничуть не мешало ему надеяться, что еще будет нынче что-то необыкновенное. Он останавливался, пил и закрывал глаза. Ах, хорошо! Хорошо жить, но только непременно надо сделать что-нибудь удивительное! И опять широко озирает горизонты. Он смотрел на небо — и вся душа его, и насмешливая и наивная, полна была жажды подвига. Человек он особенный, он твердо знал это, но что путного сделал он на своем веку, в чем проявил свои силы? Да ни в чем, ни в чем! Старуху пронес однажды на руках верст пять... Да об этом даже и толковать смешно: он мог бы десяток таких старух донести куда угодно.

Воображение его, жадное во хмелю до картин, требовало работы. Он шагал все шире, твердо решив не дать солнцу обогнать себя, — дойти до Жилова раньше, чем оно сядет, — и думал, думал... Бутылка подходила к концу. И он чувствовал, что необходимо выпить еще маленько — у хромого мещанина, сидельца в Жильской винной лавке, на большой дороге. Солнце опускалось; на смену ему поднимался с востока полный месяц, бледный, как облачко, на ровной сухой синеве небосклона. Чуть уловимый, по-вечернему душистый дымок тянул откуда-то в остывающем воздухе; оранжево краснели лучи, сыпавшиеся слева по колкому сквозному жнивью, краснела пыль, поднимаемая сапогами Захара; от каждой копны, от каждой татарки, от каждой былинки тянулась тень. «Да нет, шалишь, не обгонишь!» — думал Захар, поглядывая на солнце, вытирая пот со лба и вспоминая то битюга-жеребца, которого за передние ноги поднял он однажды на ярмарке, заспорив о силе с мещанами, то литой чугунный привод, который выволок он прошлым летом из риги на гумне барина Хомутова, то эту нищую старуху, которую ташил он на руках, не обращая внимания на ее страх и мольбы отпустить душу на покаяние. Остановясь, раздвинув ноги, от которых столбами пала тень на жнивье, Захар вынул из глубокого кармана полушубка бутылку, глянул на нее против солнца и весело ухмыльнулся, увидав, что и бутылка и водка в ней зарозовели. Закинув голову, он вылил водку в разинутый рот, не касаясь бутылки губами, и хотел было запустить ее выше самого высокого, самого легкого дымчатого облачка в глубине неба. Но, подумав, удержался: и так израс-

ходовался! — сунул бутылку в карман и опять зашагал, с удовольствием вспоминая старуху.

«Ах, расчудесная была старуха!» — думал он, глядя то на солнце, то на сереющие за дальними копнами избы. — Шел он недавно по паровому полю. Глядь, лежит на сухой навозной куче старуха-побирушка и стонет. Был он порядочно выпивши, и, как всегда во хмелю, жадно искала душа его подвига — все равно, доброго или злого... даже, пожалуй, скорей доброго, чем злого. «Бабка! — крикнул он, быстро подходя к старухе. — Ай помираешь? Ай убил кто? Чем перед кем провинилась?» Старуха, — она была вся в лохмотьях, бледное лицо ее было в запекшейся крови, глаза закрыты, — зашевелилась и застонала. «Да что ж ты молчишь?» — гаркнул Захар грозно. — Раз тебе спрашивают, можешь ты мне не отвечать? Значит, так и будешь лежать? Скотину скоро погонят — баран завалает, замучает... Вставай сию минуту!» Старуха вдруг заголосила, взглянув на него, огромного и страшного. «Батюшка, не трожь меня! Меня и так бык закатал. Пожалей меня, несчастную!» — «Не могу я тебя пожалеть! — еще грознее заорал Захар, почувствовав вдруг жалость и нежность к старухе. — Вставай, говорят тебе!» Старуха приподнялась и тотчас же опять упала и заголосила еще пуще. Тогда, не помня себя от жалости, Захар сгреб ее в охапку и почти бегом помчал к селу. Старуха, обхватив обеими руками его воловью шею, задыхаясь от запаха водки, исходившего от него, тряслась на бегу, а он, боясь заплакать, быстро бормотал, стараясь, сколь возможно, смягчить свой бас: «Да что ты? Ай очумела? Чего боишься? Молчи, — говорю тебе, молчи, ни об ком не думай! Обо всем забудь!» — «Не могу, батюшка! — отвечала старуха. — Никакого счастья не вижу себе, одна во всем свете, ни напитоков ни наедков сладких отроду не видала...» — «А я тебе говорю, не голоси! — говорил Захар. — Всякий свою стежку топч! У всякого своя печаль! Копти! — гаркнул он на все поле, ощутив внезапный прилив бурной радости. — Ешь солому, а хворсу не теряй! Сейчас за мое почтение доставлю тебя на хватеру! А за быка за этого тебя драть надо. Чего шатаешься, скитаешься? Зачем к стаду лезла? Тебе надо округ баб находиться. С ними ты можешь разговор поддержать. А бык, он, брат, не помилует!» — «Ох, стой, — застонала старуха, уже смеясь сквозь слезы. — Всю душу вытряс...» И Захар заорал еще грозней: «Бабка, молчи! А то вот шарахну тебя в ров — костей не соберешь!» И захохотал, раскрывая пасть, раскачивая старуху и делая вид, что хочет со всякого размаху пустить ее с косогора...

Спина его была мокра, лицо сизо от прилива крови и потно, сердце молотами било в голову, когда, гордо глянув на мутно-малиновый шар, еще не успевший коснуться горизонта, быстро

вошел он в Жилое. Было мертвенно-тихо. Нигде ни единой души. Ровная бледная синева вечернего неба надо всем. Далекий лесок, темнеющий в конце ложины. Над ним полный, уже испускающий сияние месяц. Длинный, голый зеленый выгон и ряд изб вдоль него. Три огромных зеркальных пруда, а между ними две широких навозных плотины с голыми, сухими ветлами — толстыми стволами и тонкими прутьями сучьев. На другом боку другой ряд изб. И так четко все в этот короткий час между днем и ночью: и контуры серых крыш, и зелень выгона, и сталь прудов. Один, слева, чуть розовеет, прочие — две зеркальных бездны, в которых точно влиты отраженный месяц и каждый ствол, каждый сучок.

— Фу, пропасти на вас нету! — шумно вздохнул Захар, приостанавливаясь. — Как подошли все!

Ему захотелось рывкнуть так, чтобы в ужасе высыпал на выгоны весь этот мелкий народишко, спрятанный по избам. «Да нет, нет, — подумал он, мотая головой, — ошалел я, пьян... Непристойно думаю, неладно... Домой надо поскорей... Домой...»

И вдруг почувствовал такую тяжкую, такую смертельную тоску, смешанную со злобой, что даже закрыл глаза. Лицо его стало котельного цвета, отделилось от русой бороды, уши вспухли от прилива крови. Как только закрылись его глаза, так сейчас же запрыгали во тьме перед ним тысячи малахитовых и багряных кругов, а сердце замерло, оборвалось — и все тело мягко ухнуло куда-то в пропасть. Ах, домой бы теперь, да в ригу, да в солому! Но, постояв, Захар открыл глаза и, вместо того, чтобы свернуть влево, на Осиновые Дворы, упорно зашагал, перейдя плотину, на большую дорогу, к винной лавке.

О, какая тоска была на этой пустынной, бесконечной дороге, в этих бледных равнинах за нею, в этот молчаливый степной вечер! Но Захар всеми силами противился тоске, говорил без умолку, пил все жаднее, чтобы переломить ее и наказать этого курчаво-рыжего, со стоячими белыми глазами хромого мешанина, подло и радостно засуетившегося, когда Захар предложил ему поспорить: может он, Захар, выпить еще две бутылки, или нет? Винная лавка, вымазанная мелом, странно белела против блеклой синевы восточного небосклона, на котором все прозрачнее и светонеснее делался круг месяца. Возле лавки стоял столик и скамейка. Мещанин, в ситцевой рубахе и обтертых докрасна опойковых сапогах, торчал возле стола, осев на одну ногу и касаясь земли носком другой, — безобразной, с высоким подъемом, с большим каблуком, — выставив костреч, и, как обезьяна, с необыкновенной ловкостью и быстротой грыз подсолнухи, не спуская своих белым с Захара. А Захар, поднимая

грудь, сжимая зубы, стискивая, точно железными клещами, своими огромными пальцами край стола, облизывая сохнувшие губы, обрывая каждое слово бурным вздохом, плохо соображая, что он говорит, поминутно проваливаясь в какую-то черную пропасть, спешил, спешил досказать, как он нес старуху...

И вдруг, размахнувшись всем туловищем, быстро встал, далеко отшвырнул ногой стол вместе с зазвеневшей бутылкой и граненым стаканом и хрипло сказал:

— Слухай! Ты!

И мещанин, уже разинувший было рот, чтобы крикнуть на Захара за бесчинство, взглянув на его бело-сизое лицо, онемел. А Захар, собрав последние силы, не дав сердцу разорваться прежде, чем он скажет, твердо договорил:

— Слухай. Я помираю. Шабаш. Не хочу тебя под беду подводить. Я отойду. Отойду.

И твердо пошел на середину большой дороги. И, дойдя до середины, согнул колени — и тяжело, как бык, рухнул на спину, раскинув руки.

Эта лунная августовская ночь была жутка. Отовсюду бесшумно бежали бабы и ребятишки к кабаку; сдержанно и тревожно переговариваясь, шли мужики. Лунный свет прозрачным дымом стоял над сухими жнивьями. А среди большой дороги белело и блестело что-то огромное, страшное: кто-то покрыл коленкором мертвое тело. И босые бабы, быстро и бесшумно подходя, крестились и робко клали медяки в его возглавии.

*Капри. 2. 1912*

# СТИХОТВОРЕНИЯ

1903 — 1911





### ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

Свой дикий чум среди снегов и льда  
Воздвигла Смерть. Над чумом — ночь полгода.  
И бледная Полярная звезда  
Горит недвижно в бездне небосвода.

Вглядишься в туманный призрак. Это Смерть.  
Она сидит близ чума, устремила  
Незрячий взор в полуночную твердь —  
И навсегда Звезда над ней застыла.

1904

\* \* \*

Набегают впотьмах  
И узорною пеною светится  
И лазурным сиянием реет у скал на песке...  
О божественный отблеск незримого —  
жизни, мерцающей  
В мирадах незримых существ!

Ночь была бы темна,  
Но все море насыщено тонкою  
Пылью света, и звезды над морем горят.  
В полусвете все видно: и рифы, и взморье зеркальное,  
И обрывы прибрежных холмов.

В полусвете ночном  
Под обрывами волны качаются —  
Переполнено зыбкое, звездное зеркало волн!

Но, колеблясь упруго, лишь изредка складки тяжелые  
Набегают на влажный песок.

И тогда, фосфорясь,  
Загораясь мистическим пламенем,  
Рассыпаясь по гравию кипенью бледных огней,  
Море светит сквозь сумрак таинственно, тонко и  
трепетно,  
Озаряя песчаное дно.

И тогда вся душа  
У меня загорается радостью:  
Я в пригоршни ловлю закипевшую пену волны —  
И сквозь пальцы течет не вода, а сапфиры,—  
несметные  
Искры синего пламени, Жизнь!  
1904

\* \* \*

Норд-остом жгут пылающие зори.  
Острой горит Вечерняя звезда.  
Зеленое взволнованное море  
Еще огромней, чем всегда.

Закат в огне, звезда дрожит алмазом.  
Нет, рыбаки воротятся не все!  
Ледяно-белым, страшным глазом  
Маяк сверкает на косе.

25.8.03

\* \* \*

На окне, серебряном от инея,  
За ночь хризантемы расцвели.  
В верхних стеклах — небо яркосинее  
И застреха в снеговой пыли.

Всходит солнце, бодрое от холода,  
Золотится отблеском окно.  
Утро тихо, радостно и молодо.  
Белым снегом все запушено.

И все утро яркие и чистые  
Буду видеть краски в вышине,  
И до полдня будут серебристые  
Хризантемы на моем окне.

8.03

### ЖАСМИН

Цветет жасмин. Зеленой чашей  
Иду над Тереком с утра.  
Вдали, меж гор — простой, блестящий  
И четкий конус серебра.

Река шумит, вся в искрах света,  
Жасмином пахнет жаркий лес.  
А там, вверху — зима и лето:  
Январский снег и синь небес.

Лес замирает, млеет в зное;  
Но тем пышней цветет жасмин.  
В лазури яркой — неземное  
Великолепие вершин.

6.04

### САПСАН

В полях, далеко от усадьбы,  
Зимует просяной омет.  
Там табунятся волчьи свадьбы,  
Там клочья шерсти и помет.  
Воловьѣ ребра у дороги  
Торчат в снегу — и спал на них  
Сапсан, стервятник космоногий,  
Готовый взвиться каждый миг.

Я застрелил его. А это  
Грозит бедой. И вот ко мне  
Стал гость ходить. Он до рассвета  
Вкруг дома бродит при луне.  
Я не видал его. Я слышал  
Лишь хруст шагов. Но спать невмочь.  
На третью ночь я в поле вышел...  
О, как была печальна ночь!

Когтистый след в снегу глубоко  
В глухие степи вел с гумна.  
На небе мгlistом и высоком  
Плыла холодная луна.  
За валом, над привадой в яме,  
Серó маячила ветла.  
Даль над пустынными полями  
Была таинственно-светла.

Облитый этим странным светом,  
Подавлен мертвой тишиной,  
Я стал — и бледным силуэтом  
Упала тень моя за мной.  
По небесам, в туманной мути,  
Сияя, лунный лик нырял  
И серебристым блеском ртуги  
Слюду по насту озарял.

Кто был он, этот полуночный  
Незримый гость? Откуда он  
Ко мне приходит в час урочный  
Через сугробы под балкон?  
Иль он узнал, что я тоскую,  
Что я один? что в дом ко мне  
Лишь снег да небо в ночь немую  
Глядят из сада при луне?

Быть может, он сегодня слышал,  
Как я, покинув кабинет,  
По темной спальне в залу вышел,  
Где в сумраке мерцал паркет,  
Где в окнах небеса синели,  
А в этой сини четко встал  
Черно-зеленый конус ели  
И острый Сириус блистал?

Теперь луна была в зените,  
На небе плыл густой туман...  
Я ждал его,— я шел к раките  
По насту снеговых полян,  
И если б враг мой от привады  
Внезапно прынул на сугроб,  
Я б из винтовки без пощады  
Пробил его широкий лоб.

Но он не шел. Луна скрывалась,  
Луна сияла сквозь туман,

Бежала мгла... И мне казалось,  
Что на снегу сидит Сапсан.  
Морозный иней, как алмазы,  
Сверкал на нем, а он дремал,  
Седой, зобастый, круглоглазый,  
И в крылья голову вжимал.

И был он страшен, непонятен,  
Таинственен, как этот бег  
Туманной мглы и светлых пятен,  
Порою озарявших снег,—  
Как воплотившаяся сила  
Той Воли, что в полночный час  
Нас страхом всех соединила —  
И сделала врагами нас.

*9.1.05*

### ИНЕИ

Леса в жемчужном инее. Морозно.  
Поет из телеграфного столба.  
То весело, то жалобно, то грозно  
Звонящим гулом темная судьба.

Молчит и внемлет белая долина.  
И все победней, ярче и пышней  
Горит, дрожит и блещет хвост павлина  
Стоцветными алмазами над ней.

*21.2.07.*

### РУССКАЯ ВЕСНА

Скучно в лощинах березам,  
Туманная муть на полях,  
Конским размокшим навозом  
В тумане чернеется шлях.

В сонной степной деревушке  
Пахучие хлебы пекут.  
Медленно две побирушки  
По деревушке бредут.

Там, среди улицы, лужи,  
Зола и весенняя грязь,  
В избах угар, а снаружи  
Завалинки тлеют, дымясь.

Жмурясь, сидит у амбара  
Овчарка на ржавой цепи.  
В избах — темно от угара,  
Туманно и тихо — в степи.

Только петух беззаботно  
Весну воспевает весь день.  
В поле тепло и дремотно,  
А в сердце счастливая лень.

*10.1.05*

### ОДИНОЧЕСТВО

И ветер, и дождик, и мгла  
Над холодной пустыней воды.  
Здесь жизнь до весны умерла,  
До весны опустели сады.  
Я на даче один. Мне темно  
За мольбертом, и дует в окно.

Вчера ты была у меня,  
Но тебе уж тоскливо со мной.  
Под вечер ненастного дня  
Ты мне стала казаться женой...  
Что ж, прощай! Как-нибудь до весны  
Проживу и один — без жены...

Сегодня идут без конца  
Те же тучи — гряда за грядой.  
Твой след под дождем у крыльца  
Расплылся, налился водой.  
И мне больно глядеть одному  
В предвечернюю серую тьму.

Мне крикнуть хотелось вослед:  
«Воротись, я сроднился с тобой!»

Но для женщины прошлого нет:  
Разлюбила — и стал ей чужой.  
Что ж! Камин затоплю, буду пить...  
Хорошо бы собаку купить.

### ПОСЛЕ БИТВЫ

Воткнув копье, он сбросил шлем и лег.  
Курган был жесткий, выбитый. Кольчуга  
Колола грудь, а спину полдень жег...  
Осенней сушью жарко дуло с юга.

И умер он. Окостенел, застыл,  
Припав к земле тяжелой головою.  
И ветер волосами шевелил,  
Как ковылем, как мертвою травой.

И муравьи закопошились в них...  
Но равнодушно все вокруг молчало,  
И далеко среди полей нагих  
Копье, в курган воткнутое, торчало.

*31 8.03*

### ПОРТРЕТ

Погост, часовенка над склепом,  
Венки, лампадки, образа  
И в раме, перевитой крепом,—  
Большие ясные глаза.

Сквозь пыль на стеклах, жарким светом  
Внутри часовенка горит.  
«Зачем я в склепе в полдень, летом?» —  
Незримый кто-то говорит.

Кокетливо-проста прическа  
И пелеринка на плечах...  
А тут повсюду — капли воска  
И банты крепа на свечах.



Венки, лампадки, пахнет тленьем...  
И только этот милый взор  
Глядит с веселым изумленьем  
На этот погребальный вздор.

<Март 1903>

### НЕВОЛЬНИК

Песок, серебристый и горячий,  
Вожу я к морю на волах,  
Чтоб усыпать дорожки к даче,  
Как снег, белеющей в скалах.

И скучно мне. Все то же, то же:  
Волы, скрипучий трудный путь,  
Иссохшее речное ложе,  
Песок, сверкающий, как ртуть.

И клонит голову дремота.  
И мнится, что уж много лет  
Я вижу кожу бегемота —  
Горы морщинистый хребет,

И моря синий треугольник,  
И к морю длинный след колес...  
Я покорился. Я, невольник,  
Живу лишь сонным ядом грез.

### МИРА

Тебя зовут божественною, Мира,  
Царицею в созвездии Кита.  
Таинственна, как талисманы Пирра,  
Твоей недолгой жизни красота.

Ты, как слеза, прозрачна и чиста,  
Ты, как рубин, блестяшь среди эфира,  
Но не за блеск и дивные цвета  
Тебя зовут божественною, Мира.

Ты в сонме звезд, среди ночных огней  
Нежнее всех. Не ты одна играешь,  
Как самоцвет: есть ярче и пышней.

Но ты живешь. Ты меркнешь, умираешь —  
И вновь горишь. Как феникс древних дней,  
Чтоб возродиться к жизни — ты сгораешь.

<1903>

\* \* \*

Там, на припеке, спят рыбацкие ковши;  
Там низко над водой склоняются кистями  
Темнозеленые густые камыши;  
Полдневный ветерок змеистыми струями

Порой зашелестит в их потайной глуши,  
Да чайка вдруг блеснет серебристыми крылами  
С плаксивым взгласом тоскующей души —  
И снова плавни спят, сияя зеркалами.

Над тонким их стеклом, где тонет небосвод,  
Нередко облако восходит и глядится  
Блистающим столбом в зеркальный сон болот —

И как светло тогда в бездонной чаше вод!  
Как детски верится, что в бездне их таится  
Какой-то дивный мир, что только в детстве снится!

1903

\* \* \*

В гостиную, сквозь сад и пыльные гардины,  
Струится из окна веселый летний свет,  
Хрустальным золотом ложась на клавишины,  
На ветхие ковры и выцветший паркет.

Вкруг дома глушь и дичь. Там клены и осины,  
Приюты горлинок, шиповник, бересклет...  
А в доме рухлядь, тлен: повсюду паутины,  
Все двери заперты... И так уж много лет.

В глубокой тишине, таинственно сверкая,  
Как мелкий перламутр, беззвучно моль плывет.

По стеклам радужным, как бархатка сухая,  
Тревожно бабочка лиловая снует.

Но фортки нет в окне, и рама в нем — глухая.  
Тут даже моль недолго наживет!

29.7.05

### ПЕРЕКРЕСТОК

Я долго в сумеречном свете  
Шел одиноко на закат.  
Но тьма росла — и с перекрестка  
Я тихо повернул назад.

Чуть брезжил полусвет заката.  
Но после света как мертва,  
Как величава и угрюма  
Ночного неба синева!

И бледны, бледны звезды в небе...  
И долго быть мне в темноте,  
Пока они теплей и ярче  
Не засияют в высоте.

1904

\* \* \*

Обрыв Яйлы. Как руки фурий,  
Торчит над бездною из скал  
Колючий, искривленный бурей,  
Сухой и звонкий астрагал.

И на заре седой орленок  
Шипит в гнезде, как василиск,  
Завидев за морем спросонок  
В тумане сизом красный диск.

1903

\* \* \*

Луна еще прозрачна и бледна.  
Но розовеет пепел небосклона  
И золотится берег. Уж видна  
Тень кипариса у балкона.

Пойдем к обрывам. Млеющей волной  
Вода переливается. И вскоре  
Из края в край под золотой луной  
Затеплится и засияет море.

Ночь будет ясная, веселая. Вдали,  
На рейде, две турецких бригантины.  
Вот поднимают парус. Вот зажгли  
Сигналы — изумруды и рубины.

Но ветра нет. И будут до зари  
Они дремать и медленно качаться,  
И будут в лунном свете фонари  
Глазами утомленными казаться.

1906

\* \* \*

Черные ели и сосны сквозят в палисаднике темном:  
В черном узоре ветвей — месяца рог золотой.

Слышу поют петухи. Узнаю по напевам печальным  
Поздний, таинственный час. Выйду на снег, на крыльцо.

Замерло все и застыло, лучатся жестокие звезды,  
Но до костей я готов в легком промерзнуть меху,

Только бы видеть тебя, умирающий в золоте месяц,  
Золотом блещущий снег, легкие тени берез

И самоцветы небес: янтарно-зеленый Юпитер,  
Сириус, дерзкий сапфир, синим горящий огнем,

Альдебарана рубин, алмазную цепь Ориона  
И уходящий в моря призрак серебристый — Арго.

1905

### МОРОЗ

Так ярко звезд горит узор,  
Так ясно Млечный Путь струится,  
Что занесенный снегом двор  
Весь и блестит и фосфорится.

Свет серебристо-голубой,  
Свет от созвездий Ориона,  
Как в сказке, льется над тобой  
На снег морозный с небосклона.

И фосфором дымится снег,  
И видно, как мерцает нежно  
Твой ледяной душистый мех,  
На плечи кинутый небрежно,

Как серьги длинные блестят,  
И потемневшие зеницы  
С восторгом жадности глядят  
Сквозь серебристые ресницы.

*21.7.03*

### **СЕВЕРНАЯ БЕРЕЗА**

Над озером, над заводью лесной —  
Нарядная зеленая береза...  
— «О, девушки! Как холодно весной:  
Я вся дрожу от ветра и мороза!»

То дождь, то град, то снег, как белый пух,  
То солнце, блеск, лазурь и водопады...  
— «О, девушки! Как весел лес и луг!  
Как радостны весенние наряды!»

Опять, опять нахмурилось, — опять  
Мелькает снег и бор гудит сурово...  
— «Я вся дрожу. Но только б не измять  
Зеленых лент! Ведь солнце будет снова.»

*15.1.03*

\* \* \*

В сумраке утра проносится призрак Одина —  
Там, где кончается свет.  
Северный ветер, Одину вослед,  
На побережьях Лохлина

Гонит туманы морей по земле,  
Свищет по вереску... Тень исполина  
Вдруг вырастает во мгле —  
Правит коня на побережья Лохлина.  
Конь по холодным туманам идет,  
Тонет, плывет и ушами прядет,  
Белым дыханием по ветру пышет,  
Вереска свист завывающий слышит,  
Голову тянет к нему... А взмахнет  
Ветер морской — и в туманах Лохлина  
Шлем золоченый блеснет!  
Утром проносится призрак Одина.

30.12.03

### БАЛЬДЕР

Хаду — слепец, он жалок. Мрак глубокий  
Скрывает свет и правду от него.  
Но, чадо тьмы, он весь во власти Локи —  
Он насмерть поражает божество.

И все же мир лишь жаждой света дышит!  
И Солнце, погребенное во тьму,  
Из гроба тьмы, из бездны ада слышит,  
Что мир в тоске взывает лишь к нему.

И дрогнет тьма! И вспыхнет на востоке  
Воскресший Свет! И боги пригвоздят  
Тебя, как пса, к граниту гор, о Локи!  
И будет змей, свирепый и стоокий,  
Точить со скал на темя Локи — яд!

<1904>

### ДИЗА

Вечернее зимнее солнце  
И ветер меж сосен играют,  
Алеют снега, а в светлице  
Янтарные пятна мелькают.

Мохнатые тени от сосен,  
Играя, сквозят позолотой  
И по столу ходят; а Диза  
В светлице одна, за работой.

На бронзу волос, на ланиты,  
На пальцы и руки широко  
Вечернее льется сиянье,  
А думы далеко, далеко.

Тяжелое зимнее море  
Грохочет за фьордом в утесах,  
И стелется по ветру пена  
И стынет на снежных откосах;

Качаются с криками чайки  
И падают в пену и тают...  
Но звонкой весенней слюдою  
Давно уж откосы блистают!

Пусть ночи пожарами светят  
И рдеют закаты, как раны,  
Пусть ветер бушует,— он с юга,  
Он гонит на север туманы!

Пусть милый далеко,— он верен...  
И вот на вечернее солнце,  
На снег, на зеленые ветви  
Она загляделась в оконце.

Забыты узоры цветные,  
Забыты точеные пальцы,  
И тихо косою играют  
Прозрачные тонкие пальцы.

И тихо алеют ланиты,  
Сияя, как снег, белизною,  
И взоры так мягки и яркие,  
Как синее небо весною.

### НАДПИСЬ НА ЧАШЕ

Древнюю чашу нашел он у шумного синего моря,  
В древней могиле, на диком песчаном побережье.  
Долго трудился он; долго слагал воедино  
То, что гробница хранила три тысячи лет, как святыню,  
И прочитал он на чаше  
Древнюю повесть безмолвных могил и гробниц:

«Вечно лишь море, безбрежное море и небо,  
Вечно лишь солнце, земля и ее красота,  
Вечно лишь то, что связует незримою связью  
Душу и сердце живых с темной душою могил».

### ПЕЧАЛЬ

На диких скалах, среди развалин —  
Рать кипарисов. Она гудит  
Под ветром с моря. Угрюм, печален  
Пустынный остров, нагой гранит.

Уж берег темен — заходят тучи.  
Как крылья чаек, среди камней  
Мелькает пена. Прибой все круче,  
Порывы ветра все холодней.

И кто-то скорбный, в одежде темной,  
Стоит над морем... Вдали — печаль  
И сумрак ночи...

### ОГНИ НЕБЕС

Огни небес, тот серебристый свет,  
Что мы зовем мерцаньем звезд небесных, —  
Порою только неугасший свет  
Уже давно померкнувших планет,  
Светил, давно забытых и безвестных.

Та красота, что мир стремится вперед,  
Есть тоже след былого. Без возврата  
Сгорим и мы, свершая в свой черед  
Обычный путь, но долго не умрет  
Жизнь, что горела в нас когда-то.

И много в мире избранных, чей свет,  
Теперь еще незримый для незрящих,  
Дойдет к земле чрез много, много лет...  
В безвестном сонме мудрых и творящих  
Кто знает их? Быть может, лишь поэт.



## МОГИЛА ПОЭТА

Мрамор гробницы его — в скорбной толпе кипарисов:  
Радостней светит меж них синее лоно небес.  
Ангел изваян над ним с опрокинутым светочем жизни:  
Ярче пылает огонь, смертью поверженный ниц!

## ПРИЗРАКИ

Нет, мертвые не умерли для нас!  
Есть старое шотландское преданье,  
Что тени их, незримые для глаз,  
В полночный час к нам ходят на свиданье,

Что пыльных арф, висящих на стенах,  
Таинственно касаются их руки  
И пробуждают в дремлющих струнах  
Печальные и сладостные звуки.

Мы сказками предания зовем,  
Мы глухи днем, мы дня не понимаем;  
Но в сумраке мы сказками живем  
И тишине доверчиво внимаем.

Мы в призраки не верим; но и нас  
Томит любовь, томит тоска разлуки...  
Я им внимал, я слышал их не раз,  
Те грустные и сладостные звуки!

## ВЕРШИНА

Леса, скалистые теснины —  
И целый день, в конце теснин,  
Громада снеговой вершины  
Из-за лесных глядит вершин.

Селений нет, ущелья дики,  
Леса синеют и молчат,  
И серых скал нагие пики  
На скатах из лесов торчат.

Но целый день,— куда ни кину  
Вдоль по горам смущенный взор,—  
Лишь эту белую вершину  
Повсюду вижу из-за гор.

Она полнеба заступила,  
За облака ушла венцом —  
И все смирилось, все застыло  
Пред этим льдистым мертвецом.

### РАЗВАЛИНЫ

Над синим понтом — серые руины,  
Остатки древней греческой тюрьмы.  
На юг — морские зыбкие равнины.  
На север — голые холмы.

В проломах стен — корявые оливы  
И дреза, спутница руин,  
А под стенами — красные обрывы  
И волн густой аквамарин.

Угрюмо здесь, в сырых подземных кельях;  
Но весело тревожить сон темниц,  
Перекликаться с эхом в подземельях  
И видеть небо из бойниц!

Давно октябрь, но не уходит лето:  
Уж на холмах желтеет шелк травы,  
Но воздух чист — и сколько в небе света,  
А в море нежной синевы!

И тихи, тихи старые руины.  
И целый день, под мерный шум валов,  
Слежу я в море парус бригадины,  
А в небесах — круги орлов.

И усыпляет моря шум атласный.  
И кажется, что в мире жизни нет:  
Есть только блеск, лазурь и воздух ясный,  
Простор, молчание и свет.

## ТРОПАМИ ПОТАЕННЫМИ

Тропами потаенными, глухими  
В лесные чащи сумерки идут.  
Засыпанные листьями сухими,  
Леса молчат: осенней ночи ждут.

Вот крикнул сыч в пустынном буераке...  
Вот темный лист свалился, чуть шурша...  
Ночь близится: уж реет в полумраке  
Ее немая, скорбная душа.

\* \* \*

Далеко на севере Капелла  
Блещет семицветным огоньком,  
И оттуда, с поля, тянет ровным,  
Ласковым полуночным теплом.  
За окном по лопухам чернеет  
Тень от крыши; дальше, на кусты  
И на жнивье, лунный свет ложится,  
Как льняные белые холсты.

1903

## КОЛЬЦО

В белом песке золотое блеснуло кольцо.  
Я задремал над Днепром у широкого плеса,  
Знойною ласкою ветер повеял в лицо,  
Легкой прохладой и запахом свежего теса...  
Ярко в воде золотое блеснуло кольцо.

Как его вымыли волны на отмели белой! —  
Точно к венчанию... Искрился солнечный блеск,  
Видел я плахты, сорочки и смуглое тело,  
Слышал я говор, веселые крики и плеск...  
Жадной толпою сошлись они к отмели белой!

Жадно дыша, одевались они на песке,  
Лоснились косы и карие очи смеялись,  
С звонкими песнями скрылись они вдалеке,

Звонко о берег прозрачные волны плескались...  
Чье-то кольцо золотится в горячем песке.

О красота, тишина и раздолье Днепра!  
Помню, как ветер в лугах серебрил верболозы,  
Помню, как реяла дальних миражей игра...

### ПЕСНЯ

Я — простая девка на баштане,  
Он — рыбак, веселый человек.  
Тонет белый парус на Лимане,  
Много видел он морей и рек.

Говорят, гречанки на Босфоре  
Хороши... А я черна, худа.  
Утопает белый парус в море —  
Может, не вернется никогда!

Буду ждать в погоду, в непогоду...  
Не дождусь — с баштана разочтусь,  
Выйду к морю, брошу перстень в воду  
И косою черной удавлюсь.

### ЗАПУСТЕНИЕ

Домой я шел по скату вдоль Оки,  
По перелескам, берегом нагорным,  
Любуясь сталью вьющейся реки  
И горизонтом низким и просторным.  
Был теплый, тихий, серенький денек,  
Среди берез желтел осинник редкий.  
И даль лугов за их прозрачной сеткой  
Синела чуть заметно — как намек.  
Уже давно в лесу замолкли птицы,  
Свистели и шуршали лишь синицы.

Я уставал, кругом все лес пестрел,  
Но вот на перевале, за лощиной,  
Фруктовый сад листвою покраснел,  
И глянул флигель серою руиной.  
Глеб отворил мне двери на балкон,

Поговорил со мною в позе чинной,  
Принес мне самовар — и по гостинной  
Полился нежный и печальный стон.  
Я в кресло сел, к окну, и, отдыхая,  
Следил, как замолкал он, потухая.

В тиши звенел он чистым серебром,  
А я глядел на клены у балкона,  
На вишенник, красневший под бугром...  
Вдали синели тучки небосклона  
И умирал спокойный серый день,  
Меж тем как в доме, тихом как могила,  
Неслышно одиночество бродило  
И реяла задумчивая тень.  
Пел самовар, а комната беззвучно  
Мне говорила: «Пусто, брат, и скучно!»

В соломе, возле печки, на полу,  
Лежала груда яблок; паутины  
Под образом качались в углу,  
А у стены темнели клавесины.  
Я тронул их — и горестно в тиши  
Раздался звук. Дрожащий, романтичный,  
Он жалок был, но я душой привычной  
В нем уловил напев родной души:  
На этот лад, исполненный печали,  
Когда-то наши бабушки певали.

Чтоб мрак спугнуть, я две свечи зажег,  
И весело огни их заблестели,  
И побежали тени в потолок,  
А стекла окон сразу посинели...  
Но отчего мой домик при огне  
Стал и бедней и меньше? О, я знаю —  
Он слишком стар... Пора родному краю  
Сменить хозяев в нашей стороне.  
Нам жутко здесь. Мы все в тоске, в тревоге...  
Пора свести последние итоги.

Печален долгий вечер в октябре!  
Любил я осень позднюю в России.  
Любил лесок багряный на горе,  
Простор полей и сумерки глухие,  
Любил стальную, серую Оку,  
Когда она, теряясь лентой длинной

В дали лугов, широкой и пустынной,  
Мне навевала русскую тоску...  
Но дни идут, наскучило ненастье —  
И сердце жаждет блеска дня и счастья.

Томит меня немая тишина.  
Томит гнезда родного запустенье.  
Я вырос здесь. Но смотрит из окна  
Заглохший сад. Над домом реет тленье,  
И скупое в нем мерцает огонек.  
Уж свечи нагорели и темнеют,  
И комнаты в молчаньи цепенеют,  
А ночь долга и новый день далек.  
Часы стучат, и старый дом беззвучно  
Мне говорит: «Да, без хозяев скучно!

Мне на покой давно, давно пора...  
Поля, леса — все гложет без заботы...  
Я жду веселых звуков топора,  
Жду разрушенья дерзостной работы,  
Могучих рук и смелых голосов!  
Я жду, чтоб жизнь, пусть даже в грубой силе,  
Вновь расцвела из праха на могиле,  
Я изнемог, и мертвый стук часов  
В молчании осенней долгой ночи  
Мне самому внимать нет больше мочи!»

### ДЕТСКАЯ

От пихт и елей в горнице темней,  
Скучней, старинней. Древнее есть что-то  
В уборе их. И вечером красней  
Сквозь них зари морозной позолота.

Узорно-легкой, мягкой бахромой  
Лежит их тень на рдеющих обоях —  
И грустны, грустны сумерки зимой  
В заброшенных помещичьих покоех!

Сидишь и смотришь в окна из угла  
И думаешь о жизни старосветской...  
Увы! Ведь эта горница была  
Когда-то нашей детской!

## КОСОГОР

Косогор над разлужьем и пашни кругом,  
Потускневший закат, полумрак...  
Далеко за извалами крест над холмом —  
Неподвижный ветряк.

Как печальна заря! И как долго она  
Тлеет в сонном просторе равнин!  
Вот чуть внятная девичья песня слышна...  
Вот заплакала лунь... И опять тишина...  
Ночь, безмолвная ночь. Я один.

Я один, а вокруг темнота и поля,  
И ни звука в просторе их нет...  
Точно проклят тот край, тот народ, где земля  
Так пустынна уж тысячу лет!

## РЕЧКА

Светло, легко и своенравно  
Она блестит среди болот  
И к старым мельницам так плавно  
Несет стекло весенних вод.

Несет — и знать себе не хочет,  
Что там, над омутом в лесу,  
Безумно Водяной грохочет,  
Стремглав летя по колесу,—

Пылит на мельницах помолом,  
Трясет и жернов и привод —  
И, падая, в бреду тяжелом  
Кружит седой водоворот.

## ПАХАРЬ

Легко и бледно небо голубое,  
Поля в весенней дымке. Влажный пар  
Взрезаю я — и лезут на подвои  
Пласты земли, бесценный божий дар.

По борозде спеша за сошниками,  
Я оставляю мягкие следы —  
Так хорошо разутыми ногами  
Ступать на бархат теплой борозды!

В лилово-синем море чернозема  
Затерян я. И далеко за мной,  
Где тусклый блеск лежит на кровле дома,  
Струится первый зной.

### ДВЕ РАДУГИ

Две радуги — и золотистый, редкий  
Весенний дождь. На западе вот-вот  
Елеснут лучи. На самой верхней ветке  
Садов, густых от майских непогод,  
На мрачном фоне тучи озаренной  
Чернеет точкой птица. Все свежей  
Свет радуг фиолетово-зеленый  
И сладкий запах ржей.

### ЗАКАТ

Вдыхая тонкий запах четок,  
Из-за чернеющих решеток  
Глядят монахи на посад,  
На синь лесов и на закат.

Вся келья в жарком, красном блеске:  
Костром в далеком перелеске  
Гнездо Жар-Птицы занялось  
И за сосною тонет вкось.

Оно сгорает, но из дыма  
Встают, слагаются незримо  
Над синим сумраком земли  
Туманно-сизые кремли.

### ЧУЖАЯ

Ты чужая, но любишь,  
Любишь только меня.  
Ты меня не забудешь  
До последнего дня.



Ты покорно и скромно  
Шла за ним от венца.  
Но лицо ты склонила —  
Он не видел лица.

Ты с ним женщиной стала,  
Но не девушка ль ты?  
Сколько в каждом движенье  
Простоты, красоты!

Будут снова измены...  
Но один только раз  
Так застенчиво светит  
Нежность любящих глаз.

Ты и скрыть не умеешь,  
Что ему ты чужда...  
Ты меня не забудешь  
Никогда, никогда!

### НОВЫЙ ГОД

Ночь прошла за шумной встречей года...  
Сколько сладкой муки! Сколько раз  
Я ловил, сквозь блеск огней и говор,  
Быстрый взгляд твоих влюбленных глаз!

Вышли мы, когда уже светало  
И в церквах затеплились огни...  
О, как мы любили! Как томились!  
Но и здесь мы были не одни.

Молча шла ты об руку со мною  
По середине улиц. Городок  
Точно вымер. Мягко веял влажный  
Тающего снега холодок...

Но подъезд уж близок. Вот и двери...  
О, прощальный милый взгляд! «Хоть раз,  
Только раз прильнуть к тебе всем сердцем  
В этот ранний, в этот сладкий час!»

Но сестра стоит, глядит бесстрастно.  
«Доброй ночи!» Сдержанный поклон,  
Стук дверей — и я один. Молчанье,  
Бледный сумрак, предрассветный звон...

## ТЕНЬ

Высоко в небе месяц ясный,  
Затих волны дремотный плеск.  
Как снежно-золотое поле,  
Сияет в море лунный блеск.

Плыла меж небом и землею  
Над морем тучка, наплыла  
На край луны — и вдруг широко  
Нас мягкой тенью обняла.

Далеко золотое поле  
Покрылось матовым стеклом,  
И ветер, шелестя травой,  
Пахнул полуночным теплом.

Счастливым и глубоким вздохом  
Волна вздохнула в полусне —  
И как доверчиво, как нежно  
Ты вся прижалася ко мне!

Но вспыхнул блеск на горизонте,  
Тень по горам в леса ушла —  
И снова мы сидим недвижно,  
И снова ночь, как день, светла.

Спит море под луною ясной,  
Блестит на влажных камнях мох...  
О, ночь любви! Ужель и в счастье  
Нам нужен хоть единый вздох?

\* \* \*

Мы встретились случайно, на углу.  
Я быстро шел — и вдруг как свет зарницы  
Вечернюю прорезал полумглу  
Сквозь черные лучистые ресницы.

На ней был креп, — прозрачный легкий газ  
Весенний ветер взвевял на мгновенье,  
Но на лице и в ярком блеске глаз  
Я уловил былое оживленье.

И ласково кивнула мне она,  
Слегка лицо от ветра наклонила  
И скрылась за углом... Была весна...  
Она меня простила — и забыла.

1905

### ОГОНЬ НА МАЧТЕ

И сладостно и грустно видеть ночью  
На корабле далеком в темном море  
В ночь уходящий топовый огонь.  
Когда все спит на даче и сквозь сумрак  
Одни лишь звезды светятся, я часто  
Сажу на старой каменной скамейке,  
Над скалами обрыва. Ночь тепла  
И так темно, так тихо все, как будто  
Нет ни земли, ни неба — только мягкий  
Глубокий мрак. И вот вдаль, во мраке,  
Идет огонь — как свечечка. Ни звука  
Не слышно на побережье, — лишь сверчки  
Звенят в горе чуть уловимым звоном,  
Будя в душе задумчивую нежность,  
А он уходит в ночь и одиноко  
Висит на горизонте, в темной бездне  
Меж небом и землею... Пойте, пойте,  
Сверчки, мои товарищи ночные,  
Баюкайте мою ночную грусть!

1905

\* \* \*

Проснулся я внезапно, без причины.  
Мне снилось что-то грустное — и вдруг  
Проснулся я. Сквозь голые осины  
В окно глядел туманный лунный круг.

Усадьба по-осеннему молчала.  
Весь дом был мертв в полночной тишине,  
И, как ребенок брошенный, кричала  
Ушастая пустушка на гумне.

1903

## В ОТКРЫТОМ МОРЕ

В открытом море — только небо,  
Вода, да ветер. Тяжело  
Идет волна, и низко кренит  
Фелюка серое крыло.

В открытом море ветер гонит  
То свет, то тень — и в облака  
Сквозит лазурь... А ты забыта,  
Ты бесконечно далека!

Но волны, пенясь и качаясь,  
Идут, бегут навстречу мне —  
И кто-то синими глазами  
Глядит в мелькающей волне.

И что-то вольное, живое,  
Как эта синяя вода,  
Опять, опять напоминает  
То, что забыто навсегда!

## АПРЕЛЬ

Туманный серп, неясный полумрак,  
Свинцово-тусклый блеск железной крыши,  
Шум мельницы, далекий лай собак,  
Таинственный зигзаг летучей мыши.

А в старом палисаднике темно,  
Свежо и сладко пахнет можжевельник,  
И сонно, сонно светится сквозь ельник  
Серпа зеленоватое пятно.

## ИЗ ОКНА

Ветви кедра — вышивки зеленым  
Темным плюшем, свежим и густым,  
А за плюшем кедра, за балконом —  
Сад прозрачный, легкий, точно дым:

Яблони и сизые дорожки,  
Изумрудно-яркая трава,

На березах — серые\*сережки  
И ветвей плакучих кружева,

А на кленах — дымчато-сквозная  
С золотыми мушками вуаль,  
А за ней — долинная, лесная,  
Голубая, тающая даль.

### ДЕТСТВО

Чем жарче день, тем сладостней в бору  
Дышать сухим смолистым ароматом,  
И весело мне было поутру  
Бродить по этим солнечным палатам!

Повсюду блеск, повсюду яркий свет,  
Песок — как шелк... Прильну к сосне корявой  
И чувствую: мне только десять лет,  
А ствол — гигант, тяжелый, величавый.

Кора груба, морщиниста, красна,  
Но так тепла, так солнцем вся прогрета!  
И кажется, что пахнет не сосна,  
А зной и сухость солнечного света.

### РАЗЛИВ

Паром, скрипя, ушел. В разлив, по тусклой зыби,  
Сквозь муть лиловых туч румянится заря.  
На темном кряже гор, в их сумрачном изгибе,  
Померкнули в лесу кресты монастыря.

Оттуда по Оке пахучим дымом тянет...  
Но и костер потух, пылавший за Окой,  
И монастырь уснул. Темней уже не станет,  
Но все же ночь давно — ночь, сумрак и покой.

Лишь брезжится закат на взгорьях сквозь верхушки,  
Блестит, как ртуть, вода по лужам на песке,  
Дрожит в разливе рябь, да сонные лягушки  
Звонят чуть слышно в тростнике.

## СКАЗКА

...И снилось мне, что мы, как в сказке,  
Шли вдоль пустынных берегов  
Над диким синим лукоморьем,  
В глухом бору, среди песков.

Был летний светозарный полдень.  
Был жаркий день, и озарен  
Весь лес был солнцем, и от солнца  
Веселым блеском напоен.

Узорами ложились тени  
На теплый розовый песок,  
И синий небосклон над бором  
Был чист и радостно-высок.

Играл зеркальный отблеск моря  
В вершинах сосен, и текла  
Вдоль по коре, сухой и жесткой,  
Смола, прозрачнее стекла...

Мне снилось северное море,  
Лесов пустынные края...  
Мне снилась даль, мне снилась сказка —  
Мне снилась молодость мся.

## ПОМОРЬЕ

Белый полдень, жар несносный,  
Мох, песок, шелюг да сосны...  
Но от сосен тени нет,

Облака легки, высоки,  
Солнце в бледной поволоке —  
Всюду знойный белый свет.

Там, за хужиной помора,  
За песками косогора,  
Голой мачты виден шест...

Но и море гладью млечной,  
Серебристой, бесконечной,  
Простирается окрест.

А на отмели песчаной  
Спит помор, от солнца пьяный.  
Тонко плачется комар,

И на икрах обнаженных,  
Летним зноем обожженных,  
Блещет бронзовый загар.

### ПОД ВЕЧЕР

Угрюмо шмель гудит, толкаясь по стеклу...  
В окно зарница глянула тревожно...  
Притихший соловей в сирени на валу  
Выводит трели осторожно.

Гром, проворчав в саду, скатился за гумно;  
Но воздух меркнет, небо потухает...  
А тополь тянется в открытое окно  
И ладаном благоухает.

### ДОННИК

Брат, в запыленных сапогах,  
Швырнул ко мне на подоконник  
Цветок, растущий на парах,  
Цветок засухи — желтый донник.

Я встал от книг и в степь пошел...  
Ну да, все поле — золотое,  
И отовсюду точки пчел  
Плывут в сухом вечернем зное.

Толчется сеткой мошкара,  
Шафранный свет над полем реет —  
И, значит, завтра вновь жара  
И вновь сухмень. А хлеб уж зреет.

Да, зреет и грозит нуждой,  
Быть может, голодом... И все же  
Мне этот донник золотой  
На миг всего, всего дороже!

## РОЗЫ

Блистая, облака лепились  
В лазури пламенного дня.  
Две розы под окном раскрылись —  
Две чаши, полные огня.

В окно, в прохладный сумрак дома,  
Глядел зеленый знойный сад,  
И сена душная истома  
Струила сладкий аромат.

Порою, звучный и тяжелый,  
Высоко в небе грохотал  
Громовый гул... Но пели пчелы,  
Звенели мухи — день сиял.

Порою шумно пробегали  
Потоки ливней голубых...  
Но солнце и лазурь мигали  
В зеркально-зыбком блеске их --

И день сиял, и млели розы,  
Головки томные клоня,  
И улыбались сквозь слезы  
Очами, полными огня.

## ТЕРЕМ

Высоко стоит луна.  
Тени елей резки, четки.  
Я — в светлице у окна,  
Я бледнее полотна...  
В серебре пруты решетки.

Мать, отец — все спят давно.  
Я с распущенной косою  
Загляделася в окно...  
Я бледна, как полотно,  
Как поляна под рососою.

Подоконник не велик,  
Все же можно здесь прижаться...  
С неба смотрит лунный лик —



И у ног на половики  
Клетки белые ложатся.

Да и я — как в серебре,  
Испещренная крестами...  
Долги ночи в сентябре!  
Но усну лишь на заре,  
Истомленная мечтами.

### СКВОЗЬ ВЕТВИ

Осень листья темной краской метит:  
Не уйти им от своей судьбы!  
Но светло и нежно небо светит  
Сквозь нагие черные дубы,

Что-то неземное обещает,  
К тишине уводит от забот —  
И опять, опять душа прощает  
Промелькнувший, обманувший год!

\* \* \*

Уж подсыхает хмель на тыне.  
За хуторами, на бахчах,  
В нежарких солнечных лучах  
Краснеют бронзовые дыни.

Уж хлеб свезен, и вдалеке,  
Над старою степною хатой,  
Сверкает золотой заплатой  
Крыло на сером ветряке.

1903

### КЕЛЬЯ

День распогодился с закатом.  
Сквозь стекла в старый кабинет  
Льет солнце золотистый свет;  
Широким палевым квадратом  
Окно рисует на стене,  
А в нем бессильно, как во сне,  
Скользит трепещущим узором

Тень от березы над забором...  
Как грустно на закате мне!

Зачем ты, солнце, на прощанье,  
В своем сиянье золотом,  
Вошло в мой одинокий дом?  
Он пуст, в нем вечное молчанье!  
Я был спокоен за трудом,  
Я позабыл твоё сиянье:  
Зачем же думы о былом  
И это грустное веселье  
В давно безлюдной, тихой келье?

### СУДРА

Жизнь впереди, до старости далеко.  
Но вот и я уж думаю о ней...  
О, как нам будет в мире одиноко!  
Как грустно на закате дней!

Умершие оставили одежды —  
Их носит бедный Судра. Так и мне  
Оставит жизнь не радость и надежды,  
А только скорбь о старине.

Мы проживем, быть может, не напрасно;  
Но тем больнее будет до конца  
С улыбкою печальной и безгласной  
Влачить одежды мертвеца!

### У ШАЛАША

Распали костер, сумей  
Разозлить его блестящих,  
Убегающих, свистящих  
Золотых и синих змей!

Ночь из тьмы пустого сада  
Дышит холодом прудов,  
Прелых листьев и плодов —  
Ароматом листопада.

Здесь же яркий зной и свет,  
Тени пляшут по аллеям,  
И бегущим жарким змеям,  
Их затеям — счета нет!

### НА МАЯКЕ

В пустой маяк, в лазурь оконных впадин,  
Осенний ветер дует — и, звеня,  
Гудит вверху. Он влажен и прохладен,  
Он опьяняет свежестью меня.

Остановясь на лестнице отвесной,  
Гляжу в окно. Внизу шумит прибой  
И зыбь бежит. А выше — свод небесный  
И океан туманно-голубой.

Внизу — шум волн, а наверху, как струны,  
Звенит-поет решетка маяка.  
И все плывет: маяк, залив, буруны,  
И я, и небеса, и облака.

### ГОЛУБИ

Раскрыт балкон, сожжен цветник морозом,  
Опустошен поблекший сад дождями.

Как лунный камень, холодно и бледно  
Над садом небо. Ветер в небе гонит  
Свинцовые и дымчатые тучи.  
И крупный ливень с бурей то и дело  
Бежит, дымится по саду... Но если  
Внезапно глянет солнце, что за радость  
Овладевает сердцем! Жадно дышишь  
Душистым влажным воздухом, уходишь  
С открытой головою по аллее,  
Меж тем как над аллеей все приветней  
Синеет небо яркое — и вдруг  
С гумна стрелою мчится белый турман  
И снежным комом падает к балкону,  
За ним другой — и оба долго, долго  
Пьют из лазурной лужи, поднимая  
Свои головки кроткие... Замрешь,

Боясь их потревожить, весь охвачен  
Какой-то робкой радостью, и мнится,  
Что пьют они не дождевую воду,  
А чистую небесную лазурь.

\* \* \*

Осень. Чащи леса.  
Мох сухих болот.  
Озеро белесо.  
Бледен небосвод.

Отцвели кувшинки,  
И шафран отцвел.  
Выбиты тропинки,  
Лес и пуст и гол.

Только ты красива,  
Хоть давно суха,  
В кочках у залива  
Старая ольха.

Женственно глядишься  
В воду в полусне —  
И засеребришься  
Прежде всех к весне.

1905

## ГОРЕ

Меркнет свет в небесах.  
Скачет князь мелколесьем, по топям, где сохнет осока.  
Реют сумерки в черных еловых лесах,  
А по елкам мелькает, сверкает — сорока.

Станет князь, поглядит:  
Нет сороки! Но сердце недоброе чует.  
Снова скачет — и снова сорока летит,  
Перелесьем кочует.

Болен сын... Верно, хуже ему...  
Погубили дитя переходные старцы калики!

Ночь подходит... И что-то теперь в терему?  
Скачет князь — и все слышит он женские крики.

А в лесу все темней,  
А уж конь устает... Поспешай,— недалеко!  
Вон и терем... Но что это? Сколько огней!  
— Нагадала сорока.

\* \* \*

Первый утренник, серебряный мороз!  
Тишина и звонкий холод на заре.  
Свежим глянец зеленеет след колес  
На серебряном просторе, на дворе.

Я в холодный обнаженный сад пойду —  
Весь рассеян по земле его наряд.  
Бирюзой сияет небо, а в саду  
Красным пламенем настурции горят.

Первый утренник — предвестник зимних дней.  
Но сияет небо ярче с высоты,  
Сердце стало и трезвей и холодней.  
Но, как пламя, рдеют поздние цветы.

1903

## ОГОНЬ

Нет ничего грустней ночного  
Костра, забытого в бору.  
О, как дрожит он, потухая  
И разгораясь на ветру!

Ночной холодный ветер с моря  
Внезапно залетает в бор;  
Он, бешено кружась, бросает  
В костер истлевший хвойный сор —

И пламя вспыхивает жадно,  
И тьма, висевшая шатром,  
Вдруг затрепещет, открывая  
Стволы и ветви над костром.

Но ветер пролетает мимо,  
Теряясь в черной высоте,  
И ветру отвечает гулом  
Весь бор, невидный в темноте,

И снова затопляет тьмою  
Свет замирающий... О, да!  
Еще порыв, еще усилие —  
И он исчезнет без следа,

И явственней во мраке станет  
Звон сонной хвои, скрип стволов  
И этот жуткий, все растущий,  
Протяжный гул морских валов.

### В ГОРАХ

Катится диском золотым  
Луна в провалы черной тучи,  
И тает в ней, и льет сквозь дым  
Свой блеск на каменные кручи.

Но погляди на небосклон:  
Луна стоит, а дым мелькает...  
Не Время в вечность убегает,  
А нашей жизни бледный сон!

\* \* \*

Старик сидел, покорно и уныло  
Поднявши брови, в кресле у окна.  
На столике, где чашка чаю стыла,  
Сигара нагоревшая струила  
Полоски голубого волокна.

Был зимний день, и на лицо худое,  
Сквозь этот легкий и душистый дым,  
Смотрело солнце вечно молодое,  
Но уж его сиянье золотое  
На запад шло по комнатам пустым.

Часы в углу своєю четкой мерой  
Отмеривали время... На закат  
Смотрел старик с беспомощною верой...  
Рос на сигаре пепел серый,  
Струился сладковатый аромат.

23.7.05

### СУМЕРКИ

Как дым, седая мгла мороза  
Застыла в сумраке ночном.  
Как привидение, береза  
Стоит, серея, за окном.

Таинственно в углах стемнело,  
Чуть светит печь, и чья-то тень  
Над всем простерлася несмело,—  
Грусть, провожающая день,

Грусть, разлитая на закате  
В полупомеркнувшей золе,  
И в тонком теплом аромате  
Сгоревших дров, и в полумгле,

И в тишине,— такой угрюмой,  
Как будто бледный призрак дня  
С какою-то глубокой думой  
Глядит сквозь сумрак на меня.

\* \* \*

Густой зеленый ельник у дороги,  
Глубокие пушистые снега.  
В них шел олень, могучий, тонконогий,  
К спине откинув тяжкие рога.

Вот след его. Здесь натоптал тропинок,  
Здесь елку гнул и белым зубом скреб —  
И много хвойных крестиков, остинок  
Осыпалось с макушки на сугроб.

Вот снова след, размеренный и редкий,  
И вдруг — прыжок! И далеко в лугу  
Теряется собачий гон — и ветки,  
Обитые рогами на бегу...

О, как легко он уходил долиной!  
Как бешено, в избытке свежих сил,  
В стремительности радостно-звериной,  
Он красоту от смерти уносил!

1906

### ЗМЕЯ

Покуда март гудит в лесу по голым  
Снастям ветвей,— бесцветна и плоска,  
Я сплю в дупле. Я сплю в листве тяжелым,  
Холодным сном — и жду: весна близка.

Уж в облаках, как синие оконца,  
Сквозит лазурь... Подсохло у корней,  
И мотылек в горячем свете солнца  
Припал к листве... Я шевелюсь под ней,

Я развиваю кольца, опьяняюсь  
Теплом лучей... Я медленно ползу —  
И вновь цвету, горю, меняюсь,  
Ряжусь то в медь, то в сталь, то в бирюзу.

Где суше лес, где много пестрых листьев  
И желтых мух, там пестрый жгут — змея.  
Чем жарче день, чем мухи золотистой —  
Тем ядовитей я.

### НЕБО

В деревне капали капели,  
Был теплый солнечный апрель.  
Блестели вывески и стекла,  
И празднично белел отель.

А над деревней, над горами  
Раскрыты были небеса,  
И по горам, к вершинам белым,  
Шли темносиние леса.



И от вершин, как мрамор чистых,  
От изумрудных ледников  
И от небес зеленоватых  
Тянуло свежестью снегов.

И я ушел к зиме, на север.  
И целый день бродил в лесах,  
Душой теряясь в необъятных  
Зеленоватых небесах.

И, радуясь, душа стремилась  
Решить одно: зачем живу?  
Зачем хочу сказать кому-то,  
Что тянет в эту синеву,

Что прелесть этих чистых красок  
Словами выразить нет сил,  
Что только небо — только радость  
Я целый век в душе носил?

### НА ВИНОГРАДНИКЕ

На винограднике нельзя дышать. Лоза  
Пожухла, сморщилась. Лучистый отблеск моря  
И белизна шоссе слепят огнем глаза,  
А дача на холме, на голом косогоре.

Скрываюсь в дом. О, рай! Прохладно и темно,  
Все ставни заперты... Но нет, и здесь не скрыться:  
Прямой горячий луч блестит сквозь щель в окно —  
И понемногу тьма редет, золотится.

Еще мгновение — и приглядишься к ней,  
И будешь чувствовать, что за стеною — море,  
Что за стеной — шоссе, что нет нигде теней,  
Что вся земля горит в сияющем просторе!

### ПЕРЕД БУРЕЙ

Тьма затопляет лунный блеск,  
За тучу входит месяц полный,  
Холодным ветром дышат волны  
И все растет их шумный плеск.

Вот на мгновенье расступился  
Зловещий мрак, и, точно ртуть,  
По гребням волн засеребрился  
Дрожащий отблеск — лунный путь.

Но как за ним сгустились тучи!  
Как черный небосклон велик!..  
О, ночь! Сокрой во тьме свой лик,  
Свой взор тревожный и могучий!

### ШТИЛЬ

На плоском взморье — мертвый зной и штиль.  
Слепит горячий свет, струится воздух чистый,  
Расплавленной смолой сверкает черный киль  
Рыбацкого челна на мели золотистой.

С нестройным криком голых татарчат  
Сливается порой пронзительный и жалкий,  
Зловещий визг серебряной рыбалки.  
Но небо ясно, отмели молчат.

Разлит залив зеркальностью безбрежной,  
И глубоко на золоте песка,  
Под хрусталем воды, сияет белоснежный  
Недвижный отблеск маяка.

\* \* \*

Все море — как жемчужное зеркало,  
Сирень с отливом млечно-золотым.  
В дожде закатном радуга сияла.  
Теперь душист над саклей тонкий дым.

Вон чайка села в бухточке скалистой, —  
Как поплавок... Взлетает иногда  
И видно, как струю серебристой  
Сбегаёт с лапок розовых вода.

У берегов в воде застыли скалы,  
Под ними светит жидкий изумруд,  
А там, вдали — и жемчуг и опалы  
По золотистым яхонтам текут.

1905

## С ОСТРОГОИ

Костер трещит. В фелюке свет и жар.  
В воде стоят и серебрятся шуки,  
Белеет дно... Бери трезубец в руки  
И не спеши. Удар! Еще удар!

Но поздно. Страсть — как сладостный кошмар,  
Но сил уж нет; противны кровь и муки...  
Гаси, гаси — вали с борта фелюки  
Костер в Лиман... И чад, и дым, и пар!

Теперь легко, прохладно. Выступают  
Туманные созвездья в полутьме.  
Волна качает, рыбы засыпают...  
И вверх лицом ложусь я на корме.

Плыть — до зари, но в море путь не скучен.  
Я задремлю под ровный стук уключин.

## ОКЕАНИДЫ

В полдневный зной, когда на шебень,  
На валуны прибрежных скал,  
Кипя, встает за гребнем гребень,  
Крутясь, идет за валом вал,—

Когда изгиб прибоя блещет  
Зеркально-вогнутой грядой  
И в нем сияет и трепещет  
От гребня отблеск золотой,—

Как весел ты, о, буйный хохот,  
Звонящий смех Океанид,  
Под этот влажный шум и грохот  
Летящих в пене на гранит!

Как звучно море под скалами  
Дробит на солнце зеркала  
И в пене, вместе с зеркалами,  
Клубит их белые тела!

## ДЮНЫ

За сизыми дюнами — северный тусклый туман.

За сизыми дюнами — серая даль океана.

На зыби холодной, у берега — черный баклан,

На зыби маячит высокая шейка баклана.

За сизыми дюнами — север. Вдали иногда

Проходят, как тени, норвежские старые шхуны—

И снова все пусто. Холодное небо, вода,

Туман синеватый и дюны.

## НА БЕЛЫХ ПЕСКАХ

На белых песках от прилива

Немало осталось к заре

Сверкающих луж и затонов —

Зеркальных полос в серебре.

Немало камней самоцветных

Осталось на дюнах нагих,

И смотрит, как ангел лазурный,

Весеннее утро на них.

А к западу сумрак теснится,

И с сумраком, в сизый туман,

Свивается сонный, угрюмый,

Тяжелый удав — Океан.

## СТОН

Как розовое море — даль пустынь.

Как синий лотос — озеро Мерида.

«Встань, сонный раб, и свой шалаш покинь:

Уж озлатилась солнцем пирамида».

И раб встает. От жесткого одра

Идет под зной и пламень небосклона.

Рассвет горит. И в пышном блеске Ра

Вдали звучат стенания Мемнона.

## В ГОРНОЙ ДОЛИНЕ

Бледнозеленые грустные звезды...  
Помню темнеющий лес,  
Сырость и сумерки в горной долине,  
Холод осенних небес.

Жадно и долго стремился я, звезды,  
К вам, в вышину...  
Что же я встретил? Нагие граниты,  
Сумерки, страх, тишину...

Бледны и грустны вы, горные звезды:  
Вы созерцаете смерть.  
Что же влечет к вам? Зачем же так тянет  
Ваша бездонная твердь?

## КАМЕННАЯ БАБА

От зноя травы сухи и мертвы.  
Степь — без границ, но даль синее слабо.  
Вот остов лошадиной головы.  
Вот снова — Каменная Баба.

Как сонны эти плоские черты!  
Как первобытно-грубо это тело!  
Но я стою, боюсь тебя... А ты  
Мне улыбаешься несмело.

О, дикое исчадье древней тьмы!  
Не ты ль когда-то было громовержцем?  
— Не бог, не бог нас создал. Это мы  
Богов творили рабским сердцем.

## МИСТИКУ

В холодный зал, луною освещенный,  
Ребенком я вошел.  
Тенями рам старинных испещренный,  
Блестел вощенный пол.

Как в алтаре, высоки окна были,  
А там в саду — луна,  
И белый снег, и в пудре снежной пыли —  
Столетняя сосна.

И в страхе я в дверях остановился:  
Как в алтаре,  
По залу ладан сумрака дымился,  
Сквозя на серебре.

Но взгляд упал на небо: небо ясно,  
Луна чиста, светла —  
И страх исчез... Как часто, как напрасно  
Детей пугает мгла!

Теперь давно мистического храма  
Мне жалок темный бред:  
Когда идешь над бездной — надо прямо  
Смотреть в лазурь и свет.

### ЭСХИЛ

Я содрогаюсь, глядя на твои  
Черты немые, полные могучей  
И строгой мысли. С древней простотой  
Изваян ты, о, старец. Бесконечно  
Далеки дни, когда ты жил, и мифом  
Теперь те дни нам кажутся. Ты страшен  
Их древностью. Ты страшен тем, что ты,  
Незримый в мире двадцать пять столетий,  
Незримо в нем присутствуешь доньше,  
И пред твою славою легендарной  
Бессильно Время.— Рок неотвратим,  
Все в мире предначертано Судьбою,  
И благо поклоняющимся ей,  
Всесильной, осудившей на забвенью  
Дела всех дел. Но ты пред Адрастеей  
Склонил чело суровое с таким  
Величием, с такою мощью духа,  
Какая подобает лишь богам  
Да смертному, дерзнувшему впервые  
Восславить дух и дерзновенье смертных!

### САМСОН

Был ослеплен Самсон, был господом обижен,  
Был чадами греха поруган и унижен  
И приведен на пир. Там, опустив к земле  
Незрячие глаза, он слушал смех и клики,

Но мгла текла пред ним — и в этой жуткой мгле  
Пылали грозные архангельские лики.  
Они росли, как смерч, — и вдруг разверзлась твердь,  
Прорезал тьму глагол: «Восстань, мой раб любимый!»  
И просиял слепец красой непостижимой,  
Затрепетал, как кедр, и побледнел, как смерть.  
О, не пленит его теперь Ваала хохот,  
Не обольстит очей ни пурпур, ни виссон! —  
И целый мир потряс громовый гул и грохот:  
Зане был слеп Самсон.

### ОРМУЗД

Ни алтарей, ни истуканов,  
Ни темных капищ. Мир одет  
В покровы мрака и туманов:  
Боготворите только Свет.

Владыка Света весь в едином —  
В борьбе со Тьмой. И потому  
Огни зажгите по вершинам:  
Возненавидьте только Тьму.

Ночь третью мира властно правит.  
Но мудрый жаждет верить Дню:  
Он в мире радость солнца славит,  
Он поклоняется Огню.

И, возложив костер на камень,  
Всю жизнь свою приносит в дар  
Тебе, неугасимый Пламень,  
Тебе, всевидящий Датар!

### У БЕРЕГОВ МАЛОЙ АЗИИ

Здесь царство Амазонок. Были дики  
Их буйные забавы. Много дней  
Звучали здесь их радостные клики  
И ржание купавшихся коней.

Но век наш — миг. И кто укажет ныне,  
Где на пески ступала их нога?  
Не ветер ли среди морской пустыни?  
Не эти ли нагие берега?

Давно унес, развеял ветер южный  
Их голоса от этих берегов...  
Давно слизал, размыл прибой жемчужный  
С сырых песков следы подков...

## ПОТОП

Халдейские мифы

Когда ковчег был кончен и наполнен,  
И я, царь Касисадра, Кисутрос,  
Зарыл в Сиппаре хартии закона,  
Раздался с неба голос: «На закате  
На землю хлынет ливень. Затвори  
В ковчеге дверь». И вот настало время  
Войти в ковчег. Со страхом ждал я ночи  
И в страхе затворил я дверь ковчега,  
И в страхе поручил свою судьбу  
Бусуркургалу, кормчему. А утром  
Поднялся вихрь — и тучи охватили  
Из края в край всю землю. Роману  
Гремел среди небес. Нэбó и Сарру  
Согласно надвигались по долинам  
И по горам. Нергал дал волю ветру.  
Нинип наполнил реки, и несли  
Смерть и погибель Гении. До неба  
Достигли воды. Свет потух во мраке,  
И брат не видел брата. Сами боги  
К вершинам Анну в страхе поднялись  
И на престолах плакали, и с ними  
Истара горько плакала. Шесть дней  
И семь ночей свирепствовали в мире  
Вихрь, ураган и ветер — наконец,  
С рассветом дня, смирились. Воды пали  
И ливень стих. Я плакал о погибших,  
Носясь по воле волн — и предо мною,  
Как бревна, трупы плавали. Я плакал,  
Открыв окно и увидавши солнце.

## СОН

Из книги пророка Даниила

Царь! вот твой сон: блистал перед тобою  
Среди долин огромный истукан,  
Поправший землю глиняной стопою.



Червоный лик был истукану дан,  
Из серебра имел он грудь и длани,  
Из меди — бедра мощные и стан.

Но пробил час, назначенный заране —  
И сорвался в долину сам собой  
Тяжелый камень с дальней горной грани.

Царь! пробил час, назначенный судьбой:  
Тот камень пал, смешав металлы с глиной,  
И поднял прах, как пыль над молотьбой.

Бог сокрушил металла блеск в единый  
И краткий миг: развеял без следа,  
А камень стал великою вершиной.

Он овладел вселенной. Навсегда.

## ЭЛЬБРУС

Иранский миф

На льдах Эльбруса солнце всходит.  
На льдах Эльбруса жизни нет.  
Вокруг него на небосводе  
Течет алмазный круг планет.

Туман, вползающий на скаты,  
Вершин не в силах достигнуть:  
Одним небесным Иазатам  
К венцу земли доступен путь.

И Митра, чье святое имя  
Благословляет вся земля,  
Восходит первый между ними  
Зарей на льдистые поля.

И светит ризой златотканной,  
И озирает с высоты  
Истоки рек, пески Ирана  
И гор волнистые хребты.

## АТЛАНТ

...И долго, долго шли мы плоскогорьем,  
Меж диких скал — все выше, выше, к небу,  
По спутанным кустарникам, в тумане,  
То закрывавшем солнце, то, как дым,  
По ветру пронесившемся пред нами —  
И вдруг обрыв, бездонное пространство  
И глубоко в пространстве — необъятный,  
Туманно восходящий к горизонту  
Своей воздушно-зыбкою равниной  
Лилово-синий южный Океан!  
И сатана спросил, остановившись:  
«Ты веришь ли в предания, в легенды?»

Еще был март, и только что мы вышли  
На высший из утесов над обрывом,  
Навстречу нам пахнуло зимней бурей,  
И увидел я с горной высоты,  
Что пышность южных красок в Океане  
Ее дыханьем мгlistым смягчена,  
И что в горах, к востоку уходящих  
Излучиной хребтов своих, белеют,  
Сквозь тусклость отдаления, снега —  
Заоблачные царственные кряжи  
В холодных вечных саванах своих.  
И Дух спросил: «ты веришь ли в Атланта?»

Крепясь, стоял я на скале, а ветер  
Сорвать меня пытался, проносясь  
С звенящим завываньем в низкорослых,  
Измятых, искривленных бурей соснах,  
И доносил из глубины глухой  
Широкий шум — шум Вечности — протяжный  
Шум дальних волн... И, как орел, впервые  
Взмахнувший из родимого гнезда  
Над ширью Океана, был я счастлив  
И упоен твоею первозданной  
Непостижимой силою, Атлант!  
— О, да, Титан, я верил, жадно верил.

## ЗОЛОТОЙ НЕВОД

Волна ушла — блестят, как золотые,  
На солнце валуны.  
Волна идет — как из стекла литые,  
Идут бугры волны.

По ним скользит, колыхается медуза,  
Живой морской цветок...  
Но вот волна изнемогла от груза  
И пала на песок.

Зеркальной зыбью блещет и дробится,  
А солнце под водой  
По валунам скользит и шевелится,  
Как невод золотой.

### НОВОСЕЛЬЕ

Весна! Темнеет над аулом,  
Свет фиолетовый мелькнул —  
И горный кряж стократным гулом  
Ответил на громовый гул.

Весна! Справляя новоселье,  
Она веселый катит гром  
И будит звучное ущелье,  
И сыплет с неба серебром.

### ДАГЕСТАН

Насторожись, стань крепче в стремена.  
В ущелье мрак, шумящие каскады.  
И до небес скалистые громады  
Встают в конце ущелья — как стена.

Над их челом — далеких звезд алмазы.  
А на груди, в зловещей темноте.  
Лежит аул: дракон тысячеглазый  
Гнездится в высоте.

### ПОСЛУШНИК

Грузинская песня

«Брат, как пасмурно в келье!  
Белый снег лежит в ущелье.  
Но на скате, на льдине  
Видел я подснежник синий».

— «Брат, ты бредишь, ты бледен!  
Горный край суров и беден.  
Монастырь наш высоко.  
До весны еще далеко».

«Не пугайся, брат милый!  
Скоро смолкнет бред унылый —  
К ночи вьюга пустыни  
Занесет подснежник синий!»

### ХАЯ-БАШ

(Мертвая голова)

Ночь идет,— молись, слуга пророка.  
Ночь идет — и Хая-Баш встает.  
Ветер с гор, он крепнет — и широко,  
Как сааз, туманный бор поет.

Ты уже высоко,— от аула  
Ты уже далеко. А в бору  
Зимней стужей с Хая-Баш пахнуло,  
Задымились сосны на ветру.

Вас у перевала только двое —  
Ты да конь. А бор померк, дымит.  
Звонкий ветер в крепкой синей хвое  
Все звончей и сумрачней шумит.

Где ты заночуешь? Зябнет тело,  
Зябнет сердце... Конь не пил с утра...  
Видишь ли сквозь сосны? Побелела  
Хая-Баш, гранитная гора.

Там нависло небо низко, низко,  
Там снега и зимняя тоска...  
А уж если своды неба близко —  
Значит, смерть близка.

### НА ОБВАЛЕ

Печальный берег! Сизые твердыни  
Гранитных стен до облака встают,  
А ниже — хаос каменный пустыни,  
Лавина щебня, дьявола приют.

Но нищета смиренна. Одинок  
Она ушла на берег — и к скале  
Прилипла сакля... Верный раб пророка  
Довольствуется малым на земле.

И вот — жилье. Над хижиной убогой  
Дымок синеет... Прыгает коза...  
И со скалы, нависшей над дорогой,  
Блестят агатом детские глаза.

### В КРЫМСКИХ СТЕПЯХ

Синеет снеговой простор,  
Померкла степь. Белее снега  
Мерцает девственная Вега  
Над дальним станом крымских гор.

Уж сумрак пал, как пепел сизый.  
Как дым угасшего костра:  
Лишь светится багряной ризой  
Престол аллы — Шатер-Гора.

### АИЯ-СОФИЯ

Светильники горели, непонятный  
Звучал язык, — великий шейх читал  
Святой Коран, — и купол необъятный  
В угрюмом мраке пропадал.

Кривую саблю вскинув над толпою,  
Шейх поднял лик, закрыл глаза — и страх  
Царил в толпе, и мертвою, слепую  
Она лежала на коврах...

А утром храм был светел. Все молчало  
В смиренной и священной тишине,  
И солнце ярко купол озаряло  
В непостижимой вышине.

И голуби в нем, рея, ворковали,  
И с вышины, из каждого окна,  
Простор небес и воздух сладко звали  
К тебе, Любовь, к тебе, Весна!

## К ВОСТОКУ

Вот и скрылись, позабылись снежных гор чалмы.  
Зной пустыни, путь к востоку, мертвые холмы.

Каменистый, красно-серый, мутный океан  
На восток уходит, в знойный, в голубой туман.

И все жарче, шире веет из степей теплынь,  
И все суше, слаще пахнет горькая полынь.

И холмы все безнадежней. Глина, роговик...  
День тут светел, бесконечен, вечер синь и дик.

И едва стемнеет, смеркнет, где-то между скал,  
Как дитя, как джин пустыни, плачется шакал,

И на мягких крыльях совки трепетно парят,  
И на тусклом небе звезды сумрачно горят.

## ПУТЕВОДНЫЕ ЗНАКИ

Он ставит путеводные знаки.

*Коран.*

Бог для ночных паломников в Могребе  
Зажег огни — святые звезды Пса.  
Привет тебе, сверкающая в небе  
Алмазно-синяя роса!

Путь по пескам от Газы до Арима  
Бог оживил приметами, как встарь.  
Привет вам, камни — четки пилигрима —  
В пустыне ведшие Агары!

Костями бог усеял все дороги,  
Как след гиен среди ущелий Ти.  
Привет вам, почивающие в боге,  
Нам проторившие пути!

\* \* \*

Тонет солнце, рдяным углем тонет  
За пустыней сизой. Дремлет, клонит  
Головы баранта. Близок час:

Мы проводим солнце, обувь скинем  
И свершим под звездным, темным-синим  
Милосердым небом свой намаз.

Пастухи пустыни, что мы знаем!  
Мы, как сказки детства, вспоминаем  
Минареты наших отчих стран.

Разверни же, Вечный, над пустыней  
На вечерней тверди темно-синей  
Книгу звезд небесных — наш Коран!

И, склонив колени, мы закроем  
Очи в сладком страхе, и омоем  
Лица холодеющим песком,

И возвысим голос, и с мольбою  
В прахе разольемся пред тобою,  
Как волна на берегу морском.

1905

### ЖЕНА АЗИСА

Неверную меняй на рис.  
*Древнее, симферопольское...*

Уличив меня в измене,  
Мой Али — он был Азис,  
Божий праведник, — в Сюрени<sup>1</sup>  
Променял меня на рис.

Умер новый мой хозяин,  
А недавно и Али,  
И на гроб его с окраин  
Все калеки поползли.

Шли и женщины толпами,  
Побрела и я шутя,  
Розу красную губами  
Подведенными крутя.

Вот и роща, и пригорок,  
Где зарыт он... Ах, Азис!  
Ты бы должен был раз сорок  
Променять меня на рис.

1903

---

<sup>1</sup> Сюрень — древнее татарское название Симферополя (*прим. автора*).

## КОВСЕРЬ

Мы дали тебе Ковсерь.  
*Коран.*

Здесь царство снов. На сотни верст безлюдны  
Солончаков нагие берега.  
Но воды в них — небесно-изумрудны,  
А шелк песков белее, чем снега.

В шелках песков лишь сизые полыни  
Растит аллах для кочевых отар.  
Но небеса здесь несказанно сини,  
И солнце в них — как адский огонь, Сакар.

И в знойный час, когда мираж зеркальный  
Сольет весь мир в один великий сон,  
В безбрежный блеск, за грань земли печальной,  
В сады Джиннат уносит душу он.

А там течет, там льется за туманом  
Река всех рек, лазурная Ковсерь,  
И всей земле, всем племенам и странам  
Сулит покой. Терпи, молись — и верь.

1903

## ЧЕРНЫЙ КАМЕНЬ КААБЫ

Он драгоценной яшмой был когда-то,  
Он был неизреченной белизны —  
Как цвет садов блаженного Джинната,  
Как горный снег в дни солнца и весны.

Дух Гавриил для старца Авраама  
Его нашел среди песков и скал,  
И гении хранили двери храма,  
Где он жемчужной грудой сверкал.

Но шли века — со всех концов вселенной  
К нему неслись молитвы, и рекой  
Текли во храм, далекий и священный,  
Сердца, обремененные тоской...

Аллах! Аллах! Померк твой дар бесценный —  
Померк от слез и горести людской!



## МУДРЫМ

Герой — как вихрь, срывающий палатки,  
Герой врагу безумный дал отпор,  
Но сам погиб — сгорел в неравной схватке,  
Как искрометный метеор.

А трус — живет. Он тоже месть лелеет,  
Он точит меткий дротик, но тайком.  
О, да, он — мудр! Но сердце в нем чуть тлеет:  
Как огонек под кизяком.

## СВЯЩЕННЫЙ ПРАХ

Пыль, по которой Гавриил  
Свой путь незримый совершает  
В полночный час среди могил,  
Целит и мертвых воскрешает.

Прах, на который пала кровь  
Погибших в битве за свободу,  
Благоговенье и любовь  
Внушает мудрому народу.

Прильни к нему, благослови  
Миг созерцания святыни —  
И в битву мести и любви  
Встань, как ураган пустыни.

## ЗЕЙНАБ

Зейнаб, свежесть очей! Ты — арабский кувшин:  
Чем душнее в палатках пустыни,  
Чем стремительней дует палящий хамсин,  
Тем вода холоднее в кувшине.

Зейнаб, свежесть очей! Ты строга и горда:  
Чем безумнее любишь — тем строже.  
Но сладка, о, сладка ледяная вода,  
А для путника — жизни дороже!

## СКЛОН ГОР

Склон гор, сады и минарет.  
К звездам стремятся кипарисы,  
Спит море. Теплый лунный свет  
Позолотил холмы и мысы.

И кроток этот свет: настал  
Час мертвой тишины — уж клонит  
Луна свой лик, уж между скал  
Протяжно полночник стонет.

И замер аромат садов.  
Узорный блеск под их ветвями  
Стал угасать среди цветов,  
Сплетаясь с длинными тенями.

И неподвижно Ночь сидит  
Над тихим морем: на колено  
Облокотилась, — глядит  
На валуны, где тает пена.

Передраcсветный лунный свет  
Чуть золотит холмы и мысы.  
Свечой желтеет минарет,  
Чернеют маги-кипарисы,

Блестя, ушел в морской простор  
Залив зеркальными луками,  
Таинственно вершины гор  
Мерцают вечными снегами.

## ГРОБНИЦА САФИИ

Горный ключ по скатам и оврагам,  
Полусонный, убегает вниз.  
Как чернец, над белым саркофагом  
В синем небе замер кипарис.

Нежные, как девушки, мимозы  
Льют под ним узор своих ветвей,  
И цветут, благоухают розы  
На кустах, где плачет соловей.

Ниже — дикий берег и туманный,  
Еле уловимый горизонт:

Там простор воздушный и безгранный,  
Голубая бездна — Геллеспонт.

Мир тебе, о, юная! Смиренно  
Я целую белое тюрбэ:  
Пять веков бессмертна и нетленна  
На Востоке память о тебе.

Счастлив тот, кто жизнью мир пленяет.  
Но стократ счастливей тот, чей прах  
Веру в жизнь бессмертную вселяет  
И цветет легендами в веках!

\* \* \*

Растет, растет могильная трава,  
Зеленая, веселая, живая.  
Омыла плиты влага дождевая,  
И мох покрыл ненужные слова.

По вечерам заплакала сова,  
К моей душе забывчивой взывая,  
И старый склеп, руина гробовая,  
Таит укор... Но ты, земля, права!

Как нежны на алеющем закате  
Кремли далеких синих облаков!  
Как вырезаны крылья ветряков  
За темною долиною на скате!

Земля, земля! Весенний сладкий зов!  
Ужель есть счастье даже и в утрате?

1906

### **ТЕЗЕЙ**

Тезей уснул в венке из мирт и лавра.  
Зыбь клонит мачту в черных парусах.  
Зеленым золотом горит звезда Кентавра  
На южных небесах.

Забыв о ней, гребцы склоняют вежды,  
Поют в дремоте сладкой... О, Тезей!  
Вновь пропитал Кентавр ткань праздничной одежды  
Настоем трав и ядом змей.

Мы в радости доверчивы, как дети.  
Нас тешит мирт, пьянит победный лавр...  
Один Эгей не спал над морем в звездном свете,  
Когда всходил Кентавр.

1907

### ПРОВОДЫ

Забил буграми жемчуг, заklubился,  
Взрывая малахиты под рулем.  
Земля плывет. Отходит, отделился  
Высокий борт. И мы назад плывем.

Мол опустел. На сор и зерна жита,  
Свистя, слетелись голуби. А там  
Дрожит корма, и длинный жезл бугшприта  
Отходит и чертит по небесам.

Куда теперь? Март, сумерки... К вечерне  
Звонят в порту... Душа весной полна,  
Полна тоской... Вон огонек в таверне...  
Но нет, домой. Я пьян и без вина.

1907

### ХРАМ СОЛНЦА

Шесть золотистых мраморных колонн,  
Безбрежная зеленая долина,  
Ливан в снегу и неба синий склон.

Я видел Нил и Сфинкса-исполина,  
Я видел пирамиды: ты сильнее,  
Прекрасней, допотопная руина!

Там глыбы желто-пепельных камней,  
Забутые могилы в океане  
Нагих песков. Здесь радость юных дней.

Патриархально-царственные ткани —  
Снегов и скал продольные ряды —  
Лежат, как пестрый галес на Ливане.

Под ним луга, зеленые сады  
И сладостный, как горная прохлада,  
Шум быстрой малахитовой воды.

Под ним стоянка первого Номада.  
И пусть она забвенна и пуста:  
Бессмертным солнцем светит колоннада.

В блаженный мир ведут ее врата.

*Баальбек. 6.5.07*

\* \* \*

Люблю цветные стекла окон  
И сумрак от столетних лип,  
Звенящей люстры серый кокон  
И половиц прогнивших скрип.

Люблю неясный винный запах  
Из шифоньерок и от книг  
В стеклянных невысоких шкапах,  
Где рядом Сю и Патерик.

Люблю их синие странички,  
Их четкий шрифт, простой набор,  
И серебро икон в божничке,  
И в горке матовый фарфор,

И вас, и вас, дагерротипы,  
Черты давно поблекших лиц,  
И сумрак от столетней липы,  
И скрип прогнивших половиц.

*1966*

## **ПЕТРОВ ДЕНЬ**

Девочки-русалочки,  
Нынче наш последний день!  
Свет за лесом занимается,  
Побледнели небеса,

Собираются с дубинами  
Мужики из деревень  
На опушку, к морю сизому  
Холодного овса...

Мы из речки — на долину,  
Из долины — по отвесу,  
По березовому лесу —  
На равнину,  
На восток, на ранний свет,  
На серебряный рассвет,  
На овсы,  
Вдоль по жемчугу  
По сизому росы!

Девочки-русалочки,  
Звонко стало по лугам  
Забелела речка в сумраке,  
В алеющем пару.  
Пнями пахнет лес березовый  
По откосам, берегам,—  
Густ и зелен он, кудрявый,  
Поутру...

Поутру вода тепла,  
Холодна трава седая,  
Вся медовая, густая,  
Да идут на нас с дрекольем из села.  
Что ж! Мы стаей на откосы,  
На опушку — из берез,  
На бегу растреплем косы,  
Упадем с разбега в росы  
И до слез  
Щекотать друг друга будем,  
Хохотать и, назло людям,  
Мять овес!

Девочки-русалочки,  
Стойте, поглядите на рассвет:  
Бел-восток алеет, ширится,—  
Широко зарей в полях,  
Ни души-то нету, милые,  
Только ранний алый свет  
Да холодный крупный жемчуг  
На стеблях...

Мы, нагие,  
Всем чужие,  
На опушке, на поляне,  
Бледны, по пояс в пару,—  
Нам пора, сестрицы, к няне,  
Ко двору!  
Жарко в небе солнце божье  
На Петров играет день,  
До Ильи сулит бездожье,  
Пыль, сухмень —  
Будут знойные зарницы  
Зáрить хлеб,  
Будет омут наш, сестрицы,  
Темен, слеп!

1906

### ПУГАЛО

На задворках, за ригами  
Богатых мужиков,  
Стоит оно, родимое,  
Одиннадцать веков.

Под шапкою лохматою —  
Дубинка-голова.  
Крестом по ветру треплются  
Пустые рукава.

Старновкой — чистым золотом! —  
Набит его чекмень,  
На зависть на великую  
Соседних деревень...

Он, огород-то, выпахан,—  
Уж есть и лебеда,  
И глина означается,—  
Да это не беда!

Не много дел и пугалу...  
Да разве огород  
Такое уж сокровище? —  
Пугался бы народ!

## СЛЕПОИ

Вот он идет проселочной дорогой,  
Без шапки, рослый, думающий, строгий,  
С мешками, с палкой, в рваном армячишке,  
Держась рукой за плечико мальчишки.

И звонким альтом, жалобным и страстным,  
Поет, кричит мальчишка,— о прекрасном  
Об Алексее, божьем человеке,  
Под недовольный, мрачный бас калеки.

«Вы пожалейте, плачет альт, бездомных!  
Вы наградите, люди, сирых, темных!»  
И бас грозит: «В аду, в огне сгорите!  
На пропитанье наше сотворите!»

И, угрожая, властным, мерным шагом  
Идет к избушке ветхой над оврагом,  
Над скудной балкой вдоль иссохшей речки,  
А там одна старуха на крылечке.

И крестится старуха и дрожащей  
Рукою ищет грошик завалящий  
И жалко плачет, сморщивая брови,  
Об окаянной грешнице Прасковье.

1907

## НАСЛЕДСТВО

В угольной — солнце, запах кипариса...  
В ней круглый год не выставляли рам.  
Покой любила тетушка Лариса,  
Тепло, уют... И тихо было там.

Пол мягко устлан — коврики, попоны...  
Все старомодно — кресла, туалет,  
Комод, кровать... В углу на юг — иконы,  
И сколько их в божничке,— счету нет!

Но, тетушка, о чем вы им молились,  
Когда шептали в требник и псалтырь  
Да свечи жгли? Зачем не удалились  
Вы заживо в могилу,— в монастырь?



Приемышу с молоденькой женою  
Дала приют... «Скучненько нам вдвоем,  
Да что же делать-с! Давит тишиною  
Вас домик мой? Так не живите в нем!»

И молодые сели, укатили...  
А тетушка скончалась в тишине  
Лишь прошлый год... Вот филин и в могиле,  
Я Крезом стал... Да что-то скучно мне!

Дом развалился, темен, гнил и жалок,  
Варок раскрыт, в саду — мужицкий скот,  
Двор в лопухах... И сколько бойких галок  
Сидит у труб!.. Но вот и «старый» ход.

Попрежнему дверь в залу туалетом  
Заставлена в угольной. На столах  
Алеет пыль. Вечерним низким светом  
Из окон солнце блещет в зеркалах.

А в образничке — суздальские лики  
Угодников. Уж сняли за долги  
Оклады с них. Они угрюмы, дики  
И смотрят друг на друга, как враги.

Бог с ними! С паутиною, пенькою  
Я вырываю раму. Из щелей  
Бегут двухвостки. Садам и рекою  
В окно пахнуло... Так-то веселей!

Сад вечереет. Слаше и свежее  
Запахло в нем. Прозрачный месяц встал.  
В угольной ночью жутко... Да Кошеч  
Мне нипочем: я тетушку видал!

### **РЫБАЛКА**

Вода за холодные серые дни в октябре  
На отмелях спала — прозрачная стала и чистая.  
В песке обнаженном оттиснулась лапка лучистая:  
Рыбалка сидела на утренней ранней заре.

В болоте лесном, под высоким коричневым шпажником,  
Где цепкая тина с листвою купав сплетена,

Все лето жила, тосковала о дружке она,  
О дружке, убитой заезжим охотником-бражником.

Зарею она улетела на дальний Дунай —  
И горе забудет. Но жизнь дорожит и рыбалкою:  
Ей надо помучить кого-нибудь песенкой жалкою —  
И Груня жалкует, поет... Вспоминай, вспоминай!

### ПУГАЧ

Он сел в глуши, в шатре столетней ели.  
На яркий свет, сквозь ветви и сучки,  
С безумным удивлением глядели  
Сверкающие золотом зрачки.

Я выстрелил. Он вздрогнул — и бесшумно  
Сорвался вниз, на мох корней витых.  
Но и во мху блестят, глядят безумно  
Круги зрачков лучисто-золотых.

Раскинулись изломанные крылья,  
Но хищный взгляд все так же дик и зол,  
И сталь когтей с отчаяньем бессилья  
Вонзается в ружейный скользкий ствол.

### НА ПЛЮЩИХЕ

Пол навощен, блестит паркетом.  
Столовая озарена  
Полуденным горячим светом.  
Спит кот на солнце у окна:

Мурлыкает и томно шурит  
Янтарь зрачков, как леопард,  
А бабушка — в качалке, курит  
И думает: «Итак, уж март!

А там и праздники, и лето,  
И снова осень»... Вдруг в окно  
Влетело что-то,— вдоль буфета  
Мелькнуло светлое пятно,

Зажглось, блеснув, в паркетном воске —  
И вновь исчезло... Что за шут?

А! это улицей подростки.  
Как солнце, зеркало несут.

И снова думы: «Оглянуться  
Не успеваешь — года нет...»  
А в окна, сквозь гардины, льются  
Столбы лучей, горячий свет,

И дым, ленивою куделью  
Сливаясь с светлой полосой,  
Синеет, тает... как за елью  
В далекой просеке, весной.

\* \* \*

Кошка в крапиве за домом жила.  
Дом обветшалый молчал, как могила.  
Кошка в него по ночам приходила  
И замирала напротив стола.

Стол обращен к образам — позабыли,  
Стол как стоял, так остался. В углу  
Каплями воск затвердел на полу —  
Это горевшие свечи оплыли.

Помнишь? Лежит старичок-холостяк:  
Кротко закрыты ресницы — и кротко  
В черненький галстук воткнулась борода...  
Свечи пылают, дрожит нависающий мрак...

Темен теперь этот дом по ночам.  
Кошка проходит и светит глазами.  
Угол мерцает во тьме образами.  
Ветер шумит по печам.

1907

### ДЯДЬКА

За окнами — снега, степная гладь и ширь,  
На переплетах рам — следы ночной пурги...  
Как тих и скучен дом! Как съежился снегирь  
От стужи за окном.— Но вот слуга. Шаги.

По комнатам идет седой костлявый дед,  
Несет вечерний чай: «Опять глядишь в углы?  
Небось, все писем ждешь, депеш да эстафет?  
Не жди. Ей не до нас. Теперь в Москве — балы».

Смутясь, глядит барчук на строгие очки,  
На седину бровей, на розовую плешь...  
— Да нет, старик, я так... Сыграем в дурачки,  
Пораньше ляжем спать... Каких уж там депеш!

\* \* \*

Проснусь, проснусь — за окнами, в саду,  
Все тот же снег, все тот же блеск полярный.  
А в зале сумрак. Слушаю и жду:  
И вот опять — таинственный, коварный,  
Чуть слышный треск... Конечно, пол иль мышь.  
Но как насторожишься, как следишь  
За кем-то, притаившимся у двери  
В повисшей без движения портъере!  
Но *он* молчит, он замер... Тюль гардин  
Сквозит в голубоватом лунном блеске  
Да чуть мерцают — искорками льдин —  
Под люстрой стеклянные подвески.

1906

\* \* \*

Геймдалль искал родник божественный.  
Геймдалль, ты мудрости алкал —  
И вот настал твой час торжественный  
В лесах, среди гранитных скал.

Они молчат, леса полночные,  
Ручьи, журча, едва текут,  
И звезды поздние, восточные  
Их вещей говор стерегут.

И шлем ты снял — и холод счастья  
По волосам твоим прошел:  
Миг обрученья, миг причастия  
Как смерть был сладок и тяжел.

Теперь ты мудр. Ты жаждал знания —  
И все забыл. Велик и прост,  
Ты слышишь мхов произрастание  
И дрожь земли при свете звезд.  
1906

### БЕЗНАДЕЖНОСТЬ

На севере есть розовые мхи,  
Есть серебристо-шелковые дюны...  
Но темных сосен звонкие верхи  
Поют, поют над морем, точно струны.

Послушай их. Стань, прислонись к сосне:  
Сквозь грозный шум ты слышишь ли их нежность?  
Но и она — в певучем полусне...  
На севере отраднa безнадежность.

### ТЯСИНА

Болото тихой северной страны  
В осенних сумерках таинственной погоста.  
Цветут цветы. Мы не поймем их роста  
Из заповедных недр, их сонной глубины.

Порой, грустя, мы вспоминаем что-то...  
Но что? Мы и земле и богу далеки...  
В гробах трясин родятся огоньки...  
Во тьме родится свет... Мы — огоньки болота.

### ОДИН

Он на запад глядит — солнце к морю спускается,  
Светит по морю красным огнем.  
Он застыл на скале — ветхий плащ развевается  
От холодного ветра на нем.

Опираясь на меч, он глядит на багровую  
Чешую беспредельных зыбей.  
Но не видит он волн — только думу суровую  
Означают изгибы бровей.

Древен мир. Он древней. Плащ Одина как вретисце,  
Ржа веков — на железном мече...  
Черный ворон Хугин, скорбной Памяти детище,  
У него на плече.

\* \* \*

Присела на могильнике Савуре  
Старуха-Смерть, глядит на людный шлях.  
Цветущий лен полоскою лазури  
Синеет на полях.

И говорит старуха-Смерть: «Здорово,  
Прохожие! Не надо ли кому  
Льняного погребального покрова? —  
Не дорого возьму».

И говорит Савур-курган: «Не каркай!  
И саван — прах. И саван обречен  
Истлеть в земле, чтоб снова вырос яркий  
Небесно-синий лен».

1907

### С КОРАБЛЯ

Для жизни жизнь! Вон пенные буруны  
У сизых каменистых берегов.  
Вон красный киль давно разбитой шкуны...  
Но кто жалеет мертвых рыбаков?

В сыром песке на солнце сохнут кости...  
Но радость неба, свет и бирюза,  
Еще свежей при утреннем норд-осте —  
И блеск костей лишь радует глаза.

### ДИКАРЬ

Над стремью скал — чернеющий орел.  
За стремью — синь, туманное поморье.  
Он как во сне к своей добыче шел  
На этом поднебесном плоскогорье.

С отвесных скал летели вниз кусты,  
Но дерзость их безумца не страшила:  
Ему хотелось большей высоты —  
И бездна смерти бездну довершила.

Ты знаешь, как глубоко в синеву  
Уходит гриф, ужаленный стрелою?  
И он напруг тугую тетиву —  
И зашумели крылья над скалою,

И потонул в бездонном небе гриф,  
И кровь, звездой упавшую оттуда  
На берега, на известковый риф,  
Смыл океан волною изумруда.

### ОБВАЛ

В степи, с обрыва на сто миль  
Морская ширь открыта взорам.  
Внизу, в стремнине — глина, пыль,  
Щепа и кости с мелким сором.

Гудели ночью тополя,  
В дремоте море бушевало —  
Вдруг тяжко охнула земля,  
Весь берег дрогнул от обвала!

Сегодня там стоят, глядят  
И алой, белой павиликой  
На солнце зонтики блестят  
Над бездной пенистой и дикой.

Никто не знал, что здесь — погост,  
Да и теперь — кому он нужен!  
Весенний ветер свеж и прост,  
Он только с молодостью дружен!

Внизу — щепа, гробы в пыли...  
Да море берег косит, косит  
Серпами волн — и от земли  
Далеко сор ее уносит!

\* \* \*

И скрип и визг над бухтой, наводненной  
Буграми влаги пенисто-зеленой:  
Как в забытьи, качаются над ней  
Кресты нагих запутанных снастей,  
А чайки с криком падают меж ними,  
Сверкая в ряях крыльями тугими,  
Иль белою яичной скорлупой  
Скользят в волне зелено-голубой.  
Еще бегут поспешно и высоко  
Лохмотья туч, но ветер от востока  
Уж дал горам лиловые цвета,  
Чеканит грани снежного хребта  
На синем небе, свежем и блестящем,  
И сыплет в море золотом кипящим.

1906

\* \* \*

Вдоль этих плоских знойных берегов  
Лежат пески, торчат кусты дзарига.  
И моря пышноцветного индиго  
Равниною глядит из-за песков.

Нет даже чаек. Слабо проползает  
Шуршащий краб. Желтеют кости рыб.  
И берегов краснеющий изгиб  
В лиловых полутонах исчезает.

\* \* \*

В полях сухие стебли кукурузы,  
Следы колес и блеклая ботва.  
В холодном море — бледные медузы  
И красная подводная трава.

Поля и осень. Море и нагие  
Обрывы скал. Вот ночь, и мы идем  
На темный берег. В море — летаргия  
Во всем великом таинстве своем.



«Ты видишь воду?» — «Вижу только ртутный  
Туманный блеск...» Ни неба, ни земли.  
Лишь звездный блеск висит над нами — в мутной  
Бездонно-фосфорической пыли.

12.9.10

### СТРИЖИ

Костел-маяк, примета мореходу  
На ребрах гор, скалистых и нагих,  
Звонит зимой, в туман и непогоду,  
А нынче — штиль; закат и чист, и тих.

Одни стрижи, — как только над горою  
Начнет гранит вершины розоветь, —  
Скользят в пролетах башни и порою  
Чуть слышно будят медь.

### НА РЕИДЕ

Люблю сухой, горячий блеск червонца,  
Когда его уронят с корабля  
И он, скользнув лучистой каплей солнца,  
Прорежет волны у руля.

Склонясь с бортов, с невольною улыбкой  
Все смотрят вниз. А он уже исчез.  
Вверх по корме струится глянец зыбкий  
От волн, от солнца и небес.

Как жар горят червонной медью гайки  
Под серебристым тентом корабля.  
И плавают на снежных крыльях чайки,  
Косясь на волны у руля.

### БАЛАГУЛА

Балагула убегает и трясет меня.  
Рыжий Айзик правит парой и сосет тютюн.  
Алый мак во ржи мелькает — лепестки огня.  
Золотятся, льются нити телеграфных струн.

«Айзик, Айзик, вы заснули!» — «Ха! А разве пан  
Едет в город с интересом? Пан — поэт, артист!»  
Правда, правда. Что мне этот грязный Аккерман?  
Степь привольна, день прохладен, воздух сух и чист.

Был я сыном, братом, другом, мужем и отцом,  
Был в довольстве... Все насмарку! Все не то, не то!  
Заплачу за путь венчальным золотым кольцом,  
А потом... Потом в таверну: вывезет лото!

## ДИЯ

Штиль в безгранично-светлом Ак-Денизе.  
Зацвел миндаль. В ауле тишина  
И теплый блеск. В мечети на карнизе,  
Воркуя, ходят, ходят турмана.

На скате под обрывистым утесом  
Журчит фонтан. Идут оттуда вниз  
Уступы крыш по каменным откосам  
И безграничный виден Ак-Дениз.

Она уж там. И весел и спокоен  
Взгляд карих глаз. Легка, как горный джин.  
Под шелковым бешметом детски-строен  
Высокий стан... Она нальет кувшин,

На камне сбросит красные папучи  
И будет мыть, топтать в воде белье...  
— Журчи, журчи, звени, родник певучий,  
Она глядится в зеркало твое!

1907

## ИЗ АНАТОЛИЙСКИХ ПЕСНЕЙ

### Девичья

Свежий ветер дует в сумерках  
На скалистый островок.  
Закачалась чайка серая  
Под скалой, как поплавок.

Под крыло головку спрятала  
И забылась в полусне.  
Я бы тоже позабылась  
На качающей волне!

Поздно ночью в саклю темную  
Грусть и скуку принесешь.  
Поздно ночью с милым встретишься,  
Да и то когда заснешь!

### **Рыбацкая**

Летом в море легкая вода,  
Белые сухие паруса,  
Иглами стальными в невода  
Сыплется под баркою хамса.

Осенью не весел Трапезонд!  
В море вьюга, холод и туман,  
Ходит головами горизонт,  
В пену зарывается бакан.

Тяжела студеная вода,  
Буря в ночь осеннюю дерзка,  
Да на волю гонит из гнезда  
Лютая голодная тоска!

### **ЗАКОН**

Во имя бога, вечно всеблагого!  
Он, давший для писания тростник,  
Сказал: блюди написанное слово  
И делай то, что обещал язык.

Приняв закон, прими его вериги.  
Иль оттолкни — иль всей душою чти:  
Не будь ослом, который носит книги  
Лишь потому, что их велят нести.

### **НАПУТСТВИЕ**

«За погостом Скутари, за черным  
Кипарисовым лесом...» — «О мать!  
Страшно воздухом этим тлетворным  
Молодому дышать!»

«Там шалаш, в шалаше — прокаженный...»  
— «Пошади, свежесть сердца!..» — «Склонись  
До земли и рукой обнаженной  
Гнойной язвы коснись».

— «Мать! Зачем? Разве душу и тело  
Я не отдал тебе?» — «Замолчи.  
Ты идешь на великое дело:  
Ждут тебя палачи.

Тверже стали, орлиного когтя  
Безнадежное сердце. Склонись —  
И рукой, обнаженной до локтя,  
Смертной язвы коснись».

### РОЗЫ ШИРАЗА

Пой, соловей! Они томятся:  
В шатрах узорчатых мимоз,  
На их ресницах серебрятся  
Алмазы томных крупных слез.

Сад в эту ночь — как сад Ирема.  
И сладострастна, и бледна,  
Как в шакнизир, тайник гарема,  
В узор ветвей глядит луна.

Белеет мел стены неясно.  
Но там, где свет, его атлас  
Горит так зелено и страстно,  
Как изумруд змеиных глаз.

Пой, соловей! Томят желанья.  
Цветы молчат — нет слов у них:  
Их сладкий зов — благоуханья,  
Алмазы слез — покорность их.

### С ОБЕЗЬЯНОЙ

Ай, тяжела турецкая шарманка!  
Бредет худой согнувшийся хорват  
По дачам утром. В юбке обезьянка  
Бежит за ним, смешно поднявши зад.

И детское и старческое что-то  
В ее глазах печальных. Как цыган,  
Сожжен хорват. Пыль, солнце, зной, забота...  
Далеко от Одессы на Фонтан!

Ограды дач еще в живом узоре —  
В тени акаций. Солнце из-за дач  
Глядит в листву. В аллеях блещет море...  
День будет долог, светел и горяч.

И будет сонно, сонно. Черепицы  
Стеклом светиться будут. Промелькнет  
Велосипед бесшумным махом птицы,  
Да прогремит в немецкой фуре лед.

Ай, хорошо напиться! Есть копейка,  
А вон киоск: большой стакан воды  
Даст с томною улыбкою еврейка...  
Но путь далек... Сады, сады, сады...

Зверок устал, — взор старичка-ребенка  
Томит тоской. Хорват от жажды пьян.  
Но пьет зверок: лиловая ладонка  
Хватает жадно пенистый стакан.

Поднявши брови, тянет обезьяна,  
А он жует засохший белый хлеб  
И медленно отходит в тень платана...  
Ты далеко, Загреб!

### СТАМБУЛ

Облезлые худые кобели  
С печальными, молящими глазами —  
Потомки тех, что из степей пришли  
За пыльными скрипучими возами.

Был победитель славен и богат  
И затопил он шумною ордою  
Твои дворцы, твои сады, Царьград,  
И предался, как сытый лев, покою.

Но дни летят, летят быстрее птиц!  
И вот уже в Скутари на погосте

Чернеет лес, и тысячи гробниц  
Белеют в кипарисах, точно кости.

И прах веков упал на прах святынь,  
На славный город, ныне полудикий,  
И вой собак звучит тоской пустынь  
Под византийской ветхой базиликой.

И пуст Сераль, и смолк его фонтан,  
И высохли столетние деревья...  
Стамбул, Стамбул! Последний мертвый стан  
Последнего великого кочевья!

1905

### МЕКАМ

Мекам — восторг, священное раденье,  
Стремление желанное постичь.  
Мекам — тоска, блаженное томленье  
И творчества беззвучный жадный клич.

К мечте безумец руки простирает  
И алчет бога видеть наяву.  
Завет гласит: «узревший — умирает».  
Но смерть есть приближенье к божеству.

Благословенна сладостная мука  
Трудов моих! Я творчеству отдам  
Всю жизнь мою: на расстоянье лука  
Ведет меня к желанному мекам.

### МАГОМЕТ В ИЗГНАНИИ

Духи над пустыней пролетали  
В сумерки, над каменистым логом.  
Скорбные слова его звучали,  
Как источник, позабытый богом.

На песке, босой, с раскрытой грудью,  
Он сидел и говорил, тоскуя:  
«Предан я пустыне и безлюдью,  
Отрешен от всех, кого люблю я!»

И сказали Духи: «Недостойно  
Быть пророку слабым и усталым».  
И пророк печально и спокойно  
Отвечал: «Я жаловался скалам».

1906

### КАИР

Английские солдаты из цитадели  
Глядят за Нил, на запад. От Али  
До пирамид, среди долин, в пыли,  
Лежит Каир. Он сух и сер в апреле.

Бил барабан и плакал муэдзин.  
В шафранно-сизой мути, за пустыней,  
Померк закат. И душен мутно-синий  
Вечерний воздух. Близится хамсин.

Веселыми несметными огнями  
Горит Каир. А сфинкс от пирамид  
Глядит в ночную бездну — на Апит  
И темь веков. Бог Ра в могиле. В яме.

### ИСТАРА

Луна, бог Син, ее зарей встречает.  
Она свой путь свершает на быке,  
Ее тиара звездная венчает,  
Стрела и лук лежат в ее руке.

Царица битв, она решает битвы,  
Судья царей, она неправым мстит —  
И уж ни дым, ни фимиам молитвы  
Ее очей тогда не обольстит.

Но вот весна. Среди речного пара  
Свой бледный лик подьмет Син, луна —  
И как нежна становится Истара!

Откинув лук, до чресл обнажена,  
Таинственна и сладостна, как чара,  
С какой мольбой ждет страстных ласк она!

Ра-Озирис, владыка дня и света,  
Хвала тебе! Я, бог пустыни, Сет,  
Горжусь врагом: ты, побеждая Сета,  
В его стране царил пять тысяч лет.

Ты славен был, твоя ладья воспета  
Была стократ. Но за ладьей вослед  
Шел бог пустынь, бог древнего завета —  
И вот, о, Ра, плоды твоих побед:

Безносый сфинкс среди полей Гизеха,  
Ленивый Нил да глыбы пирамид,  
Руины Фив, где гулко бродит эхо,  
Да письмена в куски разбитых плит,

Да обелиск в блестящей политуре,  
Да пыль песков на пламенной лазури.

1905

### ДЖОРДАНО БРУНО

«Ковчег под предводительством осла —  
Вот мир людей. Живите во Вселенной.  
Земля — вертеп обмана, лжи и зла.  
Живите красотой неизменной.

Ты, мать-земля, душе моей близка —  
И далека. Люблю я смех и радость,  
Но в радости моей — всегда тоска,  
В тоске всегда — таинственная сладость!»

И вот он посох странника берет:  
Простите, келий сумрачные своды!  
Его душа, всем чуждая, живет  
Теперь одним: дыханием свободы.

«Вы все рабы. Царь вашей веры — Зверь:  
Я свергну трон слепой и мрачной веры.  
Вы в капище: я распахну вам дверь  
На блеск и свет, в лазурь и бездну Сферы.

Ни бездне бездн, ни жизни грани нет.  
Мы остановим солнце Птоломея —



И вихрь миров, несметный сонм планет,  
Пред нами развернется, пламенея!»

И он дерзнул на все — вплоть до небес.  
Но разрушение — жажда созиданья,  
И, разрушая, жаждал он чудес —  
Божественной гармонии Созданья.

Глаза сияют, дерзкая мечта  
В мир откровений радостных уносит.  
Лишь в истине — и цель и красота.  
Но тем сильнее сердце жизни просит.

«Ты, девочка! ты, с ангельским лицом,  
Поющая над старой звонкой лютней!  
Я мог твоим быть другом и отцом...  
Но я один. Нет в мире бесприютней!

Высоко нес я стяг своей любви.  
Но есть другие радости, другие:  
Оледенив желанья свои,  
Я только твой, познание — софия!»

И вот опять он странник. И опять  
Глядит он вдаль. Глаза блестят, но строго  
Его лицо. Враги, вам не понять,  
Что бог есть Свет. И он умрет за бога.

«Мир — бездна бездн. И каждый атом в нем  
Проникнут богом — жизнью, красотою.  
Живя и умирая, мы живем  
Единою, всемирною Душою.

Ты, с лютнею! Мечты твоих очей  
Не эту ль Жизнь и Радость отражали?  
Ты, солнце! вы, созвездия ночей!  
Вы только этой Радостью дышали».

И маленький тревожный человек  
С блестящим взглядом, ярким и холодным,  
Идет в огонь. *«Умерший в рабский век  
Бессмертием венчается — в свободном!*

Я умираю — ибо так хочу.  
Развей, палач, развей мой прах, презренный!  
Привет Вселенной, Солнцу! Палачу! —  
Он мысль мою развеет по Вселенной!»

## НОЧНЫЕ ЦИКАДЫ

Прибрежный хрящ и голые обрывы  
Степных равнин луной озарены.  
Хрустальный звон сливает с небом нивы.

Цветы, колосья, травы им полны,  
Он ни на миг не молкнет, но не будит  
Бесстрастной предрассветной тишины.

Ночь стелет тень и влажный берег студит,  
Ночь тянет вдаль свой невод золотой—  
И скоро блеск померкнет и убудет.

Но степь цветет. Как колос налитой,  
Полна душа. Земля зовет: спешите  
Любить, творить, пьянить себя мечтой!

От бледных звезд, раскинутых в зените,  
И до земли, где стынет лунный сон,  
Текут хрустально-трепетные нити.

Из сонма жизней соткан этот звон.

*10.9.10*

## ПРОМЕТЕЙ В ПЕЩЕРЕ

Вокруг пещеры гул. Над нами мрак. Во мраке,  
Краснея, светятся глаза моей собаки.  
Огонь, и в них огонь! Из-под глухой стены,  
Где сбилось стадо коз, они устремлены  
За вход, в слепую ночь, на клики чад Неряя,  
Туда, где с пены волн, что прядают, белея,  
Срывает брызги вихрь, где блещут космы грив,  
Дымящихся внутри, и буйный их прилив  
Снегами топит брег.— Вот грохот колесницы  
Идет торжественно над темной высотой:  
Я гложу, я слежу крутящиеся спицы,  
Что мечут на бегу свой отблеск золотой,  
И слепну от огня.— Привет тебе, Державный!  
Теперь тебя твой враг приветствует как равный!

## В АРХИПЕЛАГЕ

Осенний день в лиловой крупной зыби  
Блистал, как медь. Эол и Посейдон  
Вели в снастях певучий долгий стон,  
И наш корабль нырял подобно рыбе.

Вдали был мыс. Высоко на изгибе,  
Сквозя, вставал неровный ряд колонн.  
Но песня рей меня клонила в сон —  
Корабль нырял в лиловой крупной зыби.

- Не все ль равно, что это старый храм,  
Что на мысу — забытый портик Феба!  
Запомнил я лишь ряд колонн да небо.

Дым облаков курился по горам,  
Пустынный мыс был схож с ковригой хлеба.  
Я жил во сне. Богов творил я сам.

*12.8.08*

## ГОРНЫЙ ЛЕС

Вечерний час. В долину тень сползла.  
Сосною пахнет. Чисто и глубоко  
Над лесом небо. Млечный змей потока  
Шуршит слышней вдоль белого русла.

Слышней звенит далекий плач козла.  
Острей стрекочет легкая сорока.  
Гора, весь день глядевшая с востока,  
Свой алый пик высоко унесла.

На ней молились Волчьему Зевесу.  
Не раз, не раз с вершины этих скал  
И дым вставал, и пели гимны лесу,  
И медный нож в руках жреца сверкал.

Я тихо поднимал древнюю завесу.  
Я в храм отцов забытый путь искал.

*14.8.08*

## СОБАКА

Мечтай, мечтай. Все уже и тусклей  
Ты смотришь золотистыми глазами  
На вьюжный двор, на снег, прилипший к раме,  
На метлы гулких, дымных тополей.

Вздыхая, ты свернулась потеплей  
У ног моих — и думаешь... Мы сами  
Томим себя — тоской иных полей,  
Иных пустынь... за пермскими горами.

Ты вспоминаешь то, что чуждо мне:  
Седое небо, тундры, льды и чумы  
В твоей студеной дикой стороне.

Но я всегда делю с тобою думы:  
Я человек: как бог, я обречен  
Познать тоску всех стран и всех времен.

4.8.09

## МОГИЛА В СКАЛЕ

То было в полдень, в Нубии, на Ниле.  
Пробили вход, затеплили огни —  
И на полу преддверия, в тени,  
На голубом и тонком слое пыли,  
Нашли живой и четкий след ступни.

Я, путник, видел это. Я в могиле  
Дышал теплом сухих камней. Они  
Сокрытое пять тысяч лет хранили.

Был некий день, как некий краткий час,  
Прощальный миг, когда в последний раз  
Вздыхнул здесь тот, кто узкою стопою  
В атласный прах вдавил свой узкий след.

Тот миг воскрес. И на пять тысяч лет  
Умножил жизнь, мне данную судьбою.

6.8.09

## САВАОФ

Я помню сумрак каменных аркад,  
В середине свет — и красный блеск атласа  
В сквозном узоре старых царских врат,  
Под золотой стеной иконостаса.

Я помню купол грубо-голубой:  
Там Саваоф с простертыми руками,  
Над скудною и темною толпой,  
Царил меж звезд, повитых облаками.

Был вечер, март, сияла синева  
Из узких окон, в куполе пробитых,  
Мертво звучали древние слова.

Весенний отблеск был на скользких плитах—  
И грозная седая голова  
Текла меж звезд, туманами повитых.

28.7.08

## ПОЛНОЧЬ

Ноябрь, сырая полночь. Городок,  
Весь меловой, весь бледный под луною,  
Подавлен безответной тишиною.  
Приливный шум торжественно-широк.

На мачте коменданта флаг намок.  
Вверху, над самой мачтой, над сквозною  
И мутной мглой, бегущей на восток,  
Скользит луна зеркальной белизною.

Иду к обрывам. Шум грознее. Свет  
Тайнственной, тусклее и печальней.  
Волна качает сваи под купальной.

Вдали — седая бездна. Моря нет.  
И валуны, в шипящей серой пене,  
Блестят внизу, как спящие тюлени.

6.8.09

## РАССВЕТ

Как стая птиц, в пустыне одиноко  
Белеет форт. За ним — пески, страна  
Нагих бугров. На золоте востока  
Четка и фиолетова она.

Рейд солнца ждет. Из черных труб «Марокко»  
Восходит дым. Зеленая волна  
Стальнойю сажей, блестками полна,  
Качает мерно, плавно и широко.

Вот первый луч. Все окна на борту  
Зажглись огнем. Вот пар взлетел — и трубы  
Призывно заревели в высоту.

Подняв весло, гребец оскалил зубы:  
Как нежно плачет колокол в порту.  
Под этот рев торжественный и грубый!

*13.8.09*

## ПОЛДЕНЬ

Горит хрусталь, горит рубин в вине,  
Звездой дрожит на скатерти в салоне.  
Последний остров тонет в небосклоне,  
Где зной и блеск слились в горячем сне.

На баке бриз. Там, на носу, на фоне  
Сухих небес, на жуткой крутизне,  
Сидит ливиец в белом балахоне,  
Глядит на снег, кипящий в глубине.

И влажный шум над этой влажной бездной  
Клонит в дремú. И острый ржавый нос,  
Не торопясь, своей броней железной  
В снегу взрезает синий купорос.

Сквозь купорос, сквозь радугу от пыли,  
Струясь, краснеет киноварь на киле.

*14.8.09*

## БОГ ПОЛДНЯ

Я черных коз пасла с меньшей сестрой  
Меж красных скал, колючих трав и глины.  
Залив был синь. И камни, грея спины,  
На жарком солнце спали под горой.

Я прилегла в сухую тень маслины  
С корявой серебристою корой —  
И он сошел как мух звенящий рой,  
Как свет сквозной горячей паутины.

Он озарил мне ноги. Обнажил  
Их до колен. На серебре рубашки  
Горел огнем. И навзничь положил.

Его объятъя сладостны и тяжки.  
Он мне сосцы загаром окружил  
И научил варить настой ромашки.

*12.8.08*

## ПОСЛЕДНИЕ СЛЕЗЫ

Изнемогла, в качалке задремала  
Под дачный смех. Синели небеса.  
Зажглась звезда. Потом свежее стало.  
Взошла луна — и смолкли голоса.

Текла и млела в море полоса.  
Стекло балконной двери заблестало.  
И вот, она проснулась и устало  
Поправила сухие волоса.

Подумала. Полюбовалась далью.  
Взяла ручное зеркальце с окна —  
И зеркальце сверкнуло синей сталью.

Ну да, виски белеют: седина.  
Бровь поднята, измучена печалью.  
Светло глядит холодная луна.

## ГАЛЬЦИОНА

Когда в волне мелькнул он мертвым ликом,  
К нему на сердце кинулась она —  
И высоко, с двойным звенящим криком,  
Двух белых чаек вынесла волна.

Когда зимой, на этом взморье диком  
Крутая зыбь мутна и солонна,  
Они скользят в ее пучину с криком —  
И высоко выносит их волна.

Но есть семь дней: смолкает Гальциона,  
И для нее шадит пловцов Эол.  
Как серебро, светло морское лоно,

Чернеет степь, на солнце дремлет вол...  
Семь мирных дней проводит Гальциона  
В камнях, в гнезде. И внуков ждет Эол.

28.7.08

## РЫБАЧКА

— Кто там стучит? Не встану. Не открою  
Намокшей двери в хижине моей.  
Тревожна ночь осеннею порою —  
Рассвет еще тревожней и шумней.

— «Тебя пугает гул среди камней  
И скрежет мелкой гальки под горою?»  
— Нет, я больна. И свежестью сыроу  
По одеялу дует из сеней.

— «Я буду ждать, когда уgomонится  
От бури охмелевшая волна  
И станет блеклым золотом струиться  
Осенний день на лавку из окна».

— Уйди! Я ночевала не одна.  
Он был смелей. Он моря не боится.

## МОРСКОЙ ВЕТЕР

Морского ветра свежее дыханье  
Из темноты доходит, как привет.  
На дачах глушь. И поздней лампы свет  
Осенней ночи слушает молчанье.



Сон с колотушкой бродит — и о нем  
Скучает кто-то, дальний, бесприютный.  
Нет ни звезды. Один Юпитер мутный  
Горит в выси мистическим огнем.

Волна и ветер с темных побережий  
Доносят запах ржавчины — песков,  
Сырых ракушек, сгнивших тростников.

Привет полночный, ласковый и свежий,  
Мне чьей-то вольной кажется душой:  
Родной мечтам и для земли — чужой.

### КАРАВАН

Звон на верблюдах, ровный, полусонный,  
Звон бубенцов подобен роднику:  
Течет, течет струею отдаленной,  
Баюкая дорожную тоску.

Давно затих базар неугомонный.  
Луна меж пальм сияет по песку.  
Под этот звон, глухой и однотонный,  
Вожак прилег на жесткую луку.

Вот потянуло ветром, и свежее  
Вздохнула ночь... Как сладко спать в седле,  
Склонясь лицом к верблюжьей теплой шее!

Луна зашла. Поет петух в Рамлэ.  
И млечной синью горы Иудей  
Свой зыбкий кряж означили во мгле.

*15.8.08*

### ИЕРИХОН

Скользят, текут огни зеленых мух.  
Над Мертвым морем знойно и туманно  
От блеска звезд. Песок вдали — как манна.  
И смутный гул, дрожа, колдует слух.

То ропот жаб. Он длится неустанно,  
Зовет, томит... Но час полночный глух.

Внимает им, быть может, только Дух  
Среди камней в пустыне Иоанна.

Там, между звезд, чернеет острый пик  
Горы Поста. Чуть теплится лампадка.  
Внизу истома. Приторно и сладко

Мимозы пахнут. Сахарный тростник  
Горит от мух... И дремлет Лихорадка,  
Под жабий бред откинув бледный лик.

*14.8.08*

### **БЕДУИН**

За Мертвым морем — пепельные грани  
Чуть видных гор. Полдневный час, обед.  
Он выкупал кобылу в Иордане  
И сел курить. Песок как медь нагрет.

За Мертвым морем, в солнечном тумане,  
Течет мираж. В долине — зной и свет,  
Воркует дикий голубь. На герани,  
На олеандрах — вешний алый цвет.

И он дремотно поет, воспевая  
Зной, олеандр, герань и тамарикс.  
Сидит, как ястреб. Пегая абая

Сползает с плеч... Поэт, разбойник, гикс.  
Вон закурил — и рад, что с тонким дымом  
Сравнил в стихах вершины за Сиддимом.

*20.8.08*

### **ПИЛИГРИМ**

Стал на ковер, у якорных цепей,  
Босой, седой, в коротеньком халате,  
В большой чалме. Свежеет на закате,  
Ночь впереди — и тело радо ей.

Стал и простер ладони в муть зыбей:  
Как раб хранит заветный грош в заплате,

Хранит душа одну мечту — о плате  
За груд земной — и все скупей, скупей.

Орлиный клюв, глаза совы, но кротки  
Теперь они: глядят туда, где синь  
Святой страны, где слезы звезд — как четки  
На смуглой кисти Ангела Пустынь.

Открыто все: и сердце и ладони...  
И блещут, блещут слезы в небосклоне.

### ВЕЧЕР

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.  
А счастье всюду. Может быть, оно  
Вот этот сад осенний за сараем  
И чистый воздух, льющийся в окно.

В бездонном небе легким белым краем  
Встает, сияет облако. Давно  
Слежу за ним... Мы мало видим, знаем,  
А счастье только знающим дано.

Окно открыто: Пискнула и села  
На подоконник птвичка. И от книг  
Усталый взгляд я отважу на миг.

День вечереет, небо опустело.  
Гул молотилки слышен на гумне...  
Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне!

14.8.09

### ГРОБНИЦА РАХИЛИ

«И умерла, и схоронил Иаков  
Ее в пути...» И на гробнице нет  
Ни имени, ни надписей, ни знаков.

Ночной порой в ней светит слабый свет,  
И купол гроба, выбеленный мелом,  
Таинственной бледностью одет.

Я приближаюсь в сумраке несмело  
И с трепетом целую мел и пыль  
На этом камне выпуклом и белом...

Сладчайшее из слов земных! Рахиль!

1907

### ИМРУ-УЛЬ-КАИС

Ушли с рассветом. Опустели  
Песчаные бугры.  
Полз синий дым. И угли кровью рдели  
Там, где вчера чернели их шатры.  
Я слез с седла — и пряный запах дыма  
Меня обвеял теплотой.  
При блеске солнца был невыразимо  
Красив огонь прозрачно-золотой.

Долина серая, нагая,  
Как пах осла. В колодце гниль и грязь.  
Из-за бугров моря текут, сверкая  
И мутно серебрясь.  
Но тут семь дней жила моя подруга:  
Я сел на холм, где был ее намет,  
Тут ветер дует с севера и юга —  
Он милый след не заметет.

Ночь тишиной и мраком истомила.  
Когда конец?  
Ночь, как верблюд, легла и отдалила  
От головы крестец.  
Песок остыл. Холодный, безответный,  
Скользит в руке, как змей.  
Горит, играет перстень самоцветный —  
Звезда любви моей.

21.8.08

\* \* \*

Щебечут пестрокрылые чекканки  
На глиняных могильных бугорках.  
Дорога в Мекку. Древние стоянки  
В пустыне, в зное, на песках.

Где вы, хаджи? Где ваши дромадеры?  
Вдали слюдой блещут солончаки.  
Кругом погост. Бугры рогаты, серы,  
Как голых седел арчаки.

*Дамаск. 1907*

### СПОР

— Счастливы мы, фессалийцы! Черное, с розовой  
пенной,  
Пахнет нагретой землей наше густое вино.  
Хлеб от вина лиловет. Кусок овечьего сыру,  
Влажно-соленый, крутой, горную свежесть хранит.

«Крит позабыл ты, хвастун! Мастика хмельнее и слаще:  
Палуба ходит, скользит, парус сияет, как снег,  
Пляшут зеленые волны — и пьяная цепь рулевая,  
Скрежещá, вдоль бортов ползает ржавой змеей».

### ВОСКРЕСЕНИЕ

В апрельский жаркий полдень, по кремнистой  
Дороге меж цветущими садами,  
Пришел монах, высокий францисканец,  
К монастырю над синим южным морем.  
«Кто там?» — сказал привратник из-за двери.  
— «Брат во Христе», — ответил францисканец.  
«Кого вам надо?» — «Брата Габриэля».  
«Он нынче занят — пишет Воскресенье».  
Тогда монах сорвал с ограды розу,  
Швырнул во двор — и с недовольным видом  
Пошел назад. А роза за оградой  
Рассыпалась на мрамор черным пеплом.

*1907*

### МЕРТВАЯ ЗЫБЬ

Как в гору, шли мы в зыбь, в слепящий блеск заката.  
Холмилась и росла лиловая волна.  
С холма на холм лилось оранжевое золото  
И глубь небес была прозрачно-зелена.

Дым из жерла трубы летел назад. В упругом  
Кимвальном пенье рей дрожал холодный гул.  
И солнца лик мертвел. Громада моря кругом  
Объяла горизонт. Везувий потонул.

И до бортов вставал и, упавая, мерно  
Шумел разверстый вал. И гребень, закипев,  
Сквозил и розовел, как пенное Фалерно,—  
И малахит скользил в кроваво-черный зев.

## ПОСЛЕ МЕССИНСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

На темном рейде струнный лад,  
Огни и песни в Катанее...  
В дни скорби любим мы нежнее,  
Канцоны сладостней звучат.

И величаво-одинок  
На звездном небе конус Этны,  
Где тает бледный, чуть заметный,  
Чуть розовеющий веночек.

*15.4.09*

## КОЛИБРИ

Трава пестрит — как разглядеть змею?  
Зеленый лес раскинул в жарком свете  
Сквозную тень, узорчатые сети,—  
Они живут в неведенье, в раю.

Поют, ликуют, спорят голосами,  
Огнем хвостов... Но стоит невпопад  
Взглянуть в траву — и прынет пестрый гад:  
Он метко бьет раскосыми глазами.

*1907*

## ВИНО

— На Яйле зазеленели буки,  
Покраснела стройная сосна:  
Отчего на севере, в разлуке  
Чувствует душа, что там весна?

«В дни, когда на лозах виноградных  
Распуститься цвету суждено,  
В погребах и темных и прохладных  
Бродит золотистое вино».

\* \* \*

«Мимо острова в полночь фрегат проходил:  
Слева месяц над морем светил,  
Справа остров темнел — пропадали вдаль  
Дюны скудной родимой земли.

Старый дом рыбака голубою стеной  
Там мерцал над кипящей волной.  
Но в заветном окне не видал я огня:  
Ты забыла, забыла меня!»

«Мимо острова в полночь фрегат проходил:  
Поздний месяц над морем светил,  
Золотая текла по волнам полоса  
И как в сказке неслись паруса.

Лебединою грудью белели они,  
И мерцали на мачтах огни.  
Но в светлице своей не зажгла я огня:  
Ты забудешь, забудешь меня!»

1906

### ВАЛЬС

Похолодели лепестки  
Раскрытых губ, по-детски влажных —  
И зал плывет, плывет в протяжных  
Напевах счастья и тоски.

Сиянье люстр и зыбь зеркал  
Слились в один мираж хрустальный —  
И веет, веет ветер бальный  
Теплом душистых опахал.

1906

\* \* \*

Открыты окна. В белой мастерской  
Следы отъезда: сор, клочки конверта.  
В углу стоит прямой скелет мольберта.  
Из окон тянет свежестью морской.

Дни все светлей, все тише, золотистой —  
И ни полям, ни морю нет конца.  
С корявой, старой груши у крыльца  
Спадают розовые листья.

23.8.08

### ПРОЩАНИЕ

Поблекший дол под старыми платанами,  
Иссохшие источники и рвы  
Усеяны лиловыми тюльпанами  
И золотом листвы.

Померкло небо, солнце закатилось,  
Холодный ветер дует. И слеза,  
Что в голубых глазах твоих светилась,  
Бледна, как бирюза.

### НЯНЯ

В старой, темной девичьей,  
На пустом ларе,  
Села, согревается...  
Лунно на дворе,  
Иней синим бисером  
На окне блестит,  
Над столом висячая  
Лампочка коптит...  
Что-то вспоминается?  
Отчего в глазах  
Столько скорби, крогости?..  
Лапти на ногах,  
Голова закутана  
Шалью набивной,  
Полушубок старенький...



«Здравствуй, друг родной!  
Что ж ты не сказала?»  
Поднялась, трясет  
Головою дряхлою  
И к руке идет,  
Кланяется низенько...  
«В дом иди». — «Иду-с».  
«Как живется-можется?»  
— «Что-то не пойму-с».  
«Как живешь, я спрашивал,  
Все одна?» — «Одна-с».  
«А невестка?» — «В городе-с.  
Позабыла нас!»  
«Как же ты с внучатами?»  
— «Так вот и живу-с».  
«Нас-то вспоминала ли?»  
— «Всех как наяву-с».  
«Да не то: не стыдно ли  
Было не прийти?»  
— «Боязно-с: а ну-ко-ся  
Да помрешь в пути».  
И трясет с улыбкою,  
Грустной и больной,  
Головой закутанной,  
И следит за мной,  
Ловит губ движения...  
«Ну, идем, идем,  
Там и побеседуем  
И чайку попьем».

## ПУСТОШЬ

Мир вам, в земле почившие! — За садом  
Погост рабов, погост дворовых наших:  
Две десятины пустоши, волнистой  
От бугорков могильных. Ни креста,  
Ни деревца. Местами уцелели  
Лишь каменные плиты, да и то  
Изъеденные временем, как оспой...  
Теперь их скоро выберут — и будут  
Выпахивать то пористые кости,  
То суздальские черные иконки...

Мир вам, давно забытые! — Кто знает  
Их имена простые? Жили — в страхе,

В безвестности — почили. Иногда  
В селе ковали цепи, засекали,  
На поселенье гнали. Но стихал  
Однообразный бабий плач — и снова  
Шли дни труда, покорности и страха...  
Теперь от этой жизни уцелели  
Лишь каменные плиты. А пройдет  
Железный плуг — и пустошь всколосится  
Густою рожью. Кости удобряют...

Мир вам, неотомщенные! — Свидетель  
Великого и подлого, бессильный  
Свидетель зверств, расстрелов, пыток, казней,  
Я, чье чело отмечено навеки  
Клеймом раба, невольника, холопа,  
Я говорю почившим: «Спите, спите!  
Не вы одни страдали: внуки ваших  
Владык и повелителей испили  
Не меньше вас из горькой чаши рабства!»

1907

### ВДОВЕЦ

Железный крюк скрипит над колыбелью,  
Луна глядит в окно на колыбель:  
Луна склоняет лик и по ущелью,  
Сквозь сумрак, тянет млечную кудель.

В горах светло. На дальнем горном кряже,  
Весь на виду, чернеет скит армян.  
Но встанет мгла из этой бледной пряжи —  
Но разглядит засады караван.

Пора, пора, — уж стекла запотели!  
Разбойник я... Да вот, на смену мне,  
Сам ангел сна подходит к колыбели,  
Чуть серебрясь при меркнувшей луне:

### ХРИСТЯ

Христя угощает кукол на сговоре —  
За степною хатой, на сухих бахчах.  
Степь в горячем блеске млеет, точно море,  
Тыквы светят медью в солнечных лучах.

Собрались соседки к «старой бабе» Христе,  
Пропивают дочку — чай и водку пьют.  
Дочка — в разноцветной плахте и в монисте,  
Все ее жалеют — и поют, поют!

Под степною хатой, в жарком аромате  
Спелого укропа, возятся в золе  
Желтые цыплята. Мать уснула в хате,  
Бабка — в темной клуне, тыквы — на земле.

\* \* \*

Старик у хаты веял, подкидывал лопату,  
Как раз к святому Спасу покончив с молотьюбой.  
Старуха в черной плахте белила мелом хату  
И обводила окна каймою голубой.

А солнце, розовея, в степную пыль садилось —  
И тени ног столбами ложились на гумно,  
А хата молодеда — зарделась, застыдилась —  
И празднично блестело протертое окно.

1903

### • БЕЗ ИМЕНИ

Курган разрыт. В тяжелом саркофаге  
Он спит, как страж. Железный меч в руке.  
Поют над ним узорной вязью саги,  
Беззвучные, на звучном языке.

Но лик сокрыт — опущено забрало.  
Но плащ истлел на ржавленной броне.  
Был воин, вождь. Но имя Смерть украла  
И унеслась на черном скакуне.

### В МОСКВЕ

Здесь, в старых переулках за Арбатом,  
Совсем особый город.. Вот и март.  
И холодно и низко в мезонине,  
Немало крыс, но по ночам — чудесно.

Днем — ростепель, капели, греет солнце,  
А ночью подморозит, станет чисто,  
Светло — и так похоже на Москву,  
Старинную, далекую. Усядусь,  
Огня не зажигая, возле окон,  
Облитых лунным светом, и смотрю  
На сад, на звезды редкие... Как нежно  
Весной ночное небо! Как спокойна  
Луна весною! Теплятся, как свечи,  
Кресты на древней церковке. Сквозь ветви  
В глубоком небе ласково сияют,  
Как золотые кованые шлемы,  
Головки мелких куполов...

\* \* \*

Бегут, бегут листы раскрытой книги,  
Бегут, струятся к небу тополя,  
Гул молотьбы слышней идет из риги,  
Дохнули ветром рощи и поля.  
Помещик встал и, окна закрывая,  
Глядит на юг... Но туча дождевая  
Уже прошла. Опять покой и лень.  
В горячем свете весело и сухо  
Блестит листвою под окнами сирень;  
Зажглась река, как золото; старуха  
Несет сажать махотки на плетень;  
Кричит петух; в крапиву за наседкой  
Спешит десяток крохотных цыплят...  
И тени штор узорной легкой сеткой  
По конскому лечению пестрят.

1905

\* \* \*

Там иволга, как флейта, распевала,  
Там утреннее солнце пригревало  
Труд муравьев — живые бугорки.  
Вдруг пегая легавая собака,  
Тропинкой добежав до буерака,  
Залаяла. Я быстро взвел курки.

Змея? Барсук? — Плетенка с костяником.  
А на березе девочка — и дикий

Испуг в лице и глазках: над ручьем  
Дугой береза белая склонилась —  
И вот она вскарабкалась, схватилась  
За ствол и закачалась на нем.

Поспешно повернулся я, поспешно  
Пошел назад... Младенчески-безгрешно  
И радостно откликнулась душа  
На этот ужас милый... Вся пестрела  
Березовая роща, флейта пела —  
И жизнь была чудесно хороша.

1907

### ЧИБИСЫ

Заплакали чибисы, тонко и ярко  
Весенняя светится синь,  
Объяла дорога, где солнце — там жарко,  
Сереет и сохнет полынь.

На серых полях — голубые озера,  
На пашнях — лиловая грязь.  
И чибисы плачут — от света, простора,  
От счастья — плакать, смеясь.

13.4.1906

### КУПАЛЬЩИЦА

Смугла, ланиты побледнели,  
И потемнел лучистый взгляд.  
На молодом холодном теле  
Струится шелковый наряд.

Залив опаловою гладью  
В дали сияющей разлит.  
И легкий ветер смольной прядью  
Ее волос чуть шевелит.

И млеет знойно-голубое  
Подобье гор — далекий Крым.  
И горяча тропа на зное  
По виноградникам сухим.

1906

\* \* \*

В столетнем мраке черной ели  
Краснела темная заря,  
И светляки в кустах горели  
Зеленым дымом янтаря,

И ты играла в темной зале  
С открытой дверью на балкон,  
И пела грусть твоей рояли  
Про невозвратный небосклон,

Что был над парком,— бледный, ровный,  
Ночной, июньский,— там, где след  
Души счастливой и любовной,  
Души моих далеких лет.

1907

\* \* \*

«Тут покоится хан, покоривший несметные страны,  
Тут стояла мечеть над гробницей вождя:  
Учь толак бош ослун! Эти камни, бурьяны  
Пахнут мускусом после дождя».

И сидел я один на крутом и пустом косогоре.  
Горы хмурились в грудях синеющих туч.  
Вольный ветер с зеленого дальнего моря  
Был блаженно пахуч.

1907

### ХУДОЖНИК

Хрустя по серой гальке, он прошел  
Покатый сад, взглянул по водоемам,  
Сел на скамью... За новым белым домом  
Хребет Яйлы и близок и тяжел.

Томясь от зноя, грифельный журавль  
Стоит в кусте. Опушена косица,  
Нога — как трость... Он говорит: «Что, птица?  
Недурно бы на Волгу, в Ярославль!»

Он, улыбаясь, думает о том,  
Как будут выносить его — как сизы  
На жарком солнце траурные ризы,  
Как желт огонь, как бел на синем дом.

«С крыльца с кадиллом сходит толстый поп,  
Выводит хор... Журавль, пугаясь хора,  
Защелкает, взовьется от забора —  
И ну плясать и стукать клювом в гроб!»

В груди першит. С шоссе несется пыль,  
Горячая, особенно сухая.  
Он снял пенсне и думает, перхая:  
«Да-с, водевиль... Все прочее есть гиль».

1908

### ТУМАН

Сумрачно, скучно светает заря.  
Пахнет листвою и мокрыми гумнами.  
Воят и тянут за рогом пса  
Гончие сворами шумными.

Тянут, стихают — и тонут следы  
В темном тумане. Людская чуть курится.  
Сонно в осиннике квохчут дрозды.  
Чаща и дремлет и хмурится.

И до печальных вечерних огней  
В море туманных лесов, за долинами,  
Будет стонать все скучней и скучней  
Рог голосами звериными.

25.8.09

### КРУЖЕВО

Весь день метель. За дверью у соседа  
Стучат часы и каплет с окон лед.  
У барышни соседки с мясоеда  
Поет щегол. А барышня плетёт.

Сидит, выводит крестики и мушки,  
Бела, как снег, скромна, как лен в степи.

Темно в уездной крохотной избушке,  
Наскучили гремучие коклюшки,  
Весна идет... Да как же быть? Терпи.

Синеет дым метели, вьются галки  
Над старой колокольней... День прошел.  
А толку что? — Текут с окна мочалки  
И о весне поет дурак щегол.

### СТОРОЖ

И снова вечер, сухо позлативший  
Дороги, степь и удлинивший тень;  
И бледный лик, напротив солнца всплывший;  
И четко в ясном воздухе застывший  
Среди бахчей курень.

Стар сторож, стар! И слаб и видит плохо,  
А век бы жил!.. Так тихо в курене,  
Что слышен треск подсохшего гороха...  
Да что кому до старческого вздоха  
О догоревшем дне!

### БЕРЕГ

За окном весна сияет новая.  
А в избе — последняя твоя  
Восковая свечка — и тесовая  
Длинная ладья.

Причесали, нарядили, справили,  
Полотном закрыли бледный лик —  
И ушли, до времени оставили  
Твой немой двойник.

У него ни имени, ни отчества,  
Ни друзей, ни дома, ни родни:  
Тихи гробового одиночества  
Роковые дни.

Да пребудет в мире, да покоится!  
Как душа свободная твоя,  
Скоро, скоро в синем море скроется  
Белая ладья.



\* \* \*

В мелколесье пело глухо, строго,  
Вместе с ночью туча надвигалась,  
По кустам, на тучу, шла дорога,  
На ветру листва, дрожа, мешалась...  
Леший зорко в темь глядел с порога.

Он сидел и слушал, как кукушки  
Хриплым смехом где-то хохотали,  
Как визжали совы и с опушки,  
После блеска гулы долетали...  
Дед лесник мертвецки спал в избушке.

Одностволка на столе лежала  
Вместе с жесткой, черной коркой хлеба,  
Как бельмо, окошко отражало  
Скудный свет нахмуренного неба...  
Над окошком шарило, шуршало.

И пока шуршало, деду снилось,  
Что в печурке, где лежат онучи,  
Загорелось: тлеет, задымилось...  
И сухим огнем сверкали тучи  
И в стекло угрюмо муха билась.

25.5.09

### СЕНОКОС

Среди двора, в батистовой рубашке,  
Стоял барчук и, щурясь, звал: «Корней!»  
Но двор был пуст. Две пегие дворняжки,  
Щенки, катались в сене. Все синей  
Над крышами и садом небо млело,  
Как сказочная сонная река,  
Все горячее палило зноем тело,  
Все радостней белели облака,  
И все душней благоухало сено...

«Корней, седлай!» — Но нет, Корней в лесу,  
Остались только скотница Елена  
Да пчельник Дрон... Щенок замыл осу  
И сено взрыл... Молочный голубь комом  
Упал на крышу скотного варка...

Везде открыты окна... А над домом  
Так серебрится тополь, так ярка  
Листва вверху — как будто из металла,  
И воробьи шныряют то из зала,  
В тенистый палисадник, в бересклет,  
То снова в зал... Покой, лазурь и свет...

В конюшне полусумрак и прохладно,  
Навозом пахнет, сбруей, лошадьми,  
Касаточки щебечут... И Ами,  
Соскучившись, тихонько ржет и жадно  
Косит свой глаз лилово-золотой  
В решетчатую дверку... Стременами  
Звенит барчук, подняв седло с уздой,  
Кладет, подпруги ловит — и ушами  
Прядет Ами, вдруг сделавшись стройней  
И выходя на солнце. Там к кадушке  
Склоняется,— блеск, небо видит в ней  
И долго пьет... И солнце жжет подушки,  
Луку, потник, играя в серебре...

А через час заходят побирушки:  
Слепой и мальчик. Оба на дворе  
Сидят как дома. Мальчик босоногий  
Заглядывает в окна, на пороге  
Стоит и медлит... Робко входит в зал,  
С восторгом смотрит в светлый мир зеркал,  
Касается до клавиш фортепьяно —  
И, вздрогнув, замирает: звонко, странно  
И весело в хоромаш! — На балкон  
Открыта дверь, и солнце жарким светом  
Зажгло паркет, и глубоко паркетом  
Зеркальный отблеск двери отражен,  
И воробьи крикливою станицей  
Пронесятся у самого стекла  
За золотой, сверкающею птицей,  
За иволгой, скользящей, как стрела.

3.7.09

### ЛИМОННОЕ ЗЕРНО

В сырой избушке шорника Лукьяна  
Старуха-бабка в доньшке стакана  
Растила золотистое зерно.  
Да, видно, нам не ко двору оно.

Лукьян нетрезв, старуха как ребенок,  
И вот однажды пестренький цыпленок,  
Пища, залез на лавку, на хомут,  
Немножко изловчился — и капут!

### МУЖИЧОК

Ельничком, березничком — где душа захочет —  
В Киев пробирается божий мужичок.  
Смотрит, нет ли ягодки? Горбится, бормочет,  
Съест и ухмыляется: я, мол, дурачок.  
«Али сладко, дедушка?» — «Грешен: сладко, внучек».  
«Что ж, и на здоровье. А куда идешь?»  
— «Я-то? А не ведаю. Вроде вольных тучек.  
Со крестом да с верой всякий путь хорош».  
Ягодка по ягодке — вот и слава богу:  
Сыты. А завидим белые холсты,  
Подойдем, с молитвою, глянем на дорогу,  
Сдернем, сунем в сумочку — и опять в кусты.

### ДВОРЕЦКИЙ

Ночник горит в холодном и угрюмом  
Огромном зале скупно и темно.  
Дом окружен зловещим гулом, шумом  
Столетних лип, стучащихся в окно.

Дождь льет всю ночь. То чудится, что кто-то  
К крыльцу подъехал... То издалека  
Несется крик... А тут еще забота:  
Течет сквозь крышу, каплет с потолка.

Опять вставай, опять возись с тазами!  
И все при этом скудном ночнике  
С опухшими и сонными глазами,  
В подштанниках и ветхом сюртучке!

### КРИНИЦА

Торчит журавль над шахтой под горой.  
Зарей в лугу краснеет плахта,  
Гремит ведро — и звучною игрой,  
Глубоким гулом вторит шахта.

В ее провале, темном и сыром —  
Бездонный блеск. Журавль склоняет шею,  
Скрипит и, захлебнувшись серебром,  
Опять возносится над нею.

Плывет, качаясь, тяжелое ведро,  
Сверкает жечь — и медленно вдоль луга  
Идет она — и стройное бедро  
Под красной плахтой так упруго.

### ПЕСНЯ

На пирах веселых,  
В деревнях и селах  
Проводил ты дни.

Я в лесу сидела  
Да в окно глядела  
На кусты и пни.

Девки пряли, шили,  
Дети с нянькой жили,  
Я всегда одна —

Ласковой черницы,  
Тише пленной птицы  
И бледнее льна.

Я ли не любила?  
Я ли не молила,  
Чтоб господь помог?

А года летели,  
Волоса седели...  
И замолк твой рог.

Солнце пред закатом  
Бродит по палатам,  
Вдоль дубовых стен.

Да оно не греет,  
Да душа не смеет  
Кинуть долгий плен.

## ПЕСНЯ

Зацвела на воле  
В поле бирюза.  
Да не смотрят в душу  
Милые глаза.

Помню, помню нежный,  
Безмятежный лен.  
Да далеко где-то  
Зацветает он.

Помню, помню чистый  
И лучистый взгляд.  
Да поднять ресницы  
Люди не велят.

### О ПЕТРЕ-РАЗБОЙНИКЕ

В воскресенье, раньше литургии,  
Раньше звона раннего, сидели  
На скамье, под ветхой белой хатой,  
Мать да сын — и на море глядели.

— Милый сын, прости старухе старой:  
Расскажи ей, отчего скучаешь,—  
Головой, до времени чубарой,  
Сумрачно и горестно качаешь?

Милый сын мой, в праздник люди кротки,  
Небо ясно, горы в небе четки,  
Синь залив, долины золотятся,  
Сквозь весенний тонкий пар глядятся.

— Был я, мать, в темнице в Цареграде,  
В кандалах холодных, на затворе,  
За железной ржавою решеткой,  
Да зато под ней шумело море.

Море пеной рассыпало гребни  
По камням, на мелком сизом щебне,  
И на щебне этом чьи-то дети,  
Дети в красных фесочках, играли...

— Милый сын! Не дети: чертенята.  
— Мать. молчи. Я чахну от печали.

В воскресенье, после литургии,  
После полдня, к мужу подходила  
Статная нарядная хозяйка.  
Ласково за стол его просила.

Он сидел под солнцем, непокрытый,  
Черный от загара и небритый,  
Тер полою красного жупана  
По горячей стали ятагана.

— Господин! Что вижу? Ты — в работе,  
Двор не прибран, куры на омете,  
Ослик бродит, кактус обгрызает,  
Ян все утро с крыши не слезает.

Господин мой! Чем ты недоволен?  
Ты ль не счастлив, не богат, не волен?

— Был, жена, я в пытках и на дыбе,  
Восемь лет из плена видел воду,  
Белый парус в светлых искрах зыби,  
Голубые горы — и свободу...

— Господин! Свободу? Из темницы?  
— Замолчи. Пират вольнее птицы.

---

В воскресенье божье, на закате  
Было пусто в темной старой хате...  
Кто добром разбойника помянет?  
Как-то он на Страшный суд предстанет?

### **ЗИМНЯЯ ВИЛЛА**

Мистраль качает ставни. Целый день  
Печет дорожки солнце. Но за домом,  
Где ледяная утренняя тень,  
Мороз крупной лежит по водоемам.

На синеве и белый новый дом,  
И белая высокая ограда  
Слепят глаза. И слышится кругом  
Звенящий полусонный шелест сада.

Качаясь, пальмы клонятся. Их жаль,—  
Они дрожат, им холодно от блеска  
Далеких гор... Проносится мистраль,  
И дом белеет слишком резко.

### ПАМЯТИ

Ты мысль, ты сон. Сквозь дымную метель  
Бегут кресты — раскинутые руки.  
Я слушаю задумчивую ель —  
Певучий звон... Все — только мысль и звуки!

То, что лежит в могиле, разве ты?  
Разлуками, печалью был отмечен  
Твой трудный путь. Теперь их нет. Кресты  
Хранят лишь прах. Теперь ты мысль. Ты вечен.

### СПОЛОХИ

Взвевая легкие гардины  
И раздувая свет зарницы,  
Ночная близилась гроза.

Метался мрак, зеркал глубины  
Ловили золото божницы  
И чьи-то жуткие глаза.

Я замерла, не понимая,  
В какой я горнице. Крапива  
Шумя бежала под окном.

Зарница, яркая, немая,  
Мне говорила торопливо  
Все об одном, все об одном.

Впервые нынче мы не лгали,—  
Дрожа от радости, впервые  
Сняла я тяжкое кольцо —

И в глубине зеркал мелькали  
Покровы черно-гробовые  
И чье-то бледное лицо.

## ПРИ ДОРОГЕ

Окно по ночам голубое,  
Да ветхо и криво оно:  
Сквозь стекла расплющенный месяц  
Как тусклое блещет пятно.

Дед рано ложится, а внучке  
Неволя: лежи и не спи  
Да думай от скуки. А долги  
Осенние ночи в степи!

Вчера чумаки проходили  
По шляху под хатой. Была  
Морозная полночь. Блестели  
Колеса, рога у вола.

Тянулась арба за арбою,  
И месяц глядел как живой  
На шлях, на шагавшие тени,  
На борозды с мерзлой ботвой...

У Каспия тони, там хватит  
Работы на всех — и давно  
Ушла бы туда с чумаками...  
Да мило кривое окно.

*28.1.11. Гелуан (под Каиром).*

## В ПЕРВЫЙ РАЗ

Ночью лампа на окне стояла,  
Свет бросала в черный мокрый сад:  
Желтую лесовку озаряла  
И цветник, расцветший в листопад.

Нянька у окна, на табурете,  
Штопала чулочки... Перед сном,  
Раздеваясь, поглядели дети  
На листву и мальвы под окном.

И пока дремали, забывались,  
Думали о чем-то — в первый раз:  
Сказкой нерасказанной казались  
Дом, и сад, и этот поздний час.



Дом был стар, как терем у Коцея,  
Расцветала пестрядь у стекла,  
И на свет глядела ночь, чернея...  
Но зачем ты, нянька, не спала!

### БЕРЕЗКА

На перевале дальнем, на краю  
Пустых небес, есть белая березка:  
Ствол, искривленный бурями, и плоско  
Раскинутые сучья. — Я стою,  
Любуясь ею, в желтом голом поле.

Оно мертво. Где тень, пластами соли  
Лежит мороз. Уж солнца низкий свет  
Не греет их. Уж ни листочка нет  
На этих сучьях буро-красноватых,  
Ствол резко бел в зеленой пустоте...

Но осень — мир. Мир в грусти и мечте,  
Мир в думах о прошедшем, об утратах.  
На перевале дальнем, на черте  
Пустых полей, березка одинока.  
Но ей легко. Ее весна — далеко.

### НОЧЛЕГ

Мир — лес, ночной приют птицы.  
*Браминь.*

В вечерний час тепло во мраке леса,  
И в теплых водах меркнет свет зари.  
Пади во мрак зеленого навеса —  
И, приютившись, замри.

А ранним утром, белым и росистым,  
Взмахни крылом, среди листвы шурша,  
И растворишься, исчезни в небе чистом —  
Вернись на родину, душа!

*Индийский океан. 2.1911*

## ЗОВ

Как старым морякам, живущим на покое,  
Все снится по ночам пространство голубое  
И сети зыбких вант,— как верят моряки,  
Что их моря зовут в часы ночной тоски,  
Так кличут и меня мои воспоминанья:  
На новые пути, на новые скитанья  
Велят они вставать — в те страны, в те моря,  
Где только бы тогда я кинул якоря,  
Когда б заветную увидел Атлантиду.  
В родные гавани вовеки я не вниду,  
Но знаю, что и мне, в предсмертных снах моих,  
Все будет сниться сеть канатов смоляных  
Над бездной голубой, над зыбью океана:  
Да чутко встану я на голос Капитана!

8.7.11

## ПРИМЕЧАНИЯ

Во второй том вошли повести, рассказы и стихотворения, написанные в период наибольшего расцвета таланта И. А. Бунина. В предвоенные и предреволюционные годы, начиная с «Деревни», его творчество достигло полной зрелости и наибольшего художественного совершенства.

Произведения этого тома были значительно переработаны Буниным для Собрания сочинений, издательство «Петрополис» (Берлин, 1934—1936), а затем и для нового издания. К языку и стилю своих произведений Бунин относился с исключительной требовательностью. Нередко на своих рукописях он делал такого рода приписки:

«Прошу о самой тщательной корректуре, прошу строго следовать каждой букве и каждому знаку оригинала». «Главное,— пишет он Н. Д. Телешову 1 марта 1916 года,— сохрани мои знаки препинания, каковы бы они ни были»; а в письме к Ф. И. Благову (28 марта 1916 года) говорит: «...Пора господам корректорам знать, что иногда одна запятая нарушает всю музыку и повергает автора в форменный недуг».

Произведения второго тома проверены по изданию «Петрополис», по тексту которого Бунин сделал в 1947—1953 годах множество рукописных исправлений.

## ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

1909—1912

**Подгоржье** (стр. 5).— Напечатано в книге «Митина любовь». Париж, 1925, с подзаголовком «Отрывок». Печатается по второму тому Собрания сочинений Бунина, издательство «Петрополис», 1934.

**Деревня** (стр. 9).— Напечатано в журнале «Современный мир», 1910, №№ 3, 10, 11. Печатается по второму тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис», исправленному Буниным в последние дни жизни. На обложке этого тома сделана им надпись: «Окончательно исправлено для нового издания. 20 окт(ября) 1953 г. Ив. Б.».

Первую часть Бунин отослал в «Современный мир» 10 февраля 1910 года для мартовской книги, следующие рассчитывая дать на апрель и май. Но продолжение повести в этих номерах журнала не появилось. В четвертом номере редакция сообщила читателям: «По желанию автора печатание повести И. А. Бунина «Деревня» переносится на осень».

Об окончании повести он сообщал Горькому 20 августа 1910 года: «В Москве я писал часов по пятнадцати в сутки, боясь оторваться даже на минуту, боясь, что вдруг потухнет во мне электрическая лампочка, и сразу возьмет надо мной полную силу тоска, которой я не давал ходу только работой. А потом это напряжение привело меня к смертельной усталости и сердечным припадкам до ледяного пота, почти до потери сознания... Повесть я кончил».

В анкете, разосланной писателям критиком Чехихиным (Ветринским), Бунин писал, отвечая на вопрос, что он считает в своей литературной деятельности «наиболее ценным»: «Из произведений последних лет — «Деревню» (Государственный литературный музей).

Начало своей огромной популярности он связывал с появлением в печати этой повести. В предисловии к книге «Весной, в Иудее. — Роза Иерихона», издательство им Чехова, Нью-Йорк, 1953, он писал 17 октября 1952 года: «Популярность моя началась с того времени, когда я напечатал свою «Деревню». Это было начало целого ряда моих произведений, резко рисовавших русскую душу, ее светлые и темные, часто трагические основы. В русской критике и среди русской интеллигенции, где, по причине незнания народа или политических соображений, народ почти всегда идеализировался, эти «беспощадные» произведения мои вызвали страстные враждебные отклики. В эти годы я чувствовал, как с каждым днем все более крепнут мои литературные силы».

Жизненность реалистических образов «Деревни» достигалась не только совершенством формы, которого, как никогда прежде, именно в эти годы добился этот, по выражению Горького, «величайший стилист современности», но прежде всего знанием жизни. Бунин стремился увидеть и понять жизнь, постичь различные ее уклады. В своих письмах Бунин лаконично сообщает: «Совершаю путешествие по Руси», «много бродил по России». В одном из писем к И. А. Белоусову он говорит: «Я, брат, опять почти ничего не пишу. Все учусь. — по книгам и по жизни: шагаю по деревням, по ярмаркам, — уже на трех был, — завел знакомства с слепыми, дурачками и нищими, слушаю их песнопения и т. д.» (Центральный государственный архив литературы и искусства СССР — ЦГАЛИ).

По выходе в свет «Деревни» в журнале и отдельным изданием Бунин писал Горькому: «Прочитали кое-что из того, что писалось о «Деревне»... И хвалы и хулы показались так бездарны и плоски, что хоть плачь. А то, что некоторые критики зачем-то о моих ботинках (будто бы «лакированных») говорят, о моих поместьях, мигренях и страхах мужицких бунтов, показалось даже и обидно. Мигрени-то у меня, может быть, и будут, но поместья, земли, кучера — навряд. До сих пор по крайней мере ничего этого не было — за всю мою жизнь не владел я буквально ничем, кроме чемодана» (М. Горький «Материалы и исследования», т. II., издательство Академии наук СССР, М.—Л., 1936).

Проницательно понял и высоко оценил повесть Горький. «Видели мы Горького, — писал Бунину Куприн 16 августа 1910 года. — Он очень тепло говорил о Вас и Вере Николаевне (Муромцевой, жене Бунина, — А. Б.) и очень хвалил «Деревню».

Горький писал Короленко в октябре 1910 года: «Мне очень нравится «Деревня» Бунина; очень мужественно сделано, с большим знанием быта, крепким языком».

М. К. Иорданской он же писал в 1910 году: «А «Деревня» будет оценена, будет. Это — произведение исторического характера, так о деревне у

нас еще не писали. Очень грустно, что местами Иван Алекс. придал этой вещи колорит туземный, этнографический, слишком щедро разбрасывая местные речения, но — это легко устранить. Вот тема для статьи «Деревня и дворянство в изображении Алексея Толстого и Бунина», — но необходимо, чтобы статью писал человек не тожко с русской литературой малость знакомый, а и знающий русскую историю. Вы такого не знаете. Я — тоже».

Горький писал Бунину в октябре — ноябре 1910 года:

«...читал «Деревню». Читал и говорю старым словом Стасова «тузовая» вещь. Хорошо. Строго, честно и — красиво!.. И множество достоинств вижу в повести этой, волнует она меня — до глубины души. Почти на каждой странице есть нечто так близкое, столь русское — слов не нахожу достойных! Хороших правил писатель Иван Бунин и — должен он беречь себя.

Если надобно говорить о недостатке повести — о недостатке, ибо я вижу лишь один — недостаток этот — густо! Не краски густы, нет, — материала много. В каждой фразе стиснуто три, четыре предмета, каждая страница — музей! Перегружено знанием быта, порою этнографично, местно.

Славно, крепко сделан Балашкин. Кузьма — впервые является в литературе нашей так резко очерченным и «с подлинным верно», — до того верно, что, я уверен, умный историк литературы будет опираться на Кузьму, как на т и п, впервые данный столь определенно...

Но, отмечая эти куски, особенно тронувшие сердце, я отнюдь не хочу сказать, что повесть написана неровно — отнюдь нет! Несомненно — есть разница с первой частью, кою я перечитал, конечно, — но это та разница, что в симфониях — разница темпа».

В письме между 7 и 13 ноября 1910 года Горький снова писал Бунину:

«Конец «Деревни» я прочитал — с волнением и радостью за Вас, с великой радостью, ибо Вы написали первостепенную вещь. Это — несомненно для меня: так глубоко, так и с т о р и ч е с к и деревню никто не брал... Я не вижу, с чем можно сравнить Вашу вещь, тронут ею — очень сильно. Дорог мне этот скромно скрытый, заглушенный стон о родной земле, дорога благородная скорбь, мучительный страх за нее — и все это — ново. Т а к еще не писали. Превосходна смерть нищего, у нас бледнеют и ревут, читая ее. Дивная черта — «тьень язычника!» Вы, может быть, и сами не знаете, как это глубоко и верно сказано.

«Поезд стал позднее приходить» — оттого, что день короче — ведь это образец мышления славян десятого века. И — верно! Воистину — ужасно верно. Да, Вы написали мужественно, даже можно сказать — героически Боже мой — какое великое явление русская литература и какую мучительную любовь будит она...

Не считайте моих речей о «Деревне» приподнятыми и преувеличенными, это не так. Я почти уверен, что московские и петербургские всех партий и окрасок Иваны Непомнящие и Незнающие, кои делают критические статьи для журналов — не оценят «Деревни», не поймут ни существа, ни формы ее...

Но я знаю, что когда пройдет ошеломленность и растерянность, когда мы излечимся от хамской распущенности — это должно быть или — мы пропали! — тогда серьезные люди скажут: «Помимо первостепенной художественной ценности своей, «Деревня» Бунина была толчком, который заставил разбитое и расшатанное русское общество серьезно задуматься уже не о мужике, не о народе, а над строгим вопросом — быть или не быть России? Мы еще не думали — о России, как о целом — это произведение указало нам необходимость мыслить именно обо всей стране, мыслить исторически».

Не этими словами, но — это будет сказано или я ничего не понимаю. Я сердечно поздравляю Вас, дорогой мой друг, Вы сделали прекрасно прекрасное дело. Ибо искусство — святое дело.

...Хотите ли сделать мне большое удовольствие? Если да, то отдайте простенько переплести «Деревню», когда выйдет отдельным изданием, и пришлите, поставив автограф» (Архив А. М. Горького. Публикация П. Вячеславова).

После Собрания сочинений 1915 года Бунин значительно переработал повесть сначала для издания «Петрополис», а затем — для нового издания; художественно совершенствуя свое произведение, он вычеркивал многие абзацы и даже целые страницы.

Суходол (стр. 110). — Напечатано в журнале «Вестник Европы», 1912, № 4. Печатается по второму тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис», исправленному Буниным для нового издания.

В декабре 1911 года Бунин закончил повесть и намерен был отдать ее «Шиповнику». Он писал с Капри Н. С. Клестову 6 декабря 1911 года: «...Сговорился с «Шиповником», обещал дать ему в январе повесть «Суходол» (ЦГАЛИ).

Семейная хроника обитателей Суходола создавалась по преданиям, сохранившимся в семье Буниных.

Во втором томе Собрания сочинений, издательство «Петрополис», повесть напечатана в новой редакции, значительно отличающейся от издания 1915 года стилистической правкой и сокращениями. Из второй главы исключено подробное изложение «суходольской летописи», в которой нашли отражение черты отца писателя, Алексея Николаевича:

«Велико было наше разочарование! Вель как долго и жадно слушали мы повествования о Суходоле. Все говорили о нем так, точно был он великокняжеским поместьем. Увидели же мы скудость, убожество, увидели полудикую женщину, образ которой романтизировали. Не по усадбам Лариных, Лаврецких, этим оазисам, представляли мы себе Суходол. И все же все предания, все поэтические были Суходола померкли для нас в этот вечер, в этой бедной глуши. До правды тогда нам еще далеко было. Но теперь-то мы хорошо знаем ее! Да, ни к разумной любви, ни к разумной ненависти, ни к разумной привязанности, ни к здоровой семейственности, ни к труду, ни к общежитию не были способны в Суходоле. Чуть не поголовно страдали телесными и душевными недугами все Хрущевы из поколения в поколение, равно как и близкие их. Нелепыми и страшными былями полна суходольская летопись. Мы последние в этой летописи, мы порвали последние нити, связывавшие нас с землей. Даже самое имя Хрущевых скоро исчезнет навсегда. Но, право, мысль об этом только радует меня теперь. На прошлом Суходола познали мы душу его. Но ведь этой же душой и создано оно. В нем еще резче и яснее, чем в настоящем, выступали истинно-славянские черты ее, губительно обособленной от души общечеловеческой.

Господином Суходола считался отец наш. А на деле-то и сам он был рабом Суходола. И его загубил Суходол. В суходольском доме изо всех выделялся он. Даже обликом непохож он был на прочих Хрущевых. Но поистине суходольская непригодность к человеческому существованию отличала и его, постомка вырождающегося клана. Последнюю рубашку готов он был снять с себя для другого; да был ли хоть единый случай, когда не пропала бы она даром, а пошла в путные, дельные руки? Добр он был, как ребенок. Бешено вспылчив, как зверь. Одним строгим окриком можно было порою привести его в страх и смирение. Но порою он мог с голыми руками полезть на толпу с рогатинами. И остротой и живостью ума обладал он от природы. Но как-то так случилось, что из десяти слов его восемь были неразумными. Твердо сказав себе и окружающим: «вот так-то должен сделать я», — в ту же минуту делал он как раз обратное. Правильности, последовательности в суждениях он не переносил. Бодрость, пыльные мечты поминутно уступали в его душе место полной безнадежности.

Когда дела его запутывались, завязывались крепчайшим узлом, он, сделав несколько внезапных и отчаянных усилий развязать его, неуклонно кончал тем, что отбрасывал его от себя в руки судьбе, случаю. До тридцати лет капли вина, чубука трубочного не брал он в рот. С тридцати стал и пить и курить так, что не знал себе равного в уезде. Сколь мелочно-жаден и подозрителен был Петр Петрович, столь же нелепо-щедр и доверчив был отец. И вся жизнь его, кажется, на то только и была направлена, чтобы не оставить неиспользованной ни единой возможности приготовить и себе под старость и нам на молодость нищенскую суму.

Мы застали в молодости начало великой помещичьей бедности. И дивились: как внезапно наступила она! Ужели, думали мы, вся причина ее в разрыве крепостных уз, вязавших господина и холопа? Непонятной казалась та быстрота, с которой исчезали с лица земли старые барские гнезда. Но не преувеличена ли, думаю я теперь, их старость, прочность и — барство? Вольно же называть нас, мужиков, феодалами! Вольно же было верить в устои Суходола, невзирая на первобытность суходольскую! В несколько лет, — не веков, а лет, — дотла разрушилось то подобие благосостояния, которым так величалась наша старина. В чем же причина тому? Да не в том ли, что не устои там были, а косность? Не в том ли, что гибель вырождающегося суходольца шла как раз навстречу его душе, его жажде гибели, самоуничтожения, разора, страха жизни?»

**Крик** (стр. 155). — Напечатано в газете «Русское слово», 1911, № 225, 1 октября. Печатается по книге «Петлистые уши и другие рассказы», издательство им. Чехова, Нью-Йорк, 1954.

В основе сюжета рассказа лежит действительный факт, как это видно из черновой записи, сделанной Буниным во время путешествия за границей. В этой записи говорится о плавании в море, по Босфору, о том, что «греки... напояли для забавы» (ЦГАЛИ).

**Снежный бык** (стр. 160). — Напечатано в журнале «Путь», 1911, № 1, ноябрь, под названием «Из рассказов без заглавия». В Собрании сочинений 1915 года рассказ печатался под названием «Без заглавия». Печатается по тексту третьего тома Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**Древний человек** (стр. 163). — Напечатано в газете «Русское слово», 1911, № 187, 14 августа, под заглавием «Сто восемь». Печатается по третьему тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**Сила** (стр. 171). — Напечатано в газете «Русское слово», 1911, № 214, 18 сентября. Печатается по третьему тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**Хорошая жизнь** (стр. 180). — Напечатано в журнале «Современный мир», 1912, № 1. Печатается по третьему тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

Рассказ написан в конце 1911 года. Бунин писал Телешову 8 декабря 1911 года о своих встречах с Горьким на Капри:

«Бываем у него через день, через два. Сидим, поругиваем современную литературу и нравы писательские. По целым дням пишу. Написал два рассказа, отослал в «Современный мир» и «Всеобщий ежемесячник» (Архив Института мировой литературы имени А. М. Горького). Рассказы «Хорошая жизнь», «Сверчок», о которых говорится в этом письме, Бунин читал у Горького. «Имею очень большой успех», — сообщает он об этом Ю. А. Бунину в ноябре 1911 года. В письме от 5 февраля 1912 года он спрашивал брата: «Читал ли «Хорошую жизнь»? Что скажешь? Мне кажется, много здорово я завертел!» (ЦГАЛИ).

**Сверчок** (стр. 199). — Напечатано в журнале «Всеобщий ежемесячник», 1911, № 12. Печатается по книге «Петлистые уши и другие рассказы».

**Ночной разговор** (стр. 208). — Напечатано в книге «Первый сборник», издательство писателей в Москве, СПб, 1912. Печатается по третьему тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

Написан на Капри в декабре 1911 года. «Рассказ для Вас готов, — писал Бунин Н. С. Клецову 24 декабря 1911 гсда. — Он о мужиках, называется «Ночной разговор». Псзавчера я читал его у Горького (был Коцюбинский и еще кое-кто) и теперь спокоен — рассказ имел большой успех — хоть знаю, что вызову большое озлобление (и опять дурацкое) у господ критиков» (ЦГАЛИ). Об успехе рассказа в кругу литераторов, собиравшихся у Горького, он говорит в письме к Ю. А. Бунину 28 декабря 1911 года: «Клецову даю рассказ «Ночной разговор»... Рассказ уже готов, читал его у Горького — и снова с огромным успехом» (ЦГАЛИ).

**Веселый двор** (стр. 225). — Напечатано в журнале «Заветы», 1912, № 1, апрель, с подзаголовком «Повесть». Печатается по третьему тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

Повесть написана в конце 1911 года; в письме к брату Юлию Алексеевичу Бунин сообщал 28 декабря 1911 года: «Про печника и старуху рассказ еще никуда не давал: хотел было Овсянику в «Вестник Европы»... да приехал Миролюбов и Чернов — сотрудники какого-то нового, имеющего выйти в январе в ПТБ журнала — и просили дать им. Почти согласился» (ЦГАЛИ).

Журнал «Заветы» в январе не вышел, и публикация повести задержалась до апреля.

Об этом произведении Бунин писал Е. А. Телешовой в январе 1912 года, что читал «у Горького свою новую повесть — мужицкую, о матери и сыне» (Отдел рукописей Института мировой литературы).

**Игнат** (стр. 253). — Напечатано в «Русском слове», 1912, № 162 — 14 июля, № 164 — 17 июля, № 165 — 18 июля, № 166 — 19 июля, № 167 — 20 июля. Печатается по тексту третьего тома Собрания сочинений, издательство «Петрополис», исправленному автором для нового издания.

Посылая рассказ Ф. И. Благову, Бунин писал 18 июня 1912 года: «Многоуважаемый Федор Иванович, посылаю Вам рассказ, о печатанье которого мы с Вами уговорились в мае перед моим отъездом. Называется он действительно «Игнат» и настолько сильно сокращен, что думаю, Вы сможете напечатать его в 2—3 фельетонах. Делите его, как хотите, — это, в конце концов, неважно. Будьте добры известить меня о получении его, а также и о том, когда (приблизительно) начнете его печатать». Публикация рассказа откладывалась еще почти на месяц из-за того, что Благов находил в нем «некоторую рискованность положений и описаний» для газеты, имеющей широкую аудиторию (письмо к Бунину от 29 июня 1912 года), и требовал переделок.

**Захар Воробьев** (стр. 276). — Напечатано в «Сборнике товарищества «Знание» за 1912 год», кн. 38. СПб, 1912. Печатается по третьему тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

Об этом рассказе Бунин писал Н. Д. Телешову из Одессы 10 марта 1912 года: «Вот в следующем сборнике «Знания» (верно, он уже вышел) будет мой Захар — он меня защитит. Почитай. Хвалят» (Архив Института мировой литературы). Рассказ имел большой успех; с высокой похвалой о нем отзывался Горький. 22 марта 1912 года Бунин писал Н. С. Клецову из Одессы: «Тут «Ночной разговор» и «Захар Воробьев» сделали некий шум» (ЦГАЛИ).

А. БАБОРЕКО



## СТИХОТВОРЕНИЯ

1903—1911<sup>1</sup>

**Полярная звезда** (стр. 289). — Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «Полюс». Вместо «туманный призрак» в этом издании печаталось «гигантский призрак». Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**«Набегает впотьмах...»** (стр. 289). — Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «Жизнь». Подготавливая третий том этого издания для нового Собрания сочинений, Бунин заглавие вычеркнул.

**«Норд-остом жгут пылающие зори...»** (стр. 290). — Для нового Собрания сочинений снято заглавие «Норд-ост».

**«На окне, серебряном от инея...»** (стр. 290). — Для нового Собрания сочинений снято заглавие «Хризантемы».

**Сапсан** (стр. 291). — Для нового Собрания сочинений после строки «По насту снеговых полян» исключено:

Я шел убить, я слушал чутко  
Малейший звук... Но отчего  
Мне было в эту ночь так жутко  
И за себя и за него?

Он был мой враг, мы оба ждали  
Смертельной встречи. Уж не раз  
Мы друг за другом наблюдали  
В крещенский полуночный час.  
В безлюдье, на равнине дикой,  
Мы оба знали, что живем  
Ее душой, ее великой  
Зловещей чуткостью — вдвоем.

Но эта тишина пугала,  
В ней крылось колдовство Судьбы...  
И не Судьба ль подстерегала?  
Она; она! А мы — рабы,  
И оба одиноки в поле,  
И оба жалки... И одной  
Обречены печальной доле:  
Стеречь друг друга в час ночной.

И все же только меткость пули  
Одна могла спасти меня,  
И если б предо мной блеснули  
Два фиолетовых огня...

---

<sup>1</sup> Стихи этих лет даются в нашем издании в том же порядке, что и в Собрании сочинений, вышедшем приложением к «Ниве» в 1915 году, где они почти все печатались без дат, под общим хронологическим заголовком. Даты указываются под теми стихами, которые позднее «нивского» издания датировались Буниным в «Избранных стихах» (1929), в Собрании сочинений, издательство «Петрополис», а также при редактировании им в пятидесятых годах третьего тома «нивского» издания для нового Собрания сочинений (в Архив Института мировой литературы имени А. М. Горького поступило только 16 страниц этого тома). Даты, которые в этом томе помещались Буниным вопросом, заключены в скобки.

**Русская весна** (стр. 293).— Печатается с исправлениями по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**Портрет** (стр. 295).— Для нового Собрания сочинений исправлена первая строка. В издании 1915 года она читалась: «Платан, часовенка над склепом».

**Невольник** (стр. 296).— Для нового Собрания сочинений исключена первая строфа:

Угрюмый варвар, сын Востока,  
Я целый день живу один  
При устье горного потока,  
В ущелье знойных Апеннин.

**«Там, на припеке, спят рыбацкие ковши...»** (стр. 297).— Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «В плавнях».

Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**«В гостиную, сквозь сад и пыльные гардины...»** (стр. 297).— Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «Тлен».

Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**Перекресток** (стр. 298).— Для нового Собрания сочинений исключена последняя строфа:

Ночь молчалива... Но к молчанию  
Привыкну я... А звездный свет  
Взойдет тогда, когда угаснет  
Былого дня печальный след.

**«Обрыв Яйлы. Как руки фурий...»** (стр. 298).— В первом томе Собрания сочинений, издательство «Петрополис», напечатано без заглавия («С обрыва») и без первых строф:

Стремнина скал. Волной железной  
Здесь плоскогорье поднялось  
И над зияющею бездной  
Оцепенев, оборвалось.

Здесь небо ясно.— слой тумана  
Ползет под нами, как дракон,—  
И моря синяя нирвана  
Висит в пространстве с трех сторон.

Вместо «Обрыв Яйлы» в издании 1915 года было «Но дико здесь».

**«Луна еще прозрачна и бледна...»** (стр. 298).— Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «На даче».

Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис», где исправлена четвертая строка. В издании 1915 года она читалась: «Тень от узорной туйи у балкона».

**«Черные ели и сосны сквозят в палисаднике темном...»** (стр. 299).— Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «На ущербе».

Печатается в новой редакции по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

В издании 1915 года вместо:

Слышу поют петухи. Узнаю по напевам печальным  
Поздний, таинственный час. Выйду на снег, на крыльцо.

печаталось:

Слышу — поют петухи. Узнаю по напевам печальным  
Позднюю зимнюю ночь. Что ж разбудило меня?

После этого двустушия следовали опущенные в новой редакции строки:

О, я сквозь сон уловил: настает сокровенный и чуткий  
Час угасанья луны! — В сумраке спальни разлит

Свет золотистый, и тень от рам на полу чуть заметна:  
Пробило время вставать. Звонко теперь на дворе...

Вместо «Замерло все и застыло, лучатся жестокие звезды» было «Замерло все на морозе, лучатся морозные звезды». Вместо «И самоцветы небес» печаталось «И самоцветные звезды»; вместо «И уходящий в моря» — «И уходящий на юг».

«В сумраке утра проносится призрак Одина» (стр. 300). — Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «Призрак Одина».

«Далеко на севере Капелла...» (стр. 306). — Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «Дома».

В Собрании сочинений, издательство «Петрополис», напечатано без первой строфы:

Ночь тепла, светла и золотиста,  
Месяц встал и замер над гумном,  
Все уснуло. Темен тихий флигель.  
Степь и небо видны за окном,—

а также без последней:

Сладко этой лаской упиваться,  
Сладок отдых ночью... Ночь светла,  
Все вокруг как прежде: хутор, поле...  
Все как было. Только жизнь прошла.

Оставшиеся две строфы Бунин поменял местами.

«Мы встретились случайно, на углу...» (стр. 313). — Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «Новая весна».

Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

Огонь на мачте (стр. 314). — Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис». В издании 1915 года вместо «Над скалами обрыва» печаталось «Над лестницей с обрыва».

«Проснулся я внезапно, без причины...» (стр. 314). — Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

В этом издании снято заглавие «Мертвый час», под которым стихи печатались в Собрании сочинений 1915 года, и вычеркнута последняя строфа.

Мне снилось много грустного. Я знаю,  
Что снилось мне... Но отошла печаль:  
Один я просыпаюсь, засыпаю,  
Один живу... Мне ничего не жаль.

**«Уж подсыхает хмель на тыне...»** (стр. 320).— Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «Сентябрь».

Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**«Осень. Чащи леса...»** (стр. 323).— Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «Ольха».

Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**«Первый утренник, серебряный мороз!»** (стр. 324). — Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «Утренник».

Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**«Старик сидел, покорно и уныло...»** (стр. 325). — Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «Старик». Вместо «пепел серый» в этом издании было «пепел темно-серый».

Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**«Густой зеленый ельник у дороги...»** (стр. 326). — Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «Олень».

Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**«Все море — как жемчужное зеркало...»** (стр. 329). — В Собрании сочинений, издательство «Петрополис», напечатано без заглавия «После дождя», под которым стихи печатались в Собрании сочинений 1915 года, и исправлены третья и четвертая строки. Раньше они читались:

И как тепло перед закатом стало,  
И как душист над саклей тонкий дым!

**«Тонет солнце, рдяным углем тонет...»** (стр. 341).— В Собрании сочинений 1915 года печаталось под названием «Пастухи» и с эпиграфом из Корана: «Просветляйтесь на закате». В пятой строке вместо «темным-синим» было «темно-синим».

Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**Жена Азиса** (стр. 342). — В Собрание сочинений 1915 года не включалось. Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

Примечание сделано Буниным при редактировании этого тома в 1953 году для нового издания. Тогда же вместо «с Сюрени» написано «в Сюрени».

**Ковсень** (стр. 343). — Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «Мираж».

Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**«Растет, растет могильная трава...»** (стр. 346).— Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «Забвение».

Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**Тезей** (стр. 346). — Печатается по книге «Избранные стихи», Париж, 1929.

В Собрание сочинений, издательство «Петрополис», не входило.

**Проводы** (стр. 347). — В первом томе Собрания сочинений, издательство «Петрополис», напечатано без третьей и четвертой строф:

Вот он закрылся мачтами, трубою,  
Вот показался слева. Вдалеке  
Он уж завидел море. Над воюю  
Уносит якорь в море и песке.

Прощай, прощай! Знакомые, чужие —  
Все на корме, и всех, как близких, жаль...  
И день и ночь — безбрежная стихия,  
И день и ночь — за синей далью даль.

Вместо «Куда теперь?» в издании 1915 года было «А мне куда?».  
Печатается в последней редакции.

**Храм Солнца** (стр. 347). — В первом томе Собрания сочинений, издательство «Петрополис», напечатано с исправлением в девятой строке (вместо «Здесь радость юных дней» раньше было «Здесь—храмы первых дней») и с измененной концовкой. Вместо последних четырех строк в издании 1915 года печаталось:

Под ним оазис древнего Номада,  
И древние священные места  
Венчает золотая колоннада.

Руина Храма Солнца, ты пуста!  
Но ты — исток познаний человека,  
Порог его искания, врата.

Ты — колыбель младенческого века,  
Наш первый след и первый иероглиф —  
И в бездну я взглянул из Баальбека:

Там — даль и мгла. Туманно-синий Миф.

Дата в издании 1915 года: Сирия. Весна 1907 г.  
Печатается в последней редакции.

**«Люблю цветные стекла окон...»** (стр. 348). — Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «Цветные стекла».

Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**Петров день** (стр. 348). — Печатается в новой редакции по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

Вместо «Девочки-русалочки» (первая и восемнадцатая строки) в издании 1915 года печаталось «Девушки-русалочки». Строка «На опушку, к морю сизому холодного овса» раньше читалась «На опушку у зеленого холодного овса». Вместо:

Холодна трава седая,  
Вся медовая, густая,  
Да идут на нас с дреколем из села.  
Что ж! Мы стаей на откосы,

раньше было:

Холодна трава седая —  
А в лесах она густая —  
Да уж скоро соберутся из села!  
Мы из речки — на откосы...

Вместо строк:

Будут знойные зарницы  
Зáрить хлеб,  
Будет омут наш, сестрицы,  
Темен, слеп!

было:

Ночью омут наш, сестрицы,  
Темен, слеп,  
Ночью знойные зарницы  
Зáрят хлеб.

**Слепой** (стр. 351).— Печатается в новой редакции по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

В издании 1915 года вместо:

И звонким альтом, жалобным и страстным,  
Поет, кричит мальчишка,— о прекрасном  
Об Алексее, божьем человеке,  
Под недовольный, мрачный бас калеки.  
«Вы пожалейте, плачет альт, бездомных!  
Вы наградите, люди, сырых, темных!»  
И бас грозит: «В аду, в огне сгорите!  
На пропитанье наше сотворите!» —

печаталось:

И звонким альтом, жалобным и страстным,  
Поет-вопит мальчишка — о прекрасном  
Об Алексее, божьем человеке,  
Под мрачный и гудящий бас калеки.  
«Вы пожалейте,— плачет альт,— бездомных!  
Вы пожалейте, люди, сырых, темных!»  
И бас грозит: «В аду, в огне сгорите.  
На пропитанье сырых сотворите».

**Пугач** (стр. 353).— После Собрания сочинений 1915 года редактировался в 1926 году.

Печатается в последней редакции.

«Кошка в крапиве за домом жила...» (стр. 354).— Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «Кошка». В Собрании сочинений, издательство «Петрополис», изменены одиннадцатая и тринадцатая строки. Раньше они читались: «В черненький галстук склонилась бородка», «Темен тсперь флигелек по ночам».

Печатается в последней редакции.

«Проснусь, проснусь — за окнами, в саду...» (стр. 355).— Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «Кто-то».

Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

«Геймдалль искал родник божественный...» (стр. 355).— В Собрании сочинений 1915 года печаталось под названием «Геймдалль» и с эпиграфом «Он пил из ключа мудрости».

Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

«Присела на могильнике Савуре...» (стр. 357).— Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «Лен».

Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**«И скрип и визг над бухтой, наводненной...»** (стр. 359). — В первом томе Собрания сочинений, издательство «Петрополис», снято заглавие «Утро» и изменена третья строка. Раньше она читалась: «Как в забвенье, шатаются над ней». Печатается в последней редакции.

**«В полях сухие стебли кукурузы...»** (стр. 359). — Во втором томе Собрания сочинений, издательство «Петрополис», 1934 год, снято заглавие «Летаргия» и изменена третья строка. В издании 1915 года она читалась:

«В прозрачных бухтах — бледные медузы». Изменена также последняя строфа. Раньше было:

«Ты видишь воду?» — «Вижу только ртутный  
Туманный блеск. Мы на краю земли». —  
И нити звезд висят под нами — в мутной  
Бездонно-фосфорической пыли.

Печатается в последней редакции.

**Дня** (стр. 361). — Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис», в который включено с сокращениями. Вычеркнуты вторая и третья строфы:

Пригретый лаской солнечного света,  
Сегодня в полдень слаще и грустней,  
Задумчивей, чем прежде, с минарета  
Пел муэдзин... И все следил за ней.

Дышал он морем, тонким ароматом  
Садов в цвету, теплом небес, земли...  
А Дня шла по каменистым скатам,  
По голышам меж саклями — к Али...

Исключена также последняя строфа:

Ей нравится ее босая ножка  
В стекле воды... Ей нравится сурьма  
Ее бровей... Ей нравится немножко  
Пока одно: она сама.

Пятая и девятая строки в издании 1915 года читались: «К Али? О, нет. На skate под утесом», «Она уж там. Но весел и спокоен».

**Стамбул** (стр. 364). — Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**Магомет в изгнании** (стр. 365). — В Собрании сочинений 1915 года первые две строфы печатались в другой редакции:

Джины близ Тайифа пролетали  
В сумерки, долиной каменистой.  
Чул Пророк! — Его слова звучали,  
Как источник сладостный и чистый.

На камнях, среди кустов дзарига,  
Он сидел и говорил, тоскуя:  
«Я один. Мне тяжело божье иго.  
Я вдали от тех, кого люблю!»

**«Ра-Озирис, владыка дня и света...»** (стр. 367).— Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «Египет».

Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**Ночные цикады** (стр. 369).— Заглавие в Собраниях сочинений 1915 года и в издательстве «Петрополис» — «Цикады». Там же четвертая — шестая строки читались:

Как светлый дождь, кропит он бурьяны,  
Стоит в цветах, колосьях — и не будит  
Бесстрастной предрассветной тишины.

Заглавие изменено Буниным при редактировании второго тома Собрания сочинений, издательство «Петрополис», в июле 1953 года.

Печатается в последней редакции.

**В Архипелаге** (стр. 370). — Строки шестая и девятая в издании 1915 года читались: «Сквозя, вставал чуть желтый ряд колонн», «И что мне в том, что это старый храм».

Печатается по второму тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис». 1934.

**Горный лес** (стр. 370).— В Собрании сочинений 1915 года вместо:

Вечерний час. В долину тень сползла.  
Сосною пахнет. Чисто и глубоко  
Над лесом небо...—

было:

Тих горный лес. В долину тень сползла.  
Сосною пахнет. Чисто и глубоко  
Зарю небо.

Печатается по второму тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**Собака** (стр. 371).— Печатается по второму тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**Мои́ла в скале** (стр. 371). — В Собрании сочинений 1915 года девятая и десятая строки читались:

Хранили день,— быть может, только час,  
Иль даже миг...

Печатается по второму тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**Саваоф** (стр. 372).— Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «В детстве». Там же вместо «Над скудной и темною толпой» было: «Над скудною старушечьей толпой».

Печатается по второму тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**Полночь** (стр. 372).— Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «Остров». Там же последние строки читались:

Иду к обрывам. Шум грозеет. Свет  
Становится тусклее и печальней.  
Волна качает сваи под купальней.



Вдали — седая бездна. Моря нет.  
И валуны, кипя в шипящей пене,  
Блестят внизу, как спящие тюлени.

Печатается по второму тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**Рассвет** (стр. 373).— Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «До солнца».

Печатается по второму тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**Полдень** (стр. 373).— Печатается по второму тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**Бог полдня** (стр. 374).— Печатается по второму тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**Гальциона** (стр. 375).— Печатается по второму тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**Караван** (стр. 376).— В Собрании сочинений 1915 года первые строки печатались в другой редакции:

Звон за оградой, нежный, полусонный,  
Звон бубенцов подобен роднику:  
Течет, течёт... Листва и цвет лимонный;  
Чуть золотясь, склонились к гамаку.

Давно затих базар неугомонный.  
Луна сквозь сад сияет по песку...  
Они идут под лепет однотонный.

Печатается по второму тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**Ирихон** (стр. 376).— Печатается по второму тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**Бедуин** (стр. 377).— Печатается по второму тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**Вечер** (стр. 378).— Печатается по второму тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**Гробница Рахили** (стр. 378).— В Собрании сочинений 1915 года восьмая и девятая строки читались:

И с трепетом целую прах и пыль  
На этом камне женственном и белом...

Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**Имру-уль-Кайс** (стр. 379).— В Собрании сочинений 1915 года печаталось под названием «След» и с эпиграфом: «Его обдувает с юга и севера. Имру-уль-Кайс».

Печатается по второму тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**«Щебечут пестрокрылые чекканки»** (стр. 379). — Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «За Дамаском». В Собрании сочинений, издательство «Петрополис», ошибочно напечатано дважды: в первом томе без заглавия и с датой: Дамаск. 1907; во втором — под названием «За Дамаском» и с датой: 22.8.08

Печатается по первому тому этого издания.

**Воскресение** (стр. 380). — Заглавие в Собраниях сочинений 1915 года и в издательстве «Петрополис» — «Смерть». В Собрании сочинений 1915 года после строки «К монастырю под синим южным морем» было:

Ползучие гирлянды роз, глициний  
И золотое кружево мимозы  
Висели на ограде, а за нею  
По мрамору скользили пятна света.

Заглавие «Воскресение» дано Бучиным при редактировании для нового издания первого тома Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

Печатается в последней редакции.

**После Мессинского землетрясения** (стр. 381). — Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «В Мессинском проливе»; в Собрании сочинений, издательство «Петрополис», — «После землетрясения». При редактировании второго тома этого издания для нового собрания Бунин еще раз изменил заглавие.

Печатается в последней редакции.

**Колибри** (стр. 381). — Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**«Мимо острова в полночь фрегат проходил...»** (стр. 382). — Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «Старинные стихи».

Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**Вальс** (стр. 382). — Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**«Открыты окна. В белой мастерской...»** (стр. 383). — Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «Дача».

Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**«Старик у хаты веял, подкидывал лопату...»** (стр. 386). — Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «На току».

Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**«Бегут, бегут листы раскрытой книги...»** (стр. 387). — Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «Будни». Несколько строк в этом издании печаталось в другой редакции. Вместо:

Гул молотбы слышней идет из риги,  
Дохнули ветром рощи и поля.

было:

Гул молотилки слышится из риги —  
Дохнули в шторы вольные поля.

Вместо:

Блестит листвою под окнами сирень;  
Зажглась река, как золото;

печаталось:

Вокруг террасы лоснится сирень.  
Зажглась река, как зеркало.

Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**«Там иволга, как флейта, распевала...»** (стр. 387). — Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «В роще». В Собрании сочинений, издательство «Петрополис», ошибочно напечатано дважды: в первом томе без заглавия и с датой — 1907; во втором — под заглавием «В роще» и с измененной датой — 15.8.09.

Последняя строка в издании 1915 года читалась: «И жизнь была как утро хороша». В обоих томах она имеет одну и ту же новую редакцию: «И жизнь была небесно хороша». При редактировании этих томов для нового собрания Бунин «небесно» изменил на «чудесно», а то, что стихотворение напечатано дважды и датировано по-разному, осталось им не замеченным.

Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**«В столетнем мраке черной ели...»** (стр. 389). — В Собрание сочинений 1915 года не входило. Напечатано в книге Бунина «Митина любовь», Париж, 1925. Перепечатано в первом томе Собрания сочинений, издательство «Петрополис», без второй строфы:

И на скамье сидел я старой,  
И парка сумеречный сон  
Меня баюкал смутной чарой  
Далеких дедовских времен...

Печатается в последней редакции.

**«Тут покоится хан, покоривший несметные страны...»** (стр. 389). — В Собрание сочинений 1915 года не входило.

Печатается по первому тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**Туман** (стр. 390). — В Собрании сочинений 1915 года датировано: Сиракузы. 25.3.1909.

Печатается с измененной датой по второму тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**Кружево** (стр. 390). — После Собрания сочинений 1915 года редактировалось в 1926 году.

Печатается в последней редакции.

**«В мелколесье пело глухо, строго»** (стр. 392). — Заглавие в Собрании сочинений 1915 года — «Колдун». Печатается по второму тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис». Вместо «На ветру листва, дрожа, мешалась» в издании 1915 года было: «На ветру листва с песком мешалась». Вместо:

Как бельмо, окошко отражало  
Скудный свет нахмуренного неба...  
Над окошком шарило, шуршало —

раньше было:

Как бельмо, окошко отражало  
Скудный ответ пасмурного неба...  
Над окном соломою шуршало.

Строка «И в стекло угрюмо муха билась» раньше читалась: «И в окне угрюмо муха билась».

В тексте, напечатанном в издании «Петрополис», Бунин исправил десятую строку, готовя новое Собрание сочинений. Вместо «Дед-колдун, как мертвый, спал в избушке» сейчас читается: «Дед лесник мертвецки спал в избушке».

**Сенокос** (стр. 392). — В Собрании сочинений, издательство «Петрополис», напечатано с исправлениями. Вместо «Но двор был пуст» в издании 1915 года было «Корней нет». Вместо:

«Корней, седлай!» — Но нет, Корней в лесу,  
Остались только скотница Елена  
Да пчельник Дрон... Шенок замял осу  
И сено взрыл... Молочный голубь комом  
Упал на крышу скотного варка...

раньше читались:

«Корней, седлай!» — Но и Корней в лесу:  
Остались только скотница Елена  
Да пчельник Дрон... Вот Фокс замял осу  
И сено взрыл... Вот снежный голубь комом  
Упал на крышу скотного варка...

Строки двадцать девятая и тридцать пятая раньше читались: «Прядет кобылка, делясь стройней», «Слепой с поводырем, и на дворе...».

Печатается по второму тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**При дороге** (стр. 399). — В Собрании сочинений 1915 года девятая — тринадцатая строки печатались в другой редакции:

Вчера чумаки проходили —  
Прильнула к окну. Но была  
Морозная полночь. Блестели  
Колеса, рога у вола.

Хотела вскочить — побоялась.

Печатается по второму тому Собрания сочинений, издательство «Петрополис». Дополнение в датировке: «Под Каиром» сделано Буниним при исправлении этого тома для нового издания.

*П. ВЯЧЕСЛАВОВ*

СОДЕРЖАНИЕ  
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ  
1909—1912

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Подторжье . . . . .       | 5   |
| Деревня . . . . .         | 9   |
| Суходол . . . . .         | 110 |
| Крик . . . . .            | 155 |
| Снежный бык . . . . .     | 160 |
| Древний человек . . . . . | 163 |
| Сила . . . . .            | 171 |
| Хорошая жизнь . . . . .   | 180 |
| Сверчок . . . . .         | 199 |
| Ночной разговор . . . . . | 208 |
| Веселый двор . . . . .    | 225 |
| Игнат . . . . .           | 253 |
| Захар Воробьев . . . . .  | 276 |

СТИХОТВОРЕНИЯ  
1903—1911

|  |     |
|--|-----|
| Полярная звезда . . . . .                            | 289 |
| «Набегает впотьмах» . . . . .                        | 289 |
| «Норд-остом жгут пылающие зори» . . . . .            | 290 |
| «На окне, серебряном от инея» . . . . .              | 290 |
| Жасмин . . . . .                                     | 291 |
| Сапсан . . . . .                                     | 291 |
| Иней . . . . .                                       | 293 |
| Русская весна . . . . .                              | 293 |
| Одиночество . . . . .                                | 294 |
| После битвы . . . . .                                | 295 |
| Портрет . . . . .                                    | 295 |
| Невольник . . . . .                                  | 296 |
| Мира . . . . .                                       | 296 |
| «Там, на припеке, спят рыбацкие ковши» . . . . .     | 297 |
| «В гостиную, сквозь сад и пыльные гардины» . . . . . | 297 |

|   |     |
|---|-----|
| Перекресток . . . . .                                       | 298 |
| «Обрыв Яйлы. Как руки фурий» . . . . .                      | 298 |
| «Луна еще прозрачна и бледна» . . . . .                     | 298 |
| «Черные ели и сосны сквозят в палисаднике темном» . . . . . | 299 |
| Мороз . . . . .   | 299 |
| Северная береза . . . . .                                   | 300 |
| «В сумраке утра проносится призрак Одина» . . . . .         | 300 |
| Бальдер . . . . .   | 301 |
| Диза . . . . .  | 301 |
| Надпись на чаше . . . . .                                   | 302 |
| Печаль . . . . .  | 303 |
| Огни небес . . . . .  | 303 |
| Могила поэта . . . . .                                      | 304 |
| Призраки . . . . .  | 304 |
| Вершина . . . . .   | 304 |
| Развалины . . . . .   | 305 |
| Тропами потаенными . . . . .                                | 306 |
| «Далеко на севере Капелла» . . . . .                        | 306 |
| Кольцо . . . . .  | 306 |
| Песня . . . . .   | 307 |
| Запустение . . . . .  | 307 |
| Детская . . . . .   | 309 |
| Косогор . . . . .   | 310 |
| Речка . . . . .   | 310 |
| Пахарь . . . . .  | 310 |
| Две радуги . . . . .  | 311 |
| Закат . . . . .   | 311 |
| Чужая . . . . .   | 311 |
| Новый год . . . . .   | 312 |
| Тень . . . . .  | 313 |
| «Мы встретились случайно, на углу» . . . . .                | 313 |
| Огонь на мачте . . . . .                                    | 314 |
| «Проснулся я внезапно, без причины» . . . . .               | 314 |
| В открытом море . . . . .                                   | 315 |
| Апрель . . . . .  | 315 |
| Из окна . . . . .   | 315 |
| Детство . . . . .   | 316 |
| Разлив . . . . .  | 316 |
| Сказка . . . . .  | 317 |
| Поморье . . . . .   | 317 |
| Под вечер . . . . .   | 318 |
| Донник . . . . .  | 318 |
| Розы . . . . .  | 319 |
| Терем . . . . .   | 319 |
| Сквозь ветви . . . . .                                      | 320 |
| «Уж подсыхает хмель на тыне» . . . . .                      | 320 |
| Келья . . . . .   | 320 |
| Судра . . . . .   | 321 |
| У шалаша . . . . .  | 321 |
| На маяке . . . . .  | 322 |
| Голуби . . . . .  | 322 |
| «Осень. Чаши леса» . . . . .                                | 323 |
| Горе . . . . .  | 323 |
| «Первый утренник, серебряный мороз!» . . . . .              | 324 |
| Огонь . . . . .   | 324 |
| В горах . . . . .   | 325 |
| «Старик сидел, покорно и уныло» . . . . .                   | 325 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Сумерки                            | 326 |
| «Густой зеленый ельник у дороги»   | 326 |
| Змея                               | 327 |
| Небо                               | 327 |
| На винограднике                    | 328 |
| Перед бурей                        | 328 |
| Шгиль                              | 329 |
| «Все море — как жемчужное зеркало» | 329 |
| С острогой                         | 330 |
| Океаниды                           | 330 |
| Дюны                               | 331 |
| На белых песках                    | 331 |
| Стон                               | 331 |
| В горной долине                    | 332 |
| Каменная баба                      | 332 |
| Мистику                            | 332 |
| Эсхил                              | 333 |
| Самсон                             | 333 |
| Ормузд                             | 334 |
| У берегов Малой Азии               | 334 |
| Потоп                              | 335 |
| Сон                                | 335 |
| Эльбрус                            | 336 |
| Атлант                             | 337 |
| Золотой невод                      | 337 |
| Новоселье                          | 338 |
| Дагестан                           | 338 |
| Послушник                          | 338 |
| Хая-Баш                            | 339 |
| На обвале                          | 339 |
| В крымских степях                  | 340 |
| Айя-София                          | 340 |
| К востоку                          | 341 |
| Путеводные знаки                   | 341 |
| «Тонет солнце, рлянйм углем тонет» | 341 |
| Жена Азиса                         | 342 |
| Ковсерь                            | 343 |
| Черный камень Каабы                | 343 |
| Мудрым                             | 344 |
| Священный прах                     | 344 |
| Зейнаб                             | 344 |
| Склон гор                          | 345 |
| Гробница Сафии                     | 345 |
| «Растет, растет могильная трава»   | 346 |
| Тезей                              | 346 |
| Проводы                            | 347 |
| Храм Солнца                        | 347 |
| «Люблю цветные стекла окон»        | 348 |
| Петров день                        | 348 |
| Пугало                             | 350 |
| Слепой                             | 351 |
| Наследство                         | 351 |
| Рыбалка                            | 352 |
| Пугач                              | 353 |
| На Плющихе                         | 353 |
| «Кошка в крапиве за домом жила»    | 354 |
| Дядька                             | 354 |

|  |     |
|--|-----|
| «Проснись, проснись — за окнами, в саду» . . . . . | 355 |
| «Геймдалль искал родник божественный» . . . . .    | 355 |
| Безнадежность . . . . .                            | 356 |
| Трясина . . . . .                                  | 356 |
| Один . . . . .                                     | 356 |
| «Присела на могильнике Савуре» . . . . .           | 357 |
| С корабля . . . . .                                | 357 |
| Дикарь . . . . .                                   | 357 |
| Обвал . . . . .                                    | 358 |
| «И скрип и визг над бухтой, наводненной» . . . . . | 359 |
| «Вдоль этих плоских знойных берегов» . . . . .     | 359 |
| «В полях сухие стебли кукурузы» . . . . .          | 359 |
| Стрижи . . . . .                                   | 360 |
| На рейде . . . . .                                 | 360 |
| Балагула . . . . .                                 | 360 |
| Дня . . . . .                                      | 361 |
| Из анатолийских песней . . . . .                   | 361 |
| Закон . . . . .                                    | 362 |
| Напутствие . . . . .                               | 362 |
| Розы Ширази . . . . .                              | 363 |
| С обезьяной . . . . .                              | 363 |
| Стамбул . . . . .                                  | 364 |
| Мекам . . . . .                                    | 365 |
| Магомет в изгнании . . . . .                       | 365 |
| Каир . . . . .                                     | 366 |
| Истара . . . . .                                   | 366 |
| «Ра-Озирис, владыкя дня и света». . . . .          | 367 |
| Джордано Бруно . . . . .                           | 367 |
| Ночные цикады . . . . .                            | 369 |
| Прометей в пещере . . . . .                        | 369 |
| В Архипелаге . . . . .                             | 370 |
| Горный лес . . . . .                               | 370 |
| Собака . . . . .                                   | 371 |
| Могила в скале . . . . .                           | 371 |
| Саваоф . . . . .                                   | 372 |
| Полночь . . . . .                                  | 372 |
| Рассвет . . . . .                                  | 373 |
| Полдень . . . . .                                  | 373 |
| Бог полдня . . . . .                               | 374 |
| Последние слезы . . . . .                          | 374 |
| Гальциона . . . . .                                | 375 |
| Рыбачка . . . . .                                  | 375 |
| Морской ветер . . . . .                            | 375 |
| Караван . . . . .                                  | 376 |
| Иерихон . . . . .                                  | 376 |
| Бедуин . . . . .                                   | 377 |
| Пилигрим . . . . .                                 | 377 |
| Вечер . . . . .                                    | 378 |
| Гробница Рахили . . . . .                          | 378 |
| Имру-уль-Кайс . . . . .                            | 379 |
| «Щебечут пестрокрылые чекканки» . . . . .          | 379 |
| Спор . . . . .                                     | 380 |
| Воскресение . . . . .                              | 380 |
| Мертвая зыбь . . . . .                             | 380 |
| После Мессинского землетрясения . . . . .          | 381 |
| Колибри . . . . .                                  | 381 |
| Вино . . . . .                                     | 381 |



|   |     |
|---|-----|
| «Мимо острова в полночь фрегат проходил» . . . . .        | 382 |
| Вальс . . . . .   | 382 |
| «Открыты окна. В белой мастерской». . . . .               | 383 |
| Прощание . . . . .  | 383 |
| Няня . . . . .  | 383 |
| Пустошь . . . . .   | 384 |
| Вдовец . . . . .  | 385 |
| Христя . . . . .  | 385 |
| «Старик у хаты веял, подкидывал лопату» . . . . .         | 386 |
| Без имени . . . . .                                       | 386 |
| В Москве . . . . .  | 386 |
| «Бегут, бегут листы раскрытой книги» . . . . .            | 387 |
| «Там иволга, как флейта, распевала» . . . . .             | 387 |
| Чибисы . . . . .  | 388 |
| Купальщица . . . . .                                      | 388 |
| «В столетнем мраке черной ели» . . . . .                  | 389 |
| «Тут покоится хан, покоривший несметные страны» . . . . . | 389 |
| Художник . . . . .  | 389 |
| Туман . . . . .   | 390 |
| Кружево . . . . .   | 390 |
| Сторож . . . . .  | 391 |
| Берег . . . . .   | 391 |
| «В мелколесье пело глухо, строго» . . . . .               | 392 |
| Сенокос . . . . .   | 392 |
| Лимонное зерно . . . . .                                  | 393 |
| Мужичок . . . . .   | 394 |
| Дворецкий . . . . .                                       | 394 |
| Криница . . . . .   | 394 |
| Песня («На пирах веселых») . . . . .                      | 395 |
| Песня («Зацвела на воле») . . . . .                       | 396 |
| О Петре-разбойнике . . . . .                              | 396 |
| Зимняя вилла . . . . .                                    | 397 |
| Памяти . . . . .  | 398 |
| Сполохи . . . . .   | 398 |
| При дороге . . . . .                                      | 399 |
| В первый раз . . . . .                                    | 399 |
| Березка . . . . .   | 400 |
| Ночлег . . . . .  | 400 |
| Зов . . . . .   | 401 |
| Примечания . . . . .                                      | 402 |

И. А. БУНИН.  
Собрание сочинений в пяти томах. Том 2.

Оформление художника П. П. Зубченкова.  
Технический редактор А. Ефимова.

А 10314. Подп. к печ. 4/IX 1956 г. Тираж 250 000 экз. Изд. № 867.  
Заказ 1667. Формат бум. 60×92<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бум. л. 13,25. Печ. л. 26,5. Уч.-изд. л. 24,28.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина.  
Москва, улица «Правды», 24.

